Д·В·ГРИГОРОВИЧ

Сочинения

Д·В·ГРИГОРОВИЧ





Д·В·ГРИГОРОВИЧ

СОЧИНЕНИЯ

В трех томах



МОСКВА
«Художественная литература»
1988

Д·В·ГРИГОРОВИЧ

СОЧИНЕНИЯ

Том первый

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1844–1852



МОСКВА
«Художественная литература»
1988

ББК 84Р1
Г83

Вступительная статья

А. И ЖУРАВЛЕВОЙ

В. Н НЕКРАСОВА

Составление,
подготовка текста
и комментарии

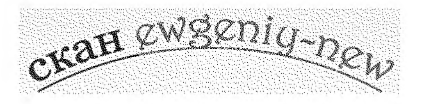
А. А. МАКАРОВА

Оформление художника

И. М ГИРЕЛЬ

Г $\frac{4702010100-171}{028(01)-88}$ 3-88

ISBN 5-280-00062-0 (Т. 1)
ISBN 5-280-00061-2



ГРИГОРОВИЧ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Дмитрий Васильевич Григорович родился в 1822 году, а умер в 1899 (1900 по нов. стилю). Можно сказать, на его глазах прошла почти вся история русского классического реализма от натуральной школы, активным участником которой он был, до Чехова, с которым он вступил в переписку на склоне лет.

Появление «Петербургских шарманщиков», физиологического очерка, принесшего Григоровичу некоторую известность, приветствовал Белинский: «Петербургские шарманщики» г. Григоровича – прелестная и грациозная картинка, нарисованная карандашом талантливого художника. В ней видна наблюдательность, умение подмечать и схватывать характеристические черты явлений и передавать их с поэтическою верностью. Г-н Григорович – молодой человек и только что начинает писать. Такое начало подает хорошие надежды в будущем»[1].

А в 1888 году, в исходе XIX века, Чехов писал Григоровичу: «Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя»[2].

Что вспомнит о Григоровиче каждый из нас сразу? «Гуттаперчевый мальчик» – читали в детстве... А те, кто больше интересуется классической литературой, добавят – «Антон-Горемыка». И конечно, вспомнят: Григорович с Некрасовым ночью прибежали к Достоевскому, дочитав рукопись его первого произведения «Бедные люди», чтобы

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. IX. М., 1955, с. 55.

[2] Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2. М., 1975, с. 175.

выразить свой восторг; молодой Антоша Чехонте получил от старого маститого Григоровича, дружившего с русскими классиками, доброе письмо с советом серьезно заняться своим большим талантом и написал «Степь». Есть и такая легенда в нашей культурной памяти (т. е. факт-то верен, но сомнительно, что Чехов стал великим писателем по совету Григоровича). Ну, а любители литературных мемуаров, конечно, вспомнят, как над Григоровичем подсмеивались его современники за его чрезмерную живость, граничившую с легкомыслием, за склонность к смешным рассказам о приятелях, иной раз похожим на сплетни. Историк литературы упрекнет его за неточности в мемуарах. А все же и насмешки современников, и даже гнев жертв его легкомысленной болтливости чаще всего не лишены были добродушия – за всеми этими слабостями Григоровича не чувствовалось корысти и злобы, вот их и прощали.

Очень характерно отношение к Григоровичу Тургенева. Оно настолько выразительно рисует его литературно-житейский облик и репутацию, что полезно будет привести несколько выдержек из писем разных лет.

В 1866 году Боткин и Тургенев обменялись такими характеристиками Григоровича. Боткин: «В его желчи и воображении недостает умеряющего органа, – но он недурной человек с известного рода талантом и добродушием» [1]. Тургенев ему отвечает: «А что касается до Григоровича, то я вовсе не питаю к нему неприязненных чувств; я ему не доверяю – и мне все кажется, что вот-вот он у меня что-нибудь стащит – в нравственном смысле, разумеется – или мне что-нибудь подсунет – в виде сплетни или выдумки. А впрочем, с ним ничего – довольно весело, – и ты ему от меня поклонись» [2].

В 1881 году Тургенев благодарит Григоровича: «В Ваших хлопотах о Топорове узнаю Ваше доброе сердце и постоянную готовность услужить» [3].

Наконец, в 1882 году в письме М. Г. Савиной Тургенев так скажет о Григоровиче: «Он, при некоторых недостатках, вообще свойственных человеческой природе, прекрасный человек и *верный друг*» [4] (курсив Тургенева. – *А. Ж., В. Н.*).

---

[1] Боткин В. П. и Тургенев И. С. Неизданная переписка 1851–1869. М.–Л., 1930, с. 244.

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. VI. М.–Л., 1963, с. 115.

[3] Там же, т. XIII, кн. 1, с. 164.

[4] Там же, с. 210.

Это все житейские характеристики, где соединились насмешка и благодарность, недовольство бестактностью и добродушное признание человеческой отзывчивости старого приятеля. Когда же речь заходила о литературных заслугах Григоровича, то наши самые, казалось бы, разные классики, весьма непохожие друг на друга, оказывались единодушны.

Григорович и Тургенев с его «Записками охотника» считались пионерами крестьянской темы в русской прозе, но в воспоминаниях Тургенев засвидетельствовал приоритет Григоровича, приведя оценку «Деревни» в качестве примера критической прозорливости Белинского. «В 1846 году в «Отечественных записках» появилась повесть г-на Григоровича под заглавием «Деревня», по времени *первая* попытка сближения нашей литературы с народной жизнью, первая из наших «деревенских историй» – Dorfgeschichten. Написана она была языком несколько изысканным, не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта было несомненно»[1].

Исключительно высоко ценил вклад Григоровича в русскую литературу Лев Толстой. В 1893 году он отправил ему очень теплое письмо: «Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда шестнадцатилетнего мальчика... «Антоном-Горемыкой», бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика – нашего кормильца – и хочется сказать: нашего учителя,– можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом. Вот за это-то благотворное на меня влияние ваших сочинений вы особенно дороги мне, и через 40 лет от всего сердца благодарю вас за него»[2]. Григорович, отвечая Толстому, так определил истоки и смысл своего писательства: «То, что Вы пишете о впечатлении, сделанном на Вас в юности повестью моей «Антон-Горемыка», свидетельствует Вам, насколько любовь моя к народу и сочувствие его горестям были во мне тогда живы и искренни; полнота этих чувств была тогда первым и главным двигателем моим на литературном поприще»[3].

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. XIV. М.–Л., 1967, с. 33.

[2] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 томах, т. 66. М., 1953, с. 409.

[3] Там же, с. 410.

Однако к этому главному своему писательскому делу Григорович пришел не сразу, да и вообще литературная и культурная деятельность его была весьма разнообразна.

* * *

«В кругу русских писателей вряд ли много найдется таких, которым в детстве привелось встретить столько неблагоприятных условий для литературного поприща, сколько их было у меня. Во всяком случае, сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из них с таким трудом, как мне, досталась русская грамота. Мать моя хоть и говорила по-русски, но была природная южная француженка; отец был малороссиянин» [1], — жаловался Григорович в своих воспоминаниях.

Отец будущего писателя, отставной офицер, служил управляющим имений графа Соллогуба, затем купил собственное поместье в Тульской губернии, на притоке Оки Смедве (места эти описаны потом в повести «Смедовская долина»), но умер, когда сыну было восемь лет. Так и случилось, что родным языком маленького Григоровича оказался французский, на котором говорили воспитывавшая его мать и бабушка. Однако, к счастью, и у Григоровича оказалась своя «Арина Родионовна» — старый камердинер его отца Николай. В «Литературных воспоминаниях» ему посвящены теплые строки: «он любил меня, как будто я десять раз был его родным сыном, как будто отец мой, перед памятью которого он благоговел, завещал ему утешать меня, любить и ласкать. ...По целым часам караулил он, когда меня пустят гулять, брал на руки, водил по полям и рощам, рассказывал разные приключения и сказки. Не помню, конечно, его рассказов, помню только его ласковое, сердечное обращение; за весь холод и одиночество моей детской жизни я отогревался только когда был с Николаем. Когда решено было везти меня в Москву и наступила минута расставанья с Николаем, я, как исступленный, с криком бросился ему на шею, истерически зарыдал, кричал и так крепко обхватил его руками, что пришлось силой меня оторвать» [2].

---

[1] Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928, с. 3.

[2] Там же, с. 14—15.

В Москве Григорович год проучился в гимназии, а затем его отдали во французский пансион уже в Петербурге, оттуда он переходит в другой, специально предназначенный для подготовки в Главное инженерное училище, куда он поступает в 1836 г. Здесь он подружился с Достоевским, заразившим его своими литературными интересами.

Ни военная служба, ни технические науки не отвечали интересам и склонностям Григоровича, и он с радостью оставил училище после того, как был наказан за то, что на улице не отдал честь великому князю и, испугавшись своей оплошности, убежал от него. Некоторое время Григорович учится в Академии художеств, но, не имея большого дарования, оставляет ее и начинает служить в канцелярии Петербургского театра.

Увлечение театром, возникшее в молодости, сохранится навсегда, а знание театрального и околотеатрального быта скажется в литературном творчестве Григоровича. Другой страстный театрал этого времени, близкий приятель Григоровича И. И. Панаев подробно и живо опишет особый мир пустой околотеатральной молодежи, смотревшей на посещение театра исключительно как на светскую обязанность, преследовавшей молоденьких актрис и превращавшей их в содержанок, аплодировавшей и шикавшей на спектаклях совершенно безотносительно к качеству исполнения, – словом, ту часть публики, вкусам и потребностям которой вполне отвечал массовый репертуар первой половины XIX века, переполненный переводными мелодрамами и легкими водевилями (см., например, его «Опыт о хлыщах»). Сходные мотивы не раз мелькнут в произведениях Григоровича. Первые его литературные труды – переводы французских пьес для сцены, а в 1844 г. он публикует уже оригинальный рассказ «Театральная карета», написанный в гоголевской манере.

Но Григорович прекрасно почувствовал и грустные, тяжелые будни театральных тружеников, отразив их зависимость от «меценатов» и нищенский быт («Капельмейстер Сусликов», 1848 г.).

Зрительский опыт Григоровича скажется впоследствии в его пьесах «Столичный воздух» (изящная одноактная легкая комедия, шедшая в Александринском театре в 1870 г.) и написанной на склоне лет большой комедии «Замшевые люди» (шедшей там же в 1891 г.). В этой комедии, написанной в манере так называемой «хорошо скроенной пьесы», ощутимо и влияние тенденциозной драмы с ее стремлением к публицистическому освещению популярных в журналисти-

ке злободневных тем. «Замшевые люди» — это карьеристы, в корыстных целях примазывающиеся к различным великосветским филантропическим затеям («Общество для распространения нравственности среди ломовых извозчиков» или, в пьесе «Столичный воздух», — комитет для снабжения носовыми платками бедных извозчиков — совершенно диккенсовские шутки).

В 1870-е годы Григорович был членом Театрально-литературного комитета, учреждения, организованного для наблюдения за художественным качеством репертуара императорских театров, редко, впрочем, справлявшегося с этой задачей. На деле комитет зачастую был занят сведением литературных счетов и находился под влиянием разных театральных интриг. Григорович в это время в театральных делах был сторонником Островского.

В 1880-1890-е годы на сцене шли переделки его повестей «Школа гостеприимства» (сезон 1883 г.), «В столице» (переделка повести «Столичные родственники» — сезон 1887 г.), «Антон-Горемыка» (сезон 1893 г.).

Вернемся, однако, к началу пути писателя.

Некрасов ввел молодого Григоровича в круг своих издательских начинаний, познакомил с Белинским, Тургеневым и сделал участником того движения, которое получило название «натуральная школа». Известность Григоровичу, как мы помним, принес физиологический очерк «Петербургские шарманщики», помещенный в I части изданного Некрасовым сборника «Физиология Петербурга» (1844), ставшего манифестом нового направления.

Работа над темой очерка характерна для Григоровича во многих отношениях. Начать с самого выбора объекта «физиологии»: Некрасов дал в сборник «Петербургские углы», Даль — очерк «Петербургский дворник», Гребенка — «Петербургская сторона». Артистичного Григоровича тронула судьба самых нищих и несчастных «театральных» тружеников — уличных шарманщиков и гаеров. Показательно и то, с чего он начал эту работу. «Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: «и так сойдет!» — казалось мне равносильным бесчестному поступку... Я, прежде всего, занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал»[1], — вспоминал

---

[1] Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 130.

потом Григорович. Доскональное знание описываемого явления – первое условие для писателя натуральной школы, но если у других оно было результатом, так сказать, непреднамеренного житейского опыта, то Григорович достиг его добросовестным специальным изучением, он наблюдал и записывал «до мелочи». Наконец, именно очерк Григоровича внес в «Физиологию Петербурга» ту ноту гуманистического сострадания к маленьким людям, которой не было в других статьях этого сборника и которая скоро с такой силой прозвучала в «Бедных людях» Достоевского[1].

Для второй части «Физиологии Петербурга» Григорович напишет «Лотерейный бал».

И в физиологических очерках, и в рассказах этого периода («Штука полотна», «Собачка»), как и в более поздних рассказах и повестях («Школа гостеприимства», «Столичные родственники», «Свистулькин», «Похождения Накатова»), рисующих быт столичного и поместного дворянства, и в первом своем романе «Проселочные дороги» (1852–1853) Григорович стремится следовать гоголевской манере повествования. Вместе с тем в этих произведениях чувствуется влияние поэтики фельетона, очень популярного в журналистике того времени жанра, позволявшего в непринужденной, свободной манере затрагивать самые разные злободневные темы. Эти произведения Григоровича, безусловно, находились в общем русле литературного движения эпохи, были несомненно пропитаны либеральной тенденцией[2], полны иронии по отношению к пустоте и мелочности разного рода дворянских обывателей. И все же Григорович был бы давно забытым писателем, если бы не обратился к изображению крестьян.

Обращение писателей натуральной школы к изображению жизни социальных низов происходило раньше всего на материале мелкочиновничьего и городского простонародного быта. Общепризнанно значение Пушкина и Гоголя как первооткрывателей для литературы этого пласта русской действительности. В повестях Пушкина и Гоголя тип «маленького человека» возник под влиянием гуманистического сострадания к людям, обиженным всем строем современной

---

[1] См.: Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе. М., 1965.

[2] Напомним, что в 40–50-е гг. либерально-дворянские литераторы еще играли положительную роль в едином антикрепостническом лагере.

жизни. Натуральная школа наследовала эту проблематику, но сам тип повествования в чем-то меняется. Рассказ по большей части делается словно бы более «безличным», тон – объективно-бесстрастным, нередко с оттенком иронии. Литература на этом этапе развития реализма всячески подчеркивает свою близость к научности, ценит достоверность прежде всего. И коль скоро это так, то с неотвратимой очевидностью вставал вопрос: почему же в крестьянской, земледельческой России герой из социальных низов не крестьянин?

Крестьянская тема затрагивалась в русской литературе первой трети XIX века почти исключительно как тема крепостной интеллигенции. В литературу постепенно входил герой из крестьян, но героя-крестьянина не было. Понятно поэтому, как велико оказалось значение первых произведений Григоровича о крестьянах – рассказ «Деревня» (1846) и повесть «Антон-Горемыка» (1847). Оба они стали результатом жизни Григоровича в поместье, его внимательного изучения труда и быта крепостных, соединенного с сердечным участием к судьбам крестьян и глубоким, искренним неприятием крепостнических отношений. Эти произведения имели самый большой резонанс в литературе и в обществе. Они оказались едва ли не вершиной творчества писателя и его главным вкладом в общее движение русской литературы, о чем мы далее скажем специально. Однако в этой области у Григоровича были и другие важные достижения. Прежде всего необходимо назвать повесть «Четыре времени года» (1848) – «опыт простонародной русской сермяжной идиллии», как назвал ее в письме сам автор.

Этой небольшой повести как-то не повезло в нашем литературоведении: основываясь на авторском определении ее связи с жанровой традицией идиллии, нередко ее упрекают даже в отступлении от реализма. Между тем Григорович с полной правдивостью рисует тяжелые стороны крестьянской судьбы: постоянную жизнь на грани нищеты, полную зависимость не только от помещиков (здесь эта тема не затрагивается), но и от деревенских кулаков, владельцев мелких кустарных фабрик, держащих в своих руках судьбу оброчных крестьян. Однако в повести со всей силой звучит мысль о поэзии крестьянского труда, его связи с природой, его глубокой нравственной ценности. Это идиллия отнюдь не в смысле бесконфликтности, а лишь в том, что Григорович нарисовал счастливую трудовую семью – как впоследствии с замечательной силой сделает это Некрасов в поэме «Мороз, Красный нос». Не случайно повесть одобрили Доб-

ролюбов и Чернышевский, весьма чуткие к приукрашиванию и фальши.

На ином принципе изображения построен «Пахатник и бархатник», где разорение крестьян с дидактической прямотой связано с бездумным паразитизмом живущего в столице барина.

Окрыленный успехом «Деревни» и «Антона-Горемыки», Григорович стремится перенести достижения своих повестей о крестьянах в большую романную форму, которая, как он верно чувствует, в общем движении русского реализма именно в это время выдвигается на первый план. Вероятно, важны были для этих замыслов и слова Белинского о том, что «Антон-Горемыка» – больше, чем повесть: это роман»[1]. Опытом романов из крестьянского быта (тоже первых в русской литературе) становятся «Рыбаки» (1853) и «Переселенцы» (1855–1856).

В «Рыбаках» материалом оказывается исключительно жизнь «простонародья» – конфликт развивается в крестьянской сёмье, в среде рыбаков, фабричных, обирающих и спаивающих крестьян кабатчиков. Григорович изобразил черты разложения патриархальной деревни, и сочувствие его полностью на стороне крестьянской семьи старинного склада, хотя и ее он видит не в розовом свете, подмечая и деспотизм, и собственническую жестокость. Здесь же Григорович, как ранее в «Деревне», попытался раскрыть внутренний мир, духовную красоту крестьянского героя, с любовью рисуя Ивана. Но эти страницы не принадлежат к удачам Григоровича. Если вся «внешняя» линия судьбы Ивана – особенно сцена сдачи в рекруты (Иван из чувства справедливости добровольно идет в солдаты вместо приемыша Гришки), написана живо и точно, то изображение его душевных переживаний не дается писателю. Психологизм, быстро набирающий силу в литературе реализма, остался, видимо, вне возможностей Григоровича. Думается, наряду с общественно-политическими причинами, этим объясняется его уход из литературы вскоре после реформы. В 1864 году роман Григоровича, рисующий сцены усадебной жизни, «Два генерала» будет подвергнут резкой критике в статье Ап. Григорьева «Отживающие в литературе явления», опубликованной в журнале Достоевского. Григорович, видимо, понимал свою неудачу. Во всяком случае, в ближайшее двадцатилетие он почти замолкает как писатель.

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 10. М., 1956, с. 347.

В 1873 году выходит отдельной книгой цикл очерков «Корабль Ретвизан», написанный в результате путешествия на этом корабле Григоровича вокруг Европы по приглашению Морского министерства. Григорович повидал Данию, Германию, Францию, Испанию, корабль останавливался ненадолго в Афинах, Иерусалиме и Палермо. В этих очерках Григорович в полной мере выразился как живой и остроумный рассказчик. Однако книга эта не была новой, она просто собрала очерки, печатавшиеся прежде в журналах «Морской сборник», «Время», «Современник».

Отойдя от писательства, Григорович оставался тем не менее активным участником русской культурной жизни на других поприщах, поддерживал деловые и личные связи с большинством своих прежних друзей-литераторов.

Уход Григоровича из литературы связан был, конечно, с особенностями его мировоззрения. Его предреформенное творчество одушевлялось сильным и безусловным антикрепостническим пафосом. Хотя он видел, что отмена крепостного права не принесла крестьянам благоденствия, все же его либерально-дворянская позиция как бы выдвигала перед ним другие задачи – чисто просветительские.

Одним из важнейших дел его жизни была многолетняя работа секретарем Общества поощрения художников. Здесь он много сделал для развития связей промышленности с искусством, помогал одаренным художникам (например, И. Репину), занимался организацией выставок, расширил рисовальные классы при Обществе, библиотеку, активно участвовал в создании при нем художественного музея.

В 80-е годы Григорович возвращается в литературу. Лучшими произведениями этого времени стали рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (1883) и «Литературные воспоминания», публиковавшиеся в 1892–1893 годах.

Мемуары Григоровича при неоднократно отмечавшихся историками литературы неточностях и субъективном освещении некоторых литературных деятелей все же сохраняют значение ценного исторического свидетельства. Но вместе с тем они несомненно обладают явными чертами собственно художественного произведения. Комментатор и автор предисловия к первому советскому изданию «Воспоминаний» В. Л. Комарович совершенно справедливо писал о них: «Фактический – личный и бытовой – материал в этих «Воспоминаниях» очень прихотливо сплетается

с анекдотом и таким образом сплошь и рядом оказывается в подчинении чисто литературным заданиям комического портрета или анекдотической фабулы»[1]. Особенно это относится к обрисовке второстепенных литературных деятелей или случайных знакомых мемуариста. «Литературные воспоминания» дают необычайно яркую картину литературной жизни. Некоторые эпизоды живо напоминают страницы русской классики. Так, описание пьяного Булгарина, пляшущего на свадьбе одного из литераторов, необычайно напоминает сцену пляски Юсова в трактире из «Доходного места» Островского. Но здесь же находим и серьезные, глубоко прочувствованные страницы о Некрасове, Белинском, Достоевском и других великих современниках Григоровича, которых он близко знал и любил.

В 1893 году русское общество торжественно отметило пятидесятилетие литературной деятельности Григоровича, а в 1899 году писатель умер, ушел вместе с XIX веком, целый пласт жизни которого он блестяще выразил не только своим литературным трудом, но во многом – самим типом своей писательской личности.

* * *

В обзоре «Русская литература в 1847 году» Белинский, характеризуя отношение читателей к произведениям натуральной школы, рисует целый ряд сцен, когда в сытый покой дворянского читателя, резко нарушая его душевный комфорт, вторгается новая литература. Назван здесь и «Антон-Горемыка» Григоровича, который вызывает гнев господина, задумавшего дать бал на присланные недавно оброчные деньги. «Прочь, негодная книга!» – восклицает этот вымышленный персонаж статьи великого критика. Этот пассаж Белинского очень точно выражает существеннейшую перемену в самой «модальности» эстетики: в отношениях литературы с читателем появляется «повелительное наклонение», долженствование. «Антона-Горемыку» помещик хочет – не хочет, а должен знать, читать – обязан. Обязан, как считает Белинский, именно своим дворянским, помещичьим положением.

Раньше так не было. Новое наклонение принесло именно новое направление – натуральная школа. Прежде читали,

---

[1] Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1928, с. X.

что хотели. Конечно, этому «прежде» неполных пятьдесят лет, считая с карамзинских времен, и совсем мало. если считать с пушкинских. Читательский рынок, спрос только что начал складываться. Но читатель уже привык к некоторому тону. Читателя принято было всячески поддразнивать, запугивать отсталостью.

Основной читатель был подписчик, основной подписчик — помещик, и был ли, не был ли он податлив на запугивания, боялся ли отстать от столиц или нет, но если уж подписался, читал, стало быть, принимал условия игры, принимал русскую литературу, какой она была. Он принимал литературу, какая она есть, и литература принимала его, каков он есть — со всем его складом личности и вкусом, только образовывая, шлифуя этот самый вкус. И вот оказывается, такой как есть, читатель-помещик больше не устраивает, и вкус его дворянский, воспитанный Державиным, Жуковским, даже Пушкиным,— вкус этот, какой он есть, тоже не годится. И не в совершенствовании, не в отставании, не в развитии этой вот собирательной читательской личности дело, а в том, что именно эта личность в целом, изначально как бы и ставится уже под вопрос. Оказывается — нет, следует, надлежит вам читать именно это, что мы вам предлагаем, хочется вам того или не хочется, а верней даже так: именно потому что не хочется, потому и надлежит. В сферу вкуса (только сложившегося), сферу эстетики, синкретически работающей со всей совокупностью духовного опыта, вдруг вторгается жизненная конкретика, вторгаются как бы посторонние, социоэтические факторы, вторгаются не сказать грубо, но активно, насильственно, именно с целью перестроить и сам опыт, изменить что-то в нем. Выглядело все это разрушением эстетики, крушением вкуса, отрицанием литературы. Момент знаменательный, узловой момент в истории русской литературы XIX века, и с именем Григоровича момент этот связан едва ли не в первую очередь. Даром что Григорович для нас сейчас практически заслонен собратьями-писателями, и прежде всего ближайшим литературным соседом и старинным соперником — Тургеневым.

В 1847 году журнал «Ералаш» напечатал карикатуру: Григорович роется в помойке, что-то вынул и внимательно разглядывает. Сверху из окна баба выливает ведро помоев. Под карикатурой подпись: «литератор натуральной школы» и цитата из Крылова: «Оно не столь хоть видно, да сытно!»

Именно Григорович выразил некоторую тенденцию от-

хода от литературы – или радикальных перемен в ней. Это как посмотреть. С одной стороны – шаг от литературы. Куда? Очевидно, в политику. Но какая, собственно, политика была во времена «Деревни» и «Антона-Горемыки»? Кружок Петрашевского?

Разумеется, была политика официальная, правительственная, был чиновничий аппарат, в котором, кстати, наверняка были и люди, сочувственно относившиеся к изображению бед Антона – если не читательски сочувственно, то граждански. Но в отношениях с самим создателем Антона они все равно оставались только читательских. Все продолжало естественным образом оставаться на чисто литературной почве. И сам автор, Григорович, как мы знаем, до конца дней продолжал быть писателем, литератором из литераторов. Причем Григорович отнюдь не изменял порывам молодости. Уж скорей, наверно, можно сказать про Тургенева, или Писемского, или Гончарова, что они отошли от тенденции, хоть лучше сказать – шли за ней, шли вместе с ней и естественно менялись вместе с ней.

Григорович же менялся, пожалуй, меньше всех. Тот заряд эпатажа, отрицания литературы, который нес натуральный очерк, пафос факта, который надо знать, то самое повелительное наклонение Григорович пронес в редкостной сохранности через всю свою писательскую жизнь. Пожалуй, литература изменилась больше, чем Григорович. Не Григорович – литература поменяла модальность и усвоила – а может быть, присвоила – повелительное наклонение по отношению к читателю. Направление – вот как это называлось. Русскому писателю полагалось быть с направлением – и сколько же насмешек над этими писателями с направлением рассыпано у Чехова, которого Григорович успел приветствовать и благословить на писательство...

Казалось бы, чего еще желать? Литература неустанно направляла, наставляла читателя на путь истинный, напоминая ему, образованному русскому читателю, о его долге перед народом, в большинстве неграмотным и необразованным. Литература утверждала ценности превыше литературы, литература делала жест отказа от себя, и... продолжала оставаться литературой. Никак не менее литературой, чем в старые, «дворянские» времена. Больше – литература как вид деятельности, конечно, развилась с ростом читательской аудитории много против прежнего. Такое самопожертвование должно было выглядеть своеобразно. И поскольку приводило к процветанию, и поскольку само

это процветание казалось сомнительным – и едва ли одному Чехову. В каком-то смысле жертва, можно сказать, действительно осуществилась, но какая-то не та жертва. Не тем пожертвовала литература: «писатель с направлением» по существу означало – ну, разумеется, не бог весть какой писатель, но с направлением же – и это главное.

Утилитаристская критика 70–80-х годов, считавшая, что она наследует и делает более радикальной идею Добролюбова и Чернышевского о приоритете реальности перед искусством, нанесла явный ущерб одной из ярчайших реальностей всей жизни, всей истории XIX века – русской литературе, которая стала утрачивать себя именно как литература, говоря современным языком – снижать профессиональный уровень.

Еще жили, писали те, кого мы сегодня называем классиками, но что-то уже случилось: проповедь утилитаризма, служения литературы более важным задачам свое дело делала. Эта мысль казалась такой честной, такой передовой, такой очевидной, а позиция сторонников «чистого искусства», «искусства для искусства» и правда не могла ведь не выглядеть сословной, косной, даже своекорыстной.

И весь этот сложный комплекс последствий возводим к резкой выходке, диссонирующей ноте, которую внесли в литературу когда-то, еще в 40-е годы, молодые Григорович и Тургенев: вот вы здесь пишете, заняты литературой, а вот она жизнь, это надо знать, хотите вы или нет, с этим надо что-то делать...

Эта «жизнь» – это был мужик и его положение. Народ. Народ как феномен вроде грозящей кометы, природу которого вдруг стало необходимо знать досконально – знать, чего ждать. Народ как сакральное слово, в котором ключ ко всем загадкам. «Народ» – в 40-е годы было слово на редкость отчетливо понимаемое, точно локализованное социально: народ (простой народ) – это было крепостное крестьянство. Изучить и понять народ – это была действительно насущная, практическая, понятная задача, поскольку народ и не народ – образованные люди – просто существовали в разных культурах.

Пока не отменено было крепостное состояние, «народ» был как нельзя отчетливей отделен от «образованной публики» насильственной зависимостью – и зависимостью, если брать в общей массе, именно от этой образованной публики. И как-то оспаривать или брать под сомнение эту рез-

кую отделенность народа от публики, и зависимость от нее, и угнетенность было не только невозможно, – для представителя публики – но и просто нечестно. Можно сказать, литераторы – во всяком случае передовые литераторы – просто должны, обязаны были и признавать феномен народа, и стремиться познавать его.

А в общем народ как основная обязанность русской литературы, как тема тем, как точка отсчета – эта идея уже пропитывает сам воздух, которым дышит новое поколение классиков русской литературы – классиков прозы. Нужен, собственно, центр кристаллизации, чтобы начался интенсивный процесс создания, отработки идеи, – и таким центром и стал не кто иной, как Григорович с его «Деревней». Демонстрация социальных контрастов как таковых – прежде всего эта-то определенность и дает основания связать тему с именем Григоровича. В этом и сила, но, что говорить, и не одна сила. Конфликт – всего лишь заявлен.

Тургенев изначально, с «Записок охотника», включает, вплавляет этот конфликт в литературу, в стиль. Тургенев – стилист, литератор по крови. На уровне органики письма, очерка, художественной ткани этот конфликт между литературой и реальностью у него выливается в хорошего вкуса умолчание, подтекст, отточие. Это возвращает нас к «Тамани» и «Капитанской дочке».

Важно, однако, что это очерки физиологии деревни. А верней – и это очень существенно, это-то и подымает так «Записки охотника» – очерк, в который включен и автор-очеркист. Тургенев отказывается от имитации документальности, независимости изложения от личности автора. Повествователь – непосредственный свидетель событий. Иначе говоря, это изящный виток возвращения очерка к художественной лирической прозе вроде «Героя нашего времени» – или обогащения прозы опытом очерка. А что делает эти очерки очерками – понятно: материал.

Явно это выражается в способе его организации – «Записки охотника» располагаются все, так сказать, через запятую, как однородные члены предложения. А внутренне это все тот же вопрос отношения к реальности в смысле самой насущной остроты, и под всей великолепной литературой вопрос стоит столь же глубоко, сколь несомненно. На уровне сюжета, на уровне открытого обсуждения в тексте Тургенев возвращается к обсуждению проблемы в романе – «Отцах и детях» прежде всего. Тут уже все высказано, выговорено, и дальше у Тургенева работает уже литература, манера уже нажитая, раз оплодотворенная эффектом отри-

цания литературы и его ассимилировавшая, но сам этот эффект — эффект натуральной школы, «эффект Григоровича», условно выражаясь,— он уже не актуален.

Наиболее же известен нам «эффект Григоровича» по... Толстому. Вот кто был настоящий Базаров русской литературы. Литература — и насущная жизненная реальность, писательство — и хлебопашество, искусство как искусственное занятие, противополагаемое простой правде, а главное, народ и не народ, народ и мы (или вы) — все эти конфликты, проблемы и антиномии у Толстого просто хлеб мировоззрения. И без процитированного выше признания писателя видно, что повести Григоровича были сильнейшим читательским впечатлением юного Толстого, впечатлением, которого хватило на весь долгий путь Толстого. Да что юношеские впечатления: «Пахатник и бархатник» Григорович написал чуть не на пятнадцать лет позже, Толстой — уже известный писатель, автор не только «Севастопольских рассказов», но и трилогии, он коллега Григоровича по «Современнику», он не может не ощущать свою толстовскую силу. И тем не менее «Пахатник и бархатник» кажется нам сейчас ортодоксальнейшей толстовской вещью — разве что написанной не в выраженной толстовской манере. Конечно же, Григорович так предвосхитил позднего Толстого прежде всего потому, что сильнейшим образом на него повлиял — повлиял на редкость явно и непосредственно, как бы ни показалось нам теперь это странно.

И взяв во внимание и севастопольских солдат, и «Казаков», и Платона Каратаева (его первого!), и всех толстовских мужиков и простолюдинов, все-таки придется признать, что если Григорович и поразил современников, в первую голову выведя в литературе «мужика как человека», то повлиял он на них главным образом все же не этим. Или, верней, этим же мужиком, но не прямо, а косвенно — не столько самим мужиком, сколько проблемами, какие тот нес, острой постановкой вопроса.

Изображать мужика как человека — это Толстой сделал одним из важнейших пунктов своей программы и осуществлял его всю жизнь с толстовским упорством, талантом и энергией. И хотя никто, действительно, не развил в такой мере это художественное открытие Григоровича, все-таки ни Григорович, ни даже Толстой не сделался Некрасовым русской прозы. И для их романов и повестей стихия народного сознания не значила того, что значила для песенной некрасовской поэзии. Мир если не непременно крестьянина, то, говоря шире, человека простого сознания вошел в

русскую литературу скорей через эпический канон драматургии Островского, через сказовый строй лесковской прозы.

Аполлон Григорьев, первым оценивший масштаб и значение Островского, к Григоровичу отнесся более чем сдержанно. Он ставил в упрек Григоровичу недостаточное знание русского простонародного быта и даже языка простого народа. «В г. Григоровиче, авторе повестей и романов из народного быта, мы видим не хозяина в описываемом им быту, свободно распоряжающегося типами и языком, а заезжего гостя-путешественника...» [1]

Такими сомнениями Григорьев ставил, по сути дела, под вопрос и сам «эффект Григоровича» – именно то, чем и поразил тот современников, ту точку, с которой ведет начало «тема народа» в современном, привычном понимании.

Трудно судить о точности григорьевской критики, безошибочности замечаний – насколько верен, насколько неверен Григорович в оттенках просторечного словоупотребления, – сейчас на это едва ли твердо ответят и историки-диалектологи. Речь крестьян Григоровича может быть более, а может быть и менее выразительна, но фальшивой на слух она не кажется. Что же до реалий быта, нам кажется, они могут выглядеть у Григоровича очень живыми и подлинными. Знает ли, нет ли Григорович, что лежит в избе под какой лавкой (а в незнании его упрекнул Григорьев), – нам сейчас сказать трудно, но какими глазами оглядывает эти лавки сирота Акулина («Деревня»), не видя угла, куда приткнуться, – Григорович явно знает и чувствует и передает это чувство читателю. Неважно же написанным может оказаться и то, что вовсе не требует никакого особого знания и специальной подготовки, – скажем, пейзаж. «Косые лучи солнца, которое склонялось к горизонту, обливали золотым блеском бескрайние поля» («Переселенцы», гл. IX) – пожалуй, можно подумать, Григорович подобной фразой вздумал дружески спародировать Тургенева. «Рыдания разрывали грудь, и потоки слез струились по щекам ее» («Переселенцы», гл. X) – а так Тургенев не напишет. Это Загоскин или Марлинский. «Ознакомясь потом близко с усталостью ног и спины...» («Гуттаперчевый мальчик») – а такое, пожалуй, и у Загоскина не отыщешь. У Григоровича вообще не было той школы, которая отличала Тургенева, пристально-

---

[1] Москвитянин, 1855, № 4, с. 107–108

сти, выверенности письма. Писал Григорович много, «Проселочные дороги» написал даже прямо набело – о чем впоследствии выражал сожаление в своих мемуарах: «Я вообразил, что могу писать, не стесняя себя беспрестанными поправками». Само это признание отдает некоторым писательским простодушием. «Стеснять себя поправками» – трудно представить себе, чтобы тот же Тургенев не то что выразился – подумал так о работе над фразой – она-то и была для него художественной реализацией, а никаким не стеснением.

И однако, Григорович бывает замечательным художником. «Солнце уже село, но над самым двором висело круглое румяное облако, которое делало предметы яснее и давало двору больше света, чем в иной полдень» («Переселенцы», гл. III). «Впрочем, и рано было – даже на востоке, который светлел и постепенно делался алым, кое-где еще вздрагивали звезды» («Переселенцы», гл. VI). «Старики с всклокоченными волосами, в которых повисли соломенные стебли, – знак того, что народ перебрался уже на летние квартиры» («Переселенцы», гл. II). Тут уж трудно заподозрить, что Григорович плохо знает то, о чем пишет...

Григорович к созданию «второй реальности», ко второму пику, взлету русской классической литературы (считая первым поэзию, в которой состоялся русский литературный язык) не причастен по-настоящему, как причастны Толстой и Тургенев. Чтобы держаться на этой стремнине, магистральном пути романной прозы, нужны были усилия и собранность, которые, видимо, были не в его писательской натуре. Из пронзительного переживания реальности, которое нес натуральный очерк, вырос классический реализм – когда автор выполнял все, к чему обязывала такая пронзительность, вживался в реальность безупречно и шел по этому пути строго до конца. У Григоровича мы видим яркие вспышки такой реальности, но в общем ему ближе свобода, которую дает позиция рассказчика, по-своему он, так сказать, верен очерковости, но очерк он понимает как жанр не очень строгий и, надо сказать, иной раз убедительно доказывает плодотворность такой позиции. Он пересекается с магистралью классического романного повествования, следует по ней – когда ему по пути (вспомнить хотя бы, как естественно описаны в «Переселенцах», скажем, скитания Пети по жаре – перед побегом и после побега от Верстана), – но может с легкостью отойти в сторону, перейти к беседе с читателем или прибегнуть к приемам беллетристики,

в общем, откровенно развлекательной – во всяком случае, не на уровне строгой логики толстовского или тургеневского романа, – принявшись вдруг сводить достаточно произвольно сюжетные линии и судьбы героев романа. В сущности, так он как бы вновь уходит от требований строгой логики в традицию свободных отношений с читателем, некоторого сговора с ним – ставя эксперимент на повествовании или обсуждая возможности...

Словом, с точки зрения магистральной линии реалистического романа, проза Григоровича то на линии, то в сторонке, то совпадает, то пересекается, то сзади, а то словно бы и впереди. Да, и впереди, если иметь в виду, что не кто иной, как Толстой с опытом «Войны и мира», вершины вершин реалистического повествования, по сути, обращается к образцам, которые дал Григорович, и возводит их в степень своего рода канона нравоучительной прозы.

Таков излюбленный Григоровичем прямолинейный, чисто очерковый подход к материалу с эпическим, не подносящим никаких неожиданностей сюжетом, и главное – параллельность повествования – когда своим чередом пахатник, своим чередом бархатник, своим чередом акробат Беккер и мальчик Петя и своим же чередом тетя Соня и девочка Верочка, так что линии их (в отличие от некоторых сплетений финальной части тех же «Переселенцев») не пересекаются нигде в сюжете, где им пересекаться не обязательно, но непременно пересекаются в общем повествовании – там, где уже не могут не пересечься. Бархатник Аркадий Андреич Слободской может не знать и не знает ничего о пахатнике деде Карпе, но он не может не притеснять его, не приносить ему бедствия – и приносит его.

Разве не выиграл бы сюжет в эффектности и занимательности, представься случай мальчику Пете и девочке Верочке не то что познакомиться по всей форме, но хоть переглянуться, запомнить друг дружку до того, как Верочка увидит Петю на манеже? Просто трудно сказать, кто из писателей упустил бы такой выгодный ход, – он кажется прямо-таки неизбежным, почти естественным. Только не Григоровичу. Избегая того, что может быть правдой, он твердо держится того, что не может правдой не быть. Никаких совпадений, никаких случайностей – самых правдоподобных. Верочка – просто та, чья судьба по социальной шкале дальше всех отстоит от судьбы Гуттаперчевого мальчика и особенно резко с ней контрастирует, – но это совершенно неизбежный контраст. Среди публики на самых дорогих местах

обязательно будет не та, так эта Верочка. И не может не пережить потрясения вместе со всей публикой, так или иначе, не сможет не составить контраста злополучному Гуттаперчевому мальчику...

Такой вот фронтальный, объективный подход к изображаемому оказывается в своем роде классическим для литературы социальных проблем: параллельность, разделенность повествований соответствовала драматической разделенности русского общества – а это, собственно, и была проблема, с которой выступил Григорович и для которой он нашел такую форму, естественно сочетавшую очерк с беллетристикой.

Нет спора, для Григоровича «народознание», конечно, было острейшей художественной проблемой, но проблемой было оно и для Григорьева, да и для русской литературы в целом. И в недоверчивости, с которой Григорьев отнесся к речи мужиков Григоровича, слышится и ревнивое чувство, хотя слышится и иное. Общность интереса выявила коренное расхождение: делом Григорьева было как раз отыскивание общенациональной художественной почвы, утверждение общности различий. И «почву» Григорьев понимал именно как почву, плодородный слой, а не такой, в который непременно следует тыкать кого-то носом, который надо знать, надо видеть и т. п.

Иначе говоря, именно модальности долженствования Григорьев и не принимал в «деревенской прозе» Григоровича – она должна была казаться ему нарочитым перепевом уже пройденного литературой. И Григорьева тем легче понять, что свою драму литература «золотого века» проживала, может быть, глубже всякой другой, отнюдь не уходила от своих долженствований и вообще чистоплюйством не грешила – и преодолела, претворила, опосредовала художественно все с полнотой, может быть потом уже и не достигнутой. Да и вообще Григорович все-таки не Пушкин и не Островский. Это понятно, но не менее понятной остается художественная позиция Григоровича и всех, кто шел за ним.

Художественная позиция, ставившая под некоторое сомнение и художественность как таковую. Литература, чтобы быть литературой, вечно стремится стать чем-то большим, чем литература, включить в себя нелитературу, даже отрекаться от литературы. И тогда, во второй половине 40-х годов, прежняя литература становилась литературой прежде всего именно в этой точке, на острие «эффекта Григоровича»: николаевщине оставалось стоять около десятка лет,

крепостному праву — полтора. Различия и контрасты состояния сословий резали глаза как никогда после декабристов и все больше ощущались как национальный скандал, позор. Подошел момент, когда литература, словесность действительно задолжала крепостному, задолжала слишком прямо, непосредственно. И Григорович сумел в тот момент возглавить эту литературу долженствования, может быть и потому, что сам Григорович прямей других относил это долженствование к себе. Он считал, что должен, обязан узнавать быт, жизнь простого русского человека и склад его речи еще и оттого, что с детских лет болезненно переживал отношение к себе, как полуиностранцу. В возрасте 12—13 лет он даже не вполне чисто говорил по-русски. И он, видимо, стремился сперва только наверстать, не отстать, затем вошел во вкус, втянулся.

Григорьев называет Григоровича «путешественником» — но так же он называет и Тургенева. И, конечно, с большим основанием — нигде в своей прозе Григорович не предстает, скажем, ружейным охотником, как Тургенев, наоборот, усиленно пропагандирует идеал оседлого, живущего в своем поместье и всячески заботящегося о крестьянах помещика-хозяина. Насколько успешно хозяйничал помещик Григорович в своем именье Дулебово, сказать трудно, но что писатель Григорович бывает занят проблемами деревенского хозяйствования отнюдь не только по обязанности, но с неподдельным увлечением,— это почувствует любой читатель. Не в укор Тургеневу — Тургенев в «Записках охотника», конечно, не выглядит барчуком-верхоглядом и не упускает случая обронить замечание, из которого читатель может видеть, что серьезность и хозяйственность ему, автору «Записок охотника», отнюдь не чужда. Просто он считает как бы сам предмет недостаточно занимательным, чтобы предлагать его вниманию читателя специально. Иное дело — охотничьи рассказы как предлог для беседы...

Григорович проще смотрит на дело. Он не предлагает читателю исключительно собственные впечатления и не гарантирует тургеневской чистоты текста. Он просто описывает, стремится описывать то, что знает, и знать то, что описывает. Это не всегда удается одинаково хорошо, и долженствование не всегда сказывается в положительном смысле, зато когда удается, когда происходит настоящее вживание в описываемое, читателя может ждать такое, чего и у Тургенева, пожалуй, не встретишь. Причем на самой что ни на есть тургеневской территории — Григорович так пи-

шет сцену объяснения помещика Сергея Васильевича с управляющим Герасимом («Переселенцы»), что привычная, отточенная на таких именно ситуациях умная тургеневская ирония кажется изящным злословием. Видимое простодушие-то, оказывается, касалось больше манеры, а не сущности – а вот дошло до существа дела, и Григорович – такой умница, что рядом с ним не знаешь, кого и поставить.

Что удивляет и кажется неожиданным – это внутреннее качество иронии. При всем уме и юморе Тургенева, при всем его понимании описываемого – а без такого всеведения, безусловного понимания творцом своего творения не создашь, не сотворишь второй реальности, сопоставимой с первой, самой обычной – при всем этом персонажи у Тургенева довольно четко делятся на смешных, противных и близких автору – и близкие автору редко бывают смешными. У Григоровича и сцена похожа, и люди похожи на тургеневских смешных (впрочем, и не только тургеневских), но, начав наслаждаться убийственной иронией ситуации, в какой-то момент начинаешь словно бы запинаться, сбиваться. Что-то мешает привычному удовольствию. Удовольствие какое-то иное – и дойдя до второй беседы с управляющим, начинаешь догадываться, что здесь не так. Как-то странно, что Сергей Васильевич не настаивает на своих смехотворных беседках и клумбах и даже не избегает бесед на эти темы, а слушает старика Герасима и, мало того, – начинает нехотя внутренне соглашаться, что кровля действительно нужней клумбы... У Белицыных есть шансы – вот что сбивает с традиции. Автор относится к ним не совсем так, как мы привыкли, – он относится лучше. Наконец, понимаешь, что эти Белицыны, собственно, неплохие люди – и смешные, и нелепо беспомощные при всей своей помещичьей власти, – но вовсе не только смешные, не только жалкие – люди как люди. Без лишнего резонерства и рефлексии Григорович умеет удержаться от того, чтобы делать этих людей Белицыных ответственными лично за общий порядок вещей, вымещать его на них. Сергей Васильевич с супругой как-то барахтаются, путаются в благородных фразах, и мы с высоты нашего опыта прекрасно понимаем, как смехотворны эти литературно-благородные слова и фразы перед лицом реальности.

Белицынские фразы звучат для нас достаточно однозначно. И вдруг оказывается, что особенно свысока нам глядеть нечего. Опыт-то наш – опыт именно что чистой воды литературный, из литературы, вовсе не превосходящей

эти страницы Григоровича. Слова Белицыных, может быть, и нелепы, но с самими Белицыными — сложней, и слова эти они произносят не с тем, чтобы за них прятаться, собственные слова их к чему-то обязывают, с обязанностями они справляются неважно, сами же маются этим и в конце концов действительно пытаются по мере возможностей и разумения согласовывать эти слова об обязанностях, какие налагает управление живыми людьми, с собственными делами. Проект Сергея Васильевича об использовании саратовского луга оказывается несостоятелен, но это все-таки не клумба и не выпрямление аллеи. Сильней всего знаменует провал намерений помещика гибель Лапши, но читатель и сам Сергей Васильевич с женой понимают эту гибель по-разному. Читатель никак не может быть уверен, что Лапша оправится до конца от своего кашля, оставшись на месте, и подавно — что вся семья, затравленная соседями и Филиппом, сможет встать здесь на ноги, как получилось на новом месте. Сергей же Васильевич, отправивший переселяться именно семейство Лапши, наполовину как раз имея в виду их пользу, не снимает тем не менее с себя ответственности за его смерть — тяжелое впечатление от нее и служит одним из серьезных толчков к перемене образа жизни помещика. При том, что петербургские долги уж конечно фактор не менее серьезный.

Невозможно видеть здесь хотя бы тень оправдания помещичьего управления крепостными. Такая апология начисто зачеркивала бы смысл и пафос творчества Григоровича. И возражениями с точки зрения реальности «Переселенцы» обставлены с избытком — только возражения эти особой природы — очень интересной и читательски нам, пожалуй, не очень привычной. В каких нарочито идеальных, можно сказать экономически стерильных, условиях проживают благополучные обитатели деревни Марьинское — это можно оценить только в сравнении с «Деревней» и «Антоном-Горемыкой». «Переселенцы» и следует воспринимать в контексте всего творчества Григоровича как непосредственное продолжение все того же разговора о деревне, мужике и помещике. Что Марьинское — деревня какая-то совершенно особенная, одна такая из всей окрестности — об этом читатель и прямо предупреждается со страниц самого романа. До какой безысходности может умножать крестьянское лихо без того крутые тяготы трудовой жизни произвол и корысть помещика, управителя, чиновника — это Григоровичем показано всерьез на примере судьбы горемыки Антона. А вот если представить, вообразить себе идеальный слу-

чай или собрать воедино не совсем невозможные в отдельности, но крайне маловероятные в совокупности благоприятные обстоятельства – и вернуться все к тому же разговору – что тогда? Тогда, как видим, сам разговор поворачивается чуть иной стороной – но существо его и качество остается прежним. По существу разговор такой же серьезный, на ту же тему. Так всерьез и основательно о мужике и барине может, пожалуй, толковать Толстой с его практическим опытом усадебного хозяйствования – только у Толстого серьезности темы будет соответствовать и полная серьезность тона, обаяние же Григоровича для читателя, который пробьется к нему через длинноватости, шероховатости, тяжеловатости, а иной раз, напротив, некоторую уторопленность, легковесность письма, в том и состоит, что он удивительно умеет сочетать серьезность и вдумчивость с легкостью и шутливостью. И управитель Герасим, только и забот которому – хлопотать о благе и процветании мужиков и господ, а вся корысть – птички певчие – шутка, и баре Белицыны с их обостренной, утонченной культурностью, чувствительностью, которую вот бы да повернуть первым делом туда, где она всего нужнее – на их собственных крестьян, живых людей, зависимых от них, – своего рода шутка, анекдот – но анекдот живой, оттого и играющий так всеми красками при соприкосновении с реальностью, хоть бы и тоже утрированной в своем благополучии. Чего стоит хотя бы одна фраза помещика Сергея Васильевича: – Да, лето было прекрасное. Можно даже сказать – замечательное было лето. Помнится, всего только раз и шел дождь...

Как остроумный собеседник Григорович может ничуть не уступать Тургеневу, но прекрасно знает цену острой детали, которая может стоить страниц самого прекрасного описания, и дает полную волю своему дару собеседника, описывая белицынское житье в Марьинском. Что ни говорить, а эта линия идет легче, естественней всего, тут долженствование и желание совершенно сливаются и Григорович самым натуральным образом вживается в изображение помещичьего семейства и входит в его положение. Но все с одной и той же стороны – стороны именно помещичьей – т. е. отношения помещика к своему поместью, хозяйству и мужику – как в конечном счете, так и непосредственно.

И в легкие блестящие фразы и наблюдения выливаются здесь у Григоровича размышления очень глубокие над проблемами далеко не легкими – не легкими и для нас со всем

нашим опытом, и литературным и историческим. Вспомнить хотя бы, как деревенское солнышко только и дожидалось случая и наконец дождалось, сподобилось осветить дотоле никогда не виданную им красоту – онегинский набор безделушек, которые, однако, совершенно напрасно так называют – иные из них стоят куда дороже, чем дельные вещи... Сарказм великолепный, но дело в том, что на сарказме все не кончается: солнышко у Григоровича-то ведь действительно радуется – и есть чему...

Проще сказать, сущая правда, что до тех пор никогда, никакое изделие человеческих рук так не сверкало под солнышком – здесь, в Марьине.

А меткое, изящное рассуждение Григоровича об эстетическом чувстве «простолюдина» – рассуждение поистине классически здравое. И знаменитое: «Природа не храм, а мастерская» – после него, пожалуй, прозвучит фразой, бьющей на эффект. Да не храм и не мастерская, или и храм и мастерская, если угодно, но прежде всего просто жилище, где человеку приходится жить и думать о пище и тепле для себя. И сегодня нам прибавить что-нибудь разумное к этому словно бы вскользь пущенному салонному замечанию чуть не полуторавековой давности, похоже, особенно трудно...

Написанное Григоровичем как бы предполагает несколько иной, чем у нас, читательский навык. Описания Григоровича могут показаться растянутыми, тяжеловатыми, но читателя, который не станет слишком торопиться, ждет вознаграждение: именно школа физиологического очерка, вкус к добросовестному, обстоятельному изображению делает, скажем, развернутую картину усадьбы в «Переселенцах» для нас сейчас интереснейшим, просто неоценимым художественно-этнографическим свидетельством. Нет спора, Григорович как художник в целом все-таки уступает Тургеневу, а Гоголю, наверно, и подавно. Однако именно за счет того, что подобное же описание у Тургенева будет субъективней, импрессионистичней, а у Гоголя – специфичней, гораздо резче, Григорович – художник как бы более нейтральный, то художник, а то скорей собеседник. А в собеседнике мы, в конце концов, ценим не только выразительность речи, но и самого собеседника. И, конечно, предмет беседы. Привыкнув же к длиннотам Григоровича, улавливаешь в них и свою выразительность, свою интонацию, а главное, перенимаешь живой интерес к предмету. Его проза предстает чем-то вроде первых фотографий, успевших запечатлеть время самое давнее.

Но описывая Белицыных с их проблемами, Григорович полностью в своей стихии. Это очерк быта если не собственного, то наверно уж соседей или близких знакомых. Предмет и собеседник сходятся весьма близко, автор контролирует ситуацию и держит наше читательское внимание непринужденно и уверенно. Решает в конечном счете качество, добротность мышления и доброта души рассказчика: мы ему уже верим, даже если самый рассказ заканчивается словно бы наспех. Что управление имением берет в руки жена Белицына и мало-помалу начинает налаживать хозяйство – это кажется похоже на правду. Во-первых, потому что это забавно, это опять анекдот, прибереженный под конец главный анекдот о Белицыных – хозяевах. Во-вторых, как-то убеждает параллель: растяпа-Лапша – Белицын, энергичная Катерина – Белицына. А в-третьих и, может быть, главных, срабатывает тот самый подтекст, глубина и добротность размышлений автора о все той же проблеме, которую здесь, в этой точке, пожалуй, лучше всего определить как проблему народа и культуры. Или проблему культурных и реальных потребностей. Сопоставление дает, как видим, богатый материал для контрастов, острых и смешных анекдотов, но это вовсе не значит, что культура просто пасует, как-то осмеивается и уничтожается. Все куда сложней и интересней. Чета Белицыных – в высшей степени продукт этой самой культуры, но если Сергею Васильевичу в самом насущном для него практическом деле эта культура и впрямь скорей помеха, то с Александрой Константиновной, похоже, не совсем так. Это ведь на ее «безделушках» так беспримерно ярко засияло деревенское солнышко, и для кого же, как не для нее, прежде всего пришлось прикупить Латура к новому интерьеру... Тот вид, форма культуры, уже почти что искусства, которая столь восхитительно, анекдотически контрастирует с деревенской простотой – разве это не культура, не культ женщины в первую очередь, ее потребностей и даже прихотей, бесконечного совершенствования ее вкуса и утончения чувства? По крайней мере, так предполагается... И что Александра Константиновна, которую ее супруг, добросовестно и разорительно культивировавший ее чувства, считал именно по этой причине совершенно непригодной к практике деревенской жизни, оказалась наоборот практичней и сильней Сергея Васильевича – как это понимать? Что культура все-таки не помешала или что культура все-таки и помогла? А может быть и того и другого понемножку?

Мальчишка Фебу гимн поднес.
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему, вопрос?» –
«Пятнадцать». – «Только-то? Эй, розгу!»

Мальчишку секут за бойкое не по годам поведение, но скажи Гораций или сам Феб мальчишке, что он «не знает жизни», – пушкинский мальчишка навряд ли понял бы, о чем речь. Навряд ли уразумел бы идею, что «жизнь» не там, где ты, что «настоящая жизнь» – только не твоя жизнь, за «правдой жизни» надо куда-то отправляться в экспедицию. Добро бы за наукой, за образованием... Отношение к таким понятиям, как «жизнь», «правда жизни», как к объектам некоего естественно-научного изучения – идея позднейшей эпохи, и о самых серьезных, настоятельных резонах такого отношения мы уже говорили. Сами же мы, сегодняшние читатели, застаем идею трансформировавшейся. Мы давно как-то не удивляемся хорошо сплоченной специализированной *деревенской* прозе, не удивляемся и когда деревенский прозаик объявляет сам именно деревенскую прозу носительницей народной правды, уверенно именуя собственное свое писательское слово прямым, пророческим. И даже как должное принимаем, когда выдвигается вперед перед всеми прочими деревенский писатель именно как глашатай этой особой правды, учитель жизни, народный назидатель – как будто все еще мы неграмотные, как будто мало нас назидали, как будто жизни учат, а не учатся, и как будто литература – рупор, техническое приспособление для некой правды, идущей извне и свыше, а не серьезное дело, доказывающее, добывающее каждый раз свою правду сейчас и здесь – в строке и на листе. Или не доказывающее. И тогда пророческое, особое слово звучит не более внятно, чем «Азия, Озия и Ельзозия» из «Бобыля» Григоровича, только не так складно и не всегда безобидно.

Нельзя не признать, что Григорович первым подал пример состязательности в «познании жизни», – и сравнительно быстро начал, по мнению многих современников, проигрывать в состязании, уступать писателям-разночинцам младшего поколения, само происхождение которых уже как бы давало им бесспорный мандат на лучшее знание жизни простого народа. Несомненно, Помяловский, Н. и Г. Успенские или Решетников – писатели очень интересные, а «Подлиповцы» нам, например, вообще кажутся произведением, эпическое и лирическое качество которого до сих пор остается недооцененным. И однако сегодня чисто читательски

трудно понять, почему эти писатели должны как-то закрывать, отменять Григоровича. Сам Григорович едва ли понимал свою задачу, так сказать, количественно – нырнуть глубже других в гущу жизни. Обозначив весьма отчетливо тенденцию, он вовсе не стремился ее экстраполировать, непременно доводить до крайностей, до погони за универсальным жизненным опытом или идеалом максимального опрощения.

Он дал классический образец сопоставительного очерка социального контраста, и не кто-нибудь, а сам Лев Толстой, при всей своей писательской силе, нельзя сказать «перекрыл» Григоровича в этом, а бережно следовал ему и внимательно у него учился.

«Переселенцев» трудно сравнивать с «Войной и миром», но с «Войной и миром» трудно сравнить и что бы то ни было, притчи же Толстого, в общем, вполне можно сравнить с очерками Григоровича без особого ущерба для последних – у всех свои качества. Те – социально-философские, а эти – социально-бытовые. Это литература долженствования, и если за Толстого – его писательское уменье, качество ткани, то за Григоровича – непосредственность, ощутимая и век спустя живая конкретность, с которой все-таки легче «проглатывается» дидактика...

Григорович выступил, когда за понятием народа в России меньше всего было мифа, рутины, инерции и спекуляции всяческой темнотой – для людей лагеря Григоровича. Сейчас мы прекрасно знаем – нет темноты темней отлаженной, той, которую включают – как осветительную сеть.

Тогда слово народ звучало живейшей, несомненной реальностью и настоятельнейшим долженствованием. И Григорович остается первым, кто в русской литературе сумел воспринять и выразить это звучание в его пиковый, острый момент. Пожалуй, он не смог его претворить до конца в художественное качество, но, во-первых, можно спросить – а кто, собственно, смог? Некрасова русской прозы мы не знаем. Неизбежные же подозрения современников в какой-то неискренности литературной позиции Григоровича для нас сейчас выглядят все-таки надуманными. Как раз искренности Григоровичу не занимать. А во-вторых, Григорович из тех писателей, которые так ставят вопрос о художественности, что вопрос этот остается открытым и по сей день. Когда долженствование так искренне и активно, имея действительно серьезные основания, атакует чисто художественное начало, может оказаться, что художественность

и долженствование даже просто меняются местами: встает вопрос – а что такое, собственно, чистая художественность и бывает ли она вообще? «Чистая художественность» сама предстает мифом, догмой эстетизма, рутиной. В конце концов, литература – живое дело, литературой всегда будет то, что читателю будет интересно читать, а писателю – интересно писать, а не то, про что твердо известно, что оно – литература или должно ею быть.

Не потому ли еще и отходит от писательства Григорович в 60-е годы, что ощущает долгожданную отмену крепостного права все-таки как смягчение социальных контрастов, некоторое снижение остроты проблемы и степени настоятельности долженствования – основного внутреннего (именно внутреннего) стимула своего творчества? Не ошибался ли либерал Григорович в своем таком отношении к реформе – другой вопрос.

Как бы то ни было, Григорович отходит не только от «деревенской прозы», но и от литературы на два десятка лет.

И признание старым Григоровичем молодого Чехова не только трогательно, но, на наш взгляд, весьма знаменательно. Не говоря уже о том, что Григорович из такой эпохи, такой плеяды, что как чуткий и честный художник-зритель, художник-читатель во всяком случае не мог не быть головой выше современной Чехову писательской среды, той самой сложившейся литературной общественности,– кому же как не ему было заметить талант Чехова и отдать ему должное?

Не говоря о том, что Чехов естественно должен был заинтересовать Григоровича как преемник Тургенева, идущий дальше Тургенева, делающий радикальные выводы из его художественной системы: ведь Тургенев ближайший сосед и соперник Григоровича в литературе. Именно существо этих выводов, думается, должно было вызвать у Григоровича непосредственный отклик. Ведь где Тургенев бывает хорошо воспитан – воспитан и выдержан в литературном отношении более, чем тот же Григорович,– и чуть-чуть недоговаривает, там Чехов – агрессивно деликатен, упрямо умалчивает. Ценивший деталь и мучившийся, случалось, описательством Григорович должен был восхититься смелостью Чехова, демонстративно отказывающегося от описательства,– да так, что именно этот резкий отказ от сильнейшего, как предполагалось, художественного средства и действовал как сильнейшее художественное средство. До сих пор подобное принято было только в специальном жан-

ре юмористики, из которого и вышел, как известно, Чехов и которому должен был быть не чужд и Григорович. И получалось, что разлад, антиномические пары искусство — правда, литература — жизнь получали, наконец, разрешение не в выходе из литературы, прямом отрицании искусства, которое уже намечалось у Толстого, — а внутри самого же искусства и литературы. И на искусство, которому всю жизнь верно служил Григорович, срабатывал таким образом и самый кризис искусства, в важнейшей точке которого стоял он же — Дмитрий Васильевич Григорович.

А. И. Журавлева, В. Н. Некрасов

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1844–1852







ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРЕТА

В старинные времена суфлер Иван Иванович спал, закутавшись в бараний тулуп, когда вошла к нему Прасковья Осиповна, у которой в продолжение одиннадцати лет нанимал он комнату с отоплением и прислугою. Посмотрев на сморщенную наружность своего жильца, она подошла к нему и, осторожно потрепав по плечу, сказала:

— Иван Иванович!.. А Иван Иванович!.. вставайте!..

Иван Иванович испустил маленькое мычание, открыл глаза и, направив их на свою хозяйку, спросил с беспокойством:

— Неужели карета, Прасковья Осиповна? как рано!.. Скажите, что сию минуту.

Нужно заметить, что Прасковья Осиповна входила в комнату жильца не иначе, как извещать его о прибытии кареты, и потому легко догадаться, каким образом Иван Иванович так верно мог определить причину ее появления.

Когда Прасковья Осиповна вышла, суфлер вскочил с дивана, набитого булыжником, и подбежал к окну, желая рассмотреть, кто именно сидел в карете; но едва успел он нагнуться, как тотчас же отскочил, бросился в противоположный угол комнаты и стал поспешно одеваться.

— Ах, ты, господи!.. там Яков Александрович!.. А я еще заставляю его дожидаться... Ну, вот, теперь будет... где же манишка?.. да, ну, теперь... Прасковья Осиповна, Прасков... я не стану пить чай, вы ничего не приготовили, и не надо...

И Иван Иванович опрометью кинулся вон из комнаты.

Когда он влез в карету, Яков Александрович, чело-

век необыкновенно плотной наружности, и две сидевшие в карете толстые хористки так его распушили, что он мысленно соглашался пробежать десять раз пространство между Новыми местами и театром с тем, чтоб только избегнуть общества грозных этих спутников.

Но волею или неволею, надо было терпеть, потому что клячи, понукаемые кнутом кучера, опасавшегося опоздать на репетицию, несли карету во весь галоп.

Что может быть хуже должности суфлера? — в особенности оперного? Первый ли бас возьмет полутоном ниже *до*, примадонна ли собьется с такта, тенор ли не знает роли, — всему виноват суфлер; и всего хуже, что если хорошо суфлируешь, актеры недовольны, уверяя, что сами хорошо знают роль и им только мешаешь; замолчишь — еще хуже, даже те, которые без суфлера не в состоянии сказать одного слова, не только не дадут тебе покоя, но, напротив, более других на тебя сердятся.

Зная все это, Иван Иванович в конце каждого спектакля со стоическою твердостью выслушивал всевозможные упреки, входил в режиссерскую комнату и, набросив на плечи тощую шинелишку, спускался на подъезд, где, кряхтя от холода, дожидался, пока не посадят его в карету. Часто приходилось ему дожидаться весьма долго, потому что капельдинеры имели обыкновение сажать его *в оборот*, т. е. в карету, доставившую уже после спектакля артистов во всевозможные концы города и вернувшуюся для принятия новых пассажиров.

В продолжение двадцатилетней службы Иван Иванович так привык ко всем неприятностям суфлерской жизни, что не обращал на них ни малейшего внимания; такое равнодушие нельзя однако ж приписать одной привычке; характер старого суфлера также немало способствовал ему переносить горе. Он был застенчив до невероятности, и если б не провел половины жизни в суфлерской коробке, то бог знает, что могло бы с ним случиться.

Чтоб не приписали такое резкое суждение о застенчивости Ивана Ивановича пристрастию или желанию выказать его оригиналом, приведем маленький анекдот, случившийся с ним в первые годы театральной его службы.

Довольно пожилая хористка, вероятно, какая-ни-

будь покинутая Ариадна, неизвестно почему удостоила нашего героя благосклонным своим вниманием. Хотя и нельзя утверждать решительно, чтоб в то время Иван Иванович имел в себе что-нибудь очаровывающее, опять нельзя сказать и того, что он был совершенно дурен собою; одна разве лысинка (появившаяся еще с двадцатилетнего возраста неизвестно по какому случаю) придавала ему стариковский вид... ну, да нельзя же без недостатков: совершенства, как известно каждому, на этом свете не имеется. Итак, хористка эта стала его преследовать и в одну темную репетицию вытребовала от него свидание за театром, после спектакля. Такая упорная настойчивость со стороны дамы показалась сначала Ивану Ивановичу весьма странною: «Да как же это она так... — думал он, — да как же?» — но потом махнул рукой и, лукаво улыбнувшись, дал себе слово явиться на назначенное свидание.

Однако, по мере приближения условленного часа, решимость суфлера уменьшалась более и более, и он, верно бы, отправился домой, если б мысль о данном слове не вынудила его остановиться.

Иван Иванович сошел с подъезда и очутился за театром; постояв минуты с две на одном месте, он вдруг повернул налево кругом и с быстротою ракеты достиг дома. Что произошло на другой день — неизвестно; достоверно только, что раздраженная хористка, простояв более часа на морозе (в тот вечер Реомюр показывал 22 градуса), подверглась насморку и сильному кашлю, а Иван Иванович хранил это происшествие как совершеннейшую тайну своей жизни, вероятно, из деликатного опасения компрометировать хористку, а может быть, и из желания избегнуть лишних насмешек.

Итак, это происшествие ясно доказывает, что суфлер был не из Ловеласов, а, напротив того, отличался необыкновенною застенчивостью. Кроме этого, он был трусливого десятка, не любил много разговаривать, в особенности с женщинами, хотя очень-очень приятно улыбался, когда перед его носом становилась хорошенькая ножка какой-нибудь молоденькой певицы.

Застенчивость его и еще кой-какие странности с присовокуплением смешной наружности сделали Ивана Ивановича, со дня вступления его в театр,

предметом насмешек всевозможных; одним словом, бедный суфлер был souffre-douleur[1] всего оперного закулисного мира.

Каждое общество, каждый класс имеет своего пария и героя; нет заведения, школы, мастерской, где бы не было того и другого, и потому нечему удивляться, что закулисное общество находило неизъяснимое удовольствие терзать суфлера; уж так, верно, определено ему было судьбою, и нам остается только пожалеть о нем.

Бедняку в особенности доставалось на репетициях: то спускали его за фалды в суфлерскую коробку, то топали так сильно по сукну, разостланному по сцене, что поднявшаяся пыль заставляла его чихать без умолку, то, наконец (что всего более было неприятно суфлеру), распускали слухи, будто он влюблен и женится на какой-нибудь старой вдове.

Последней насмешки никогда не мог он выслушать со свойственным ему хладнокровием и, высунувшись из своей коробки, говорил вполголоса: «Помилуйте-с, помилуйте-с!..» Иван Иванович оказывал большое почтение Якову Александровичу, неизвестно по каким причинам, я, однако ж, предполагаю — не потому ли, что этот певец одарен был необыкновенной физическою силой (которую находил удовольствие доказывать поминутно на деле), тогда как другие довольствовались одними насмешками. Мне кажется теперь ясно, что суетливость суфлера при виде грозной фигуры в карете происходила не от чего другого, как от желания избегнуть лаконических изъяснений Якова Александровича.

Вскоре карета приехала, и репетиция началась.

— Послушай, Иван Иванович, ты просто глуп или слеп; это ни на что не похоже...

— Помилуйте-с...

— Да что тут миловать... Представьте себе, господа, вместо:

Зачем влачить повсюду
Ненужную посуду... —

что должен я петь, он подал мне черт знает что такое. Ну, вот, советую тебе еще раз сбить меня с такта... вот увидишь... — сказал Яков Александрович.

---

[1] козел отпущения *(фр.)*.

— Суфлер, ты слишком тихо подаешь; мне ничего не слыхать,— в свою очередь закричала примадонна, в досаде топая ногою.

— Иван Иванович! да что же вы остановились? суфлируйте же последний стих...

— Извините, Петр Петрович... ничего не видать... лампа...

— Да что, братец, лампа; суфлируй, и дело с концом!

Оркестр заиграл, и репетиция продолжалась.

Странная, необыкновенно странная перемена стала заметна в Иване Ивановиче. Как! он, державшийся так долго в театре исключительно за свою аккуратность и уменье подавать забытые актерами слова, начал так часто завираться? Непонятно! А между тем перемену эту приметили почти все, душевно радуясь, что нашли новый предлог к насмешкам.

Кроме этого, шутки в сторону, перемена эта причиняла ужасные беспорядки; например, когда Ивану Ивановичу случалось пропустить стих или вместо его сказать что-нибудь другое,— лицо его принимало такое странное выражение, он так смущался, что хористы, стоявшие на авансцене, не могли удержаться от смеха, тогда как должны были хранить важность жрецов или благородство рыцарей. Если б другой, а не Иван Иванович, делал такие промахи, то, может быть, на них не обратили бы внимания и все бы шло в должном порядке; но на него смотрели совсем иначе: все, что в другом показалось бы обыкновенным, как-то по привычке считалось в Иване Ивановиче оригинальным и достойным смеха. Все зависит от точки зрения, с которой мы смотрим или привыкли смотреть на человека.

Замечательно только, что перемена эта становилась ощутительнее со дня на день, повергая всех в совершенное недоумение: некоторые приписывали ее старости, другие перцовке и травнику (хотя Иван Иванович не брал в рот ни того, ни другого, скромно заменяя их чаем, да и то не всегда); третьи решительно утверждали, что он рехнулся, и поговаривали было сменить суфлера. Между тем причины, сдвинувшие его с рейльсев, по которым так исправно катил он свою службу, были совершенно другого рода.

Когда еще жизнь Ивана Ивановича тянулась так же, как песок древних стеклянных часов, когда безо-

становочно, плавно, хотя не совсем громко подавал он забытые актерами речи, в театр определилась на вторые роли молоденькая девушка, уже давно ожидавшая вакансии на это *амплуа*. Хотя перед ее дебютом и выставлено было крупными буквами на афише, что «госпожа такая-то в первый раз будет играть одну значительную роль», но появление ее не произвело на публику большого впечатления, исключая разве двух молодых людей, в желтых перчатках, с тщательно приглаженными волосами и стеклышком в глазу, которые тотчас после первой арии решили, что она весьма недурна собою. Дебютантка произвела гораздо больший эффект за кулисами; с первой репетиции ясно увидели, что она не может быть опасной соперницей и недостатки ее голоса и методы не замедлили ее сблизить с кругом артисток. Не имея больших претензий, она была совершенно довольна своею судьбою и мало-помалу стала привыкать к нравам и обычаям нового для нее мира.

Обладая добрым и чувствительным сердцем, одного только не могла она видеть без особенного негодования: это Ивана Ивановича, терзаемого на репетициях хористами, а главное, Яковом Александровичем, и потому решилась во что бы ни стало возбудить в них сострадание.

К счастью, все благоприятствовало этому.

Кроме приятной методы пения у Якова Александровича была другая, не менее приятная: ухаживать за всеми молоденькими артистками; а так как дебютантка была молода и, как выразились движимые беспристрастным чувством львы, весьма недурна собою, то не замедлила сделаться новым предметом исканий Якова Александровича.

Все шло как нельзя лучше. Яков Александрович был влюблен до безумия, и молодая певица решилась в первую же репетицию излить свои благодеяния на старого суфлера. Артисты и артистки съезжались для репетиции; кулисы мало-помалу оживлялись; на слабо освещенной сцене чинно сидели хористки и, ожидая начала, вязали чулок; хористы, неудостаиваемые их вниманием, задумчиво расхаживали по задней части театра, постукивая каблуками, унизанными полновесными гвоздями; два рыжие мужика тащили море, кряхтя и побраниваясь, и, казалось, нисколько не обращали внимания на сидевших поблизости дам; ма-

шинист спускал луну, Яков Александрович рассказывал с громким хохотом толпе сгруппировавшихся вокруг него хористов какой-то любопытный анекдот. В оркестре настраивали инструменты; сверху кричали *полетные;* вдруг толпа, слушавшая Якова Александровича, с криком ринулась навстречу маленькой фигурке с лысинкою на голове и в длиннополом сюртуке, только что вышедшей из-за кулисы.

– А! Иван Иванович! Иван Иванович! А! а!..– кричала толпа.

– Помилуйте-с!.. по... милуй... те-с... госпо... да...– говорил запыхавшись бедный суфлер; но его не слушали, и кто-то, добрая душа, уже предложил было спустить его за фалды в суфлерскую, как вдруг, посреди хохота, раздался нежный голос:

– Господа, сделайте милость, оставьте его, что он вам сделал, прошу вас оставить его!..

Хохот умолк, Иван Иванович кинулся за кулисы и, спустившись по черной лестнице под пол, забился в суфлерскую.

Долго бедняк не мог прийти в себя; поступок певицы был до того нов, что показался сначала ему насмешкою; но когда он убедился в противном, странное, неизъяснимое чувство овладело Иваном Ивановичем. Он, который в продолжение двадцати лет встречал только насмешки и упреки, не находя существа, которое приняло бы в нем участие,– и вдруг!.. о! нельзя выразить волнения старого суфлера: он готов был выскочить из суфлерской, броситься к ногам певицы, благодарить ее... Крупные слезы катились по щекам его; он не знал, не понимал, что с ним делалось: какая-то робость еще хуже прежней овладела им, когда, после репетиции, он спрятался в коридоре, чтоб поблагодарить за оказанное ему благодеяние.

Едва показалась она у дверей, как Иван Иванович сбежал с лестницы, твердо решившись подойти к ней на подъезде; но и тут робость, проклятая робость, сковала ему язык; смущение овладело им сильнее прежнего, и, не дожидаясь кареты, почти бегом отправился он домой. Можете себе представить изумление Прасковьи Осиповны, почтенной хозяйки Ивана Ивановича, когда она увидела своего жильца, являвшегося в продолжение одиннадцати лет чинно, в карете, и вообще как следует домой, теперь взволнованного и едва переводящего дух. Сначала ей пришло в голо-

ву, не напали ли на него воры; но потом она ясно увидела, что ошиблась, ибо шинель и шляпа, хотя и криво надетые, находились на обычном своем месте...

Вот с этих-то пор, не догадываясь о главной причине, и стали замечать перемену в старом суфлере, и хотя просьба молодой певицы произвела благодетельное действие, все-таки нередко доставалось ему за промахи, которые обратили бы в старые годы жизнь Ивана Ивановича в настоящий ад. Но недолго суфлер пользовался покровительством молодой дебютантки...

Положение его сделалось чуть ли не хуже, чем было когда-нибудь. Яков Александрович (которого самолюбие было соразмерно физической его силе) возобновил свои преследования; хористы считали за необходимость вторить ему из страсти, общей всем лицам низшим, подражать высшим; одним словом, Ивану Ивановичу не давали покоя.

Хотя тягостно, все-таки Иван Иванович кое-как мог бы продолжать еще свои занятия, если б обстоятельство, ничтожное в сущности, не повело его к совершенной погибели.

Это было в туманный осенний вечер; мелкий дождь серебрил кровли и мостовую, и, несмотря на то, что было всего шесть часов, улицы почти опустели; кое-где мелькали зонтики, или извозчик тащился, погоняя лениво свою клячу, или, наконец, тянулась медленно театральная карета. Одна из этих карет остановилась у театрального подъезда; из нее выглянул Иван Иванович и, обратившись к огромной фигуре в гороховом сюртуке, сказал:

— Никифорыч!.. выпусти, пожалуйста... сделай милость...

— Да что тут выпускать! спектакля не будет сегодня... ишь ее заболела эта новая певица, так и спектакль отказали... повестку прислала... Ступай, Тарас, домой,— продолжал он, обращаясь к кучеру,— да как высадишь суфлера, так завези рапортичку... Ступай!..

— Ох! уж эти рапортички,— ворчал Тарас, погоняя лошадей,— развози да развози, только и знаешь!..

И карета потеряла из виду величественную фигуру Никифорыча, развалившуюся на скамейке, подобно фигуре Диогена в «Афинской школе» Рафаэля.

Так как часть города, где жил Иван Иванович, была весьма удалена от театра, то, пока он ехал, на улицах совершенно смерклось. Черные тучи облепили со

всех сторон небо, и дождь крупною дробью посыпался на кровли, мостовую и редких пешеходцев, спешивших убраться восвояси.

Хотя и прошло много времени с той минуты, как покровительство, оказываемое молодою дебютанткою старому суфлеру, прекратилось, известие о ее болезни произвело на него какое-то тягостно грустное впечатление; забившись в угол кареты, он невольно стал припоминать обстоятельства, возбудившие в ней к нему сострадание; он не мог никак дать себе отчета в чувстве, которое тогда овладело им, и не понимал, как мог до сих пор не высказать ей своей благодарности. Мало-помалу мечты унесли его бог знает куда, бог знает какие только не приходили ему на ум мысли, то ясно рисуясь воображению, то тускло мелькая перед ним, как тени, несомые ветром.

То представлялся ему образ певицы, ласково кивающей головою, то ему чудилось, что он в своей суфлерской яме, где как-то невыносимо душно; в другой раз, как будто неизвестно почему вынудили его суфлировать сверху, где устроены машины, и вот уже взбирается он на самые перекладины, но вдруг нечаянно задевает за гром, оступается и падает с самого верха, тогда как гром, приведенный в движение его ногою, грохочет дико во весь театр; иногда мысли еще несообразнее тяготили его воображение; например, он как нельзя яснее видел, что его привязали к полету и что он летит на проволоке с амурами и сильфидами посреди картонных ярко размалеванных и освещенных облаков... вдруг откуда ни возьмись явилась Прасковья Осиповна и обливала его холодною водою... Долго еще грезилась бы ему подобная чепуха, если б голос Тараса, спустившегося с козел и стоящего перед открытыми дверцами кареты, не возвратил его к настоящему.

– Ну, Иван Иванович, выходите-ка, домой приехали.

Иван Иванович выглянул из кареты, и сколько ни озирался на все стороны, не примечал ни только дома, но и признака жизни; перед ним расстилалось бесконечное пространство, исчезавшее в темноте; далеко, далеко, точно в другом мире, мелькали как метеоры редкие огоньки, доказывавшие еще более отдаление этого места от всякого жилья.

Дождь шел ливнем.

— Да помилуй, Тарас,— простонал Иван Иванович,— какой же это дом? я ничего не вижу...

— Ну ж, как хотите, а я дальше не еду; ишь, их не везут, да и только; что хошь делай, дальше не поеду... вылезай!..

Иван Иванович знал, что противиться Тарасу было напрасно, и как ни было ему страшно, он вылез из кареты, которая, забрызгав его с ног до головы грязью, исчезла во мраке.

Бедный суфлер решительно не понимал, куда завез его Тарас; сначала он пустился вслед за каретой; но, видя ясно, что догнать ее не было возможности и что далее и далее уходил в грязь, решился остаться на месте, чтобы припомнить, куда следовало ему направиться, чтоб попасть домой. Он машинально поворотил налево и сделал уже несколько шагов, как подле него раздалась глухая трескотня и грубый голос произнес:

— Эй, поди с дороги, раздавлю!

Иван Иванович остановился и увидел огромную черную массу, шумно движущуюся в его сторону, между тем как голос, который, казалось, выходил из нее, продолжал:

— Черт знает, куда заехал! Не знаешь ли, как проехать на Новые места в Косой переулок?

— Я сам живу в этом переулке,— дрожащим голосом отвечал Иван Иванович (кричать он никогда не мог; особенное ли устройство горла или излишняя робость, но слова вылетали из уст его тихо и не совсем ясно),— я сам живу там, но также не знаю, как туда попасть.

— Вот беда,— продолжал голос,— а мне надо отыскать там как можно скорее суфлера; сначала было отказали спектакль, а теперь снова приказано собирать в театр... Ох, беда!..

— Как! — почти вскрикнул Иван Иванович,— спектакль не отказан! Так вези, вези меня скорее; я сам суфлер... вези, пожалуйста, вези...

— Слава богу! кабы не встретить вас, было бы дело... Ну, ну, садитесь, садитесь...

Суфлер влез в карету и вскоре приехал в театр.

Поднявшись в уборную, он снял шинель, осторожно свернул ее и, повесив на крючок, сбирался поставить одну ногу на скамейку, чтоб очистить грязь, как вдруг крики «места! места!», означающие скорое под-

нятие занавеса, вынудили его как есть броситься на сцену. Пространство между кулисами и стеною было забито народом, и ему стоило многих усилий, чтобы пробраться в противоположный конец театра, где был устроен спуск в суфлерскую. Между тем занавес поднялся, оркестр гремел, хористы пели.

«Ну, ничего! – думал суфлер, получая порядочные толчки справа и слева, – ничего, по крайней мере не опоздал; первую-то половину первого акта они кой-как еще знают; разве тенор Петр Петрович оплошает, все врет, ни в зуб не знает роли, несмотря на шестидесятое представление...»

Такое невыгодное мнение о памяти первого тенора Иван Иванович заключил уже на лестнице, ведшей под пол. Усевшись в свои кресла, он развернул либретто и, открыв его на первом дуэте, стал глядеть на сцену.

– Э! ге! ге!.. – произнес он почти вслух, – да что же это такое? Китайская декорация!.. этакого еще не бывало... да и кулисы не из этой оперы!..

Суфлер решительно не понимал, что происходило на сцене; каждый раз, как он подымал голову, взоры его были поражены необычайным явлением: то Петр Петрович после арии делал антрша, то у хориста, вместо маски, торчал на голове горшок, в другой раз, сколько ни протирал глаза, ясно видел, что вон та хористка была в огромных ботфортах и усах, – одним словом, на сцене происходила неимоверная чепуха, и он сбирался уже подняться наверх, чтоб спросить причину таких странностей, как на сцене появилась покровительница его, молодая певица.

Иван Иванович мгновенно опустился в свои кресла, покраснел чрезвычайно (голова его представилась тогда актерам огромным пионом, торчащим наместо суфлера); он перестал смотреть на сцену и, казалось, не обращал более внимания на китайскую декорацию, антрша Петра Петровича и усы хористки, хотя, право, было чему удивляться. Но каково было изумление Ивана Ивановича, когда в третьем действии певица подошла к его коробке и бросила ему какую-то бумажку, сказав потихоньку: «Прочитайте!» Иван Иванович дрожащими руками развернул письмо. «Я вас люблю! – писала ему певица, – неужели вы этого не примечаете? ваша холодность убивает меня! Сегодня после спектакля ожидаю вас за театром, в своей каре-

те... Не удивляйтесь тому, что происходит на сцене. все это проделки Якова Александровича, который уговорил даже машиниста заключить вас навсегда в гром; он решился погубить вас, но я спасу, спасу тебя, драгоценный Иван Иванович!..»

Иван Иванович схватил либретто и начал необыкновенно громко кричать все, что ни попадалось ему на глаза, нисколько не замечая, что врал ужасную чепуху и что действующие лица стояли в каком-то оцепенении... Колени его дрожали, голова горела, и, без сомнения, с ним сделалось бы дурно, если б голос Якова Александровича не привел его в чувство.

— Что это такое? — кричал первый бас над его головою... — долго ли вы станете врать? суфлируйте же, ну!..

Иван Иванович снова схватил либретто, но кроме радужных кружков, быстро вертящихся вместо букв, ничего не видел, и Яков Александрович вынужден был импровизировать.

Остальные действия смутно мелькнули мимо Ивана Ивановича; ему казалось, будто вся сцена, декорации и актеры перевернулись вверх ногами, и только когда занавес опустился в последний раз и зрители захлопали дверьми, спеша вон из залы, он очнулся. Выпрыгнув из своей коробки, сломя голову вбежал он в уборную и, накинув кое-как шинелишку, спустился на подъезд.

На подъезде никого уже не было — все разъехались.

Суфлер машинально сделал несколько шагов вперед и поворотил за угол, чтоб очутиться за театром, но почувствовал вдруг такую слабость в коленях, что едва устоял на ногах; хотя зима была еще далека и ночь была теплая, но Иван Иванович трясся всем телом, и зубы его щелкали, несмотря на все усилия держать челюсти как можно плотнее одну к другой. Он хотел повернуть назад, но в эту самую минуту ему послышался голос, призывавший его по имени; Иван Иванович обернулся и увидел шагах в десяти карету, которой темнота придавала фантастический образ.

Луна, прикрытая серыми облаками, плывущими по черному небу, как лед по широкой реке, осветила улицу, и суфлеру предстала певица, выглядывавшая из дверец. Во всю свою жизнь не испытывал бедняк такого страха; он чувствовал, как свалилась у него ши-

нель, шляпа, как выпал из рук либретто; он хотел бежать, но ноги его не двигались с места, как бы приклеенные к мостовой крепким клеем.

– Иван Иванович!.. Иван Иванович!.. – снова произнес нежный голос...

По какому-то странному чувству старый суфлер бросился к карете, открыл дверцы и стал влезать в нее; но, к величайшему изумлению своему, очутился на противоположной стороне экипажа; несколько раз возобновлял он осаду, и каждый раз, как удавалось ему вскочить в одни дверцы, он мгновенно вылетал в другие; неизвестно, скоро ли это кончилось бы, если бы певица не удержала его за руку и не усадила подле себя. Пот градом катился с лица суфлера, – он был в беспамятстве.

– Ну, вылезайте, что ли. Эй, г. суфлер, домой приехали. Чай, время было выспаться; больше часа ехали... – сказала грубым голосом певица, сжимая его в своих объятиях.

Иван Иванович открыл глаза. Тарас стоял перед открытыми дверцами и дергал его за руку; певицы в карете не было.

– Что глаза-то вытаращили? Говорят вам, домой приехали.

– Как!.. мы... помилуйте-с... Яков Александрович... карета... Тарас... мы приехали?..

– Да что вы? белены объелись, что ли? Не верите, так сами посмотрите. Вот и ворота ваши.

Но Иван Иванович оставался недвижим и ровно ничего не понимал из слов Тараса.

Так как дождь не переставал лить ливнем с той минуты, когда Тарас привез Ивана Ивановича в театр, где Никифорыч объявил, что спектакль отказали по болезни певицы, то, не имея особенного желания мокнуть лишнее время, он взял суфлера в охапку и вынес его из кареты.

Карета уже давно уехала, а Иван Иванович все еще оставался на одном месте.

Итак, это был сон!

Что, кажется, обыкновеннее сна, в особенности того, который представился суфлеру? Каждый из нас видел сны на веку не раз да еще несравненно позамысловатее; например, какому-нибудь сапожнику Шамбахеру чудилось, будто он играл на театре «Отелло»; подьячему с разодранными локтями, что он нашел на

улице миллион; чиновнику четырнадцатого класса грезилась звезда, красиво пристегнутая к вицмундиру, и т. д. Все это гораздо несообразнее сна Ивана Ивановича, который и тут не выходил из своей сферы; а между тем сон этот произвел в нем сильное действие: он стал завираться еще более прежнего.

Сначала терпели, терпели, но потом, видя, что чем далее, тем хуже, и в особенности после того, как он раз перепутал целый речитатив, решили уволить его от должности.

Иван Иванович расстался таким образом с театром, унося горестное воспоминание, что люди, с которыми провел более двадцати лет, и тут не утерпели, чтоб не посмеяться над ним, и как бы радовались его несчастью. Прошел месяц, другой, третий; в театре ни слуху ни духу о старом суфлере; разве какой-нибудь весельчак-хорист, желая позабавить общество, рассказывал, будто Иван Иванович женился наконец на старой вдове: это известие возбуждало в слушателях громкий хохот, особенно, когда к этому присоединялись и другие неблагоприятные слухи об Иване Ивановиче.

Но могу вас уверить (если вы сколько-нибудь принимаете участие в судьбе Ивана Ивановича), что все эти рассказы сущая ложь, выдумки, не делающие чести изобретателям; действие злобы и зависти врагов его. С своей стороны, я сам не знаю, что случилось со старым суфлером после отставки от театра; впрочем, если верить слухам, Агафья Тихоновна, внучатая сестра Прасковьи Осиповны (у которой квартировал Иван Иванович), вышедшая замуж за какого-то хориста, рассказывая в домашнем кругу о Прасковье Осиповне, о смерти достопочтенной этой женщины, упомянула мимоходом и об Иване Ивановиче. Так как свидетельство Агафьи Тихоновны может почесться одним из самых беспристрастных, за неимением повода к противному (да и с какой бы стати ей выдумывать на старого суфлера?), то я принял его за достовернейшее.

Вот что рассказывала Агафья Тихоновна Заламаева:

– Только что поворотили они с гробом покойницы за Лиговку к Волкову полю, к процессии присоединился маленький человек в длиннополом сюртуке и разодранном картузе. Он знакомо кивнул головою

ее мужу и весьма учтиво осведомился о здоровье самой Агафьи Тихоновны, тут только, удивленные сначала присутствием незнакомого человека в таком грустном семейном обстоятельстве, узнали они в нем Ивана Ивановича. Но, боже! как он изменился, сказывала Агафья Тихоновна: лысинка его расплылась во всю голову, щеки впали, морщин набежало еще более; платье его поистерлось, поизносилось, сам он весь сгорбился, согнулся, но всего страннее показалась им улыбка, беспрерывно кривившая засохшие губы суфлера. Со странным движением оборотился он сначала к старому своему знакомому хористу, попросил у него табаку и, понюхав в два или три приема, тут же признался ему, что почел бы себя совершенно счастливым, если б не злые люди, не козни врагов, преследующие его повсюду; но видите ли, продолжал он, приложив сухие губы свои к уху хориста: «Яков Александрович уговорил будочника выстроить в моем животе будку. Я это от всех скрываю, – прибавил Иван Иванович, – потому что, знаете ли, как-то совестно... согласитесь сами, что вместо того, чтоб подать в опере, что там следует, вдруг этот скверный будочник закричит...»

Но тут, уверяла Агафья Тихоновна, Иван Иванович таким неистовым голосом закричал «слушай!» над самым ухом изумленного мужа, что произвел общий соблазн во всех присутствующих. После этого суфлер раскланялся весьма учтиво и на повороте в переулок расстался с ними, долго еще грозя пальцем и нюхая табак!..

Вот все, что я мог узнать об Иване Ивановиче; может быть, я узнал бы несколько более, но разговор был как-то замят интересною материею о цене дров, говядины и тому подобных принадлежностей, необходимых в хозяйстве.

1844





ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАРМАНЩИКИ

(Рассказ)

I

ВСТУПЛЕНИЕ

Взгляните на этого человека, медленно переступающего по тротуару; всмотритесь внимательнее во всю его фигуру. Разодранный картуз, из-под которого в беспорядке вырываются длинные, как смоль черные волосы, падающие на худощавое загоревшее лицо, куртка без цвета и пуговиц, гарусный шарф, небрежно обмотанный вокруг смуглой шеи, холстинные брюки, изувеченные сапоги и, наконец, огромный орга́н, согнувший фигуру эту в три погибели,– все это составляет принадлежность злополучнейшего из петербургских ремесленников – шарманщика. В особенности наблюдайте за ним на улице: левая рука его с трудом вертит медную ручку, прикрепленную к одной из сторон органа; звуки то заунывные, то веселые вырываются из инструмента, оглашая улицу, между тем как взоры хозяина внимательно устремлены на окна домов; он прислушивается к малейшему крику, зову, и едва встречает приветливый взгляд, как тотчас ставит свою шарманку и начинает играть лучшую пьесу своего репертуара. Каждый раз, как которая-нибудь из труб, позабыв уважение к человеческим ушам, запищит неестественно и нескладно,– посмотрите, как старательно завертит он рукою, думая тем загладить недостатки пискливого своего инструмента и не возбудить в слухе вашем неприятного ощущения. Форточка отворяется, пятак или грош, завернутый в бумажку, падает к ногам его в награду за труды; но часто, весьма часто, истощив напрасно свой репертуар, он медленно удаляется, грустный, унылый, не произнося ни жалобы, ни ропота. Он уж давно привык к такой жизни. Какая бы на улице ни стояла погода, знойный жар, дождь, трескучий мороз, вы его увидите в том же костюме, с тою же шарманкою на спине – и все для

того, чтоб получить медный грош, а иногда и «надлежащее распеканье» от дворника, присланного каким-нибудь регистратором, вернувшимся из департамента и после сытного обеда расположившимся лихо всхрапнуть. Часто шарманка кормит целое семейство, и тогда можете себе представить, сколько ужасных чувств волнуют горемыку при каждом тщетном покушении растрогать большею частию несострадательную к нему публику. Из всех ремесл, из всех возможных способов, употребляемых народом для добывания хлеба, самое жалкое, самое неопределенное есть ремесло шарманщика. Нет ремесленника, который приобретал бы копейку, не имея в виду явного барыша: полунищая баба в грязном салопе, покрытом заплатками сверху донизу, продающая на Сенной площади вареный картофель, прикрываемый, для сохранения в нем надлежащей теплоты, известным способом, то есть без помощи чего-нибудь постороннего, кроме тряпья, составляющего ее исподнее платье,— приглашает гг. инвалидов и мужиков «на картофель, на горячий, служба, служба! на карто, на карто... кавалер, на горячий, на карто, на карто...» — и та даже совершенно уверена, что вернется домой с доброй краюхой хлеба, достаточной величины, чтобы накормить двух-трех пострелят мужеского или женского пола, что очень часто трудно бывает разобрать, если судить по одной одежде. Шарманщик же, спускаясь из-под кровли пятиэтажного дома или подымаясь из своего подвала, редко бывает уверен, доставит ли ему скудный его промысел кусок хлеба, соберет ли он столько денег, чтобы в конце месяца заплатить за квартиру — большею частию угол, нанимаемый им у той же торговки картофелем, которая за неисправный платеж будет вправе прогнать его со двора. Вникнув хорошенько в нравственную сторону этого человека, находишь, что под грубою его оболочкою скрывается очень часто доброе начало — совесть. Он мог бы, как другие бедняки, просить подаяние; что останавливает его? К чему таскает он целый день на спине шарманку, лишает себя свободы, убивает целые месяцы на дрессировку собачонок или изощряет свое терпение, чтобы выучить обезьяну делать разные штуки? Что же вынуждает его на такие подвиги, если не чувство, говорящее ему, что добывать хлеб подаянием или плутовством бесчестно? Я не хочу здесь представлять

шарманщика идеалом добродетели; еще менее расположен я доказывать, что добродетель составляет в наше время исключительный удел шарманщиков и что, следовательно, вы должны запастись шарманкою и отправиться с нею по улицам, если считаете себя добродетельным; далек я также от мысли рассчитывать на ваше сострадание, представляя шарманщика злополучнейшим из людей. Нет, я хочу только сказать, что в шарманщике, в его частной и в общественной уличной жизни многое достойно внимания. И если вы со мною согласны, то мне нечего и просить вас читать далее: вы это сделаете сами... Я намерен заняться своим героем со всем подобающим усердием...

II

РАЗРЯДЫ ШАРМАНЩИКОВ

Трудно определить происхождение слова «шарманщик»; тем более трудно, что оно, кажется, родилось на Руси и обязано жизнию простолюдью. Называть незнакомое лицо или предмет без основания, часто даже без очевидного смысла, хотя подчас и характеристически метко, свойственно русскому человеку, который, как вы знаете, «за словом в карман не полезет»; недосуг ему затрудняться в причинах, почему и как, а тут же, экспромтом, отпустит он иногда такое, что после думаешь, думаешь, и все-таки не придумаешь, почему выразился он так, а не иначе, назвал орга́н шарманкой, а не оглоблей, что было бы для него все равно... Если б я принадлежал к числу почтенных мужей, называющих себя корнесловами, то по поводу происхождения слова шарманка предложил бы вам множество остроумных догадок. «Всего вероятнее, — сказал бы я, — что первоначальное слово было: ширманка, и произошло от ширм, из-за которых Пучинелла (Петрушка), доныне почти всегдашний спутник шарманщика, звонким своим голосом призывает зевак и любопытных. «Такое предположение, — присовокупил бы я с большею уверенностию, — тем более основательно, что первые появившиеся у нас орга́ны были неразлучны с кукольною комедией, существующею с незапамятных времен в Италии». Но так

как и без того в продолжение рассказа я не отчаиваюсь вам наскучить, то, оставив в покое происхождение слова, перехожу к самому шарманщику. С первого взгляда кажется, что все шарманщики составляют одно целое, один класс уличных промышленников; но в сущности подлежат они бесчисленным разрядам, резко отделяющимся друг от друга как занятиями, так и духом национальности. Шарманщики в Петербурге вообще бывают трех различных происхождений: итальянцы, немцы и русские. Между ними итальянцы занимают первое место. Они неоспоримые основатели промысла, составляющего у них самобытную отрасль ремесленности, тогда как русские и немцы не более как последователи, которые хватаются за шарманку как за якорь спасения от голодной смерти, или по неспособности, чаще по неохоте к другому, более дельному, ремеслу. Шарманщики редко начинают свое поприще с инструментом, от которого получили название; ручной орга́н или, как принято называть, шарманка, есть уже следствие улучшенного состояния. Тюлень, заключенный в ящике и показываемый толпе с обычным присловьем: «посмотрите, господа, на зверя морского», высокий ящик, покрытый зеленым сукном, с каким-то дребезжанием вместо музыки, называемый у шарманщиков «фортепьяно англезе», виола с бесконечным скрипом и плясом хозяина и, наконец, флейта или кларнет – вот средства, с какими впервые дебютирует шарманщик на своей обширной и богатой разнообразными декорациями сцене – на улицах. После уже, спустя два или три года, достигает он счастливейшего дня (если только до того времени не нашел другого средства добывать хлеб), блистающего на бледном его горизонте, как блудящий огонек, – вожделенного и прекрасного дня, в который на скопленные деньги покупает он шарманку. С этим приобретением осуществляет он все надежды, все мечты и, взвалив на спину свое сокровище, думает только о том, как бы обратить на себя внимание и получить возмездие за все пропавшие труды. То аккомпанирует он вальс Ланнера свистками и трелями, то присоединяет к себе двух маленьких детей, нанятых у бедной трубочистихи или прачки, и заставляет их выплясывать бессмысленный танец своего изобретения; то, если представляется счастливый случай, меняет тощую свою шарманку на другую, несравненно меньшую, но

представляющую почтеннейшей публике с одной стороны презанимательное зрелище: Наполеона в синем фраке и треугольной шляпе, вертящегося вокруг безносых дам, с ног до головы облепленных фольгою. Если владелец этого сокровища итальянец, то он непременно вступит с вами в разговор и, объясняя значение каждой куклы порознь, не утерпит, чтоб не выбранить хорошенько Наполеона и бог весть почему кружащихся с ним австрийских дам. Если ему снова случается накопить несколько денег, желания его простираются тогда еще далее: он покупает высокий орган с блестящими жестяными трубами, медными бляхами, золотыми кистями, горделиво качающийся на зеленой тележке, везомой бурою клячею. И действительно, такое приобретение достойно всех пожертвований: во-первых, орга́н не приходится носить, следовательно, менее труда; во-вторых, его можно возить по дачам, где, как известно, люди как-то добрее, самые солидные отцы семейства наклоннее к невинным буколическим удовольствиям, приехавшие гулять особенно расположены тратить деньги, а главное — много детей, которые вообще большие любители кукольной комедии и шарманки; все это имеет значительно благодетельное влияние на доход шарманщика, в особенности если он обладает уменьем занять хорошую позицию и задать серенаду кстати. Не всем, однако, улыбается фортуна; есть бедняки, до глубокой старости осужденные наигрывать одну и ту же арию на кларнете или выплясывать трепака по уличному паркету, устланному булыжником, аккомпанируя себе виолою.

Впрочем, так начинают карьеру свою одни только «мещане» этого класса промышленников; «аристократия» вступает на нее с бо́льшим достоинством.

Шарманщики-аристократы редко ходят поодиночке, но большею частью компаниею; один несет богатую шарманку, увенчанную бубенчиками, другой — обезьяну в гусарском платье и тирольской шляпе, третий — ширмы и ящик, наполненный куклами, одетыми в разноцветное тряпье, испещренное блестками; шествие закрывает старый оседланный пудель, служащий гусару в тирольской шляпе вместо лошади. Другие блуждают целым оркестром; третьи присоединяют к себе гаера, который на дырявом ковре делает

salto mortale[1] при завывании шарманки; романсы с аккомпаньеманом арфы, ученые собаки, две или три скрипки и кларнет, разыгрывающие вечно один и тот же галоп, — все это показывает уже некоторым образом зажиточность хозяев и высоко ставит их над многочисленным классом «мещанства». Впрочем, и здесь, как всюду, разница сглаживается деньгами. Скромною жизнью шарманщику-мещанину случается накопить маленькую сумму, и тогда «аристократия» (живущая несравненно богаче, семейством, и если впадающая иногда в крайнюю нищету, то единственно по духу спекуляции, чрезвычайно, как увидим ниже, в ней развитому) спускается с своих подмостков и, как бы движимая добрым чувством, сближается с прежним отверженцем, принимает его в компанию или, если денег у него не окажется более, чем предполагалось, привязывает его к себе и еще прочнейшими узами — узами родства. Нужно заметить, что деньги — единственное условие сближения между двумя этими разрядами, вечно враждующими...

III

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШАРМАНЩИКИ

Происхождение их чрезвычайно темно; большею частью получают они жизнь под деревянною полуразвалившеюся кровлею хижины, живописно расположенной в Апеннинских горах, переименованных ими в monte Perpi[2]. Родители их — полунищие горцы, исполняющие, за недостатком земли или по сродной всем итальянцам лености, скромную должность пастухов. Не имея достаточно хлеба, чтоб кормить часто многочисленное семейство, они отдают детей своих старому шарманщику, вернувшемуся на родину и вынужденному спустя несколько времени снова приняться за шарманку и блуждать по белому свету. Таким образом, мальчик покидает родной кров, отца, мать и, вверившись судьбе, спускается с своих гор, надеясь когда-нибудь увидеть их снова. Швейцария, Тироль,

---

[1] Здесь — сложное акробатическое упражнение *(ит.)*. — *Все переводы с иностранных языков сделаны редакцией.*

[2] Горы Перпи *(ит.)*.

Франция, Германия – везде наигрывает он пять или шесть песен, составляющих весь репертуар его; нет ни одного городка, бурга, селения, которое не слышало бы их по нескольку раз. Наконец доходят до него слухи, что где-то на севере, в России, собратья его редки, что там может он получить верный барыш: туда! а Pietroborgo![1] – восклицает бедняк и предпринимает трудный поход. Его не обманули: трудность дороги действительно вознаграждается грошами, довольно щедро выбрасываемыми на дворы и улицы. Иногда направляет он путь свой не прямо к столице, но обходит сначала провинции, посещает города, ярмарки, деревни и, скопив несколько денег, является в столицу, где нанимает работников из своего звания. Мало-помалу, с прибылью денег, итальянец отстает от бродячей жизни, заводит круг знакомства с отечественниками-ремесленниками, гаерами, канатными плясунами, фигурщиками, носящими вечного амура с сложенными накрест руками, кошку, болтающую вправо и влево головою, Наполеона, окрашенного розовой краской, всех возможных форм, видов и несходств, и, наконец, женится на дочери одного из своих приятелей. Заведшись таким образом хозяйством, итальянские шарманщики неизвестно почему избирают жилище в Подьяческих и Мещанской. Маленький двухэтажный деревянный дом, выкрашенный всегдашнею зеленогрязною краскою и возвышающийся в углу темного двора, служит им убежищем. Наружность такого рода строений облеплена обыкновенно галереей, на которую с трудом взбираешься по шаткой лестнице, украшенной по углам (у каждой двери) кадкою, на поверхности которой плавают яичные скорлупы, рыбий пузырь и несколько угольев; вообще лестницы эти, не считая уже спиртуозного запаха (общей принадлежности всех петербургских черных лестниц), показывают совершенное неуважение хозяев к тем, которым суждено спускаться и подниматься по ним. Квартира шарманщика почти всегда находится в конце такой галереи, по причине дешевизны, и состоит из двух комнат, сделанных из одной.

Если вы хотите иметь о ней точное понятие, то потрудитесь нагнуться и войти в первую комнату. Первый предмет, на котором остановятся ваши взоры,

[1] В Петербург *(ит.)*.

отуманенные слезою (по причине спиртуозности лестницы), будет неимоверной величины русская печь, покрытая копотью и обвешанная лохмотьями, составляющими гардероб хозяев; стены и потолок усеяны теми приятными насекомыми, которые пользуются честию носить название, одинаковое с известным европейским народом. (Я выразился бы и проще; но боюсь людей, не привыкших «сморкаться» там, где есть возможность «обойтись посредством платка»)... Стены эти окружены длинными скамьями, на которых в разных, чрезвычайно неграциозных положениях лежат работники – русские, немцы, итальянцы, нанятые хозяином, каким-нибудь signor Charlotto Bonissy[1]. Посреди комнаты стоят ящики с соломою, и три или четыре обезьяны не перестают в них возиться и пищать самым неприятным дискантом; несколько ширм, коробок с куклами, мешков с мукою и макаронами разбросано по разным углам; кадка с помоями издает из-под печки особенно неприятный запах; дым, виясь из коротеньких деревянных трубок (необходимой принадлежности русских работников), наполняет освобожденное от хлама пространство; говор, хохот, писк обезьян, лай собак, визг детей – заглушают храпенье нескольких шарманщиков, сверхъестественно согнувшихся на печке, на лавках и на полу. Наконец, одно маленькое окно пропускает в комнату несколько лучей света, и то не всегда, потому что если в компании есть хоть один русский человек, то стекла непременно залеплены разными фигурками, с известным искусством вырезанными из сахарной бумаги, между которыми козел с необыкновенно большими рогами и бородою прежде всех бросается в глаза. Вторая комната представляет совершенно противоположное зрелище; тут тотчас заметно присутствие женщин. Не только чистота и порядок составляют отличительное ее свойство, но даже заметно некоторое притязание на роскошь: стенные часы огромного размера, годные для любой башни, с привешенными вместо гирь кирпичами; на окнах горшки с жиденькими растениями, занавески, комод, стол с блистающим самоваром, широкая постель, наконец шарманки различных величин и свойств, в ряд расположенные вдоль стены, показывают присутствие самого хозяина. Едва часы пробили

[1] Синьором Шарлотто Бонисси *(ит.)*.

восемь, как все народонаселение квартиры пробуждается, опоражнивает чашку щей или макарон и, взвалив на плечи каждый свою принадлежность, спускается на улицу, где, разделившись на партии, принимает разные направления. Главный промысел итальянцев – кукольная комедия. Разумеется, та, которая доставляет на наших дворах столько удовольствия подмастерьям в пестрядинных халатах, мамкам и детям, а подчас и взрослым, не похожа на ту, которую вывез он из своего отечества. Обрусевший итальянец перевел ее, как мог, на словах русскому своему работнику, какому-нибудь забулдыге, прошедшему сквозь огонь и воду, обладающему необыкновенною способностью врать не запинаясь и приправлять вранье свое прибаутками, – и тот уже переобразовал ее по-своему. Нигде характер народного русского юмора так сильно не проявляется, как в переделках такого рода; нигде так резко не выказывается бедняк, на фуфу зарабатывающий копейку. В диалогах Пучинелла русского произведения и соответствующих ему персонажей, в их действиях, в самом расположении комедии, ими представляемой, вы тотчас найдете сродство с теми русскими песнями, в которых слова набраны только для рифмы и не заключают в себе ничего, кроме рифмы, с теми сказками, где все делается по щучьему веленью и ни в чем рассказчик ни себе, ни слушателям не отдает отчета. Например, при всех моих стараниях я никак не мог добиться, почему в известной уличной комедии, особенно любимой народом, является лицо, совершенно постороннее действию, ни с которой стороны, по-видимому, не нужное, – лицо, известное под именем «Петрушки», без которого, как вы знаете, не обходится ни одно уличное представление? Или по какой причине, прежде нежели (в той же комедии) черт, чрезвычайно похожий на козла, должен увлечь Пучинелла, являются на сцену два арапа, играющие палкою и прерывающие действие? – для чего?.. Попробуйте добиться у шарманщика! «Нет-с, уж оно так, прежде-с арапы, а уж после черт уносит Пучинелла, уж так водится, так быть следует», – отвечает он, оставив вас в совершенном недоумении насчет появления Петрушки и обоих арапов.

Впрочем, кукольная комедия не есть еще единственный ресурс итальянского шарманщика; ученые обезьяны, уличный гаер составляют также исключи-

тельную его принадлежность, и, кроме того, жена и дочери (разумеется, если таковые есть налицо) немало способствуют к благосостоянию дома. Выражаясь так, я хочу сказать только, что мать выливает из воска херувимчиков, разыгрывающих на вербах немаловажную роль, а дочери, хорошенькие итальяночки с продолговатыми личиками, шьют по заказу платья или раскрашивают модные картинки и верхушки помадных банок. Вообще итальянские шарманщики не представляют нам толпу беспутных бродяг, но, напротив того, картину скромных и тихих ремесленников. Они чрезвычайно любят свое ремесло и считают его благородным искусством, художеством; я никогда не забуду, как раз один из них на вопрос мой: «Каково идут дела его в Петербурге?» – отвечал мне ломаным французским языком: «Oh! mon signore, nous povero artisto pas bien vivere à Pietroborgo; à Pietroborgo on n'aime pas beaucoup les artisto... le publiko ne pas aimer la musica, signore!..»[1] Страсть к благородному искусству часто простирается до того, что итальянец проводит целые месяцы на улучшение шарманки; он облепливает ее разными фигурками, украшениями, прикрепляет к сторонам ее треугольник, бубенчики, тарелки, турецкий барабан, навешивает колокольчики и, приведя все в движение веревочкою, привязанною к ноге, самодовольно посматривает на своих собратий, воображая себя обладателем восьмого чуда в мире. Помещик, показывающий вновь выстроенный дом свой, не пропуская малейшей подробности, и хвастающий даже устройством тех мест, куда никто не заходит без настоятельной нужды, не так старается вырвать у вас похвалу, как шарманщик, только что купивший шарманку. Он несколько раз откроет ее, развинтит, попросит вас посмотреть внутренность, пощупать, погладить, повертеть ручкою, наконец определить ее ценность, и все для того только, чтобы не уронить в вашем мнении себя и горемычное ремесло свое.

Имея столько средств к наживанию денег, итальянские шарманщики легко могли бы по прошествии нескольких лет вернуться в свои горы, обеспеченные на всю жизнь, но природное влечение к деньгам и спеку-

---

[1] О, синьор, мы бедные артисты, не хорошо жить в Петербурге; в Петербурге не очень любят артисты... публика не любить музыка, синьор!.. *(искаж. ит. и фр.)*

ляциям часто ввергает их снова в нищенское состояние. То фабрика гипсовых фигур, как известно, раскупающихся плохо и за бесценок; то постройка балагана на Адмиралтейской площади, где показывают ученых обезьян, китайские тени, кукольную комедию, что все в общей сложности представляет хозяину более издержек, нежели барыша; то, наконец, попытка основать какое-нибудь ремесленное заведение, – одно из таких предприятий, рано ли, поздно ли, разоряет бедного труженика в пух и снова вынуждает бродить по улицам с шарманкою, сбирать по грошу и кормить семейство куском черствого хлеба, добываемого трудом и пóтом.

IV

РУССКИЕ И НЕМЕЦКИЕ ШАРМАНЩИКИ

Хотя шарманка редко бывает уделом немцев, все-таки сходство промысла дает им место в общем классе, нами описываемом.

Немецкие шарманщики бывают двух родов. Одни приходят к нам из Швейцарии, Тироля, Германии и промышляют с самого детства, другие образовались в Петербурге следствием каких-нибудь жизненных переворотов. Вообще частный быт как тех, так и других не представляет большого интереса. Они живут кучками на Сенной и Гороховой в самом жалком и незавидном положении. Уж в том отчасти их натура виновата. Итальянец, например, предан своему ремеслу душой и телом; он оборотлив, сметлив, хитер, весел и веселостию своею завлекает, интересует, электризует свою публику. Немец – сущая флегма; он вял, небрежен и не возбуждает никакого участия в русском человеке, который любит, чтоб его тешили, не жалея усилий. Он никогда не старается вас позабавить, произвести на вас приятное впечатление; напротив, вся его цель – надоесть кому-нибудь одною и тою же скучною ариею и получить деньги от выведенного из терпения обывателя, с условием оставить его в покое.

Вот политика немецкого шарманщика, не всегда приносящая денежный результат. Впрочем, средства их промысла довольно многочисленны: орган, издающий пискливые звуки – «По всей деревне Катенька», сопровождаемые заунывным аккомпанементом хозяина; арфа, на которой обыкновенно играет сухощавая

немка в огромном чепце и черной шали, немка с лоснящимся красным лицом и необыкновенно острым носом,— в то время как муж ее выделывает на своей скрипке быстрые вариации; ученые собаки, прыгающие на задних лапах под музыку знаменитой поездки Мальбруга в поход и боязливо посматривающие на плечистого хозяина, вооруженного бичом, годным для слона; виола с приплясыванием и присвистыванием маленького тирольца, одетого в национальный костюм; наконец бродячие оркестры, состоящие или исключительно из одних тромбонов, оглушающих скромных жителей дворов, или из двух-трех скрипок да кларнета. Кроме того, подобно итальянцам, немцы-шарманщики имеют еще частные промыслы: приготовляют зажигательные спички, курительные свечи, порошки, воспитывают щенков, которых, по окончании курса, передают инвалиду с раздутой губой, а инвалид сбывает их чувствительным томным барыням, носящим букли и ридикюль, или чиновникам, отцам семейства, любящим делать сюрпризы дочерям и не находящим для такого употребления ничего лучше мохнатых болонок или курносых мопсов.

Немецких шарманщиков в Петербурге немного; большею частью они недолго остаются в этом звании, нисколько не соответствующем их характеру.

Выгнанный хозяином безродный подмастерье, закутивший лакей, приказчик, пожертвовавший хозяйскими деньгами пристрастию к орлянке, свайке и картам, а иногда и бедняк, лишенный места несправедливым барином, составляют незначительную часть русских шарманщиков, ежедневно шлифующих петербургские тротуары. Непреодолимое влечение оставлять последний грош в заведении под фирмою: «с распивочной», рано или поздно заставляет его обратиться к итальянцу, содержащему шарманщиков. Правда, и русские шарманщики живут иногда в независимости от итальянца-хозяина, но уж не иначе, как компаниею; редко, весьма редко кто-нибудь из них отделается от толпы и живет один с своим органом; ему нужно непременно «компанство», товарищи; он вообще склонен к общественной жизни. Селятся они на Петербургской стороне, в скромной лачужке, обнесенной с трех сторон огородами; четвертая же, как водится, смотрит в узкий переулок, в перспективе которого возвышается пестрая будка. В этих жилищах

выказывается вполне характер почтенных наших соотечественников, народных виртуозов, со всею их беспечностью. Хотя горе (часто залетающее к русскому шарманщику) приводит его иногда в такое положение, что хоть ложись да умирай с голоду, но, несмотря на то, в нем, как и в каждом русском простолюдине, не угасает стремление к «художеству». Он непременно оклеивает стены своей лачуги любопытными картинками: «Торжество Мардохея», «Аман у ног своей любовницы», «Мужики Долбило и Гвоздило, побивающие французов», «Вид города Сызрани» (такого рода пейзажи состоят обыкновенно из маленьких пригорков в виде сахарных головок, расположенных один на другом, с травкою на каждой вершинке и увенчанных рядом кривых куполов), «Портной в страхе» и тому подобные создания отечественной фантазии резко выдаются красными, пунцовыми и желтыми пятнами на закопченных стенах. Рядом с изображением какого-нибудь фельдмаршала, занимающего с лошадью все поле картины, вы увидите верхушку помадной банки с надписью: «а ла виолет», или над трогательною сценою, погребение кота мышами, тотчас же прилеплен портрет Кизляр-аги.

Нет ничего беспечнее русского шарманщика; он никогда не заботится о следующем дне, и если случается ему перехватить кой-какие деньжонки, обеспечивающие его на несколько дней, он не замедлит пригласить товарищей в ближайший «кафе-ресторан», где за сходную цену можно получить пиво, селедку и чай. Как неаполитанский лазарони, он не будет работать, если денег, добытых утром, достаточно на вечер: нашатавшись до́сыта, наш виртуоз возвращается домой, и если усталость не клонит его на жиденький тюфяк, служащий ему постелью, он предается мирным занятиям, сродным мягкой его душе: слушает, как один из его товарищей, грамотей труппы, читает добытые на толкучке брошюрки. Его в особенности восхищают книги: «Жизнь некоторого Аввакумовского Скитника, в брынских лесах жительствовавшего, и курьезный разговор души его при переезде через реку Стикс», «Анекдоты Балакирева», «Похождение Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками и сумасбродною свадьбою», «История о храбром рыцаре Францыле Венцыане и прекрасной королеве Ренцывене», «Козел бунтовщик, или Машина свадьба» — сочинение удиви-

тельное, в эпиграф которому прилажено: «Все сочинения теперь в пыли, а это только что взято из были»; «Кандрашка Булавин», «Вред от пьянства» – книги, в особенности последняя, чрезвычайно назидательные, но приносящие как читателям, так и слушателям мало существенной пользы.

К удивлению, в публике русский шарманщик както не общежителен, он мало обращает внимания на своих слушателей, всегда почти пасмурен, недоволен собою, разве завлечет его дружеский удар по плечу знакомого кучера с приветствием: «Эх, брат Ванюха!!!»

V

УЛИЧНЫЙ ГАЕР

Чердак одного из огромных домов, окружающих Сенную площадь, служит обыкновенно местом его рождения. Какая-нибудь прачка, горничная третьего разряда, обманутая лакеем, разделяющим любовь свою между кабаком и махоркою, – причина появления на свет будущего уличного гаера. Первый взгляд, брошенный новорожденным на полухмельного отца своего, бывает часто последним взглядом; непостоянный, вскоре после рождения на свет залога любви, бросает свою подругу и чердак, с твердым намерением разыграть роль Ловеласа в других, более удобных местах. Бедная женщина остается таким образом одна в своем жилище, где спартанец не нашел бы лишней роскоши. Убедившись в неверности своего любезного, она тотчас же принимается за работу; чувство матери придает ей новые силы и вскоре вознаграждает потерянное время. Между тем малютка растет; он уже бегает по комнате, лепечет несвязные слова и ест уголья и глину, заимствуя их у печки – шалость, за которую мать имеет причины не слишком строго взыскивать. Птичка покидает гнездо, едва почувствует свои силы, и летит далеко в небо, купаясь в синеве его, или спускается в кущу пахучей липовой рощи, оглашая громким чиликаньем песчаный берег близжурчащей речки; точно так же и герой наш оставляет родной чердак, почувствовав себя в силах помощью рук и ног спуститься по грязной лестнице на улицу. Воспитание его окончено; природа была первым его наставником, время довершит остальное.

Тротуары и мостовая, давно пожираемые жадным его взором с чердака, где получил он существование, появляясь ему теперь в полном блеске, представляют тысячу развлечений и удовольствий. Толпы таких же, как он, мальчишек, шарманщики, кукольная комедия, бабки, лотки, уставленные апельсинами и пряниками, солдаты, проходящие по площади с музыкою впереди,— все это до такой степени очаровывает молодое его воображение, что он готов лучше целые сутки просидеть на улице под дождем, любуясь на воду, извергаемую желобом, нежели идти домой. Но известно всякому, даже не читавшему детских прописей, что счастие скоротечно и исполнено треволнений. Едва минуло мальчугану восемь лет, как заботливая мать уже думает о том, как бы доставить ему честное хлебное ремесло. То вталкивает его в общую колею уличной промышленности, привесив ему на шею деревянный ящик, наполненный спичками, снабдив его тросточками, сургучом, зелеными яблоками, или, если есть кой-какие средства, избирает своему детищу более прочное ремесло, поручая его богатому мастеровому. Натянув на плечи толстый полосатый халат, мальчик становится подмастерьем. Хотя халат может поместить в широких полах своих трех таких молодцов, но подмастерье, уже вкусивший раз свободы, чувствует его тесным и, по возможности, старается стрясти с себя это иго. Избалованные мальчишки-товарищи скоро увлекают новичка; каждое воскресенье отправляются они на Крестовский на целый день, где проявляется впервые идея о кутеже. С пряников и кедровых орехов переходит на трубку, с трубки на вино; бедняк, увлеченный более и более, делается негодяем и кончает обыкновенно карьеру свою у хозяина воровством или побегом.

Выгнанный хозяином или бежавший от него, он случайно сталкивается с содержателем труппы кочующих фигляров; мать ли его стирает белье на эту труппу, или он сам заводит знакомство, одним словом, бывший подмастерье делается членом труппы, в качестве портного или сапожника, с назначением перекраивать известные лохмотья или приставлять подметки. Но звание это, вместо того чтоб доставить ему кусок хлеба, делается источником всех его бед и несчастий. Фигляры, вольтижеры, канатные плясуны являются пред ним господами, героями; страждущее самолюбие

не дает ему покоя ни днем, ни ночью; ему грезится бархатный камзол, шитый блестками, рукоплескания, дружба и радушие фигляров, вместо презрения, и он решается, во что бы то ни стало, достигнуть высокой для него цели. Хитрый хозяин, подметив эту слабость и не имея особенного желания платить своему работнику, предлагает ему, вместо денег, услуги; бедняк с восторгом принимает предложение и вверяет свои члены бичу и палке хозяина.

Тут наступает для него трудная школа, и если он до конца выдерживает ее, то по прошествии нескольких лет удостаивается приема в компанию. Разумеется, претензии его на жалованье считаются дерзостию, и потому он немедленно переходит в другую труппу уже действующим лицом, с правом быть выставленным на афише. В этих труппах герой наш обязан выполнять всевозможные «амплуа» по благоусмотрению антрепренера, какого-нибудь г. Каспара, Вейнерта, Добрандини и т. д. Начиная с обязанности ламповщика и кончая почетным званием вольтижера, переходит он все состояния: поочередно является перед почтеннейшей публикой клоуном, Кассандром, паяцем, чертом, глотает шпаги, зажженный лен, подымает гири, играет в пантомимах, кончающихся обыкновенно тем, что все действующие лица, без исключения, исчезают в исполинской пасти холстяного черта; деятельность его иногда баснословна; он в одно и то же представление сзывает зрителей, продает билеты на вход, делает salto mortale, танцует на канате, перепрыгивает помощью трамплина чрез двенадцать солдат, танцует на лошади, играет какую-нибудь роль в следующей за сим пантомиме и часто довершает представление коленцем из русской пляски, отхватанным с примадонною труппы. Но непродолжительна блестящая эпоха его жизни; когда масленая, а затем и святая недели миновали, он вынужден бесчестить (так выражается гаер) благородное ремесло свое, вступив гаером к богатому шарманщику, с условием получать по двадцати пяти копеек меди с рубля, добытого на дворах и улицах.

Должно заметить, что уличный гаер всегда почти русский; балаганные его товарищи, будучи иностранцами, тотчас же по истечении праздников уезжают за границу, оставив его на произвол судьбы. Спустясь с своих подмостков на худощавый ковер, бывший Гер-

кулес показывает нам свое искусство при завывании шарманки и гудении тамбурина. Бóльшую часть года уличный гаер проводит у шарманщиков, и это время составляет несчастнейшую часть его жизни.

Деньги, получаемые на улицах, едва достаточны на содержание, а так как он любит после дневных трудов посибаритствовать, то нажитое в балагане мало-помалу исчезает в заведениях. С каждым днем положение его становится хуже и хуже; к концу года остается у него одно платье, и он уже, по русскому обычаю, сбирается угостить товарищей на последний камзол, шитый блестками, как является хозяин балагана и завербовывает его на следующие праздники. Без этого прощай и камзол и человек, все бы погибло! Несмотря на скудную жизнь уличного гаера у шарманщика, он не унывает духом, и хотя наружность его пасмурна, смотрит он исподлобья и всегда ворчит, но это продолжается только до минуты, когда он входит на двор, намереваясь дать представление. В то время как один из его товарищей расстилает на мостовой тощий ковер, служащий ему ареною, гаер гордо посматривает на толпу, сбежавшуюся смотреть на него. Взгляните, с какою самодовольною улыбкою сбрасывает он с себя длиннополый сюртук, скрывающий пунцовый камзол и широкие белые шаровары. Бубен и шарманка играют интродукцию, гаер встряхивает курчавою головою, отходит несколько шагов назад и, разбежавшись, становится на руки; salto mortale следуют одно за другим, публика рукоплещет, гроши сыплются из окон, но гаер ничего этого не примечает; у него давно на носу стул, на котором сидит маленькая девочка, взятая из толпы... Унылые звуки «Лучинушки» возвещают конец представления; гаер надевает снова сюртук, нахлобучивает на взъерошенные свои волосы избитую шляпу и покидает двор, преследуемый тою же публикою, еще долго не покидающею его.

Не все уличные гаеры случайно попадают в тяжкое свое ремесло; есть такие, которые посвящаются ему с самого детства. Дети старого фигляра или гаера, они поневоле должны идти по стопам отца и обыкновенно кончают жизнь или на этом поприще, или от неудачного salto mortale. Положение их самое несчастное; от колыбели до гроба обречены они неимоверным трудам, не имея другого способа кормить себя, так как гаер по призванию имеет всегда

время отказаться от гаерства, коль скоро почувствует его тягостным. Часто случается, что, проведши несколько лет в этом звании, он возвращается к прежнему ремеслу своему, и вы немало удивитесь, увидев того самого гаера, которым восхищались на дворе, который так ловко ходил на руках, держал на носу стул и повертывал на мизинце тамбурин, с шилом или ножницами в руках.

VI

ПУБЛИКА ШАРМАНЩИКА

В осенний вечер, около семи часов, партия шарманщиков поворотила с грязного канала в узкий переулок, обставленный высокими домами. Шарманщики заметно устали. Один из них, высокий мужчина флегматической наружности, лениво повертывал ручкою органа и едва передвигал ноги; другой, навьюченный ширмами, бубном и складными козлами, казалось, перестал уже и думать об усталости, только рыжий мальчик с ящиком кукол нимало не терял энергии.

Шарманщики, кажется, намереваются войти в ворота одного знакомого и прибыльного дома.

Так! нет сомнения! Комедия будет! Они вошли на двор, вот уже заиграли какой-то вальс и раздался пронзительный крик Пучинелла. Оборванный мальчишка, который до того времени спокойно сидел на тумбочке, играл камешком и дразнил сестру с двумя маленькими ребятишками на руках, вдруг вскочил, сделал братьям еще гримасу и, перескочив чрез всю группу, сломя голову бросился на двор. Будочник, стоявший тут же, с прилепленною к стене будкою, снисходительно улыбнулся и понюхал березинского. Два солдата, занятые весьма интересным разговором, заметив вошедших в дом шарманщиков, остановились, с минуту оставались в нерешимости и, наконец, вошли.

Баба с необыкновенно красным лицом и веником под мышкою последовала их примеру; одним словом, эффект был произведен.

Отчего же бы и нам не зайти? Двор широк и просторен; на него выходит до сотни окон. Посреди двора уже поставлены ширмы; флегматический носитель шарманки успел уже уставить свою ношу на складные

козла и играл интродукцию. Представление не могло замедлиться, потому что на публику нельзя было жаловаться: она сбегалась со всех сторон. Но шарманщик не переставал оглядывать окна, из которых начинали высовываться головы любопытных, естественно ожидая от них более, чем от толпы сгруппировавшихся вокруг него зевак.

Крик Пучинелла раздается в другой и третий раз, верхние этажи населяются, оживляются, кучи самых разнообразных голов перевешиваются на подоконники; виден и чиновник в пестром халате, красной ермолке и с трубкою в зубах; рядом с ним артель работников заняла целые шесть окон сряду; хорошенькая женщина и болонка поместились на сафьянной подушке, брошенной на окно; кое-где выглянуло несколько размалеванных лиц, обративших на мгновение общее внимание.

Чиновник Федосей Ермолаевич, весьма почтенный человек, занимавший выгодное место и которого сам директор однажды потрепал по плечу, также был пробужден после обеденного отдыха призывными криками Пучинелла.

— Терешка! что это, братец, там такое? — закричал Федосей Ермолаевич, зевая и потягиваясь.

— Шарманщики, сударь, — отвечал Терешка, делая движение рукою и головою к окошку.

— Да как же это они, братец... того?..

Но тут новый крик Пучинелла совершенно разбудил Федосея Ермолаевича; он потянулся еще раз, встал с постели и заспанными глазами посмотрел на двор.

— Папенька, то, то, то, они вот все, вот так, вот все играют? — спросил маленький Ермолай Федосеевич, таща всеми силами отца к окну. Ребенок гнусил, произнося последние слова нараспев, что, впрочем, нисколько не мешало ему быть любопытным и подавать большие надежды.

— Шарманщик, душечка...

— Нет, нет, то, вот они, вот так, вот все играют? — продолжал ребенок, требуя непременно объяснения.

— Шарманщик, душечка...

— Нет, нет, то, они все так...

Но и мы, не находя ответ Федосея Ермолаевича удовлетворительным, спустимся лучше вниз вместе с

нянькою, торопливо выносившею пискливого ребенка, который не давал ей покоя целые три часа.

Комедия должна начаться сию минуту, публике некуда уже было поместиться. Два солдата, долго колебавшиеся вмешаться в толпу, стояли теперь на первом плане; их плотно окружала орда мастеровых в изодранных армяках, с выпачканными сажею лицами; мамки, няньки, кормилицы с ребятишками всех сортов и возрастов пестрели в толпе яркими сарафанами; денщик, возвращаясь с четверкою вакштафа, которую с нетерпением ожидал вновь произведенный прапорщик, казалось, позабыл своего господина; босоногая девчонка, остриженная в кружок, стояла в каком-то бессмысленном созерцании, держа в руках корзинку с копеечными сухарями; толстый барин в очках, вышедший подышать свежим воздухом, разделял общее нетерпение; трое писарей с лихими ухватками подшучивали над шарманщиком, который переменил уже два мотива и с самой недовольной миной переходил на третий; с улицы подходила беспрестанно толпа всякого сброда; даже два моншера остановились у входа ворот, завернув ногу назад и картинно упершись на тросточку.

Толпа волновалась и шумела; все ожидали, все требовали представления; один только знакомый нам мальчишка бегал кругом, как гончая собака, обнюхивал каждого, высовывал язык всем, кто ему не нравился, щипал исподтишка детей и, протянув руку, готовился стащить пятый сухарь у девочки, как вдруг над шарманкою показался Пучинелла. Пучинелла принят с восторгом; характером он чудак, криклив, шумлив, забияка, одним словом, обладает всеми достоинствами, располагающими к нему его публику.

– Здравствуйте, господа! Сам пришел сюда, вас повеселить, да себе что-нибудь в карман положить! – так начинает Пучинелла.

Его приветствие заметно понравилось; солдат подошел поближе, мальчишка сделал гримасу, один из мастеровых почесал затылок и сказал: «Ишь ты!», тогда как другой, его товарищ, схватившись за бока, заливался уже во все горло. Но вот хохот утихает; Пучинелла спрашивает музыканта; взоры всех обращаются на его флегматического товарища.

– А что тебе угодно, господин Пучинелла? – отвечает шарманщик.

Пучинелла просит его сыграть «По улице мостовой»; музыкант торгуется:

— Да что с тебя, мусью? двадцать пять рублей ассигнациями!

Пучинелла. Да я и отроду не видал двадцати пяти рублей, а по-моему, полтора рубля шесть гривен.

Музыкант. Ну хорошо, мусью Пучинелла, мы с тобою рассчитаемся.

Сказав это, он принимается вертеть ручкою органа.

Звуки «По улице мостовой» находят теплое сочувствие в сердцах зрителей: дюжий парень шевелит плечами, раздаются прищелкивание, притоптывание.

Но вот над ширмами является новое лицо: капитан-исправник; ему нужен человек в услужение; музыкант рекомендует мусью Пучинелла.

— Что вам угодно, ваше высокоблагородие? — спрашивает Пучинелла.

— Что ты, очень хороший человек, не желаешь ли идти ко мне в услужение?

Пучинелла торгуется; он неизвестно почему не доверяет ласкам капитана-исправника; публика живо входит в его интересы.

Капитан-исправник. Экой, братец, ты, со мною торгуешься! много ли, мало ли, ты станешь обижаться.

Пучинелла. Не то чтобы обижаться, а всеми силами стану стараться!

Капитан-исправник. У меня, братец, жалованье очень хорошее, кушанье отличное, пуд мякины да полчетверика гнилой рябины, а если сходишь к мамзель Катерине и отнесешь ей записку, то получишь двадцать пять рублей награждения.

Пучинелла. Очень хорошо, ваше благородие, я не только записку снесу, но и ее приведу сюда.

Публика смеется доверчивому Пучинелла, который побежал за мамзель Катериною. Вот является и она сама на сцену, танцует с капитаном-исправником и уходит. Толпа слушает разиня рот, у некоторых уже потекли слюнки.

Новые затеи: Пучинелла хочет жениться, музыкант предлагает ему невесту; в зрителях совершенный восторг от девяностодевятилетней Матрены Ивановны, которая живет «в Семеновском полку, на уголку, в пятой роте, на Козьем болоте». Хотя Пучинелла и от-

казывается от такой невесты, но все-таки по свойственному ему любопытству стучит у ширм и зовет нареченную. Вместо Матрены Ивановны выскакивает собака, хватает его за нос и теребит что есть мочи.

Публика приходит в неистовый восторг: «Тащи его, тащи... так, так, тащи его, тащи, тащи!..» – раздается со всех сторон; Пучинелла валится на край ширм и самым жалобным голосом призывает доктора, не забывая, однако, спросить, сколько будет стоить визит.

Является доктор, исцеляет Пучинелла и в благодарность получает от него оплеуху.

За такое нарушение порядка и общественного спокойствия, исполненный справедливого негодования, капитан-исправник отдает Пучинелла в солдаты.

– Ну-ка, становись, мусью, – говорит капрал, вооружая его палкою, – слушай! на кра-ул!

По исполнительной команде Пучинелла начинает душить своего наставника вправо и влево, к величайшему изумлению зрителей. Ясно, что такого рода буян, сумасброд, безбожник не может более существовать на свете; меры нет его наказанию: человеческая власть не в состоянии унять его, и потому сам ад изрыгает черта, чтобы уничтожить преступника.

Комедия кончается; Петрушка, лицо неразгаданное, мифическое, неуместным появлением своим не спасает Пучинелла от роковой развязки и только возбуждает в зрителях недоумение. Неунывающий Пучинелла садится верхом на черта (необыкновенно похожего на козла), но черт не слушается: всадник зовет Петрушку на помощь, но уже поздно: приговор изречен, и Пучинелла погибает образом, весьма достойным сожаления, то есть исчезает за ширмами.

Раздается финальная ария, представление кончилось. Публика чрезвычайно довольна, но когда шарманщик взял бубен, завертел его на мизинце и стал обходить зрителей, толпа заметно стала редеть. Первыми дезертирами оказались два солдата и баба с веником под мышкою; рев детей, на минуту умолкнувший, возобновился с бóльшей силой и заставил мамок поскорее удалиться; словом, из толпы утекали поминутно. К совершенному отчаянию шарманщика, даже и сам толстый господин в очках, остановившийся послушать комедию, посмотрел на бубен, подносимый ему шарманщиком, как бы не понимая, чего

хотелось просителю; с горя шарманщик обратился к ложам, то есть к окнам, в которых все еще торчали головы любопытных; наконец один пятак упал, звеня и прыгая, на мостовую, за ним другой, потом третий, брошенный собственноручно сыном Федосея Ермолаевича, которому папенька вручил его с наставлением: «Брось ему, душенька, в бубен».

– Нет, нет, то, то, они вот, так вот все играют? – твердил упрямый мальчишка...

Пятак как-то неловко упал между камнями; тут чиновник в красной ермолке, не давший решительно ничего и более других хлопотавший о начатии комедии, принял необыкновенное участие в судьбе шарманщика.

– Направо, направо, – кричал он, указывая ему пальцем на то место, куда упал пятак. – Еще правее... эх, братец! не туда! говорят тебе, правее.

– Направо, теперь еще немножко назад, – слышался голос из другого окошка.

«Эх, вы, – думал шарманщик, нагибаясь, чтобы поднять деньги, – хлопотать-то ваше дело, на то вы мастера, а вот как самому положить что-нибудь, так нет... эх! житье, житье!»

Шарманку сняли, и под звуки плачевной музыки она тронулась с места; толпа расходилась; чем бы, кажется, и все должно было кончиться, но тут случилось обстоятельство, которого пропустить невозможно. Дождь, накрапывавший еще до окончания комедии и не примечаемый увлекшеюся публикой, полил как из ведра; чиновник в очках, по благоразумному своему обыкновению в таких случаях, полез в карман, чтобы вытащить оттуда платок и обернуть им еще новую шляпу, как к совершенному своему изумлению вместо платка вытащил чью-то руку, уже прежде нырнувшую туда за платком.

Чиновник обернулся, но мальчишка, наш старый знакомый (это был он), одним движением руки вырвался из тисков оскорбленного чиновника, ринулся вперед и исчез в толпе.

«Держи! держи!» – закричал чиновник; «держи! держи!» – раздалось повсюду, «держи!» – закричали мастеровые.

Двор опустел до единого; один только мужик, восторженно хохотавший от самого начала до развязки, остался на прежнем месте; улыбка удовольствия еще

не покидала лица его; он осмотрелся кругом, взглянул на то место, где стояла шарманка, не забыл посмотреть на окна, которые запирались от проливного дождя, и, сделав недовольную мину, отправился к воротам.

Под воротами он встретил бедную собачонку, дрожавшую от холода и прижимавшуюся к стенке. Мужик остановился, посмотрел на нее пристально, нагнулся к ней как можно ближе и произнес: «Озябла!..» – после чего тотчас же покинул двор, весьма довольный собою.

VII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Случалось ли вам идти когда-нибудь осенью поздно вечером по отдаленным петербургским улицам?

Высокие стены домов, изредка освещенные тусклым блеском фонарей, кажутся еще чернее неба; местами здания и серые тучи сливаются в одну массу, и огоньки в окнах блестят, как движущиеся звездочки; дождь с однообразным шумом падает на кровли и мостовую; холодный ветер дует с силою и, забиваясь в ворота, стонет жалобно; улицы пусты, кое-где плетется разве запоздалый пешеход или тащится извозчик-ночник, проклиная ненастье; но скоро все утихает, изредка только слышатся продолжительный свист на каланче или скрип барки, качаемой порывами ветра, и снова все погружается в безмолвие.

Погода всегда имеет сильное влияние на расположение духа, и вам как-то невольно становится грустно. Постепенно одна за другою приходят на ум давно забытые горести; одно печальное, неотрадное наполняет душу, и невыразимая тоска овладевает всем существом вашим...

Вы входите в глухой, темный переулок; сердце ваше сжимается еще сильнее прежнего. Высокие заборы исчезают в темноте; полуразвалившиеся лачужки без признака жизни, все пусто, ни живой души, разве пробежит мокрая собачонка, фыркая и чутко обнюхивая, в тщетной надежде напасть на след потерянного хозяина... Вдруг посреди безмолвия и тишины раздается шарманка; звуки «Лучинушки» касаются слуха вашего, и фигура шарманщика быстро проходит мимо.

Вы как будто ожили, сердце ваше сильно забилось, грусть мгновенно исчезает, и вы бодро достигаете дома. Но не скоро унылые звуки «Лучинушки» перестанут носиться над вами; долго еще станет мелькать жалкая фигура шарманщика, встретившаяся с вами в темном переулке поздно ночью, и вы невольно подумаете: может быть, в эту самую минуту, продрогший от холода, усталый, томимый голодом, одинокий, среди безжизненной природы, вспоминал он родные горы, старуху-мать, оливу, виноград, черноокую свою подругу, и невольно спросите вы: для чего, каким ветром занесен он бог знает куда, на чужбину, где ни слова ласкового, ни улыбки приветливой, где, вставши утром, не знает он, чем окончится день, где ему холодно, тяжело...

1843



ДЕРЕВНЯ

(Рассказ)

I

Далеко в глухой сторонушке
Вырастала тонка белая береза.
Что то́нка береза, кудревата,
Где не греет ее солнышко, ни месяц,
И не частые звезды усыпают;
Только крупными дождями уливает,
Еще буйными ветрами поддувает.

Русская народная песня

В одном богатом селении, весьма значительном по количеству земли и числу душ, в грязной, смрадной избе на скотном дворе у скотницы родилась дочь. Это обстоятельство, в сущности весьма незначительное, имело, однако, следствием то, что больная и хилая родильница, не быв в состоянии вынести мучений, а может быть, и просто от недостатка бабки (что очень часто случается в деревнях), испустила последний вздох вскоре после первого крика своей малютки.

Рождение девочки было ознаменовано бранью баб и новой скотницы, товарки умершей, деливших с свойственным им бескорыстием обношенные, дырявые пожитки ее. Ребенок, брошенный на произвол судьбы (окружающие были заняты делом более важным), без сомнения, не замедлил бы последовать за своими родителями (и, конечно, не мог бы сделать ничего лучшего), если б одно из великодушных существ, наполнявших избу, не приняло в нем участия и не сунуло ему как-то случайно попавшийся под руку рожок. Услуга пришлась очень кстати и была, можно сказать, настоящею причиною, определившею судьбу младенца, которая до того времени весьма нерешительно колыхала его между жизнью и смертью. Дележ, совер-

шаемый по всем законам справедливости между однокашницами бывшей скотницы, не успокоил, однако, шумного их сборища; хотя тетка Фекла и уступила скотнице Домне полосатую понёву покойницы за ее изношенные коты (главную причину криков и размирья); хотя завистливая Домна перестала кричать на Голиндуху, завладевшую повязкою и чулками умершей, но наступившая тишина продолжалась недолго и была только предвестницею новой бури.

Теперь каждая из этих достойных женщин с жаром принялись защищать права свои в рассуждении того, на чью горькую долю должен достаться ребенок, как будто назло им родившийся. Но сколько ни спорили горемычные, ничего не могли решить (чувство справедливости было в них сильно), и потому положили с общего голоса предоставить все судьбе и бросить жребий – способ, как известно, решающий в деревнях всякого рода недоразумения. Жребий, в благодарность за такое доверие, не замедлил, по обыкновению, показать собою пример безукоризненного беспристрастия и справедливости: сиротка пришлась на долю скотницы, которая, не в пример другим бабам, была наделена полдюжиною собственных своих чад.

Домна (так звали новую скотницу), хотя баба нрова твердого, или, лучше сказать, ничем не возмутимого, не могла, однако, вынести равнодушно определения судьбы и тут же, зная наперед, сколь бесполезно роптать на нее, внятно проголосила, что жутко будет проклятому пострелу, невесть как несправедливо навязавшемуся ей на шею.

Маленькая Акулина (таким именем окрестили малютку) сделалась на скотном дворе с первого же дня своего существования предметом всеобщего нерасположения.

Да и какая, в самом деле, нужда была бабам знать, был ли младенец виною своей докучливости? Довольно того, что он досаждал им поминутно. «Добро бы своя была,– говорили они,– добро бы родная, а то невесть по какого лешего смотришь за нею; словно от безделья». Но хуже всего приходилось терпеть сиротке от самой скотницы. Нельзя сказать, чтоб Домна была женщина злая и жестокая; но день бывал у ней неровен: иной раз словечка поперек не скажет, что бы ни

случилось; в другое время словно дурь какая найдет на нее; староста ли заругается или подерется, дело ли какое не спорится в доме – осерчает вдруг и пойдет есть и колотить сиротку. Сором таким лается на нее, что хоть вон из избы беги; все припомнит, ничего не пропустит; усопшую мать не оставит даже в покое и, при каждом ударе, такого наговорит дочери на покойницу, чего и вовсе не бывало.

Впрочем, необходимо сказать в оправдание Домны, что в грубом обхождении и побоях, которыми угощала она свою питомицу, скрывалась иногда весьма уважительная, добрая цель. В доказательство можно привести собственные слова ее. Однажды жена управляющего застала Домну на гумне в ту самую минуту, когда она безмилосердно тузила Акулю. «За что бьешь ты, дурища, девчонку?» – спросила жена управляющего. «Да вины-то за нею нету, матушка Ольга Тимофеевна, – ответила Домна, – а так, для будущности пригодится». Если найдутся люди, которые, по свойственному им человеколюбию или сострадательности, не захотят видеть в этом доброго намерения, а припишут нападки на сиротку частию жестокости скотницы, то смею уверить их, что даже и тогда нельзя вполне обвинять ее.

Страсть к «битью, подзатыльникам, пинкам, нахлобучникам, затрещинам» и вообще всяким подобным способам полирования крови не последняя страсть в простом человеке. Уж врожденная ли она или развилась чрез круговую поруку – бог ее ведает; вернее, что чрез круговую поруку...

В одном только можно было упрекнуть Домну, именно в излишнем пристрастии, которое уже чересчур ясно обнаружила она к собственным своим детям. Можно даже сказать, что слепая эта любовь часто заглушала в ней чувство справедливости и всякого рода добрые намерения, оправдывавшие почти всегда пинки и побои, которыми наделяла она сиротку. Случалось ли ребятам напроказить: разбить горшок или выпить втихомолку сливки, – разгневанная Домна накидывалась обыкновенно на Акульку, видя в ней если не виновницу, то по крайней мере главную зачинщицу; забредет ли свинья в барский палисадник, и за свинью отвечала бедняжка. Когда муж скотницы, проживавший по оброку в соседней деревне на миткалевой фабрике, возвращался домой в нетрезвом виде

(что приключалось нередко), всегда почти старалась Домна натолкнуть на него сиротку, чтоб отклонить от себя и детей своих первые порывы его дурного расположения,— словом, все, что только могло случиться неприятного в домашнем быту скотного двора,— все вызывало побои на безответную Акульку. Вне этих отношений с жителями избы сиротка проводила детство свое, как и все остальные дети села, в совершенном забвении и пренебрежении. Слово «авось» играет у нас, как известно, и поныне весьма важную роль и прикладывается русским мужиком не только к собственному его житью-бытью, но даже к житью-бытью детей его. Самый нежный отец, самая заботливая мать с невыразимою беспечностью предоставляют свое детище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическом развитии ребенка, которое считается у них главным и в то же время единственным, ибо ни о каком другом и мысль не заходит им в голову. Не успеет еще ребенок освободиться от пелен, как уже поручают его сестре, девчонке лет четырех или пяти, которая нянчится с ним по-своему, то есть мнет и теребит его во сколько хватает силенки, а иногда так пристукнет, что и через двадцать лет отзовется.

Мать ли плетется с коромыслом на реку стирать белье — и дочка тащится вслед за нею вместе с драгоценною своей ношею; развлеченная каким-нибудь камешком или травкою, она вдруг покидает питомца на крутом берегу или на скользком плоте... Бегут ли под вечер ребята навстречу несущемуся с поля стаду — нежная головка младенца уже непременно мелькает в резвой, шумливой толпе; когда наступает сырая холодная осень, сколько раз бедняжка, брошенный на собственный произвол, заползает на середину улицы, покрытой топкою грязью и лужами, и платится за такое удовольствие злыми недугами и смертию! А весною, когда отец и мать, поднявшись с рассветом, уходят в далекое поле на работу и оставляют его одного-одинехонького вместе с хилою и дряхлою старушонкой-бабушкой, столько же нуждающейся в присмотре, сколько и трехлетние внучата ее,— о! тогда, выскочив из избы, несется он с воплем и криком вслед за ними, мчится во всю прыть маленьких своих ножек по взбороненной пашне, по жесткому, колючему валежнику; рубашонка его разрывается на части о пни

и кустарники, а он бежит, бежит, чтоб прижаться скорее к матери... и вот сбивается запыхавшийся, усталый ребенок с дороги; он со страхом озирается кругом: всюду темень лесная, все глухо, дико; а вот уже и ночь скоро застигнет его... он мечется во все стороны и все далее и далее уходит в чащу бора, где бог весть что с ним будет... Поминутно слышишь, что там-то утонул ребенок в ушате, что тут-то забодал его бык или проехала через него отцовская телега, что сын десятского отморозил себе ногу, а трехлетняя внучка старостихи разрезала серпом щеку двухлетней сестре своей и тому подобное.

Конечно, крестьянская натура крепка, и если ребенок уцелеет, то к зрелому возрасту он превращается почти всегда в дюжего и плечистого парня с железным здоровьем или в свежую, красную девку, во сто крат здоровее иной барышни, с колыбели воспитанной в неге и роскоши; но ведь не всякому посчастливится уцелеть: сколько их и гибнет! сколько остается на всю жизнь уродами! Трудно найти деревню, где бы не было жертвы беспечности родителей; калеки, слепые, глухие и всякие увечные и юродивые, служащие обыкновенно предметом грубых насмешек и даже общего презрения,— в деревнях сплошь да рядом! Притом между крестьянскими детьми нередко встречаются нежные натуры, которые если и выдерживают детство, зато сохраняют во всем существе своем пагубные следы его надолго — на всю жизнь.

Обремененные наследственными недугами, больные и слабые, они считаются в родной семье за лишнюю тягость, и с первых лет до того дня, когда оканчивают тихое, бездейственное поприще свое на земле, в каком-нибудь темном углу избы, испытывают одно только горе, приправляемое ропотом окружающих и горьким сознанием собственной своей бесполезности.

К счастию, Акулина не принадлежала к последней категории, и Домна могла употреблять ее с пользою в многочисленных занятиях скотного двора. Едва сиротке минул седьмой год, тотчас же приставила она ее смотреть за барскими гусями и утками.

II

Как чужие-то отец с матерью
Безжалостливы уродилися:
Без огня у них сердце разгорается,
Без смолы у них гнев раскипается,
Насижусь-то я у них, бедная,
По конец стола дубового,
Нагляжусь-то я, наплачуся.

Русская песня

Осень. На дворе холодно; частый дождь превратил улицу в грязную лужу; густой туман затянул село, и едва виднеются сквозь мутную сквознину его ветхие лачуги и обнаженные нивы. Резкий ветер раскачивает ворота и мечет по поляне с каким-то заунывным, болезненно хватающим за сердце воем груды пожелтевших листьев. Улица пуста – ни живой души. Сизый дымок, вьющийся из низеньких труб избушек, свидетельствует, что никого нет в разброде, что все хозяева дома и расправляют на горячей печке продрогшие члены. Все живущее прячется кто куда может, лишь бы укрыться от холода и ненастья. Куры и голуби приютились на своих жердочках под навесом, завернув голову под тепленькое крылышко; воробей забился в мягкое гнездо свое; даже неугомонные шавки и жучки комком свернулись под телегами. Каждому готов приют, каждому и хорошо и тепло...

Изба скотницы Домны жарко-нажарко натоплена; вся семья дома; даже теленок, которого откармливают для барского стола, привязан заботливою Домною к печке и опустился на мокрую свою солому Двое парнишек ее вместе с бабушкою и любимою кошкою давно забрались на полати. Другие два шумно возятся под лавками. Дождь стучит в узкие стекла окон, ветер свищет на дворе и улице, и по временам все стихает в избе, прислушиваясь к дребезжащему, протяжному вою. Одной только Акули что-то не видно: ее послали на реку стеречь уток.

Возвращается она, наконец, к обеду домой. Издали виднеется ей почерневшая от воды лачуга, но сиротка не спешит укрыться от холода под теплую ее кровлю; она со страхом и смущением приближается к ней. Де-

ло в том, что одного утенка унесло течением реки в колесо мельницы.

Между тем, как подходила она к дому, на скотном дворе как нарочно затеялся жаркий спор между Домною и Голиндухою. Здесь дело было уже вот в чем: кто-то из ребят скотницы стянул лапоть Голиндухи, прислоненный к печке для просушки, и, привязав к нему бечевку, стал возить его по полу. Голиндуха, занимавшаяся в то время выпариванием квасной кадушки, неоднократно кричала на ребенка, приказывая ему тотчас же поставить обувь на прежнее место; ребенок не слушался и, как бы назло, начал колотить лаптем во все углы избы. Выведенная, наконец, из терпения баба бросила работу, отвесила озорнику добрую затрещину и, вырвав обувь, положила ее на печку.

Домна, все видевшая и еще прежде чем-то раздосадованная, не вынесла выходки Голиндухи.

— Куда лапоть-то поганый свой ставишь? — сказала она, выглянув вдруг из-за перегородки, — места ему небось нету?.. Эка нашлась какая прыткая... словно барыня — драться еще вздумала...

— А что, невидаль, что ли, какая?.. барские дети-то твои, что ль? Вестимо бить стану, коли балуются...

— А ну-тка, сунься...

— Тебя небось послушалась?..

— Ах ты, собака этакая...

— Сама съешь...

— Чтоб тебе подавиться лаптями-то...

— Эй, Домна, не доводи до греха; у тебя уста, у меня другие.

— Плевать мне... А вот только тронь еще раз Ванюшку, так посмотришь...

— Да ты, в самом-то деле, что ты тычешь мне своими ребятами-то?..

— А ты что?..

— Да...

— Побирушка проклятая!.. и мать-то твоя чужой хлеб весь век ела, да и тебя-то христа-ради кормят, да еще артачится, да туда же лезет... Ах ты, пес бездомный! ну-ткась, сунься, тронь, тронь...

Домна и Голиндуха с раскрасневшимися лицами, вылупившимися глазами и поднятыми кулаками подступали уже друг к другу, когда в избу вбежала вдруг Машка, старшая дочь скотницы.

— Мамка! мамка! — голосила девочка, — глядь, глядь... Акулька-то одного утенка загнала... одного утенка нетути.

— Как! — вскричала исступленная Домна, мгновенно обращая свою ярость на только что вошедшую сиротку. — Ах ты, проклятая! сталось, тебе неслюбно смотреть за ними?.. Постой, вот я те поразогрею...

И она пошла на помертвевшую от страха девчонку с готовыми кулаками.

Страх, в котором держала скотница свою питомицу, часто даже исчезал в ребенке от избытка горя. Так случалось почти всякий раз, когда Домна, смягчившись после взрыва необузданной ярости, начинала ласкать и нежить собственных детей своих. Громко раздавались тогда за печуркою рыдания и всхлипывания одинокой, заброшенной девочки...

Много слез и горя стоило также Акулине новое назначение, определенное ей скотницею. Выгоняя утром гусиное стадо, проходила ли она по улице — всюду встречались веселые ребятишки, беззаботно игравшие под навесами и на дороге, всюду слышались их веселые песни, крики; одна она должна была проходить мимо, не смея присоединиться к ним и разделить общую радость. А уж как страшно-то было ей, боязливой девочке, напуганной разными дивами, проводить целые дни одной-одинешенькой, далеко от села, в каком-нибудь глухом болоте или темном лесу! В первое время она часто не могла вынести своего одиночества и, бросив тут же гусиное стадо свое, возвращалась одна на скотный двор, позабывая и побои скотницы, и все, что могло ожидать ее за такой своевольный поступок.

Кроме этого, сколько приходилось терпеть безответному ребенку в самом доме. Вернется, бывало, вместе со стадом в избу — на дворе стужа смертная, вся она окоченела от холода — ноги едва движутся; рубашонка забрызгана сверху донизу грязью и еле-еле держится на посиневших плечах; есть хочется; чем бы скорее пообедать, закутаться да на печку, а тут как раз подвернется Домна, разгневанная каким-нибудь побочным обстоятельством, снова ушлет ее, куда вздумается, или, наконец, бросит ей в сердцах кусок хлеба, тогда как другие все, спустившись с полатей,

располагаются вокруг стола с дымящимися щами и кашею.

Забьется Акуля в любимый уголок свой у печки, между лукошками и сором, закроет личико исхудавшими пальчиками и тихо, тихо плачет. Но прошел год, другой, и свыклась Акулька со своей тяжкою долею. Какое-то даже радостное чувство наполняло грудь девочки, когда, встав вместе с зарею, раным-рано, вооружась хворостиною, выгоняла она за околицу свое стадо. Теперь, уже не ожидая намека, спешила она убраться со своими гусями и утками в поле, лишь бы только скорее вырваться из избы. Как птичка встрепенется она тогда; все изменялось в ней; движения делались развязнее, стан выпрямлялся — словом, трудно было узнать в сиротке одну и ту же девочку. Робкий и жалкий вид, так резко отличавший ее дома от прочих детей, как бы мгновенно исчезал. Бывало даже, на Акулю находил в эти минуты вдруг какой-то припадок веселости, резвости.

Она особенно любила загонять свое стадо в густую осиновую рощу, находящуюся почти на самой границе земель, принадлежащих селу. Ей невыразимо легко, весело, привольно было просиживать тут с утра до вечера. Тут только запуганный, забитый ребенок чувствовал себя на свободе.

Перед нею широко стлался зеленый луг; медленно и плавно расхаживали по нем белые как снег гуси; селезни и пестрые утки, подвернув голову под сизое крылышко, лежали там и сям неподвижными группами. Далее сверкала река со своими обрывистыми берегами, обросшими лопухом и кустарниками, из которых местами выбивались длинные, сухие стебли дикого щавеля и торчали фиолетовые верхушки колючего репейника. За рекою виднелось черное, взбороненное поле; далее, вправо, местность подымалась горою. По главным ее отлогостям, изрезанным промоинами и проточинами, разрастался постепенно все выше и выше сосновый лесок; местами рыжее, высохшее дерево, вырванное с корнем весеннею водою, перекидывалось через овраг висячим мостом. Влево тянулось пространное болото; камыш, кочки и черные кустарники покрывали его на всем протяжении; по временам целые вереницы диких уток с криком поднимались из густой травы и носились над водою. Там

и сям синевшая холмистая даль перемежалась снова серебристыми блестками реки.

Бесконечная сереющая даль, в которой двигались почти незаметными точками телега или спутанная лошадь, постепенно синела, синела, и, наконец, все более и более суживавшиеся планы ее сливались мутною линиею со сквознотою голубого неба.

Но природа нимало не пленяла деревенской девочки; неведомо приятное чувство, под влиянием которого находилась она, было в ней совершенно безотчетно. Случайно ли избрала она себе эту точку зрения, лучшую по всей окрестности, или инстинктивно почувствовала обаятельную ее прелесть – неизвестно; дело в том, что она постоянно просиживала тут с рассвета до зари.

Разве выводили ее из раздумья однообразное кукованье кукушки, крик иволги или коршун, который, распластав широкие крылья свои, вдруг, откуда ни возьмись, кружась и вертясь, появлялся над испуганным ее стадом. Акуля вскакивала тогда, бледное личико ее покрывалось ярким румянцем; она начинала бегать и суетиться, хмурила сердито узенькие свои брови и, размахивая по сторонам длинною хворостиною, казалось, готовилась с самоотвержением защищать слабых своих питомцев.

Наступал вечер. Поля, лощина, луг, обращенные росою и туманом в бесконечные озера, мало-помалу исчезали во мгле ночи; звезды острым своим блеском отражались в почерневшей реке, сосновый лес умолкал, наступала мертвая тишина, и Акуля снова направлялась к околице, следя с какою-то неребяческою грустью за стаями галок, несшихся на ночлег в теплые, родные гнезда.

С возрастом, по мере того как сиротка становилась разумнее, постоянное это одиночество обратилось не только в привычку, но сделалось для нее потребностию. Оно было единственным средством, избавлявшим ее от побоев скотницы и толчков встречного и поперечного. Всеобщее отчуждение, которое испытывала она со стороны окружающих, как круглая сирота, и которое с некоторых пор как-то особенно тяготило ее, также немало способствовало подобному расположению.

III

Вьюги зимние,
Вьюги шумные
Напевали нам
Песни чудные!

Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный!

Кольцов

Постоянное отдаление Акули от жителей скотного двора и одинокая жизнь производили на ее детство сильное влияние. Прежде еще, когда неотлучно оставалась она при людях, приластится, бывало, к тому, к другому или вымолвит ласковое слово, невзирая на толчки, которыми часто отвечали ей на ласки; теперь же едва успеет вернуться с поля, как тотчас забьется в самый темный угол, молчит, не шевельнется даже, боясь обратить на себя внимание. Каждый раз, когда достойные всякого сострадания гуси, продрогнув от холода, располагали идти восвояси, а следовательно, доставляли и сиротке случай погреться, она входила в избу с каким-то страхом, смущением, трепетом – чувствами, проявлявшимися прежде не иначе, как вследствие приключившегося с нею несчастия.

Ребенок одичал, наконец, до того, что раз, без особенной причины, целые трое суток кряду не возвращался домой со своим стадом; голод только мог вынудить его покинуть поля и рощу.

Первое зазимье и морозы возвращали, однако, волею-неволею полуодичалую сиротку на скотный двор.

В это время года, когда все, от мала до велика, не исключая даже домашних животных, столпляются вместе под одною и тою же кровлею, – она снова сближалась несколько с семейством скотницы.

Зимою образ жизни в избе как-то всегда собирает разбредшихся поселян воедино.

Многочисленность семьи, тесное, неудобное помещение, работа, делающаяся в эту пору более общею, домашнею, – все это, вынуждая каждого входить теснее в отношения другого, невольно сродняет их между собою.

Хотя Акуля действительно сблизилась зимою с жи-

телями скотного двора, однако сближение это у ней было более внешнее, нежели нравственное.

Робкий и тихий нрав девочки, притом постоянно грубое обхождение, которому она подвергалась, — все это должно было отталкивать ее от задушевных с ними сношений.

Одни рассказы и каляканье, на которые год тому назад не обращала она ни малейшего внимания и которые теперь, с двенадцатилетним возрастом, как-то особенно начали возбуждать любопытство, присоединяли иногда ее к общему кругу.

В длинные зимние вечера изба скотницы Домны, как почетной гражданки села, наполнялась соседками и кумушками, заходившими покалякать о том, о сем, о делах того или другого.

Усядутся, бывало, в кружок, кто на лавке, кто попросту — наземь, каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или коклюшками, и пойдут и пойдут точить лясы да баить про иное, бывалое время.

Сначала все сидят молча — никто не решается перекинуться словом. В избе стихнет. Веретена гудят, трещит лучина, сверчок скрипит за подполицею, или тишина прерывается плачем которого-нибудь из малолетних ребят скотницы, проснувшегося внезапно на полатях от тяжкого сновидения.

Но потом мало-помалу гости оживляются, все в избе принимает участие в россказнях, и каждый в свою очередь старается вставить красное словцо. Даже девяностолетняя мать Домны изменяет вечно лежачему своему положению и, свесясь с печки, прислушивается одним ухом к диковинным рассказам соседок.

Чем далее, тем речи становятся бойчее и бойчее. То Кондратьевна, старуха бывалая, слывшая в деревне лекаркою и исходившая на веку своем много — в Киев на богомолье и в разные другие города, — приковывает внимание слушателей; то тетка Арина, баба также не менее прыткая и которая, как говорили ее товарки, «из семи печей хлебы едала», строчит сказку свою узорчатую; то, наконец, громкий, оглушающий хохот раздается вслед за прибаутками другой, не менее торопливой кумы. Много разных разностей говорилось на засидках у Домны. Бабий язык, как известно, и смирно лежит, а уж как пойдет вертеться, как придет ему пора, — так что твои три топора — и рубит,

и колет, и лыки дерет! Примерно, хоть тетка Арина, уж как начнет раздобаривать, так нагородит такого, что и ввек речи ее в забыть нейдут. Иной раз так настращает, что все только и знают – крестятся да исподлобья на стороны поглядывают; про девок и говорить нечего: мертвецы мертвецами сидят – хоть в гроб клади! Куда мастерица была всякое диво размазать. Да вот, раз речь зашла о том, что значит в добрый час молвить, а что в худой; так она такое приплела, что, сколько ни слушало народу, – так вот и повскакало с лавок.

– Вот, – говорит, – бывают такие неразумные бабы из нашего брата, что за пустое корят да хаят детей своих самыми недобрыми словами, «анафема» скажут, или «провались ты», или «возьми тебя нечистый». Оно кажется – ничего, ан глядь – и во вред ребенку ложится такое злое слово; долго ли накликать беду!

Так-то прилучилось у нас с Дарьею, снохою Григорья. Пришла она с поля, сердечная; устамши, что ли, была или другое что, господь ее ведает, только и завались она прямо на полати. Мальчишка-то у ней дома в люльке лежал; вот, как словно назло, расплакался на ту пору. Зачала Дарья унимать его. Унимала, унимала – нет, ревет себе знай; куда осерчала наша Дарья; встать, вестимо, не хочется – поясницу больно поразломило, – тут недобрый стих и найди на нее: «Непутный, – говорит, – возьми тебя нечистая сила». Парнишка как будто к слову такому вдруг и затих; Дарья обрадовалась, повернулась на другой бок, подкинула под себя мужнину овчину да и завалилась спать. И молитвы даже не сотворила она над младенцем после такого слова – уж так, верно, дрема взяла ее, сердечную.

А слово-то, видно, сказано было не в добрый час.

Спит Дарья. Вдруг стало ей что-то неладно; так вот к самому сердцу и подступает, инда в пот кинуло. Она обернулась от стены к люльке, взглянула вполглаза на ребенка – смотрит... подполица расступилась надвое, и, отколь ни возьмись, выходит большущая женщина, вся в белом закутана... вышла, да прямо к люльке, и протягивает руки к парнишке, норовит взять его...

Дарья испугалась, незнать куда и сон девался; и вскрикнуть-то ей хочется, не может, вся словно око-

ченела; а белая женщина все ближе да ближе протягивает руки... видит Дарья, что достала она парнишку-то, да и взяла к себе на руки...

Месяц в ту пору вышел и светит к ней в избу — словно днем, — видным-виднешенько.

Вспомнила Дарья свой великий грех; так в голове все и завозилось у ней; как взвизгнет!.. Враг его знает, как это сталося — все сгинуло разом; Дарья вскочила с полатей, да прямо к люльке; глядь — а парнишка-то лежит себе мертвешенек; головка просунута в веревку, на которой висит люлька, и ручонками-то ухватился за нее; весь посинел — знать уж нечистая сила больно вздосадовала на Дарью, да и удавила его. Вздули лучину, — и так и сяк, и туда и сюда, и отец-то прибежал, и все-то в доме, кто был, подскочили — нет, ничем не помогли. Как ни убивалася Дарья, да, видно, не на шутку стряхнулось на нее горе — пришлось хоронить парнишку!

Акуля более всего напрягала внимание, когда речь заходила о том, каким образом умерла у них в селе Мавра, жена бывшего пьяницы-пономаря, — повествование, без которого не проходила ни одна засидка и которое тем более возбуждало любопытство сиротки, что сама она не раз видела пономариху в поле и встречалась прежде с нею часто на улице. Кончину Мавры объясняли следующим образом:

Однажды пономариха отправилась было за грибами в дремучий бор (которого, между прочим, вовсе и не было в селе или окрестностях). Не успела она поднять трех рыжиков, вдруг слышится ей, что кто-то перекликается между деревьями. Вот она и стала прислушиваться: все словно как будто опять стихло, лист не шелыхался. Мавра снова стала искать грибы, набрала их без малого до верху котомки да и идет на дорогу, чтоб скорее к дому; ан не тут-то было. Леший и перекинься ей поперек пути... Ходила, ходила пономариха, плутала, плутала: куда ни ступит, куст да трава, а проселка-то и не видать, словно сгинул; а ауканье-то в лесу все сильнее да сильнее... Что далее было, то неведомо; а вот на другой день раным-рано, с рассветом, Гаврюшка-конторщик, возвращаясь из города с барскими письмами, видит, на самой меже белеется что-то: пень не пень, камень не камень; глядь, ан Мавра-то и лежит навзничь; и руки посинели, и тело-то все избито, и понёва разодрана... Думал, думал

Гаврюшка, да делать, видно, нечего было; не оставить же так тела христианского на съеденье волкам: он взвалил его на телегу, да и привез в село прямо к мужу. Мавра очнулась только к вечеру, да будто язык у нее отнялся, слова не молвит. Пономарь был в ту пору буявый, навеселе: давай выпытывать по-свойски жену. Уж он ее колотил, колотил, бил, бил, куда ни попало, в голову, и в грудь, и в спину, лишь бы не мимо; Мавра все ни гугу; а на третий-то день, глядь, и душу отдала – померла, родимая; знать, уж так суждено ей было, сердечной, али сама в чем виновата была, что подпустила к себе нечистую силу. Вестимо, коли душа чиста, так и злой дух тебя не тронет

Далее словоохотливая рассказчица распространялась обыкновенно о том, как вообще мертвецы ненавидят живых людей за то, что последние остаются на земле как бы взамен их и пользуются всеми мирскими благами и удовольствиями. Она присовокупляла тут же в доказательство справедливости слов своих, что всем известный кузнец Дрон вскоре после смерти стал являться в селе, пугал всех, и что кума Татьяна сама, своими глазами, видела его раз за барским овином.

Акулина притаивала дыхание, и сердце ее стучало сильно, сильно, когда Кондратьевна, старая лекарка, подтверждала все это, уверяя даже, что Дрон, злобствовавший на нее еще при жизни, действительно являлся в селе, бывал у ней в избе, переходил из окна в окно, из ворот в ворота, шарил по всем углам и аккуратно выпивал у ней каждую ночь в погребе сливки. Она рассказала, что вскоре после того, как пали у нее две коровы, рыжонка и белянка, кузнец Дрон перестал таскаться по деревне, и объясняла чудо тем, что брат тогдашнего старосты, Силантий, раздосадованный, вероятно, ночными проказами кузнеца и желая вконец отвадить беду, раскопал его могилу, положил тело грешника ничком и вбил ему в спину длинный-предлинный осиновый кол.

Слушая все эти чудеса, Акуля едва от страха переводила дух; то замирало в ней сердце, то билось сильно, и не раз в вечер личико ее покрывалось холодным потом. По временам ослабевавший свет лучины вдруг угасал от невнимания присутствующих, развлекаемых интересными повествованиями и рассказами, и тогда бедному ребенку казалось, что вот-вот выглядывает из-за печурки домовой, или, как называют его в про-

стонародье, «хозяин», или всматривается в нее огненными глазами какое-то рогатое, безобразное чудовище; все в избе принимало в глазах ее страшные образы, пробуждавшие в ней дрожь. Засидки баб длились иногда за полночь. Истомленная Акуля, несмотря на возрастающее любопытство и усилия избавиться от дремоты, более и более покорялась, однако, ее влиянию; русая головка ее медленно склонялась на плечо, глаза смыкались, и она засыпала, наконец, крепким сном. Часто слух ее как будто прояснялся, между тем как вся она оставалась в том расслабленном состоянии, похожем на летаргию, и внятно слышались ей тогда отрывистые речи гостей скотницы, долго еще за полночь толковавших о деяниях одноглазого лешего, чужого домового, моргуньи-русалки, ведьмы киевской и сестры ее муромской, бабы-яги костяной ноги и птицы-гаганы...

Все эти диковины, которые с таким любопытством выслушивала Акуля в продолжение зимы, сильно распаляли ее воображение. Но робкий нрав ребенка, притом всегдашний гнет, под влиянием которого находился он, и, вдобавок, грубые насмешки, с которыми встречены первые его попытки высказать окружающим все, что лежало на сердце, невольно заставили его хоронить в себе самом свои впечатления и не выбрасывать их наружу. Такое сосредоточивание в себе своих мыслей и ощущений, какого бы ни были они свойства, должно было развить рассудок девочки несравненно скорее, нежели бы это могло случиться при других обстоятельствах. Впрочем, в жизни сиротки являлись случаи, когда она разом высказывала все, что по целым месяцам мало-помалу накоплялось в голове ее. Это бывало не иначе, однако, как когда удавалось ей попасть в кружок людей совершенно сторонних, не принадлежащих даже к вотчине.

Калики и побирушки перехожие, заносимые иногда бог знает каким ветром в их деревню, чаще всего доставляли Акуле подобные случаи.

Когда две или три такие старушонки, преследуемые с остервенением по всей улице воем и лаем собак, останавливались перед окнами скотного двора, затягивая тощим голосом обычную свою стихеру:

Семь, семь кралей,
Семь кесарей

Пошли, пришли поклониться
Христу-Спасителю...
Подайте, отцы родные, милостинку
Во имя Христово...—

Акуле уже не сиделось на месте, так ее и подмывало. Всегда почти находила она случай выбежать вон из избы. Она пряталась сначала в куриный хлев, чтоб отстранить подозрения скотницы, потом потихоньку проползала в узкое отверстие между плетнем и землею и вырывалась на свободу. Она пускалась тогда во всю прыть по задним дворам, перескакивала гряды капусты и огурцов, огибала огороды, господскую ригу и, наконец, вся впопыхах останавливалась за околицею. Тут Акуля, прислонившись к старой высокой рябине, с трепетом ожидала минуты, когда нищенки выйдут из села. Осмотревшись кругом и убедившись, что никто не следует за нею, решалась она присоединиться к ним. Тогда между каликами и Акулею завязывался разговор. Те, как водится, начинали с расспросов о том, есть ли в селе барин, строг ли с мужиками, есть ли барыня и барчонки, о том, кто староста, стар ли, молод ли он; потом мало-помалу объясняли Акуле, что вот-де они ходят из села в село, собирают хлебец да копеечки во имя Христово, заходят в монастыри, бывают далече, в Киеве и Иерусалиме, на богомолье, и что, наконец, жутко приходится им иногда жить на белом свете. Акуля внимательно следила за каждым словом старушек: ей так редко удавалось слышать ласковую речь! И вот, обрадовавшись случаю, она расспрашивала их и о Иерусалиме, и о городах, и о том, так ли живут там, как в селе, есть ли также церковь и будет ли она в вышину равняться с большим вязом, разросшимся вон там, далече-далече у них на погосте, и т. д. Расспросам не было конца.

Сиротка вспомнила, наконец, что зашла далеко; села не было видно; побои и ругательства тотчас же мелькали в голове ее. Скрепив сердце, она прощалась со своими спутницами и снова пускалась во всю прыть по дороге. Между тем, сколько новых впечатлений волновали душу бедного ребенка! Как часто останавливалась она в нерешимости, сама не зная, бежать ли ей вперед, к дому, или назад вернуться и не разлучаться более с добрыми каликами-перехожими... Но страх брал обыкновенно верх, и сиротка принималась

снова бежать к старой рябине, осенявшей околицу села.

Трудно сказать, о чем могла думать тогда деревенская девочка, но дело, однако, в том, что при постоянном одиночестве и самозабвении рассудок ее не мог никоим образом оставаться в совершенном бездействии...

IV

Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Хочет жизни другой!

Кольцов

Муж Домны, являвшийся домой только по праздникам, неизвестно отчего оставил вдруг миткалевую фабрику, на которой работал несколько лет сряду, и переселился с своим станом к жене на скотный двор.

Обстоятельство это сильно озадачило Домну: она предвидела все хлопоты и заботы, которые упадут на нее с такою переменою.

Карп начал с того, что потребовал себе помощницу; потом, волею-неволею, должны были уступить ему чуть ли не половину избы, без того уже загроможденную корчагами, лагунами, крынками, кадками и лукошками; далее, предчувствия Домны также не обманули ее: Карп на следующий же день натянулся сивухи, должно быть припасенной им заранее, и задал таску всем, кто только попадался ему на глаза: досталось и самой хозяйке дома. А отвадить беду, избежать всех этих неприятностей не было возможности, ибо, как выражалась сама скотница, Карп не терпел ни в чем супротивности. «Ладно,— говорила она бабам, упрекавшим ее в слабости,— поди-тка, сунься перечить ему, так, кажись, только и жил; закажу другу-недругу». Домна не упала, однако, духом; она как можно скорее, чтоб только усадить мужа за работу, назначила ему помощницу. Такая завидная доля, разумеется, могла пасть не иначе как на Акулину, девку самую безответную, смирную и притом более других приученную к повиновению.

Карп был мужик крутой и несговорчивый. Некоторые барыши, получаемые им сверх оброка, и разгульная фабричная жизнь сделали из него, особенно

в последнее время, горького пьяницу и еще более расположили к буйству. И трезвый-то никому добром не промолвит – лается, словно собака, а как почнет пить – так лучше беги из дому вон. Сам сознавался Карп, что бывал во хмелю куда неугомонен. Уж чего ни делали с ним: и знахаря-то призывали заговорить его против хмеля, и Кондратьевна не раз изощряла свои знания в лекарском деле, и управляющий секал Карпа, больно секал, – нет, встряхнет, бывало, Карп забубенною, непутною своей головушкой, когда окончится экзекуция, да вымолвит: «Покорно благодарю, Андрей Андреевич, что дурака учить изволите», – и снова принимается за косушку. Ничто не помогало!

С первых же дней житья от него в доме не стало; заходит ли кто из соседей или соседок в избу – подымались брань, ссоры, нередко кончавшиеся даже дракой, так что вскоре никто и не стал заглядывать к скотнице. Сама она, подверженная беспрерывно буйным выходкам мужа, сделалась как-то еще сварливее, заносчивее и с бóльшим еще остервенением взъелась на все окружающее.

Трудно выразить отчаяние горемычной сиротки; новое назначение не только лишало ее свободы, но даже неотлучно подчиняло Карпу, к которому еще сызмала чувствовала она особенный страх.

Вначале старалась она всеми силами угождать ему; но усердие ее оставалось решительно незамеченным. Иногда без всякой причины (и это случалось всего чаще) приходилось терпеть; нитка ли порвется, защемит ли Карп челноком палец или просто случится повздорить ему с женою – колотит ее, благо она под рукою! Молча покорилась, наконец, бедная девушка горькой своей участи. Прошло несколько месяцев, и Акулина, как бы накануне своего заточения, не переставала тосковать по прежней своей беззаботной одинокой жизни. С наступлением лета изба и ее жители становились сиротке еще нестерпимее. Все оживало вокруг нее, все как будто радовалось. Едва заблистают первые лучи солнца в окнах избы, зазолотятся свежие, подернутые росою поля и раздастся звонкое чиликанье воробьев на кровле, все, от мала до велика, спешили вырваться из душной избы. Бабы шли в огороды, ребята и девки целыми ватагами отправлялись в только что опушившийся лес за первыми ягодами – одна она не смела шевельнуться с места и должна была сиднем сидеть за

пряжею и шпулями. К вечеру или обеду вернутся веселые толпы на дом, натащат полную избу венков да молодых ветвей; разольется по всей избе запах свежей зелени... Сколько грусти ложилось тогда на душу сиротки, сколько тайных, никому не известных страданий теснило ее, бедную!..

Иногда удавалось Акулине вырваться под каким-нибудь предлогом на минуту из дому; не нарадуется, бывало, своему счастью, не утерпит – выбежит за ворота, и грусть как бы исчезнет, и тоска сойдет с сердца.

И вправду, хорош и упоителен божий день в ведреное, теплое лето; какое ликование во всей природе, во всем мире! все трепещет жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растение издает какой-то шелест, сливающийся в стройную, нежную гармонию; все, на что устремляются взоры, наполняет душу радостным, непостижимо-прекрасным чувством. С жадностью вдыхала Акулина в расширявшуюся грудь свою пахучие струи воздуха, приносимые с поля; всматривалась она тогда в зеленеющий луг, забрызганный пестрыми цветами, в эту рощу, где беззаботно, счастливо даже, просиживала она когда-то по целым дням, с красной утренней зари до минуты, когда последние бледные лучи заходящего солнца исчезали за сельским погостом. Но непродолжительны были такие минуты: как раз грубый голос Карпа возвращал ее к горькой действительности. Скрепя сердце подходила она к воротам; а между тем вдалеке, по улице, с веселыми песнями и кликами неслись купаться целые рои молодых девок: все, кто только был молод из них по деревне, спешили присоединиться к веселой толпе, и одна только Акулина-сиротинка утирала слезу да спешила запереть за собою дверь тесной, душной лачуги...

Бывают случаи в жизни человека, – к какому бы ни принадлежал он классу общества, – которые хотя и кажутся с первого взгляда ничтожными, не стоящими внимания, но со всем тем они часто решают судьбу его или же производят в нем сильные перевороты нравственные. Иногда так нечувствительно бывает их действие, что само лицо, на которое они стряхиваются, не замечает его.

Раз как-то (это было в самую страдную пору лета) бо́льшая часть жителей села Кузьминского отправи-

лась в соседнюю деревню праздновать, как водится между соседями, приходский праздник. На всем скотном дворе осталась одна только Акулина. День был невыносимо зноен; душно было ей сидеть под навесами, и она вышла за ворота. Деревня словно вымерла, все было тихо, нигде живой души. Акулина перелезла чрез околицу и почти машинально своротила на проселок, огибавший бесконечное поле ржи, только что золотившейся от цвета. Солнце горело высоко и знойно. Пот градом катился по исхудавшим щекам сиротки, а между тем она все шла да шла вперед, влекомая каким-то странным чувством. В поле, в роще, в воздухе царствовало безмолвие; ничто не шелыхалось, не отзывалось жизнию; кузнечик приутих и не трещал в тесной траве; даже гибкие, длинные стебли дикого чеснока с их тучною верхушкою стояли неподвижно на закраине дороги. Густой пар подымался от земли и растений, и душно было в переливающихся струях воздуха.

Акулина миновала поле и почти незаметно очутилась близ церкви, на погосте. Вырытая свежая яма, на которую она случайно набрела, вывела ее из раздумья. Дрожь пробежала по всем членам сиротки; ей стало страшно; безотчетное чувство, которого, впрочем, никак, никогда не могла она победить в себе, обдало ее холодом. Акулина бросилась бежать. Она уже была на самом почти конце кладбища, и вдруг как вкопанная остановилась перед одною заросшею могилкою, едва выглядывавшею из-за плетня, ограждавшего церковь. Акулина вспомнила, что давно, много лет назад, на Фоминой неделе, во время поминок кто-то сказал ей, что тут погребена ее мать.

Была ли она задолго еще перед тем под влиянием грустного чувства, тяготило ли ее более чем когда-нибудь одиночество, или была другая какая причина, но только вся жизнь, все горести, вся судьба ее прояснились, пробудились и разом отозвались в ее сердце; в эту минуту с мыслию о матери как бы впервые сознала она всю горечь тяжкой своей доли. Она долго стояла в каком-то оцепенении; слезы ручьями текли по бледным щекам ее и капали на руки, на грудь, на рубашку... Наконец горе Акулины разразилось и как бы сломило ее... болезненное рыдание вырвалось из груди; она грохнулась грудью на тощую могилку и, судорожно обхватив ее руками, осталась на ней без движения...

Вечерело. Домна вместе с ребятами и работниками возвратилась домой после соседней пирушки. Входя в избу, крайне удивлены были они, не видя Акулины, ибо ни на дворе, ни подле амбаров, ни даже под навесами ее также не встречали. Изба была пуста. Только куры, как видно уже влетевшие давно в растворенные настежь двери, бегали по столам и лавкам. Скотница и работницы начали шарить по всем углам избы, как вдруг совершенно неожиданно услышали за печкою вздохи. Домна взгромоздилась на ушат и чуть не вскрикнула от изумления. Акулина, закутав голову овчинным тулупом и как-то сверхъестественно скомкавшись, лежала навзничь в тесном, неуклюжем углу между печкою и стеною. Это обстоятельство тем более удивило Домну, что никогда не случалось ей видеть, чтоб с сироткою было что-нибудь подобное.

Скотница подошла ближе и стала толкать ее что есть мочи. Ее старания оставались, однако, без всякого действия. Удивление присутствующих возрастало с каждою минутой. Домна, выведенная, наконец, из терпения, вытащила Акулину на середину пола, прислонила ее к скамье и раскутала ей голову.

– Что буркулы-то выпучила? – сказала она, принимаясь снова тормошить девку, – столбняк нашел, что ли? Ну, чего смотришь как шальная какая?.. встань, говорят тебе... эх-ма! ишь как ревет, полоумная... словно махонькая какая... право-ну... Ах ты, дура, дура!.. вишь, как рубашку вымочила слезами-то своими глупыми... Пошла, просушись... скотина ты этакая... право-ну...

Акулина, очнувшись совершенно, вскочила с земли, закрыла лицо руками и как угорелая, качаясь из угла в угол, потащилась вон из избы.

Несколько дней спустя после этой сцены обыватели скотного двора заметили большую перемену в сиротке. «Что с ней? Эка расторопная вдруг стала! – говорили они, – отколе прыть взялась? словечка не вымолвит, а работает куды против прежнего, – словно приохотилась к делу». Они единогласно утверждали, что впрок пошли девке побои, что наконец-то обратили они ее на путь истинный. И действительно, что-то странное произошло во всем существе Акулины.

Действия и движения ее стали обозначать более сознания и обдуманности, нежели случайности; она как бы разом обрела и силу воли и твердость характера.

Преимущества, которыми пользовались перед нею остальные жители избы и которые прежде, можно сказать, были единственным источником ее огорчений, — перестали возмущать ее. Она, казалось, поняла настоящее свое положение.

Акулина заметнее стала отделяться от общего круга живших с нею людей, и одна из самых главных забот ее состояла уже в том, чтоб безукоризненным, точным исполнением работы и обязанностей отклонять от себя всякого рода отношения, которые могли бы возникнуть между ними и ею в противных обстоятельствах.

Внутреннее отчуждение, чувствуемое ею еще с детства к Домне, проявилось теперь сильнее, чем когда-нибудь: в этом, впрочем, она решительно не могла дать себе ясного отчета. Замечательны также были старания Акулины скрывать от окружавших впечатления, производимые на нее их насмешками и оскорблениями. Когда уже чересчур переполнялось сердце горем, она старалась всегда почти скрыться из вида; затискается куда-нибудь подальше, в амбар или самую скрытную клеть, и там уже дает полную волю слезам своим. И в эти-то горькие минуты стала представляться Акулине с некоторых пор возможность иной, лучшей жизни; перед нею являлся с раздирающею сердце ясностью родной кров, родная семья и посреди всего этого мать, добрая мать, которую невыразимо сильно любила она... Грустны, грустны казались ей тогда сиротство и одиночество!

Мало-помалу бедная девка решительно перестала принимать нравственно участие во всем том, что делалось вокруг нее; происходило ли то на скотном дворе, в селе, или соседстве — ей было все равно.

V

Господин что плотник —
что захочет, то и вырубит.
Русская простонародная пословица

Прошло три года. В жизни деревенской, как известно, переворотов не много: все та же изба, то же поле из двух, много-много из трех нив; те же вечно неизменные заботы и суеты. На скотном дворе точно так же не могло произойти никаких особенных пере-

мен. Дни и месяцы протянулись обычным своим порядком, не принося ни радостей, ни горя, за исключением разве редких незначительных потасовок, которыми награждал Карп того или другого, когда находила на него дурь рвать лишнюю косушку с сватом или кумом. Акулина просиживала подле хозяина за станком с пряжею и мотками, а бабы по-прежнему не переставали дивиться ее грусти и неотвязчивому раздумью. Конечно, этим только и ограничивалось их участие; каждая готова была раздобаривать вдоволь, между тем как ни одна не подошла бы к сиротке, не сказала бы ей: что с тобою? о чем кручинишься? о чем тоскуешь?.. Впрочем, такое равнодушие относится собственно к работницам, лицам совершенно сторонним; что ж касается Домны – она, неведомо почему, с некоторых пор стала принимать необыкновенное участие в судьбе своей питомицы. Она беспрерывно повторяла соседкам, что Акульку пора бы и замуж, хоть бы в другое какое село отдать, что ли; что Акулька уже давно на возрасте, давно в поре и только сохнет, как порошинка.

Несмотря, однако, на всю справедливость подобных замечаний, свахи и не думали заглядывать на скотный двор, и если та или другая кумушка, исправлявшая на деревне такую должность, завертывала в избу скотницы, то это случалось не иначе, как в качестве простой гостьи или соседки. Никому на ум не приходила сиротка-невеста: ее как будто не было, как будто вовсе не существовала она на свете.

И протекла бы молодость Акулины, протекла бы до конца печальная жизнь ее так же тихо, без треволнений и переворотов, если б в селе Кузьминском не случилось одного обстоятельства, разом изменившего всю судьбу ее.

Приехал барин.

Барин этот, отлучавшийся летом из Петербурга не иначе как куда-нибудь на воды, за границу, конечно, и на этот раз предпочел бы чужие края скучной своей деревне, если б управляющий, собравшись, наконец, с духом, не решился доложить ему о плохом состоянии финансов и вообще о постепенном уменьшении доходов с имений. Известие это, как следует, привело барина в глубокое огорчение.

Все обрушилось на управляющего. Считая доклады его чистою ложью, подозревая его в плутнях и мо-

шенничестве (так водится обыкновенно в подобных случаях), решился он сам объездить многочисленные свои поместья, чтоб убедиться лично в их расстройстве.

Ему уже, правда, давно приходила мысль заглянуть туда хоть раз, посмотреть, все ли шло там должным порядком, да как-то все не удавалось: то, как назло, одолеют ревматизмы, и надо было покориться воле врача, предписавшего непременную поездку в Баден или Карлсбад, а оттуда в Париж, где, по словам врача, только и можно было ожидать окончательного выздоровления; то опять являлись какие-нибудь домашние обстоятельства: жена родила, или общество, в котором барин был одним из любезнейших членов, переселялось почти на все лето в Петергоф или на Каменный остров, на дачи; или же просто не случалось вдруг, ни с того ни с сего, денег у нашего барина. С кем не бывает подобных грехов в настоящее время?

Твердо решившись на этот раз пожертвовать двумя-тремя месяцами весны и лета, барин поспешил сообщить свой план молодой супруге. Та, несмотря на трогательные филантропические цели, под предлогом которых супруг старался расположить ее к скучной поездке, хотя несравненно более симпатизировала даче на Каменном острове, однако после многих толков и нежных убеждений кончила тем, что согласилась на предложение.

Так как поездка эта все же некоторым образом была вынужденною со стороны супругов, то положено было вознаградить себя по крайней мере всем, что только могла доставить приятного сельская жизнь. На этом основании избрали они для своего местопребывания село Кузьминское, как самое богатое, привольное, живописное и притом заключающее в себе довольно комфортабельный господский дом.

Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъяснимое наслаждение говорить о просвещенных, образованных и принадлежащих к высшему классу людях; хотя он вполне убежден, что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавок еще глупыми мужиками и бабами, однако ж он перейдет скорее к последним, как лицам, составляющим, увы! главный предмет его повествования.

Он, к глубочайшему своему прискорбию, не имеет

здесь достаточно времени и места, чтоб войти в подробности касательно приезда помещика, первых его действий и распоряжений; ни слова не скажет о домашнем его быте, а прямо перескочит на то место, где помещик выступает уже как действующее лицо рассказа.

Прошли целые два длинные-длинные месяца. Барин и барыня давно соскучились и думали только, как бы поскорее вырваться из Кузьминского и уехать в Петербург.

Полные таких мыслей, сидели они однажды утром на балконе, перед палисадником. День был прекрасный; легкий ветерок колыхал полосатую маркизу балкона и навевал прохладу; палисадник, облитый горячими лучами полуденного солнца, блистал всею своею красою.

Но помещик, которому пригляделись даже берега Рейна, Тироль и Италия, не обращал решительно никакого внимания на все это. Он машинально глядел на скучную, сухую местность, расстилавшуюся за садом.

– Посмотри, – сказал он, наконец, жене, указывая пальцем на пыльную дорогу, – как ошибаемся мы, думая, что уж русский простолюдин непременно должен быть дюжий и здоровый: взгляни хоть вон на эту девку... вон, вон, что идет по дороге с коромыслом, еле-еле в ней душонка держится... какая худая и желтая!

– Знаешь ли, Jean [1], несмотря на то, она довольно интересна.

– Да, пожалуй, если хочешь... Но, воля твоя... elle a l'air bien bête...[2] Постой, я подзову ее сюда...

– Ну вот еще; бог с ней!

– Ничего; я ужасно люблю говорить с ними; ты не поверишь, ma bonne [3], как люди эти бывают иногда забавны! Эй, девка! девка! – закричал барин, – подойди сюда!

Девка до того была занята своими ведрами, что не только не слышала голоса барина, но, казалось, даже совсем позабыла, что шла мимо господского дома.

– Эй, девка! девка! – продолжал кричать помещик.

Она подняла голову.

---

[1] Жан *(фр.)*.

[2] У нее очень глупый вид... *(фр.)*.

[3] Моя милая *(фр.)*.

Первое движение ее ясно обнаруживало намерение бросить тут же, на месте, ведра и коромысло и пуститься в бегство; но, рассудив, вероятно, что уже было поздно, ибо всего оставалось несколько шагов до балкона, где сидели господа, она поспешила отвесить низкий-пренизкий поклон.

— Подойди сюда, милая, не бойся.

Девушка подошла с видимым страхом и смущением.

— Ты чья? — спросил барин.

— Домнина... — едва внятно прошептала она.

— Кто такая Домна?

— Скотница.

— Что же, она тебе, мать, что ли?

— Нет.

— А мать где?

— Померла.

— Ну, а отец-то жив?

— Помер.

— Ты, значит, круглая сирота?

— Да...

— Не бойся, — продолжал барин, — ну, чего же ты испугалась? А сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Как тебя звать?

— Акулиной.

— Ну что же, Акулина, тебе, я чай, замуж пора? Небось замуж-то хочется? а?

Акулина стояла как вкопанная и только переминала красными руками своими пестрядинную свою юбку.

— Ну, отвечай же, когда спрашивают тебя господа... Чего боишься? Говори: замуж хочешь?

Акулина не прерывала молчания.

— Je vous avais bien dit, qu'elle était stupide[1], — произнес барин, обращаясь к жене.

— Mais aussi vous lui faites des questions... Cette pauvre fille![2] — отвечала супруга.

— Ну, ступай, — сказал он, слегка улыбнувшись, — ступай, Акулина; бог с тобою... Знаешь ли, ma bonne amie[3], — продолжал он, когда сиротка скрылась из ви-

---

[1] Я же вам сказал, что она глупа *(фр.)*.

[2] Да, но вы же задаете ей такие вопросы... Бедняжка! *(фр.)*

[3] Милый друг *(фр.)*.

да,— сделаем доброе дело: пристроим бедную эту девку к месту, выдадим ее замуж...

— Ах! и в самом деле! мне давно хочется посмотреть на деревенскую свадьбу; говорят, обряд этот у них чрезвычайно оригинален...

— О, удивительно! Я непременно доставлю тебе это удовольствие и завтра же прикажу старосте навести справки...

Но на другой день, как назло, приехало к ним несколько соседей, и барин, вместо того чтоб приказать старосте навести справки о деревенских женихах, отправил его в город для закупки разных съестных припасов, провизии и шампанского.

Несколько дней прошло в пирах и охоте.

Соседи, наконец, разъехались.

В скором времени сам владетель села Кузьминского стал приготовляться в дорогу. За всеми этими хлопотами он, конечно, не мог не забыть сиротки и, без сомнения, вернулся бы в Петербург, не вспомнив даже о намерении пристроить бедную сиротку, если б один совершенно неожиданный случай не навел его опять на прежнюю мысль. Доложили, что мужички пришли и просят позволения лично поговорить с его милостью. Барин отправился в прихожую, где крестьяне в молчании ожидали его появления.

Старый кузнец Силантий, его жена, брат и старший сын, парень превзродный, рыжий, как кумач, полинявший на солнце, вооруженные, как водится, яйцами, медом, караваем и петухом, повалились на пол, едва завидели господина.

— Встаньте, встаньте! — проговорил с достоинством помещик,— вы знаете, я этого не люблю... встаньте, говорят вам...

Семейство кузнеца медленно и как бы нехотя приподнялось с пола.

Одна жена Силантия противилась исполнить приказание и с заметным упрямством продолжала валяться по земле, так что барин вынужден был на нее, наконец, вскрикнуть.

— Что вам надо? — спросил помещик.

— Вот, батюшка,— начал Силантий,— не побрезгай, отец ты наш... Вы, вы отцы наши, мы ваши дети, прийми хлеб-соль.

— Какие вы глупые, право; сколько раз говорено было не носить ко мне ничего!.. Ну, куда мне все это?

— Уж так водится у нас, батюшка Иван Гаврилыч, не обидь нас, кормилец...

— Ну, ну... отдайте людям.

Вручив принесенное близ стоявшим лакеям, старый кузнец снова повалился наземь и, как бы почувствовав себя теперь облегченным от огромной тяжести, сказал гораздо развязнее и бойчее прежнего:

— К твоей милости пришли, Иван Гаврилыч.

— Что такое?

— Заставь, батюшка, за себя вечно богу молить...

— Ну, ну, ну...

— Да вот, отец ты наш... парню-то моему не то двадцатый годок пошел, не то более, так пришли просить твоей милости, не пожалуешь ли ему невесты?..

— Пускай, братец, парень твой выберет себе какую ему угодно невесту... из любка любую выбирает; я не прочь, отнюдь не прочь.

— Дело-то, батюшка Иван Гаврилыч, такое приспело, что вот что хошь делай: нет на деревне у нас ни одной девки, да и полно, и не знать, куда это подевались они... мы на тебя и понадеялись, отец наш... Заставь вечно бога молить...

— Откуда же мне взять невесту, братец, когда сам ты говоришь, что их нет у нас?

— Дело знамое; оно вестимо так, батюшка... Да мы чаяли, буде твоей милости заугодно буде... вот в соседнем-то селе — Посыпкино... так ему кличка, — вот есть девка, добрая, куда какая... Летось еще, батюшка Иван Гаврилыч, смотрели мы ее и сваху засылали, да отец с матерью дорого больно просят... а девка знатная, спорая... Вот, батюшка, мы на ту пору и понадеялись на тебя, чаяли, буде господь бог даст, пожалуешь ты к нам, да не будет ли твоей милости... не заплатишь ли выводного за девку... а уж он, Иван Гаврилыч, куда парень гораздый, на всяко дело такой, что и!.. Батюшка! сделай божеску милость, не откажи нам...

— Постой, постой! — прервал барин, — как же, братец, говоришь ты: нет у нас невест... постой... да я знаю одну... Эй! кликнуть старосту.

Староста, стоявший в это время за дверью и, по обыкновению своему, или, лучше сказать, по обыкновению всех старост, не пропустивший ни единого слова из того, что говорилось между мужиками и барином, не замедлил явиться в переднюю.

— Что, Демьян, есть у нас в Кузьминском невеста?
— Есть, батюшка Иван Гаврилыч.
— Где?.. В какой семье?
— Вот, сударь, примерно хошь на скотном дворе у скотницы есть работница...
— Ах да, да! я и забыл... как, бишь, ее зовут-то?
— Акулиною, сударь.
— Да, Акулина, Акулина...

Кузнец и жена его заметно смутились; барин продолжал:

— Так что же ты врешь, Силантий, а? что ж ты приходишь меня беспокоить по пустякам!

— Помилуй, отец ты наш! — сказал Силантий, голос его дрожал и понизился целою октавою, не то что вначале, где он думал, что барин-де не смекает ничего в крестьянском деле и что, следовательно, легко будет обмишурить, надуть такого барина. — Помилуй, — продолжал он, — не обиждай ты нас, кормилец. Вы... вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч; какая же то невеста?

— Что ж?

— Сирота, батюшка, бездомная, и девка-то совсем хворая... Опричь того, батюшка, позволь слово молвить, больно ломлива, куды ломлива! умаешься с нею... Ни на какую работу не годна... рубахи состебать не сможет... А я-то стар стал, да и старуха моя тож... перестарились, батюшка... Вестимо, мы твои, Иван Гаврилыч, из воли твоей выступить не можем, а просим только твоей милости, не прочь ты ее моему парню.

— Ах ты, старый дуралей! — сказал барин, сердито топнув ногою, — если уж сирота, так, по-твоему, ей и в девках оставаться, а для олуха твоего сына искать невест у соседей... Что ты мне белендрясы-то пришел плесть?.. а?.. Староста! девка эта дурного поведения, что ли?

— Кажись, ничего не слыхать про нее на деревне... девка хорошая.

Нет сомнения, что староста жил не в ладу с кузнецом Силантием.

— Так что ж ты? а?..
— Не гневись...
— Молчать!.. Слушай, Силантий! сейчас же, сию ж минуту сватай Акулину за твоего сына... слышишь ли?..

— Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч...

— Отправляйся же на скотный двор... Смотри, брат... да чтоб свадьбу сыграть у меня в нынешнее же воскресенье... Вот еще вздор выдумал, если сирота, так и пренебрегать ею... а?..

Старуха Силантия не выдержала. С плачем и воплем бросилась она обнимать ноги своего господина.

— Батюшка! — вопила баба,— отец ты наш! не губи парня-то... Девка совсем негодная, кормилец; на всей деревне просвету нам с нею не дадут, кажинный чураться нас станет; чем погрешили мы перед тобою, касатик ты наш?.. Весь свет осуду на нас положит за такую ахаверницу...

— Что ты врешь, глупая баба? Встань, встань, говорят тебе... Пошла вон... А ты, Силантий, понял мой приказ? Ну, чтоб все было исполнено, да живо, слышишь ли?

— Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч,— отвечал кузнец, кланяясь в пояс.

— Ну, ступай же! — продолжал барин,— ах, да! я и забыл... Силантий!..

Кузнец вернулся в переднюю.

— Тебе говорил Петр Иванов осмотреть коляску? там, кажется, шина лопнула.

— Сказывал, Иван Гаврилыч.

— Ну, так распорядись же как можно лучше; я еду во вторник на будущей неделе... ступай!..

Когда дверь передней затворилась за кузнецом, Иван Гаврилович отправился во внутренние покои. Проходя мимо большой залы, выходившей боковым фасом на улицу, он подошел к окну. Ему пришла вдруг, совершенно бессознательно, мысль взглянуть на мину, которую сделает Силантий, получив от него такое неожиданное приказание касательно свадьбы сына.

Иван Гаврилович к крайнему своему удивлению заметил, что все члены семейства кузнеца шли понуря голову и являя во всех своих движениях признаки величайшего неудовольствия.

— Что ты здесь делаешь, Jean? Что тебя так занимает? — сказала барыня, подкравшись к нему на цыпочках и повиснув совершенно неожиданно на шею своему мужу.

Иван Гаврилович молча указал ей на удалявшихся мужиков, покачал сначала головою и пожал плечами...

VI

> Что без ветра, что без вихоря
> Воротички отворилися.
> Как въезжал на широкий двор
> Свет Григорий, господин,
> Свет Силантич, сударь.
> Увидела Акулина, душа,
> Закричала громким голосом:
> «Сберегите вы, матушки, меня!
> Вот идет погубитель мой!..»
>
> *Русская песня*

Быстро летит время! Не успели мужички села Кузьминского и двух раз сходить на барщину после описанной нами сцены, как глядь – уж и воскресенье наступило. В этот день, как вообще во все праздничные дни, деревня заметно оживлялась.

Только что раздались первые удары благовеста, во всех концах улицы загремели щеколды, заскрипели ворота и прикалитки, и жители забегали, засуетились.

Кто выходит из дома и, крестясь, остановился посреди улицы, на лужайке, против бадьи, с намерением выждать жену или свата; кто прямо шел к околице. Из окон беспрестанно зачали высовываться головы. «Эй! тетка Феклуха! погоди маненько! пойдем вместе: дай управиться – куда те несет!..» или: «Кума, а кума! Авдотья, а Авдотья! выжди у коноплей... ишь только заблаговестили...» Бабы, которые позажиточнее, в высоких кичках, обшитых блестками и позументом с низаными подзатыльниками, в пестрых котах и ярких полосатых исподницах, или кто победнее, попросту повязав голову писаным алым платком, врозь концы, да натянув на плечи мужнин серый жупан, потянулись вдоль усадьбы, блистая на солнце, как раззолоченные пряники и коврижки. Мерно и плавно выступали за ними мужья и парни. Толпы девчонок и мальчишек неслись, как стаи воробьев, то сбиваясь в кучку, то снова разбиваясь врассыпную, оглушая всю улицу своим визгом и криком. Пестрая ватага из женщин, мужиков и ребят тянулась за околицу движущеюся узорчатою каймою, огибала бесконечное поле ржи, исчезала потом за косогором, пропадала вовсе и уже спустя немалое время появлялась, как сверкающее пятно, на белевшей вдалеке церковной паперти.

Дорога к церкви мало-помалу пустела; кое-где раз-

ве проезжала телега, наполненная приходскими мужиками, или ковыляла, подпираясь клюкою, дряхлая старушонка, с трудом поспевавшая за резвою внучкою, которой страх хотелось послушать вблизи звонкий благовест.

В селе уже давно водворился покой. Воз заезжего купца-торгаша с красным товаром, запонками, намистьями, варежками, стеклярусом, тавлинками со слюдою, свертками кумача, остановившийся у высокого колодца, оживлял один опустевшую улицу.

Посреди движения, произведенного в Кузьминском благовестом, оставались две только избы, которых обыватели, казалось, не хотели принимать участия в общей суматохе. Одна из таких изб принадлежала кузнецу Силантию, другая скотнице Домне. Судя по некоторым наружным признакам, как в той, так и в другой, должно было происходить что-нибудь да особенное.

Невзирая на пору и время, труба в избе Силантия дымилась сильно, и в поднятых окнах блистала широким пламенем жарко топившаяся печь. Кроме того, на подоконниках появлялись беспрестанно доски, унизанные ватрушками, гибанцами, пирогами, или выставлялись горшки и золоченые липовые чашки с киселем, саломатою, холодничком и кашею.

Вторая изба хотя не представляла ничего подобного, однако тишина (как известно, весьма не свойственная мирному этому крову) могла служить ясным доказательством, что и у Домны дело также шло не обычным порядком.

И действительно, то, что происходило в избе скотницы, отнюдь не принадлежало к числу сцен обыденных.

Толпа баб, разных кумушек, теток, золовок и свояченид окружала Акулину. Сиротка сидела на лавочке посередь избы, с повязкою на голове, в новой белой рубашке, в новых котах и разливалась-плакала. Собравшиеся вокруг бабы, казалось, истощили все свое красноречие, чтоб утешить ее.

— Не плачь,— говорила какая-то краснощекая старуха,— ну, о чем плакать-то? слезами не поможешь... знать, уж господу богу так угодно... Да и то грех сказать: Григорий парень ловкий, о чем кручинишься? девка ты добрая, обиждать тебя ему незачем, а коли

по случай горе прикатит, коли жустрить начнет... так и тут что?.. бог видит, кто кого обидит...

— Вестимо, бог до греха не допустит,— перебила Домна.— Полно тебе, Акулька, рюмить-то; приставь голову к плечам. И вправду Савельевна слово молвила, за что, за какую надобу мужу есть тебя, коли ты по добру с ним жить станешь?.. Не люб он тебе? не по сердцу пришелся небось?.. Да ведь, глупая, неразумная девка! вспомни-ка, ведь ни отца, ни матери-то нет у тебя, ведь сирота ты бездомная, и добро еще барин вступился за тебя, а то бы весь век свой в девках промаячилась. Полно... полно же тебе...

— Эх, бабы, бабы! — подхватила третья, не прерывавшая еще ни разу молчания,— ну, что вы ее словами-то закидываете?.. нешто она разве не знала замужнего житья? хоть на тебя, небось, Домна, было ей время наглядеться, а ты же еще и уговариваешь ее... Эх! знамая песня: чужую беду руками разведу, а к своей так ума не приложу... век с мужем-то изжить не поле перейти... она, чай, сама это ведает...

— А разве всем быть таким, как твой Борис? небось, не за доброго человека она идет, что ли?.. Григорий забубенный разве какой парень?.. Полно же, Акулька! в семью идешь ты богатую... У Силантия-то в доме всякого жита по лопате... чего рюмишься?.. Коли уж быть тебе за Григорьем, так ступай; что вой, что не вой — все одно.

— И то правда,— подхватила какая-то близ стоявшая кума,— вестимо, полно грустить... Не надсаживай, Акулина, своего здоровьица некрепкого по-пустому... брось кручину; авось бог милостив...

Но все эти увещания, в сущности способные убедить каждого здравомыслящего человека, что-то плохо действовали на Акулину.

Она была безутешна.

«Эка, право, девка-то чудная какая! — думали бабы,— как узнала ономнясь, что велено замуж идти, так ничего, слезинки не выронила, словно еще обрадовалась; да и все-то остальные дни, бог ее ведает, нимало не кручинилась. Уж на что Домна, кажись, не больно ее жалует, а третя дня, как запели девки песни да зачали расплетать ей косу, так и та благим матом завыла, да и всех-то нас нешто слеза прошибла, а ей одной нипочем — словно, право, каменное сердце у человека тогда было. Ну, думали, обрадовалась больно,

сердечная, ан не тут-то было: вот теперь, в самый-то день свадьбы, отколь и горе привалило... ревет, и не уймешь еще... что бы за притча, примерно, такая?..»

Бабы решительно становились в тупик; им невдомек было поведение Акулины. Недоумение кумушек возрастало, главное, оттого, что горе невесты последовало внезапно после нескольких дней, проведенных ею с самым невозмутимым равнодушием. Дело в том, что ни одна из них не замечала,— конечно, и не могла заметить,— тех тонких признаков душевной скорби, того немого отчаяния (единственных выражений истинного горя), которые, между прочим, сильно обозначались во все то время в каждой черте лица, в каждом движении сиротки.

Известие о разговоре барина с мужиками повергло ее в такое отчаяние, что если б не надежда переменить дело, не выходить замуж, она кончила бы, без сомнения, чем-нибудь трагическим.

Надежда, вкравшись раз в душу Акулины, укрепила ее. Она ждала только удобного случая, чтоб броситься к ногам барина. Полная уверенности в том, что он не откажет ей своей милостью, она принялась караулить Ивана Гавриловича.

Но странно, необъяснимо странно было, что каждый раз, как показывался барин, ее охватывала такая робость, такой страх овладевал всем существом ее, что она не смела даже шевельнуться, боясь обратить на себя его внимание.

Необходимо здесь заметить, что чувство это было в ней совершенно бессознательно, ибо Иван Гаврилович был, как уже известно, человек добрый, благонамеренный и отнюдь не давал своим подчиненным повода трепетать в его присутствии. Приписать опять чувство это врожденной робости Акулины тому, что она была загнана, забита и запугана, или «идее», которую составляют себе о власти вообще все люди, редко находящиеся с нею в соприкосновении и по тому самому присвоивающие ей какое-то чересчур страшное значение,— было бы здесь неуместно, ибо отчаяние бедной девки могло не только победить в ней пустые эти страхи, но легко даже могло вызвать ее на дело несравненно более смелое и отважное. А между тем, где бы ни встретилась Акулина с барином, решимость в ту ж минуту ее покидала; затаив дыхание, дрожа как осиновый лист, пропускала она его мимо,

дав себе слово в следующий же раз без обиняков броситься в ноги к нему и прямо рассказать в чем дело. Но много раз на день являлись такие случаи, и тысячу раз результат выходил один и тот же; мало того, в решительную минуту Акулина мирилась даже с горькою своею долею.

А барин тем временем шел себе спокойно, слегка покуривая сигару, беспечно поглядывая на стороны и не подозревая даже, чтоб за соседним плетнем или обвалившеюся перегородкою могло происходить что-либо подобное.

Надежда не покидала, однако, Акулину; еще накануне своей свадьбы всю ночь провела она на коленях, умоляя святых угодников защитить ее, укрепить ее духом. Но, как на беду, в воскресенье утром Иван Гаврилович ни разу не вышел из хором, и Акулина, выжидавшая его за сараем, могла только видеть, как коляска помчала его вместе с барынею по дороге в церковь.

Тут, ввиду исчезнувшей надежды, гибели неминуемой и неизбежной, почувствовала она, что не в силах бороться долее с своим горем; сердце ее перестало биться, глаза подернулись темною пеленою и, как подрубленная молодая береза, покатилась бедная на землю.

Случайно натолкнулась на нее баба; ее принесли в избу, привели в чувство, и, как мы видели, немало заботились успокоить. Мало-помалу бабы начали достигать своей цели; невеста уже несколько подавалась на их красноречивые убеждения, как вдруг крики: «едут! едут!», раздавшиеся со всех концов избы, снова испортили все дело.

Пока Домна (посаженая мать сиротки), соседки и кумушки суетились вокруг невесты, ворота с надворья скрипнули, и на дворе послышался шум, говор и звук бубенчиков, свидетельствовавшие о приезде жениха.

Вскоре Пахомка (старший сын скотницы и дружка невесты) появился на пороге; за ним, крестясь и кланяясь, вошли по порядку жених, его отец, мать, дружка и родственники. Все они казались не слишком-то радостными; один дружка жениха скалил зубы, подмигивал близ стоявшим бабам да весело встряхивал курчавою своею головою.

После обычных приветствий как с той, так и с дру-

гой стороны Григория и Акулину поставили на колени на разостланный дружками на полу зипун. Домна взяла тогда образ и подошла к ним; начался обряд благословения.

Акулина как бы успокоилась, и только судорожно стиснутые губы и смертная бледность лица свидетельствовали, что не все еще стихло в груди ее; но потом, когда дружка невесты произнес: «Отцы, батюшки, мамки, мамушки и все добрые соседушки, благословите молодого нашего отрока в путь-дорогу, в чистое поле, в зеленые луга, под восточную сторону, под красное солнце, под светлый месяц, под часты звезды, к божьему храму, к колокольному звону», и особенно после того, как присутствующие ответили: «Бог благословит!», все как бы разом, окончательно в ней замерло и захолонуло. Она машинально, с отсутствием всякого чувства и мысли, влезла в повозку и уселась подле жениха своего.

Поезд тронулся.

Обедня только что кончилась, когда свадебные повозки остановились перед церковью. Иван Гаврилович, его супруга и еще кой-какие помещики того же прихода стояли на паперти.

Первые, как жители столицы, с заметным любопытством ожидали начала брачной церемонии добрых мужичков.

Так как невеста была круглая сирота, то, по принятому обыкновению в подобных случаях, ей следовало еще отправиться до венца на кладбище, чтобы помолиться над могилою родителей, или, как выражаются в простонародье, «поплакать голосом».

Едва начался обряд венчанья, как супруга Ивана Гавриловича почувствовала уже тоску и сильный позыв к зевоте; крестьянская свадьба, заинтересовавшая ее дня три тому назад, казалась ей весьма скучным удовольствием; невеста была глупа и выглядывала настоящим уродом, жених и того хуже — словом, она изъявила желание как можно скорее ехать домой. Иван Гаврилович, разделявший с женою одни и те же мысли, не замедлил сесть в коляску, пригласив наперед к себе некоторых из соседей.

Вскоре все обыватели Кузьминского вернулись домой, и улица села снова загремела и оживилась.

Мужики Ивана Гавриловича были народ исправный, молодцы в работе и не ленивцы; но греха

таить нечего, любили попировать в денечек господень. Приволье было на то большое. В пяти верстах находился уездный город **... да что в пяти! в двух всего, дядя Кирила такой держал кабак, что не нужно даже было и уездного города для их благополучия. Уж зато как настанет праздник, так просто любо смотреть: крик, потасовки, пляс, песни, ну, словом, такая гульня пойдет по всей улице, что без малого верст на десять слышно.

Но на этот раз, – конечно, говоря относительно, – во всей деревне не было такого раздолья, как в одной избе кузнеца Силантия; немудрено: сыновей женить ведь не бог знает сколько раз в жизни прилучится, а у Силантия, как ведомо, всего-то был один. Несмотря на то, что старику больно не по нраву приходилась невеста, однако он, по-видимому, не хотел из-за нее ударить лицом в грязь и свадьбу решился сыграть на славу.

И то сказать, угощенье затеялось лихое! что душе угодно, всего было вдоволь. Василиса и Дарья – сестры кузнеца, старые девки, и старуха его только и делали, что таскали из печи на стол разные яства; мисы щей, киселя горохового, киселя овсяного, холодничка и каши, большущие чашки, наполненные доверху пирогами с морковью, пирогами с кашею, ватрушками пресными и сдобными и всякими другими, поочередно появлялись перед многочисленными гостями. О напитках и говорить нечего: штофики с сивухою, настойками, более или менее подслащенными медом, погуливали из рук в руки без устали; что же касается до сусла и браги, они просто стояли в больших ведрах близ каждого стола, гостю стоило только нагнуться, чтоб черпать. Силантий, казалось, совсем распоясался и чествовал гостей своих не на шутку. Много оставались довольны и гости; отовсюду неслись крики и приветствия радушному хозяину. Мало-помалу и сам он расходился.

Он сидел, обнявшись с кумом Иваном и сватом Гаврилою, и беспрестанно подносил им то из одного штофика, то из другого. «Сват Гаврило! еще стаканчик, ну, чего отнекиваешься?.. пей!» – «Так и быть, – отвечал сват Гаврило, глаза которого уже казались плавающими в масле, – так и быть, обижу свою душу, согрешу, выпью...» – «Кум, а кум! без опаски пей, чего боишься?..» – «Спасибо те на ласковом слове, Си-

лантий Васильевич, много довольны без того... много благодарствуем...» – «Молодая!.. что же ты!.. – кричал Силантий, обращаясь к Акулине, которая молча и неподвижно сидела на месте и, несмотря на увещания соседок, не выпивала своего стакана. – Эй! Гришка! что ж! оба словно пни сидите... сноха! что не пьешь?.. аль оглохла?.. Экие дурни!.. да поцелуйтесь же... небось при людях-то не любо... Тетка Арина, еще винца... милости просим, не побрезгай... дядя Пахом! во здравие молодым!.. Кум Иван... ты... ты... ведь брат мне, родной... ну, и пей!.. Левон Трифоныч! а ты что прикорнул? небось, неси в ворота, где ус да борода!.. Кума! Домна Карповна, дай тебе господь бог много лет здравствовать и деткам твоим всяческа благополучия от царя небесного... Да... Эй! во саду ли в огороде... эй, братцы!.. ну!..»

Гам, чваканье, стук ложек, неистовые крики подымались все сильнее да сильнее; вскоре послышались они не только в сенях, но даже на дворе, под корытами и колодами, куда успели забраться, неизвестно каким образом, некоторые из гостей Силантия.

Как ни весело было, однако пирушке должен же быть конец. Уж вечерело, когда стали расходиться. Кто, придерживаясь к плетню, побрел к себе домой; кто помощию рук и ног соседей и своих собственных карабкался вон, сам не зная куда; кто присоединился к общей массе народа, толкавшейся с песнями перед барскими хоромами.

Силантий, молодые и домашние его последовали примеру последних. Тут веселье было уже совсем другого рода.

У самого палисадника вертелись хороводы, словно немазаные колеса какие, с их несвязною и нескончаемою песнью; в другом месте толпа окружала молодого парня, который, по желанию Ивана Гавриловича, выплясывал с бабой трепака. Заломив высокую свою шапку в три деньги, запрокинув голову, выделывал он с самою серьезною миною свои па, между тем как господские люди разносили обступившим его подносы с штофами пенника и ломтиками хлеба; ребятишки и девчонки бегали кругом балкона и с визгом кидались наземь каждый раз, как барин или барыня бросали в них пригоршню жемков и орехов. Старики и старухи также имели свою долю в общем веселье: они стояли у решетки и тешились, глядя на забаву.

Разгулявшиеся гости Силантия еще более оживили толпу; окружили молодых, втискали их силою в хоровод – и пошла потеха еще лучше прежней. Иван Гаврилович и супруга его казались на этот раз очень довольными; они спустились с балкона и подошли к хороводу.

– Что же она у тебя не весела, Силантий?.. – сказал Иван Гаврилович, указывая ему на Акулину.

– А вот вишь ты, отец наш... она... молодая... а вот парень-то мой... Вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч... много благодарны... Вот те, ей-ей, много благодарны... не погневись ты на нас... мы ведь слуги твои...

– Ну, хорошо, хорошо, – прибавил барин, видя, что Силантий едва держится на ногах, – хорошо, ступай...

Долго продолжалось в этот день веселье в селе Кузьминском. Уж давно село солнце, уж давно полночь наступила, на небе одни лишь звездочки меж собою переглядывались да месяц, словно красная девка, смотрел во все глаза, – а все еще не умолкали песни и треньканье балалайки; и долго-долго потом, после того как все уж стихло и смолкло, не переставали еще кое-где мелькать в окнах огоньки, свидетельствовавшие, что хозяйкам немало стоило труда уложить мужей, вернувшихся со свадебной пирушки кузнеца Силантия.

VII

. . . .
Ах, раскройся, мать сыра земля,
Поглоти меня, несчастную!..
Русская песня

Еще солнышко вихра не думало выставлять, как уже Григорий, муж Акулины, выбрался из каморы, куда накануне положили его с женою, и ушел в поле. Само собою разумеется, что такое усердие не могло проявиться в нем без особенной причины; он наверняка об эту пору думал поймать соседей, взявших с некоторого времени повадку пускать лошадей своих на его гречиху и овес. «Добро, – молвил он, украдкою приближаясь к своим нивам, – добро! вы, чай, мыслите: бабится Григорий с женою да лыка не вяжет со вчерашнего похмелья? Погодите-тка, дружки! я вам

покажу свата Кузьму... Недаром с весны скалю зубы-то... постой...» Но Григорий, должно быть, нес чистую напраслину на соседей своих, ибо, сколько ни обходил поля, сколько ни высматривал его, нигде не было заметно ни истоптанного места, ни даже следа конского или человечьего: овес и гречиха были невредимы. Бодро, словно ратники в строю, торчали мощные их стебли; один только ветер, потянувший к рассвету, бугрил и колыхал злачные их верхушки. «Ишь, лешие! – сказал он, оглянув еще раз поле,– как барин-то здесь, так небось и дорогу узнали... по чужому, знать, не шляндаете... не то, что прежде... Ах, кабы попался кто из вас, мошенников... во как бы оттаскал!.. да еще и к барину бы свел...» Ободрив себя такими мыслями, Григорий повернулся спиною к полю и отправился по меже к проселку. Ступив на проселок, он остановился; поглазел направо и налево, почесал затылок, потом оба бока и спину. «А что? – подумал он,– ведь вот коли все прямо по дороге идти, так вестимо оно будет дальше... в полях-то, чай, еще никого нет!.. Э!..»

Григорий махнул рукой и без дальних рассуждений пошел отхватывать по соседней ржи. Уж начали было мелькать перед ним верхушки ветл, ограждавших барский сад, мелькнула вдалеке и колокольня, как вдруг рожь в стороне заколыхалась и, отколе ни возьмись, выглянула сначала одна шапка, потом другая и третья; не успел Григорий присесть наземь, как уже увидел себя окруженного тремя мужиками.

– Э-ге-ге!.. так это, брат, ты? – вскричал самый дюжий из них, в котором Григорий узнал дядю Сысоя.– Так вот оно как! Нет, знай, не отбояришься... не пущайте его, ребята...

Петруха Бездомный и Федос Простоволосый пододвинулись.

– Что словно черти обступили?.. что надо?..

– Небось чужое-то не свое – не жаль...

– Да ты чего лезешь?.. нешто твое?

– А то чье же?..

– Ну твое, так твое... и черт с тобою!..

– Вот мы те покажем черта...

– А что ты мне покажешь?..

– Да... а помнишь, как летось батька твой поймал на своих горохах мою кобылу да слупил целковый рубль?.. этого ты не помнишь?

– А что мне помнить?..

— То-то, воронье пугало! теперь и тебе не уйти...

— Да чего те надо? леший!

— Э, брат! ты еще куражишься... Хватай его, ребята!..

Мужики бросились на Григорья; тот, парень азартный, изворотливый, видя, что дело дошло до кулаков, мигом вывернулся, засучил рукав, и дядя Сысой не успел отскочить, как уже получил затрещину и облился кровью. «А! так вяжи ж его, ребята! вяжи его, разбойника!» — закричали что было мочи мужики, уж не на шутку принимаясь комкать Григорья. Тут сила перемогла его: дядя Сысой, Федос и Петруха связали его кушаками, не потерпя даже на этот раз малейшего ущерба, разве только, что гречиха первого была решительно вся вымята во время возни,— а она ведь все же чего-нибудь да стоила, ибо у Сысоя, его жены и детей всего-то было засеяно ею полнивы.

— Тащи его, братцы, прямо к барину, тащи! — кричал дядя Сысой, размазывая себе, как бы невзначай, скулы кровью и, вероятно, желая тем произвести больший эффект перед барином,— там те покажут, собаке, как драться... тащи... тащи!..

— Что, взял? — говорил Петруха Бездомный,— не хотел подобру ладить... вот те бока-то вылущат... погоди...

— А! мошенник! — продолжал дядя Сысой, не забывая мазнуть себя по носу,— я ж покажу!.. разбойник! тащи... тащи, ребята... тащи его!..

— Что, брат Гришка,— подхватывал Петруха,— якшаться с нами небось не хотел: и такие, мол, и сякие, и на свадьбу не звал... гнушаться, знать, только твое дело; а вот ведь прикрутили же мы тебя... Погодитка! барин за это, небось, спасибо не скажет: там, брат, как раз угостят из двух поленцев яичницей... спину-то растрафаретят...

— А что, дядя Сысой,— молвил Федос,— вестимо, чай, жутко ему будет?.. так выпарят... и!.. и!.. и!.. Господи упаси!..

Рассуждая таким образом, мужики заметно придвинулись к околице; тут Григорий, не показавший во все время смущения или робости, стал вдруг крепиться и упираться ногами. Дядя Сысой, заметив это, перемигнулся с Петрухой и, как бы почувствовав прилив вдохновения, произнес:

— Стой, ребята! стой!.. Гришка! вот те Христос,

отдерут, не на живот, а на смерть отдерут... Слушай! Ну... хошь аль не хошь?

— Ну что?.. ну, хочу...

— Братцы! уговор лучше денег,— продолжал тем же восторженным тоном дядя Сысой,— бог с ним... обидел он меня... уж вот как обидел... ну, да плевать... выпустим его...

— Выпустите, братцы! ну за что вы меня тащите? выпустите! ей-богу, скажу спасибо...

— Э-ге!.. даром кафтан-то у те сер, а ум-то, верно, не лукавый съел... ишь чего! а ты думаешь спасибо, да и отбоярился?

— Чего ж вам еще?..

— Что больно дешево?.. нет... ты, брат, вот что... Ну, да что с тобою толковать! давай целковый!

— А отколе возьму его?..

— Не хошь?.. тащи его, ребята, тащи!..

— Гришка, полно тебе артачиться! — сказал Петруха,— хуже будет, шкурою ведь заплатишь... вот те Христос, такого срама нахлебаешься, что и!..

— Толком говорят тебе, откуда мне взять его?.. ну...

— Врешь, чертов сын! у вас с бачкой денег много... недаром всю деревню вчерась угощали... Ну, хошь, что ли, говори?

— Ей-богу, дядя Сысой, провалиться мне сквозь землю, если есть такие деньги...

— Э! ну, черт с тобой! давай полтинник.

— Да нету, тебе, чай, говорят!

— Нету?.. ну так тащи его, ребята... тащи, тащи, тащи!..

— Погодите... дядя Сысой... стойте... дайте вымолвить слово... пять алтын, по-моему, бери!

— Эк, ловок больно! Нет, этим обиды, брат, не вышибешь... Тащи его знай, ребята, тащи...

— Ну, двугривенный... Вот как бог свят, больше нет ни полушки!..

— Ребята! — крикнул снова дядя Сысой,— была не была! возьмем с него двугривенный, да могарычи в придачу... Идет, что ли?..

— Отсохни руки и ноги, если у меня есть больше,— всего двугривенный...

— О! еще скалдырничает... Так ты не хочешь?

— Не замай его, дядя Сысой, сам напоследях спокается...

— Вестимо! — вымолвил Федос.

— Черт же бы вас подрал! — сказал Григорий, — ну, развязывай руки-то, что ль...

— Двугривенник и могарычи — слышишь?

— Ну, слышу!

— Идет?

— Ну, идет!

— Развязывай его, ребята! Давно бы так: кобениться еще вздумал... эх, жила, жила!..

— Да куда мы пойдем-то?..

— Вестимо куда! река, чай, не больно далече...

— К свату Кириле, что ли?

— А то куда же! сегодня, кажись, еще базар...

— И то, ребята...

— Ступайте, братцы! — сказал Федос.

— А ты что?

— Я не пойду...

— Да куда те приспичило, на барщину разве гонят, черт?

— Свой пар, дядя Сысой, не пахан стоит...

— А у одного тебя не пахан он, что ли? Простоит вёдро, спахаешь...

— Вестимо простоит вёдро; давно ли был дождь?..

— Полно, кум, пойдем!

— Идемте, что ли?

— Идемте...

— Погодите, куда вас несет?

— А что?

— Обогнуть, чай, надо дорогу...

— А пес велит нам идти по ней?.. — сказал дядя Сысой.

— А то как же?

— Что тут долго болтать... вот так все прямо и пойдем... полем, как раз на реку выйдем...

— Э! полем! а рожь, не видишь?

— Э! рожь... Что, ребята, чего стали?

— Оно, вестимо, короче, дядя Сысой, полем-то, чай, выйдешь на забродное...

— Ну, так что?

— А овсы господские...

— Овсы господские! а какой леший увидит нас? день, что ли? ишь, только светает. И много помнем мы небось овсов-то господских... Да ну, ступайте, что ли!

— Пойдемте, братцы!

— Пойдемте!..

И все четверо свернули с дороги.

Дядя Сысой не ошибся: избранная им дорога сокращала путь по крайней мере целыми десятью минутами, что, впрочем, в ожидании могарыча не было безделицей. Вскоре путники наши миновали барский овес, расстилавшийся за ним ельник и вышли на берег.

Солнце только что показалось из-за темных гор, ограждавших противоположную сторону реки; ровная, тихая, как золотое зеркало, сверкала она в крутых берегах, покрытых еще тенью, и разве где-где мелькали по ней, словно зазубрины, рыбачьи лодки, слегка окаймленные огненными искрами восхода. Песчаный берег, по которому ступали мужички, незаметным, ровным почти склоном погружался в воду. Внизу, у самой подошвы его, возвышалась серая высокая изба, обнесенная с одной стороны плетнем, с другой сушившимся бреднем. На дощатой заплесневевшей кровле этого здания возносился длинный шест с пучком соломы и елка, столь знакомая жителям Кузьминского и вообще всему околотку. Кругом по песку валялись без всякого порядка обручи и торчали порожние бочки, брошенные, вероятно, хозяином для просушки.

Несмотря на раннюю пору, перед крылечком здания уже толкалось немало народа, и товарищам дяди Сысоя надо было выждать прежде, нежели войти под гостеприимный кров.

Тут стояли мужики с возами, мельники из соседних деревень с мукою и рожью, высовывались кое-где даже бабы; виден был и купчик с своею бородкою, и коновал с своими блестящими на ременном поясе доспехами, но более всех бросался в глаза долговязый рыжий пономарь с его широкою шапкою, забрызганною восковыми крапинами, который, взгромоздившись бог весть для чего на высокий воз свой, выглядывал оттуда настоящею каланчою.

На пороге кабака находился сам хозяин; это был дюжий, жирный мужчина с черною как смоль бородою и волосами, одетый в красную рубаху с синими ластовицами и в широкие плисовые шаровары. Он беспрерывно заговаривал с тем или другим, а иногда просто, подмигнув кому-нибудь в толпе, покрикивал: «Эй, парень! а что ж хлебнуть-то? ась?.. Э-ге-ге, брат! да ты, как я вижу, алтынник!»

Григорий, дядя Сысой и другие вошли, наконец, в кабак и, не снимая шапок, как это принято в таких местах, уселись рядышком в углу на лавке. Внутренность избы не представляла ничего особенно нового и замечательного. Тот же порядок, как и во всех кабаках, усеивающих большие и малые дороги, пристани, базарные сходки и приречья обширной России. Те же закопченные сосновые бревна, та же печь исполинского размера с полатями и выступами. В одном углу – бочка с прицепленным к краю ковшом, в другом – конторка, устроенная из досок, положенных на козла; на ней штофы, полуштофы, косушки и стаканы, расположенные шеренгами с необыкновенною симметриею, как-то странно бросающеюся в глаза посреди окружающего хлама и беспорядка. У самых дверей на лавке пыхтел и шипел неуклюжий самовар (сват Кирила также держал чай и закуску); подле него подымалась целая груда позеленевших, поистертых сухарей и баранок; далее тянулся косвенный, наподобие бюро, прилавок, покрытый чашками, мисками и блюдами с разною потребою для крестьянского брюха.

На безлюдье нельзя было жаловаться; мало того, что изба была полным-полнешенька, в дверях беспрестанно появлялись новые лица, так что сам Кирила едва поспевал управляться. «Маюкончику на гривенничек,– трое пьют!» – кричал мельник, вводя двух мужиков, купивших у него муки. «Эй, дядя Кирила, давай перемену!» – «Аль рыбу-то поснедали? что больно скоро?» – «Малый, косушку!» – «Эй, целовальник! а целовальник! или Максим, что ли, как те звать! полуштоф на одного – вот и деньги...» Но Кириле не в диковинку были такие хлопоты; он не упускал даже случая перекинуться словом то с тем, то с другим из гостей своих. «Эй, Ванюха! что рыло-то не мочишь?.. полно тебе глазеть по сторонам-то; спроси – дадут... чего прикорнул?» – «Да что, брат, денег нету».– «Ой ли? аль все пропил?» – «Пропил не пропил, а был грех!..» – «Давно ли? Вот то-то оно и вышло: мужик простоволос год не пьет, два не пьет, а как бес прорвет, так и все пропьет!» – «Эй, Трифон, опохмелиться чай надо,– чего зеваешь? коли алтын не хватает, так муки, чай, привез?» – «И то привез».– «Ну, давай ее сюда! Что будешь делать? надо уважить кума... тащи!» – «Да ты сколько даешь?» – «Вестимо, ни твоей, ни своей души обижать не ста-

ну». – «А сколько?» – «Ты пуд, а я косушку». – «Э! косушку! что больно тороват?» – «Ну, не одну, так две». – «Давай!» – «Э! ге, ге, ге!.. Дорофей, а Дорофей! что, брат, приуныл? аль кручина какая запала?» – «Да что, брат Кирила! беда прилучилась, за свою же кобылу приплатился». – «Как так?» – «А вот как: увели у меня на прошлой неделе кобылу». – «Не гнедую ли?» – «Нет, саврасую. Я и туда и сюда – и след простыл, что ты будешь делать?.. Захожу к свату Ивану, а тот и надоумил меня: ступай, говорит, в Пурлово – знаешь Пурлово? – говорит он мне, – это сват-то Иван говорит. – Знаю, говорю, Пурлово, как не знать! – Ну, так коли знаешь, так ступай, отыщи там Онисима-коновала; я знаю, – говорит сват Иван, – это его ребята балуют. – Что ты станешь делать? беда, да и только; взял красную, прихожу. – Ну, что? – говорит. – Да вот, мол, кобыла саврасая пропала; так не поможешь ли беде? – Как не помочь, говорит, ступай в осинник на завалишинский выгон, знаешь завалишинский выгон? – Знаю, говорю. – Ну, когда так, так и кобылу свою найдешь: она там траву, вишь, щиплет. – Отдал деньги, прихожу: и вправду стоит моя кобыла!.. Так вот какая прилучилась беда, – красную ни за что ни про что отдал». – «О, брат! добро еще красную, видали и больше; счастлив, что дешево отбоярился». – «Такая, право, беда! Хорошо, что деньги были, а то просто и кобылу поминай как звали... право-ну!» – «Что деньги, брат, не боги, дядя Дорофей, да, видно, много милуют».

Каляканье не мешало, однако, нашим мужичкам пропускать чарку за чаркою; вскоре почувствовали они сами, что уже сильно нагрузились. Всего страннее в этом деле было то, что мирный и тихий Федос проявил такую прыть и смелость, что многих трудов стоило Григорию и Сысою удержать его, чтоб он не вцепился в бороду долговязому пономарю, к которому получил он, ни с того ни с сего, непреодолимую ненависть. Наконец кое-как угомонили они его и уложили под навесом подле Петрухи, давно заснувшего сном богатырским. Расплатившись, как следует, наши приятели (я говорю: приятели, ибо дядя Сысой и Григорий шли теперь, обнявшись крепко-накрепко, и не переставали лобызать друг друга в ус и бороду) вышли из кабака и, как ни покачивались на стороны, благополучно достигли дороги. Неизвестно, о чем толко-

вали они; разумеется, много было всяких сердечных излияний как с той, так и с другой стороны. Дядя Сысой и Григорий пойдут-пойдут, да и остановятся — остановятся да обнимутся. «Во как люблю, Гриша!.. Ей-бо... право...» — «Больно ты мне полюбился, дядя Сысой... Во... те... Христ...» — и опять продолжают путь тем же порядком.

Но счастие скоротечно; вскоре очутились они посреди улицы и волею-неволею должны были расстаться.

Нередко попадаются дни в жизни человека, которые как бы исключительно пользуются правом наделять его неприятностями и неудачами. Точно такой же день, должно быть, пал на долю Григорью, ибо не успел он отворить ворота, как уже неприятно был поражен криком и бранью, раздававшимися у него в доме. Григорий остановился, обтер рукавом пот, капавший с лица, и стал прислушиваться; так! голосили Дарья и Василиса, но на кого? — бог их ведает! Он поднялся по шаткому крылечку, выходившему на двор, и вступил в избу. Василиса и Дарья стояли, каждая по концам стола, с поднятыми кулаками; перед ними близ окна сидела Акулина; она, казалось, не старалась скрывать своего горя и, закрыв лицо руками, рыдала на всю избу... Слезы ручьями струились между сухощавыми, грязными ее пальцами. Зрителем этой сцены была старуха, мать Григорья; свесив с печи седую голову, как-то бессмысленно глядела она на все, происходившее перед ее глазами.

— Чего горланите?.. Что еще? ну?.. — закричал Григорий, бросая с сердцем кушак и шапку наземь.

— Да то же, что вот навязал нам на старости лет дьявола... Поди-тка сам теперь и ломайся с ним! — отвечала Василиса, указывая костлявою своею рукою на Акулину.

— Да, — подхватила Дарья, вся дрожа от злобы, — не боюсь, и руки-то понадсодишь — сунься только...

— Покою не дает, проклятая, — продолжала Василиса, — воет знай себе на всю избу. Послали было за хворостиной печь истопить, прошляндала без малого все утро... велели хлебы замесить — куды те!.. ничего не смыслит — голосит себе, да еще: пойду, говорит, к барину...

Василисе и Дарье, по известным причинам более, нежели остальной родне, ненавистна была женитьба

Григория; тетки, как видно из слов их, решились даже прибегать в иных случаях к клевете, чтоб только навлекать на Акулину гнев мужа, парня, как ведали они, крутого и буйного.

— Да, — подхватила Дарья, приступая к племяннику, — к барину, говорит, пойду... он, говорит...

Но Григорию и этого было довольно; он оттолкнул тетку и подошел к жене.

— Что, окаянная? — произнес хмельной Григорий, страшно поваживая очами, — что? артачиться еще вздумала, а?

— Да как бы не так! — голосила Василиса, — много возьмешь словами.

— Вестимо, что ей даешь потачку... разве не видишь, она с умыслом воет? думает: услышит...

— Э! толковать еще тут! — бормотал сквозь зубы Григорий, хватая Акулину за волосы и повергая ее одним движением руки на пол...

— Вот так-то! — сказала Дарья. — Да здесь не замай ее, Гриша; стащи лучше в сени... неравно еще горшки побьешь...

Бешенство, казалось, обуяло Григория; тут все разом завозилось в голове его: и неволя, с которою он женился, и посторонние неприятности, и хмель, происшествие утра, — кровь путала его; сначала долго возил он бедную женщину взад и вперед по избе, сам не замечая, что беспрерывно стукался по углам и прилавкам, и, наконец, потащил ее вон...

— Эй, черти! — послышалось тогда в сеничках, — чего расходились? Эй! Григорий, Гришка, а Гришка! — произнес тем же голосом седой как лунь мужик, входя в избу. — Э! э! э!.. эхва! как рано пошло размирье-то! вчера свадьбу играли, а сегодня, глядишь, и побои... эхва!.. Что?.. аль балует?.. пестуй, пестуй ее, пусть-де знает мужа; оно добро...

— Чего, леший, надо?.. проваливай, проваливай... черт, дьявол, собака!..

Это обстоятельство, казалось, еще больше остервенило Григория, и бог знает, что могло бы случиться с Акулиною, если б в ту самую минуту не раздалось в дверях звонкого хохота и вслед за тем не явился бы на пороге Никанор Никанорович, барский ловчий.

Василиса и Дарья мгновенно исчезли за печуркою; Григорий тотчас же выпрямился, стряхнулся и подошел к нему.

— Добро здравствовать, Никанор Никанорыч,— произнес он,— зачем пожаловали?

— Ох!.. дай, брат, Христа ради, душеньку отвести... о!.. о!.. Ай да молодые!.. чем бы целоваться, а они лупят друг друга. Эх вы, простой народец!.. хе, хе, хе...

— Балуется больно, Никанор Никанорыч.

— И куды, кормилец ты наш, ломлива! и не ведает господь, что за баба такая...— сказала Василиса, показывая голову из своей прятки.

— Ну, ну... ну, а я вот что: барин вас зачем-то спрашивает... Эй, тетка!.. вынь-ка крыночку молочка — смерть хочется... Не могу сказать зачем, а только приказал кликнуть вместе с женою... Что ж ты, тетка, коли молока нет, так простокваши давай — не скупись... ну!

Григорий бросился сломя голову вон из избы; тетка не замедлила последовать его примеру.

Пока почетный гражданин барской дворни хлебал простоквашу, в каморе и в сенях происходила страшная суматоха.

— Зачем это барин-то кличет?

— Что такое прилучилось?..

— Эх, нелегкая его дергает!..

— А вот что: хочет, видно, на молодых поглядеть...

— Что, что?.. ну, ты... рожу-то всплесни водой...

— Рубаху-то новую вынь. Долго, что ли, чертова дочь, возиться станешь?.. У! как пойду...

— Гриша, я чай, полотенце надо для поклона?..

— Давай, тетка Дарья... хошь свое давай... Ишь, леший! ничего не принес!..

— Вот ты покажи у меня только вид какой, только поморщься... я с те живой тогда сдеру шкуру...

— Все, что ли?

— Кажись, все...

— Ну, ступай!

Григорий и Акулина вышли из ворот и вскоре очутились в барской передней.

— Поздравляю вас! — сказал Иван Гаврилович, подходя к молодым вместе с женою.— Поздравляю! Смотрите же, живите ладно, согласно, не ссорьтесь.

— Mon Dieu, qu'elle a l'air malheureuse!..[1] — сказала барыня.

[1] Боже, какой у нее несчастный вид!.. *(фр.)*

— Comment! vous ne saviez pas que chez eux la jeune mariée doit pleurer pendant une semaine? mais c'est de rigueur...[1]

— Вот, возьмите,— продолжал он, подавая Григорию беленькую бумажку,— это вам жалует барыня... Мирно у меня жить, дружно... Ты во всем слушайся мужа своего... работай... Ну — бог с вами, ступайте.

Дорогою молодые повстречались с Никанором Никаноровичем.

— Зачем барин-то звал?

— Да вот пожаловал, вишь, денег...

— Покажи... Ах ты, черт этакой!.. Вашему, знать, брату мужику только и счастие... Нам небось никогда не перепадает... Э! поди тут разбери: иной и службой не выслужит, а то другой шуткой вышутит... А что, брат Григорий, ведь угостить надо, ей-богу, надо... Погоди, мы придем спрыснуть.

— Приходите.

— Сегодня и придем... а?..

— Ну, хоть сегодня... а что?

— Да завтра, чем свет, мы уезжаем в Питер с барином; так тут не до того... Смотри же, жди нас...

— Добро...

Утро и полдень протекли тихо и смирно в избе Григория, и если б не визит Никанора Никаноровича и еще двух лакеев, которые подняли ввечеру изрядную суматоху, можно было бы сказать, что водворившаяся так внезапно тишина не прерывалась ни разу и в остальную часть дня.

VIII

Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!

Кольцов

Но семейство Силантия не могло прожить долее одного дня в ладу и согласии; знать, уж под такою непокойною звездою родились почтенные члены, его составлявшие. С следующею же зарею пошли опять

[1] Как? Вы не знали, что у них новобрачная должна плакать целую неделю? Таков обычай... *(фр.)*

свалки да перепалки. Нечего и говорить, что Акулина была главным их предлогом. Трогательные убеждения Ивана Гавриловича при последнем свидании его с Григорием, казалось, произвели на последнего то же действие, что к стене горох – ни более, ни менее.

Но прежде, нежели приступлю к дальнейшему описанию житья-бытья горемычной моей героини, не мешает короче ознакомить читателя с новой ее роднею. Это будет недолго; она состоит всего-навсе из четырех главных лиц: Дарьи, Василисы, старухи жены Силантия и Григория. Первые две уже некоторым образом известны читателю из первой главы; прибавить нечего, разве то, что они считались еще с самых незапамятных времен ехиднейшими девками околотка.

Мать Григория была не менее их несносна, в другом только отношении. Брюзгливая, хворая, она никому не давала покоя своими жалобами, слезами и беспрестанным хныканьем; старуха вечно представляла из себя какую-то несчастную, обиженную и не переставала плакаться на судьбу свою, хотя не имела к тому никакого повода. Она постоянно проводила время лежа на печке; изменяла своему положению, залезая иногда в самую печку, когда уж невмочь подступало к пояснице. В этом да в оханье состояла вся деятельность ее жизни. «Хоть бы прибрал ее господь... ну ее... всем тягость только; провались она совсем...» – говаривали частенько тетки; но господь, видно, их не слушал: старуха жила, наполняя по-прежнему дом жалобами и канюченьем.

Силантия незачем присчитывать к семье; подобно большей части крестьян Ивана Гавриловича, он работал по оброку и являлся домой из Озерок, деревни в тридцати верстах от Кузьминского, не иначе как только в большие праздники или же в дни торжественные, как то: свадьбы, мирские сходки, крестины и тому подобное. Остается, значит, сказать несколько слов о его сыне.

Григорий принадлежал сполна к числу тех молодцов, которых в простонародье именуют «забубенными головушками». Статься может, он не удостоился бы такого прозвища, если б судьбе угодно было наделить Силантия не одним детищем, а целою дюжиною.

Сызмала еще во всем давали ему потачку. Залезал ли Гришка в соседний огород, травил ли кошек, топил ли собак (утехи, к которым с первых лет обнаруживал он большую склонность) – все сходило ему с рук, как с гуся вода: «Что с него взять? – говорил Силантий. – Малехонек еще, ничего не смыслит; побалуется, побалуется, да и перестанет...» Если случалось соседу поймать парнишку в какой-нибудь проказе и постегать его, Силантий тотчас же заводил с соседом ссору, брань, часто оканчивавшуюся дракой, не помышляя даже о том, происходило ли то в глазах озорника-сына. «Скинь-ка шапку да постучи-ка себя в голову-то, не пуста ль она, – твердили Силантию, – что ты его добру-то не наставишь?.. Пес ли в нем будет, коли таким вырастет». – «А тебе что? – отвечал обыкновенно кузнец. – Знай своих; про то мое дело ведать, будет ли в нем прок; небось не хуже твоих выйдет». Шаловливость молодого парня могла бы, конечно, пройти с летами и не возбудить в нем более дурных наклонностей, если б к зрелому возрасту не доконала его окончательно фабричная жизнь. В больших деревнях и селах средней России, наделенной, как известно, не слишком-то плодородною почвою, мужики искони занимаются ткачеством. Занятие это дает им возможность заменять иногда с лихвою недоимки хлеба и частые неурожаи.

Силантий, как оброчный крестьянин, а следовательно, наблюдавший только за собственными своими барышами, почел выгоднейшим отослать сына в соседнюю деревню на фабрику, а для обработки тощей, плохо удобренной земли своей нанял батрака.

Нет сомнения, что Григорию было гораздо привольнее щелкать челноком в теплой, просторной избе, посреди многочисленного общества таких же, как и он, лихих ребят, чем тащиться в зной и дождь за тяжелою сохою. Дело, однако, в том, что пролетные эти головушки развили в нем окончательно дурные семена, посеянные еще смолоду. Вскоре Григорий не замедлил отличиться в разных проделках, стоивших ему не раз прогулок к становому и управляющему. Одна из таких проделок достойна даже особенного замечания. Раз как-то Григорий и другой фабричный повстречались на дороге с огородником, везшим на базар арбузы. Огородник спал мертвецки на своем возу.

Молодцам приглянулся такой случай истинною находкою. Они смекнули поживу и недолго затруднялись, как спроворить дело. Григорий мигом очутился под возом с ножом в руках и принялся прорезывать отверстие в лубочном дне телеги. Проползши таким образом на карачках с версту, он благополучно довершил зачатое предприятие. По мере того как арбузы сыпались один за другим, товарищ Григория скатывал их в небольшую лощинку, огибавшую дорогу. Бедный огородник, должно быть, хлебнул лишнее, ибо спал так крепко, что доехал до базара, не заметив пропажи. Между тем молодцы успели притащить из села телегу, навьючить на нее добычу и тронуться в путь. Они не откладывали дел своих в долгий ящик и потому решили немедленно ехать на базар, не сообразив в первом пылу удачи, что такая поспешность могла как раз накликать им беду. Так и случилось. Григорий наткнулся на мужичков Кузьминского; пошли толки, намеки, пересуды; каждому казался товар подозрительным. В Кузьминском не было огородов. Тут, как на беду, пронеслись слухи, что обокрали на дороге огородника; вскоре сам он явился налицо. Тотчас и сведали дело. Молодцов схватили, скрутили по рукам и по ногам и повели к заседателю, присутствующему на базаре для наблюдения порядка; заседатель, отпотчевав, как водится, добрым порядком, отправил их к становому. Неведомо, что произошло у последнего; достоверно только то, что из рук его так же трудно выпутаться, как из рук первого. Пришлось поплатиться спиною.

Ко всем дурным наклонностям, которыми так щедро снабдила Григория фабричная жизнь, она поселила в нем еще расположение к ерофеичу – средству, без которого никак не обходится простолюдин, успевший уже нащупать в сапогах своих лишние гроши. Словом, Григорий был изрядным негодяем, когда отец вызвал его на пашню. Не понаторевшись смолоду в трудностях полевых работ, быв притом лентяем по натуре, Григорий вышел никуда не годным мужиком. «Не покой пашне, коли мужик оставил шашни», – говорит пословица; и действительно, вместо пользы принес он в дом одно размирье, ибо только и делал, что ссорился да ругался с матерью и тетками.

Акулина, переступив из дома скотницы Домны

в семью кузнеца, попала, как говорится, из огня да в полымя. Есть люди, которым как бы предназначено судьбою целую жизнь мыкать горе. Мы уже видели, что бедная женщина сильно не приходилась по нраву новой родне своей; неволя, с какою попала она замуж за Григория, имевшего в виду другую, богатую, «здоровенную» бабу, была одною из главных причин всеобщей к ней ненависти. А ведь стоит только запасть в душу человека невежественного предубеждению, стоит только раз напитаться ей злобою – и уже ничем, никакими доводами и убеждениями, никакими силами не вытеребишь их оттуда. И сострадательность и всякое другое побуждение пошло тогда к черту: все черствеет в ней и притупляется; овладевшее ею раз чувство как бы все более и более укрепляется и, укрепляясь, глушит в ней остальное. Первый день замужества Акулины, казалось, вполне выразил всю ее жизнь, все, что ожидало ее в будущем. Хотя такие побыты и доходили до соседей, но никто, однако, не обнаруживал явного к ней участия; каждый из них был проникнут убеждением, что, правда, худо бабе у мужа, а как без мужа, так и того было бы хуже. Зато вся деревня единодушно далась диву, когда пронесся слух, что Акулина, вместо того чтоб умереть родами (чего ожидали соседки, ведавшие домашнее житье-бытье ее), родила Григорию дочку, да еще, как рассказывал пономарь, такую крепенькую, что сам батюшка на крестинах немало нахвалился.

Если уж младенец так приглянулся попу и пономарю, то чем же должен был он казаться бедной матери? Акулина как бы ожила; что-то похожее даже на радость мелькнуло в глазах, знавших прежде одни только слезы, и на печальном лице ее показалась небывалая дотоле улыбка. Она не обращала уже теперь никакого внимания на оскорбления Василисы и Дарьи; ей нипочем были и побои Григория, и распри всего семейства. Все, что вложено было в ней чувства, все сосредоточивалось на милом ее младенце, далее она ничего не видела, ко всему казалась равнодушною, бесчувственною. Но это-то равнодушие и запропастило вконец голову бедной бабы. Григорий не мог сносить его. Он приходил в бешенство, видя, что слова и побои не действовали более на робкую и покорную жену; словом, жизнь Акулины стала еще хуже прежней.

Встречаются иногда люди с характером кротким и нежным в такой степени, что существование их кажется как-то неполным, неопределенным, вряд ли способным даже проявиться без подпоры или влияния другого, более мощного и твердого характера. Им не чужды самые сильные страсти, порывы самые пламенные и энергические; но все это закрыто в них под непроницаемою пеленою какой-то робости и застенчивости, которая мешает им выказываться наружу и только глушит их. Оба эти чувства у иных так сильны, что ни воспитание, ни положение в обществе, ни даже самое общество не в состоянии их исторгнуть. Жизнь такого рода людей может пройти, невзирая ни на какие обстоятельства, так же тихо и спокойно, как песок стеклянных часов. Все способен вынести и претерпеть такой человек; терпение и смирение кажутся его уделом, его назначением.

Но являются случаи, где то же самое робкое существо, по-видимому лишенное воли и силы, проявляет вдруг твердость воли, какою одарены только редкие, на диво сплоченные натуры. Так бывает, когда доведут до предела вложенные ему в душу кротость и терпение. Все силы, тратившиеся понемногу на пути жизни, оставшись в нем непочатыми, нетронутыми, как бы заодно пробуждаются тогда и восстают всею своею массою.

Акулине пришлось невмочь терпеть долее. Видя, что ни покорность, ни труды, ни смирение — ничто не действовало, она решилась идти наперекор не только мужу, но даже всей родне своей, перед которой незадолго еще так трепетала. Заметив, что злоба их усилилась от равнодушия, с каким старалась она выносить ее, Акулина употребила все свое старание, чтоб казаться еще спокойнее и равнодушнее. Мало того: она дала себе клятвенное обещание хранить молчание со всеми домашними и никогда, ни в каком случае, хотя бы такая решимость могла стоить ей жизни, не произносить перед ними ни единого слова. Она как бы вдруг онемела.

IX

Ах, не жаль-то мне роду, племени,
Не жаль-то мне родимой сторонушки:
Мне жаль-то малое дитятко;
Останется дитятко малешенько,
Малешенько дитятко, глупешенько,
Натерпится холода и голода.

Русская песня

Ах ты, гнутое деревцо, черемушка,
Куда клонишься, туда склонишься!

То же

Прошло четыре года...

Кому бы случилось видеть Акулину прежде, в первые дни ее замужества, тот, конечно, нашел бы в ней, по прошествии этих четырех лет, большую перемену. Иной вряд ли даже мог бы узнать ее. Она казалась состарившеюся целыми десятью годами. Оставалась только сухая, отцветшая кожа да страшно выглядывавшие кости. Бледное лицо, изнуренное тяжкою жизнью и безвременьем, покрылось морщинами; скулы сильно выступили под мутными, впалыми глазами, и вообще по всей физиономии проскальзывала какая-то ноющая, неотразимая грусть, виднелось что-то столь печальное и унылое, что нельзя почти было отыскать в ней и тени былого. Поступь ее стала медленна; идучи, она беспрерывно останавливалась, прикладывала тощую свою руку к груди, и вслед за тем слышался тяжелый, жестокий, долго не прерывающийся кашель. Она видимо чахла.

С некоторых пор чаще стали посылать Акулину на реку, выбирая для этого, как бы невзначай, сырую и ненастную погоду; заметно сваливались на нее самые трудные и утомительные хозяйственные работы; при всем том Василиса и Дарья не упускали случая раззадоривать Григория разными побытами, зная наперед, что злоба его неминуемо должна была вымещаться на плечах безответной Акулины. Последнее обстоятельство было тем менее затруднительно для теток, что Григорий, выпивавший прежде стакан-другой без всякого позыва, так только, ради компанства, успел в эти четыре года уже свыкнуться, сдружиться окончательно с ерофеичем – пил мертвую и частехонько бывал пьян как стелька. Утешительная сторона всего этого была по крайней мере та, что старания теток оказались не бесполезными. Акулина за-

немогла не на шутку. В первое время вряд ли даже предстояла ей надежда отделаться от смерти.

Рассказывать обстоятельно все то, что претерпела она в продолжение болезни, по-моему, лишнее: читателю и без того легко смекнуть, каково ей было лежать в душной каморе под неутомимым надзором и ухаживанием Василисы и Дарьи.

Неизвестно как, откуда и чрез какие добродетельные уста, но только состояние Акулины вскоре дошло до слуха жены управляющего. К счастию, последняя была женщина добрая, простая; она поспешила к ней на помощь.

Следствием ли лекарственных разных снадобий, которыми поили больную, или просто помогла сама натура, но Акулине стало, однако, гораздо легче. Мало-помалу она начала даже поправляться, к несказанной досаде домашних, желавших ей от всей души царствия небесного и иной, лучшей жизни. Им ведомо было более, нежели кому другому, все, что терпела горемыка на белом свете. Сострадательность их не замедлила вскоре обнаружиться в полной своей силе. Распространяться не стану, ограничусь описанием одного случая, который выразит нетерпеливость теток наделить племянницу лучшею долею, в чем, как увидит читатель, они вполне успели.

Акулина не одумалась еще после болезни и находилась в том неопределенном состоянии, когда сам врач не может решить: жизнь или смерть сулит судьба пациенту. Она едва передвигала ноги.

Осень, или, как выражаются в простонародье, листопад приближался на пегой своей кобыле к концу. Деревья обнажились. Местами по улице и дворам сверкала гололедица; воздух становился сух и холоден.

В такой-то день, после обеденного времени, к Григорию явился староста. По очереди следовало комунибудь из домашних его идти досушивать чечевицу — ибо подступила пора сеять.

В выборе затруднялись недолго; что думать: Акулина и так провалялась целые два месяца; к тому же Василиса и Дарья формально объявили, что им недосуг, что и без того работают за всех и не пойдут — приходи хоть сам управляющий. Перекорять теткам было дело мудреное, притом отнюдь не касалось старосты: ему все одно, тот ли, другой ли,— был бы ис-

полнен наказ, а там пусть себе требесят бабы сколько им взгодно; в домашние дрязги никому входить не приходится.

Акулина молча поплелась вон из избы вместе с маленькою своею Дунькою. Никогда, ни в каком случае не разлучалась с нею Акулина. Сам ребенок, казалось, искал этого: где только ни встречалась мать, там уж непременно виднелась и дочка. Стояла ли стужа, шел ли дождь, пекло ли солнце – всюду тащилась девчонка, цепляясь то с той, то с другой стороны за поняву матери. И так, взяв Дуньку за руку (она не в силах еще была поднять ее на руки, как имела обыкновение), Акулина вступила на просторный двор и уселась перед циновками, на которых сушилась чечевица.

Но не в добрый, знать, час вышла хозяйка Григория. Началось с того, что она упустила из вида курицу, забежавшую на одну из циновок, и управляющий, проходивший в то время мимо, загнул ей крепкое словцо; потом стряхнулось на нее и другое горе: она почувствовала вдруг, что не может шевельнуться, ибо все члены и особенно ноги тряслись, как в лихорадке, от прохватившей их насквозь стужи.

Акулина поспешила закутать в дырявый жупан Дуньку и усадить ее так, чтоб не застудился младенец; сама же кой-как свернула ноги под поняву да прикуталась в сорочку: другого одеяния на ней не было (она никогда не имела кожуха или тепленького овчинного тулупчика). И то даже, в чем вышла она, глядело както непригоже: всюду и на спине и на плечах виднелись прорехи, которые то и дело ощеливали кость да посиневшее от холода тело.

Уверившись еще раз в том, что Дуньку не прошибала дрожь, Акулина принялась глядеть на двор. Но печальная картина расстилалась перед нею.

Дощатый забор, ограждавший почти весь двор, местами покривился набок, местами совсем повалился и выказывал то поблекший кустарник, то потемневшие купы полыни с отощавшими стеблями и верхушками; с одной стороны тянулся непрерывный ряд сизых, однообразных амбаров и конюшен с высокими кровлями, осененными круглыми окнами, из которых торчало хлопьями серое дикое сено. Далее возносились над забором скирды убранного хлеба, покрытые бледною соломой; между ровными их рядами виднелась речка какого-то синего, мутного цвета, за нею

стлалось неоглядное, словно пустырь, поле; на нем ни сохи, ни птицы,— чернела одна только гладко взбороненная почва. Остальную часть двора занимали барский сад и палисадник с выглядывавшими из-за них бельведерами и крышками флигелей. Листья с дерев осыпались и темными грудами лежали в аллеях и близ ограды. Кое-где мелькала разве березка с сохранившеюся на ней зеленью, казавшеюся издалека как бы забрызганной золотистою рыжеватою охрою. Сучья, стволы растений, кровли и все окрестные предметы как-то резко, бойко вырезывались на бледном, почти белом небе, что придавало картине вид холодный и суровый. Воздух был неподвижен, сух и прохватывал члены нестерпимым ознобом.

Время от времени раздумье Акулины прерывалось проходящими мимо конюхом или дворовою бабою; застывшая земля издавала какой-то металлический звук под их стопами, и далеко отдавались шаги в опустевшем пространстве. Иной раз она поднимала голову и смотрела пристально в ясное, бледное небо; там, в беспредельной вышине, проносились к востоку длинные вереницы диких журавлей и жалобным, чуть внятным криком своим возмущали на миг безжизненность, всюду царствовавшую. Неведомо, какие мысли занимали тогда Акулину; сердце не лукошко, не прошибешь окошко, говорит русская пословица. Она недвижно сидела на своем месте, по временам вздрагивала, тяжело, тяжело покашливала, да поглядывала на свою дочку — и только... Впрочем, из этого следует, что бабе было холодно, что болела у нее слабая грудь, а наконец и то, что ее беспокоило состояние собственного ребенка — чувство весьма обыкновенное, понятное каждому.

Раздумье Акулины было внезапно прервано чьим-то знакомым голосом; она обернулась.

Перед нею стояла жена управляющего.

— Как! Акулина! — сказала она с заметным удивлением.— Зачем ты здесь?.. ведь я же говорила твоим, чтоб не выпускать тебя раньше трех недель... Как это можно!.. Кто послал тебя?..

— Староста...

— Староста! Ах он, бездельник!.. да чего же смотрели твои-то?.. а? Мужа разве не было дома?.

Акулина молчала.

Жена управляющего повторила вопрос.

Акулина не прерывала молчания.

— Разве ты чувствуешь себя лучше?.. Ну, что? где теперь болит?

— Тут... все тут, — произнесла хрипло Акулина, прикладывая окоченевшие пальцы к тощей, посиневшей груди своей; вслед за тем послышался длинный, прерывистый кашель.

— Ай, ай!.. нет, нет, сиди-ка дома. Как это можно! — говорила жена управляющего, глядя на Акулину пристально и с каким-то жалостным выражением в лице. — А! да какая у тебя тут хорошенькая девочка! — продолжала она, указывая на Дуньку и думая тем развеселить больную, — она, кажись, дочка тебе?.. То-то; моли-ка лучше бога, чтоб дал тебе здоровье да сохранил тебя для нее... Вишь славненькая какая, просто чудо!..

Она подошла к ребенку и погладила его по голове.

Рыдание, раздирающее, ужасное, вырвалось тогда из груди Акулины; слезы градом брызнули из погасавших очей ее, и она упала в ноги доброй барыне...

— Что ты?.. что ты?.. что с тобою? — говорила та, силясь приподнять бабу. — Успокойся, милая! о чем кручиниться?.. Бог даст, здорова будешь... перестань...

— Матушка!.. матушка... ты... ведь ты одна... одна приголубила мою сиротку... — И она снова повалилась в ноги доброй барыне . . . .

. . . .

. . . .

Жена управляющего каждодневно наведывалась в избу Григория. Истинно добрая женщина эта употребляла все свои силы, все свои слабые познания в медицине, чтоб только помочь Акулине. Она не жалела времени. Но было уже поздно: ничего не помогало. Больной час от часу становилось хуже да хуже.

Наступившая зима, морозы, растворяемые беспрерывно на холод двери, против которых лежала Акулина, сильно к тому способствовали. Наконец ей совсем стало невмочь. Григорий сходил за попом. После обычного обряда отец Петр объявил присутствующим, что божьей воли не пересилить, а больной вряд ли оставалось пережить ночь. Ее так и оставили.

В избе смеркалось. Кругом все было тихо; извне слышались иногда треск мороза да отдаленный лай собаки. Деревня засыпала... Василиса и Дарья молча сидели близ печки; Григорий лежал, развалившись, на

скамье. В углу против него покоилась Акулина; близ нее, свернувшись комочком, спала Дунька. Стоны больной, смолкнувшие на время, вдруг прервали воцарившуюся тишину. Вздули огня и подошли к ней.

— Что тебе?.. аль прихватило?.. — сказала Дарья.

Но Акулина ничего не отвечала и только вперила угасавшие очи на мужа; долго смотрела она на него и, наконец, произнесла прерывающимся голосом: «Григорий»... Василиса и Дарья перемигнулись и вышли на двор.

— Ну, что?.. — отвечал тот, подходя ближе к жене...

— Григорий!.. — продолжала Акулина тем же замирающим голосом. — Григорий... Григорий... — у нее не хватало сил сказать больше.

— Ну, слышу; что же надо?

Она положила руку на спавшего возле нее ребенка и произнесла протяжно:

— Не бей... ее... не бей... за что!?

Видно было, что она хотела что-то еще сказать, но речь ее стала уже мешаться и вышла нескладна; мало-помалу звуки ее голоса слабели, слабели и совсем стихли; смутные полуоткрытые глаза не сходили, однако, с мужа и как бы силились договорить все остальное; наконец и те начали смежаться... Григорий взглянул на нее еще раз, потом подошел к полатям, снял с шеста кожух, набросил его на плечи и вышел из избы.

Дарья и Василиса попались ему в сеничках.

— Ну что? — произнесли тетки почти в одно и то же время.

— Отходит, — отвечал Григорий, натягивая узкий рукав на мощную свою руку.

Когда они вступили в избу, Акулины уже не было на свете.

На другой день рано утром отец Петр явился к Григорию в сопровождении дьячка, чтоб совершить панихиду над грешным телом жены его. Когда панихида была окончена, тело Акулины снесли в каморку, где назначено ему было пролежать еще до похорон.

...Вьюга не утихала; резкий морозный ветер не переставал наметывать груды снега и, казалось, еще усиливался с каждым часом; но Григорию нипочем была стужа и вьялица: он никак не соглашался отложить похорон. Немало твердили ему домашние: «Вы-

жди немного; ишь какая посыпала погода, зги не видно. Эй, в сугробе засядешь!..» Григорий не слушался и норовил лишь как бы скорее спровадить покойницу. По колени в снегу, он уже припрягал тощую клячу к оглоблям розвальней, на которых лежал длинный, живьем сколоченный гроб Акулины. Василиса и Дарья глядели с крылечка на его приготовления. Из избы слышались время от времени чьи-то стоны и вопли...

– Что не уймете пострела-то? – сказал, наконец, Григорий, – ишь как воет...

– И то в каморку заперли, не унимается, – отвечала Дарья...

Когда все было готово, кляча взнуздана, а гроб привязан веревками к розвальням, Григорий замотал поводья к перекладине навеса и поплелся в избу. Вступив в нее, он снял с полки небольшой штоф, заткнутый грязною ветошью, и принялся цедить из него себе в горло; натянувшись вдоволь, он поспешил возвратиться к делу.

– Что ты, Гриша, пораскраснелся? – заметила Василиса, не покидавшая с сестрою прежнего своего места, – выпил, что ли, для куража?..

– Маленько было, – отвечал тот, – ну, отворяйте же ворота...

Он приладился на край гроба, нахлобучив на глаза шапку, гаркнул: «Эй вы, поваливай!!» – махнул вожжами и понесся по улице.

Вьюга злилась по-прежнему, дорогу заметало, целые горы снега рассыпались ему на голову. Григорий, ошеломленный вином, ни на что не обращал внимания и знал только хлестал и стегал несчастную свою клячу, которая то и дело вязла в оврагах... Вдруг, посреди завывания ветра и шума метелицы, ему послышались крики; он оглянулся: в мутных волнах между сугробами бежала сломя голову Дунька. Григорий приподнялся на облучке и погрозил ей. «Пошла, пострел, домой... пошла домой!.. замерзнешь! пошла домой!» – кричал он, принимаясь с бóльшим еще остервенением колотить свою клячу. Хмель, благо морозно было, успел уж обуять его; удары сыпались за ударами, лошадь несла его во всю мочь; изредка оборачивался Григорий назад... «Пошла домой, пострел!.. пошла домой!» – горланил он; но ребенок не переставал бежать за ним с тем же криком и во-

плем. «Пошла домой! вот я те... окаянную!» – продолжал отец. Дунька все бежала да бежала...

А вьюга между тем становилась все сильнее да сильнее; снежные вихри и ледяной ветер преследовали младенца и забивались ему под худенькую его рубашонку, и обдавали его посиневшие ножки, и повергали его в сугробы... но он все бежал, все бежал... вьюга все усиливалась да усиливалась, вой ветра становился слышнее и слышнее; то взрывал он снежные хребты и яростно крутил их в замутившемся небе, то гнал перед собою необозримую тучу снега и, казалось, силился затопить в нем поля, леса и все Кузьминское со всеми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами...

1846





АНТОН-ГОРЕМЫКА

(Повесть)

Живи, коли можется;
Помирай, коли хочется.
Народная пословица

I

ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

В самой глухой, отдаленной чаще троскинского осинника работал мужик; он держал обеими руками топор и рубил сплеча высокие кусты хвороста, глушившие в этом месте лес непроходимою засекой. Наступала пора зимняя, холодная; мужик припасал топливо. Шагах в пяти от него стояла высокая телега, припряженная к сытенькой пегой клячонке; поодаль, вправо, сквозь обнаженные сучья дерев виднелся полунагой мальчишка, карабкавшийся на вершину старой осины, увенчанную галочьими гнездами. Судя по опавшему лицу мужика, сгорбившейся спине и потухшим серым глазам, смело можно было дать ему пятьдесят или даже пятьдесят пять лет от роду; он был высок ростом, беден грудью, сухощав, с редкою бледно-желтою бородою, в которой нередко проглядывала седина, и такими же волосами. Одежда на нем соответствовала как нельзя более его наружности: все было до крайности дрябло и ветхо, от низенькой меховой шапки до коротенького овчинного полушубка, подпоясанного лыковой тесьмою. Стужа была сильная; несмотря на то, пот обильными ручьями катился по лицу мужика; работа, казалось, приходилась ему по сердцу.

Кругом в лесу царствовала тишина мертвая; на всем лежала печать глубокой, суровой осени: листья с дерев попадали и влажными грудами устилали застывавшую землю; всюду чернелись голые стволы дерев, местами выглядывали из-за них красноватые кусты вербы и жимолости. В стороне яма с стоячею водою покрывалась изумрудною плесенью: по ней уже не скользил водяной паук, не отдавалось кваканья зеленой лягушки; торчали одни лишь мшистые сучья, облепленные слизистою тиной, и гнилой, недавно сва-

лившийся ствол березы, перепутанный поблекшим лопушником и длинными косматыми травами. Вдалеке ни птичьего голоска, ни песни возвращающегося с пашни батрака, ни блеяния пасущегося на пару стада; кроме однообразного стука топора нашего мужичка, ничто не возмущало спокойствия печального леса.

...Время от времени за лесом подымался пронзительный вой ветра; он рвался с каким-то свирепым отчаянием по замирающим полям, гудел в глубоких колеях проселка, подымал целые тучи листьев и сучьев, носил и крутил их в воздухе вместе с попадавшимися навстречу галками и, взметнувшись, наконец, яростным, шипящим вихрем, ударял в тощую грудь осинника... И мужик прерывал тогда работу. Он опускал топор и обращался к мальчику, сидевшему на осине:

— Эй, Ванюшка! ишь куда забрался! того и гляди, ветром снесет, ступай наземь!..

— Не замай, дядя Антон,— откликался парнишка,— небось не снесет!

Дядя Антон, успокоенный каждый раз таким увещанием, брал топор, нахлобучивал поглубже на глаза шапку и снова принимался за работу. Так повторялось неоднократно, пока, наконец, воз не наполнился доверху хворостом. Внимание мужика исключительно обратилось тогда к племяннику; его упорное неповиновение как бы впервые пришло ему в голову, и он не на шутку рассердился.

— Ах ты, баловень! — закричал он, стукая обухом топора в осину,— долго ли говорить тебе? слезай! вот я те, озорника, поартачишься у меня, погоди!..

— А вот же не слезу, коли так,— отвечал мальчуган, взбираясь все выше и выше.

— Не слезешь?.. ладно же, оставайся один в лесу, пусть те едят волки... проклятого!..

Угроза, казалось, подействовала на ребенка; он обхватил ручонками коренастый ствол дерева, приготовляясь спуститься наземь при первой попытке дяди исполнить обещание.

— А бить станешь? — вымолвил он, наклонив из-за ветки кудрявую свою головку и глядя пристально на дядю.

— Ну, ну, слезай, знай слезай...

— Взаправду не станешь?..

— Говорят, не стану, ступай скорей!

Ванюшка спустился сажени на две и опять повис на сучке.

— И на лошадь, дядя Антон, посадишь?

— Ладно, ладно... ступай только.

— Не обманешь?

— Экой пострел, прости господи! говорю, посажу — чего еще?

Последнее обстоятельство окончательно успокоило парнишку; с быстротою и ловкостью белки проскользнул он между верхними сучьями и в одно мгновение ока очутился на земле подле дяди.

Вскоре воз, навьюченный красноватым и сизым хворостом, медленно выезжал из лесу, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, как бы изловчаясь сбросить с себя при первом косогоре лишнюю тяжесть. Ванюшка сидел верхом на пегашке; он был вполне счастлив. Русые его кудряшки, развеваясь по ветру, открывали поминутно круглое, свежее личико, сияющее восторгом. Антон шел подле, запустив одну руку за пазуху, другой упираясь в оглоблю. Проколесивши добрый час по глинистым кочковатым полям, стлавшимся за лесом, путники наши выехали, наконец, на проселок и немного погодя услышали отдаленный шум мельницы. Воз приближался к троскинской лощине. Незаметная издалека и терявшаяся в волнистых линиях местности, лощина эта принимала вблизи довольно широкие размеры: на дне ее, поросшем конятником и ветельником, заваленном плитняком и громадными угловатыми каменьями, шумела и пенилась река; вместо моста через нее перекидывалась узкая плотина, упиравшаяся одним концом в старую водяную мельницу. С той стороны, откуда приближалась телега, мельница освобождалась совершенно от ветл, ограждавших ее с других трех частей, так что амбары, клети, двор, толчея, навесы виднелись как на ладони. Шлюзы были опущены; все три постава работали без устали; главное здание, обдаваемое с одного бока белою шипящею пеной, тряслось словно в лихорадке; мука, покрывавшая его кровлю, сыпалась в воду и крутилась в воздухе. Гул был страшный. Прежде чем спуститься с уступистой кручи на берег, Антон остановил лошадь и указал племяннику на мельницу.

— Поглядь-кась, Ваня, не видать ли где мельника?

— Аксентия Семеныча? — спросил ребенок.

– Экой дурень! нешто у нас окроме него другой какой есть...

– Нет, дядя Антон, нету... а кто-то стоит... вон в белой-то рубахе... вон, вон руками-то размахивает!..

– Ладно, не будь только он; того и смотри, с ярманки вернется, встренется да денег станет просить, беда! ох-хо, хо! Ну, Ванюха, трогай, да смотри, не больно круто спущай!..

Миновав благополучно шаткую плотину, пегашка взнесла воз на противоположный берег, поднялась на косогор и приостановилась; она вздохнула свободнее и замотала хвостом, что делала обыкновенно, когда была довольна. Дорога опять пошла ровная и гладкая. Когда соломенная кровля мельницы с осенявшими ее скворешницею и ветлами скрылась за горою, перед глазами наших мужичков снова открылась необозримая гладь полей, местами окутанная длинными полосами тумана, местами сливающаяся с осенним облачным небом, и снова ни былинки, ни живого голоса, одна мертвая дорога потянулась перед ними. Наконец вправо начал показываться господский дом, ближе, – и вот он весь выглянул словно из земли. Все в нем обозначало не только отсутствие хозяина, но даже давнее запустение: ставни заколочены наглухо; некоторые из них, сорванные ветром, качались на одной петле или валялись подле треснувшего и обвалившегося основания; краска на кровле, смытая кое-где дождем, обнаруживала гниль и червоточину; стекла в покосившейся вышке почти все были выбиты; обветшалая наружность этого здания, или, лучше сказать, этой развалины, облеплялась повсюду неровными рядами ласточьих гнезд; они виднелись в темных углах, вдоль желоба, под карнизами. Казалось, одни ласточки не покидали старого барского дома и оживляли его своим временным присутствием, когда темные купы акаций и лип, окружавшие дом, покрывались густою зеленью; в палисаднике перед балконом алели мак, пион, и сквозь глушившую их траву высовывала длинную верхушку свою стройная мальва, бог весть каким-то странным случаем сохранившаяся посреди всеобщего запустения; но теперь даже и ласточек не было; дом глядел печально и уныло из-за черных безлиственных дерев, поблекших кустарников и травы, прибитой последними ливнями к сырой земле дорожек.

Проходя мимо, Антон не замедлил, однако, снять

шапку; так прошел он вдоль старого сада, флигелей, пчельника, пока, наконец, не поравнялся с помещичьими ригою и овином. Тут он не только надел шапку, но даже остановился: за плотным забором возносилось такое несметное множество скирд убранного хлеба, что невольно разбегались глаза и вчуже забирала зависть. Уже несколько лет сряду стояли они таким образом неприкосновенными, непочатыми, приглашая каждого любоваться ими вдоволь. Поговаривали в околотке, будто огромным этим запасам хлеба суждено было выжидать здесь благоприятной и счастливой минуты всеобщего неурожая в губернии, на что, как утверждали, были у владельца их свои особые соображения, не совсем чуждые корысти; но слухам, известно, верить нельзя: чего не выдумают! Дело в том, что чем далее глядел наш мужик на скирды, тем более потуплял голову, и, наконец, господь знает отчего, совсем загрустил. Раздумье одолело его так сильно, что он стал даже пропускать без внимания груды хвороста, валившиеся у него с воза, тогда как прежде тщательно собирал сторонние веточки, попадавшиеся на окраине дороги.

Между тем деревня все еще не показывалась. Темные тучи, сгустившиеся над нею, окутывали ее сизой непроницаемой тенью; струйки белого дыма, косвенно поднимавшиеся в сизом горизонте, давали, однако, знать о близости избушек. Прежде всего попалась на пути маленькая кузница с дюжим кузнецом Вавилою на пороге, который, приветливо кивнув Антону головою, вымолвил: «Отколе?» – и на ответ: «А из осинника»,– зевнул, перекрестив рот; там глянули высокие «магазеи», за ними крестьянские густые огороды, а там потянулось и самое село Троскино, расположенное по скату лощины.

Толпа чумазых ребятишек, игравших в бабки, стояла на улице подле колодца. Они, казалось, нимало не замечали стужи и еще менее заботились о том, что барахтались, словно утки, в грязи по колени; между ними находилось несколько девчонок с грудными младенцами на руках. Семи- или восьмилетние нянюшки дули в кулаки, перескакивали с одной ножки на другую, когда уже чересчур забирал их холод, но все-таки не покидали веселого сборища; некоторые из них, свернувшись комочком под отцовским кожухом, молча и неподвижно глядели на игравших.

Проезжая мимо, Ванюшка, начинавший было корчиться от стужи на своей кляче, вдруг вытянулся, приосанился и крикнул, во сколько хватило силенки: «Эй! пошли прочь!.. раздавлю!.. ишь лошадь едет...» Толпа дала дорогу, окидывая седока завистливыми взглядами. Одна девчонка, рыженькая, курносая, взъерошенная и вдобавок еще хромая, пустилась догонять воз, прыгая и вертясь на одной ножке.

— Дядя Антон, дядя Антон, посади на воз! — кричала она.— Посади, голубчик, на воз... золотой, посади, право-ну, посади!..

— Пошла прочь,— вымолвил Антон, грозя хворостиной,— чего привязалась! Вот я те!..

Девчонка остановилась, дала ему проехать несколько шагов и потом снова поскакала; только теперь, как бы назло, она коверкалась и ломалась несравненно более, кричала звончее, приступала настойчивее, пока наконец, выбившись из сил, поневоле должна была отказаться от своего преследования, но и тут не упустила случая высунуть Антону язык и поднять рубашонку.

Изба Антона стояла у самой околицы и завершала собой правую линию села, выдавшуюся в этом месте несколько вперед. Она бросалась в глаза своею ветхостью: один бок ее, примыкавший к околице, почти сгнил дотла, отчего остальная часть здания покачнулась и села на ту сторону. Кровля от тяжести давившей ее когда-то соломы приняла совершенно другое направление; она сползла наперед и грозила ежеминутным падением. Трубы не было; ее заменял глиняный горшок с выбитым дном для дыму. Деревянный петушок, красовавшийся, вероятно, в лучшие времена на макушке крыши, принял также свое направление во время всеобщего обвала и уныло свесился влево. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругом глиною, глядело невыразимо кисло. Изба со всех сторон подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее согбенному старику-нищему, наступившему на костыли свои; словом, все в ней, как говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердце, глядя на это жилище; даже Степан Бичуга, сосед, вообще равнодушный ко всему житейскому, за исключением одной разве косушки, и тот не проходил мимо без того, чтобы не оглянуть Антонову избенку

со всех сторон и не покачать заботливо лысою головою.

Несмотря на то, хозяева лачужки заметно ускоряли шаг, и лица их, по мере приближения к ней, просветлялись приветливой улыбкой. Ванюшка никак даже не мог удержаться, чтобы не крикнуть в порыве восторга несколько раз сряду: «Дядя Антон, домой приехали! Ишь, дядя Антон, ишь, дом-то, вон он!.. вон он какой!..» При въезде на двор навстречу им выбежала девочка лет шести; она хлопала в ладоши, хохотала, бегала вокруг телеги и, не зная, как бы лучше выразить свою радость, ухватилась ручонками за полы Антонова полушубка и повисла на нем; мужик взял ее на руки, указал ей пальцем на воз, лукаво вытащил из средины его красный прутик вербы, подал его ребенку и, погладив его еще раз по голове, снова пустил на свободу. Девочка была в неописанном восторге от роскошного подарка.

— Ну, Ваня, будет! Слезай-ка с лошади да ступай скорее с сестренкой в избу, на печку,— сказал дядя.— Небось оба поесть хотите?

— Дядя Антон, голубчик, золотой ты мой! дай распрячь лошадку, я опосля поем,— кричал мальчишка.

— И то замерз совсем, куды те справиться!

— Ничаво, дядя, голубчик, ничаво, право-слово, ничаво... Ты, Аксюшка, ступай в избу, ишь озябла ты... а я приду.

Не все же понукать да драться: дядя покорился; вскоре все трое взошли на крылечко, а оттуда и в избу.

II

ГОЛЫШ

Хозяйка Антона была не одна: против красного угла избы, почерневшего так, что едва можно было различить в нем икону, сидела гостья, старуха лет пятидесяти. Свет из единственного светлого оконца падал прямо на нее. Сморщенное, желтоватое лицо старухи, осененное космами седых волос, кой-как скомканных под клетчатый платок, ее карие глаза, смотревшие из впадин своих зорко и проницательно, острый тоненький нос, выдавшийся подбородок, лох-

мотья и клюка – все это напоминало как нельзя лучше сказочную бабу-ягу или по крайней мере деревенскую колдунью-знахарку. Но в сущности ничего этого не было: старуха принадлежала просто-напросто к тем жалким побирушкам, без семьи, роду и племени, которые таскаются из села в село, из деревни в деревню и кормятся мирским подаянием, или, как выражаются в простонародье, «грызут окна».

– Здорово, Архаровна, – произнес Антон, видимо недовольный присутствием гостьи.

– Здравствуй, кормилец ты мой, – отвечала, вздыхая, старуха, и тотчас же наклонила голову и явила во всей своей наружности признаки величайшей немощи и скорби.

– Что те давно не видать в нашей стороне? – заметил мужик с явной иронией. – Мы уж думали, ты и вовсе не пожалуешь...

– Асинька?..

– Аль оглохла, старая?

– Не слышу, кормилец...

– Что те давно не видать? – крикнул Антон.

– Пришла по хлебушко, родимый ты мой, – простонала она жалобно, – не дадут ли на старость люди добрые...

– Да, что говорить, – продолжал мужик, пристально на нее глядя, – что говорить, хлебца-то небось и всякому хочется... иной вот и не так чтобы больно нуждается, а глядишь, туда же канючит, словно и взаправду с голоду...

– С голоду, касатик, о-ох! с голоду, – отвечала она, принимая последнее слово как исключительно до нее относящееся. – На старости лет куды те горько, и помереть так негде...

– И-их, бабка, кажись, уж ты много больно берешь бедности на свою душу, – вымолвил с досадою хозяин, – ишь вон сказывают, будто ты даром что ходишь в оборвышах да христарадничаешь, а богаче любого из нашего брата... нагдысь орешкинские ребята говорили, у тебя, вишь, и залежные денежки водятся... правда, что ли?..

Он недоверчиво посмотрел ей в лицо.

– Ась?.. не слышу, родимый, – произнесла недвижно старуха.

– Да полно, так ли? погоди, дай-ка разуться, авось тогда услышишь.

Сказав это, Антон подошел к печке и стал раздеваться. Слова его, казалось, однако, произвели на глухую старушонку не совсем обыкновенное действие; лицо ее как бы внезапно оживилось, глаза, которые держала она постоянно опущенными, быстро поднялись и окинули избу. Хозяин подошел к ней и сел на лавочку; лицо Архаровны выражало по-прежнему скорбь и уныние.

– Что ты баял, кормилец?

Антон повторил побирушке слухи, носившиеся о ней на деревне.

– И-и-и! – проговорила она, качая седою головою,– невесть чего не скажут злые люди, на злую речь слово купится...

– А что им, прибыль, что ли, какая?.. ишь ты сколько лет слоняешься по белу свету да окна грызешь: куды девать деньги? – вестимо, хоронишь про черный день...

– В чужой руке ломоть велик, касатик, ину пору и хлебущка нетути, не токма что денег, по миру пойдешь, тестом возьмешь... ох-хо-хо!..

– Ладно, толкуй,– отвечал смягчаясь Антон,– ну, да что тут, я только так к слову молвил; если и водятся деньжонки, так известно, кому до того дело... Варвара! чего нахохлилась? собери обед, смерть есть хоцца, да, чай, и ребята проголодались.

Это обращалось к хозяйке дома, невзрачной бабенке, молчаливо сидевшей в углу на скамейке поодаль от старухи. Она не принимала до сих пор никакого участия в разговоре и только изредка поглядывала на мужа. Услыша слова его, она повернула к нему изнуренное, бледное лицо свое, вздохнула и сказала:

– Чего я тебе дам, Антонушка... ох, ничего-то у нас нету...

– Кажись, намедни лучку осталось?

– Нет, не осталось – нагдысь ребята весь поели...

И она снова вздохнула.

– Ну, давай хлеба, кваску... да полно тебе деньденьской хохлиться-то... инда тоска берет, на тебя глядя...

Варвара поднялась, сняла с полки чашку, нацедила в кувшинчик кваску, потом вынула из столового ящика остаток ржаного каравая, искалеченную солоницу, нож и молча уставила все это перед мужем. После чего она тотчас же уселась на прежнее свое место, скре-

стила руки и стала смотреть на него с каким-то притупленным вниманием.

— Эй, ребятишки! — крикнул Антон, — вы и взаправду завалились на печку, — ступайте сюда... а у меня тюря-то славная какая... э! постойте-ка, вот я ее всю съем... слезайте скорее с печки... Ну, а ты, бабка, что ж, — продолжал он голосом, в котором не заметно уже было и тени досады, — аль с хозяйкой надломила хлебушка? — чего отнекиваешься, режь да ешь, коли подкладывают, бери ложку — садись, — человек из еды живет, что съешь, то и поживешь.

— Спасибо, отец родной, и то хозяюшка твоя накормила, дай ей господь бог много лет здравствовать...

В это время Аксюшка подбежала к дяде, вползла к нему на колени и обняла смуглую его шею тоненькими своими ручонками.

— Эка девчонка-то у меня баловливая какая, бабушка, — вымолвил мужик, целуя ребенка. — Эка озорливая девчонка-то, — продолжал он, гладя ее по головке. — Сядь-ка ты сюда, плут-девка, сядь-ка поближе к своему дядьке-то да поешь... ну, а Ванюшка где?..

— А он, дядя Антон, на улицу ушел к ребятам.

— Ишь, пострел какой, прости господи, только и норовит, как бы ему из дому прочь; погоди, Аксюшка, дай ему вернуться, вот мы ему с тобой шею-то накостыляем... Слышь, бабка, озорник-ат мой от дому все отбивается.

— А господь с ним, не замай его, — молвила Архаровна, — пущай его балует, пока невеличек...

— Какой невеличек!.. поглядела бы ты на него: парнишка куда на смысле, такой-то шустрый, резвый, все разумеет, даром от земли не видать; да я ведь посмеялся, я не потачлив, что греха таить, а бить не бью... оба они дороги мне больно, бабка, даром не родные, во как, — продолжал он, лаская Аксюшку, — во! не будь их, так, кажись, и мне и хозяйке моей скорее бы жизнь опостыла; с ними все как бы маленечко повеселее, право-ну!

— Вестимо, они теперь махочки, смыслу нет, а как подрастут, так тебе же спасибо скажут, родимый, за добро твое...

— Э! бабка, было бы им ладно, а там что останется от моей бедности, то и им достанется...

— Что ж, родимый, – спросила вдруг старуха, – брат небось весточку посылает?..

— Нет, с той самой поры, как в солдаты взяли, ни слуху ни духу; и жена и муж – словно оба сгинули; мы летось еще посылали к ним грамотку да денег полтинничек; последний отдали; ну, думали, авось что и проведаем, никакого ответу: живы ли, здоровы ли – господь их ведает. Прошлый год солдаты у нас стояли, уж мы немало понаведывались; не знаем, говорят, такого, — что станешь делать... Ну, а ты, старуха, кажись, сказывала нам, также не ведаешь ничего про сына-то своего с того времени, как в некруты пошел...

— Нет, родимый, ничего не ведаю, — произнесла жалобно старуха и отвернулась...

Антон и жена его принялись утешать побирушку.

— Да, — начал мужик, — на старости лет, вестимо, одной-то горько: неравно помрешь, и похоронить-то некому.

— Ох, некому, кормилец, родимый ты мой, некому...

— А вот нам, коли молвить правду, не больно тошно, что брата нету: кабы да при теперешнем житье, так с ним не наплакаться стать; что греха таить, пути в нем не было, мужик был плошный, не работящий, хмельным делом почал было напоследях-то заниматься; вестимо, какого уж тут ждать добра, что уж это за человек, коли да у родного брата захребетником жил, – вот разве бабу его – так жаль: славная была баба, смирная, работящая... ну, да, видно, во всем бог... на то его есть воля... ох-хо-хо...

Антон прислонил ложку к закраине чашки, уперся спиною в стену и перестал есть; долго сидел он таким образом, пригорюнясь и не произнося ни слова. Только изредка ласкал он Аксюшку, которая, положив русую головку свою на грудь дяди, забавлялась медным крестиком, висевшим у него за пазухой. Мало-помалу добродушное, кроткое лицо мужика нахмурилось; вытянувшиеся черты его уже ясно показывали, что временная веселость и спокойствие исчезли в душе бедняка; в них четко проглядывало какое-то заботливое, тревожное чувство, которого, по-видимому, старался он не обнаруживать перед женою, потому что то и дело поглядывал на нее искоса. Наконец Антон облокотился на стол, взглянул еще раз на жену и сказал ста-

рухе голосом, который ясно показывал, что он приготовлялся вымолвить ей совсем другое.

— Вот, бабушка,— так начал мужик,— было времечко, живал ведь и я не хуже других: в амбаре-то, бывало, всего настороженно вволюшку; хлеб-то, бабушка, родился сам-шост да сам-сём, три коровы стояли в клети, две лошади,— продавал, почитай что кажинную зиму, мало что на шестьдесят рублев одной ржицы да гороху рублев на десять, а теперь до того дошел, что радешенек, радешенек, коли сухого хлебушка поснедаешь... тем только и пробавляешься, когда вот покойник какой на селе, так позовут псалтырь почитать над ним... всё гривенку, другую дадут люди...

Он оглянулся на Варвару; та сидела, закрыв лицо руками и несколько отвернувшись от него; заметив, что слезы струились между ее пальцами, Антон замялся.

— Да,— подхватил он громче прежнего,— да, бабушка, так во како дело-то — во оно дело-то какое... а ты все на свою долю плачешься, того, мол, нет, да того не хватает... а вот мы и тут с хозяйкой не унываем (он посмотрел на Варвару), не гневим господа бога... грешно! знать, уж на то такая его воля; супротив ее не станешь...

— О-о-ох, вестимо, кормилец ты мой, бог дал, бог и взял...

— Да, не знаешь, где найдешь, где потеряешь,— сказал мужик, стараясь принять веселый вид,— день дню розь; пивал пьяно да ел сладко, а теперь возьмешь вот так-то хлебушка, подольешь кваску — ничаво, думаешь, посоля схлебается! по ком беда не ходила!.. Эх! Варвара, полно тебе, право; ну что ты себя понапрасну убиваешь; говорю, полно, горю не пособишь, право-ну, не пособишь...

— Вестимо, касатка,— отозвалась старуха,— веку только убавишь себе... ох, что ваша бедность! у вас хошь вот поплакать-то есть где... а вот у меня, горькой сироты, так и поплакать-то негде...

— Ну, в том не больно велика утеха; что вой, что не вой, все одно — живи, коли можется, помирай, коли хочется... Э! старушка, горько жить на белом свете нашему брату!..

— О-о-ох, горько, родимый, так-то горько, что и сказать мудрено...

Варвара быстро приподнялась и вышла из избы.

— Вот,— сказал Антон, посмотрев на дверь,— она-то, бабушка, крушит меня добре слезами-те своими; вишь баба плошная, квелая... долго ли до греха!.. теперь, без нее, скажу тебе по душе... по душе скажу... куды!.. пропали мы с нею и с ребятенками, совсем пропали!.. вот ведь и хлебушко, что ешь, и тот — сказать горько — у Стегнея соседа вымолил! спасибо еще, что помог... ох... а такое ли было житье-то мое...

— Сказывают,— заметила Архаровна, по-видимому, не принимавшая до сих пор никакого почти участия в том, что говорил Антон,— сказывают, Стегней-то богат добре!..

— Богат-то он богат... да ведь иной и богатый хуже нашего брата голыша...

— Мне, кормилец, Савельевна говорила, что у него три лошади... да и медку, вишь, сказывают, продавал по осень... и денег-то, чай, много...

— Ну, господь с ним,— отвечал откровенно Антон,— я тебе про свое горе говорю... эх, доля моя, доля!.. вот, почитай, пятый год так бьюсь, и что ни день, то плоше да плоше...

— Все небось управляющий, касатик, не жалует?

— Не жалует?.. ох! это бы еще ништо; кого он жалует? а живут же люди... нет, он злодей мне напался, весь мой век заедает! с бела света долой гонит! — а что наше дело, вестимо, какое, терпишь да терпишь; мы ведь на то и родились, бабушка!.. да!.. Вот хоть теперь — пришло время подушные платить, где я их возьму? отколе? Он же разорил меня да пустил по миру, а стращает теперь: в солдаты, говорит, да на поселенье сошлю, не погляжу, говорит, что у те жена есть, вон он что толкует... Ох, бабка, бабка, кабы был один я, ну бы еще ништо, одна голова не бедна, а то с ними-то что станется?.. Да... прогневил, знать, я чем господа бога!..

Вошла Варвара,— муж замолчал. Почти в то же время в воротах послышался стук. Антон подошел к светлому оконцу, выходившему на двор, и крикнул:

— Кто там?

Отклика не было.

— Кто там? — повторил мужик, подняв окно.

— Это я, дядя Антон,— отозвался тоненький серебристый голосок в сенях, и в избу вбежала девочка лет двенадцати.

На бледном, чрезвычайно продолговатом личике этого ребенка и вообще во всей его наружности было что-то такое, что невольно обращало на себя внимание; этот тоненький нос с легким, едва приметным погибом на середине, узенькие губы, приятно загнутые по углам, чистый, правильный очерк головы, нежные черты прозрачного личика и тоненькие тщедушные члены отличали его сразу от известного уже типа коренастых, грубо обточенных детей крестьянских. Особенно поражали в ней эти черные выразительные глаза, которым необыкновенная бледность и худоба щек придавали еще более блеску и величины. Черные волосы смоляного отлива, небрежно обстриженные когда-то в кружок, рассыпались неровными прядями вокруг ее нежной, утиной шейки. Одежда ее отличалась также от крестьянской. Она состояла из неуклюжего платья синей домотканой полосушки, прорванного на локтях, с заплатками из белой холстины,— платья, которое снизу едва прикрывало босые ноги девочки до колен; вверху от шеи до перехвата оно ниспадало угловатыми, широкими складками, обтягивало и обтирало ей грудь и плечи. Девочка остановилась посередь избы, раскрыв губы и прижимая грудь ручонками: она едва переводила дух от усталости. Между тем хозяин и хозяйка подошли к ней.

— Что ты, Фатимушка? — спросил первый с заметным смущением,— а? не хочешь ли тюрьки, на поди...

— Нет, дядя Антон, нет, Никита Федорыч прислал,— отвечал скороговоркою ребенок, приправляя каждое слово быстрыми, живыми движениями рук,— приказал кликнуть тебя — ступай скорей — сам наказывал...

И она откинула назад голову, чтобы поправить волосы, которые заслонили ей лицо.

Варвара присела на скамейку и зарыдала на всю избу. У Антона захолонуло в сердце.

— Ну! — вскричал он, отчаянно ударяя себя кулаками об полы,— пришла беда, отворяй ворота! верно, опять за подушными! Полно тебе, Варвара, душу мне только мутишь слезами-те... Эко дело... эко дело... как тут быть!..

Смущение бедного мужика было так велико, что он несколько времени ходил как угорелый по избе, заглядывал без всякой нужды во все углы, поправлял то

крышку кадки, то солоницу, то кочергу и, наконец, вышел из дому, позабыв даже накинуть на плечи полушубок. Вой Варвары сопровождал его до самой улицы. Вступив на барский двор, где находился старый флигель, помещавший контору и квартиру управляющего, Антон увидел Никиту Федорыча, который уже ожидал его на пороге. Приближаясь к крыльцу, мужик почувствовал, что колени его тряслись и дыхание спиралось у него в горле: озноб прошибал его до костей. Опустив голову, подошел он медленным, робким шагом к управляющему. Это был человек средних лет, то есть от сорока до пятидесяти, средней полноты и среднего роста; шарообразная голова его, покрытая белокурыми волосами с проседью, обстриженными ниже, чем под гребенку, прикреплялась почти непосредственно к плечам, что делало Никиту Федорыча издалека весьма похожим на бульдога. К этому сходству немало также способствовали густые черные брови, серые глаза навыкате, широкие калмыцкие скулы, пышный трехъярусный подбородок и коротенькие ноги наподобие обруча, или, как говорится, «кибитки». Несмотря на все эти мелочные недостатки, которые между прочим не представляли в общем ничего особенно отвратительного, фигура управляющего нимало не теряла важности и той спокойной гордости, сияющей всегда в чертах человека, сознающего в себе чувство собственного достоинства. Фигура его имела, напротив того, какую-то приятную соразмерность, стройность даже, и была чрезвычайно характерна. Но если всмотреться хорошенько, нельзя было не прочесть в этих серых бойких глазах, в этой толстой круглой голове, важно закинутой назад, в этих толстых раздувшихся губах что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца-камердинера, или дворецкого, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцев богатой избалованной дворни или аристократической передней. В настоящую минуту на нем был серый нанковый однобортный архалук, подбитый мерлушками и застегнутый доверху, пестрая шерстяная ермолка и синие, непомерно широкие шаровары. Из верхней петли архалука висела толстая золотая цепочка с ключиком для часов. Он стоял в дверях, растопырив ноги, запустив одну руку в карман шаровар, другою поддерживал длинный чубук, из которого, казалось, высасывал

вместе с дымом все более и более чувство собственного достоинства.

— Что ж ты, шутить, что ли, думаешь? — сказал он Антону.— Все внесли подушные, ты один ухом не ведешь, каналья! а? говорил я тебе, а? сказывай, говорил или не говорил — худо будет?..

И управляющий закинул еще выше голову.

— Сказывали, Никита Федорыч...

— Ну!

— Докладывал вашей милости,— отвечал мужик, потупляя голову,— как будет угодно... у меня подушных нет... взять неоткуда... извольте делать со мною, что угодно: на то есть власть ваша... напишите барину, пущай наказать прикажет, а мне взять, как перед богом, неоткудова...

— Ах ты плут, бестия этакая... из-за тебя стану я беспокоить барина... вас только секи, да подушных не бери... ну, да что тут толковать... не миру платить за тебя... знаю я вас, мошенников... Лошадь жива?..

Антон обомлел; дрожь пробежала по всем его членам; он быстро взглянул на Никиту Федорыча и произнес дрожащим голосом:

— Никита Федорыч! никак уж ты и совсем погубить меня хочешь?..

— Что?

— Никита Федорыч! батюшка! — продолжал мужик,— пожалей хоть ребятенок-то махоньких... и то почитай пустил ты нас по миру...

— А вот потолкуй-ка еще у меня, потолкуй,— перебил управляющий, делая движение вперед,— я тебя погублю! завтра же веди лошадь в город на ярманку, теперь пора зимняя, лошади не надо,— произнес он лукаво,— да смотри, не будет у меня через два дня подушных в конторе, так я не погляжу, что ты женат,— лоб забрею; я и так миловал тебя, мерзавца!..

— Никита Федорыч, а Никита Федорыч,— сказал Антон, едва удерживаясь от слез,— батюшка!..

И он повалился в ноги.

— Э! меня этим не разжалобишь, пошел! чтоб было, как приказываю, вот и все! Ступай! — прибавил он, топнув ногой.

— Что ж у меня-то останется,— говорил отчаянно мужик,— как последнюю-то лошаденку продам?.. и так по миру, почитай...

— Ну, ну, ну... разговаривай, разговаривай... кабы не ярманка, так я бы не так еще с тобой разделался...

В это время дверь из квартиры управляющего растворилась, из нее выглянуло вполовину желтое женское лицо, перевязанное белою косынкой.

— Никита Федорыч, а Никита Федорыч! — крикнула женщина пискливо, — ступай чай пить; что тебя не дождешься, ступай скорее...

Управляющий повернулся в ту сторону и, не дожидаясь дальнейших возражений мужика, поспешил к самовару.

Домогаться милости Никиты Федорыча было делом совершенно лишним; по крайней мере в этом нимало не сомневались троскинские крестьяне; Антон знал это еще лучше других. Медленно покинул он двор и вышел на улицу. Сумерки, или «сутисочки», как называют их в деревне, начинали уже ложиться на землю; бледные дымчатые полосы тумана там и сям окутывали поля и распускались по окрестности; в воздухе заметно похолодело. Антон, сам не зная почему, не пошел по улице, а, обогнув ближние за флигелем избы и крестьянские огороды, поплелся задами. . .

. . . .

Приближаясь к крайним амбарам села, то есть тем, которые стояли уже подле околицы, Антон увидел, совершенно неожиданно, в нескольких шагах от себя клетчатый платок, висевший на кусте репейника. Это обстоятельство и, вдобавок, измятые и сломанные стволы растений, показывавшие, что на том самом месте кто-то своротил с дороги в рощу, чрезвычайно удивило его. Он невольно забыл на минуту свое горе; поосмотревшись кругом, пошел он к кустам, снял платок и начал пристально рассматривать. Не доискавшись, разумеется, ничего, Антон бережно свернул его, сунул за пазуху и пошел далее. Но не успел он сделать двух шагов, как увидел бегущих навстречу соседей, Степана Бичугу и старшего сына его Пантелея. Оба казались сильно встревоженными; они бежали сломя голову по дороге, без шапки, без полушубка и сильно размахивая в воздухе руками. Поравнявшись с Антоном, они остановились.

— Сват! — сказал ему торопливо Степан, — не встрел ли кого на дороге?.. а?..

— Нет... сват... никого... — отвечал Антон.

— Эко дело... и никого не видал?

— Никого...

— Эко дело! что за черт! — вскричал Степан, — бабы, вишь, лен мяли... слышат, как словно кто шевелится в клети... они глядь... ан человек сидит... да как пырснет вон... э! ты дьявол! что за притча... они кричать... хвать... ан трех кур как не бывало!.. они к нам... мы с Петрухой бегом... нагонять! бегали, бегали, никого... что за леший... Ты, сват, никого не встрел?..

— Никого, — отвечал удивленный Антон, — хоть бы живого человека встрел... а вот кусты... больно вымяты...

Мужички покинули соседа и снова пустились в погоню по дороге...

Такое обстоятельство не могло не привлечь внимания Антона; в Троскине, и особенно с некоторых пор, только и слуху было, что о разных проказах: то уводили лошадей, то подползали в клети и каморы, выбирали деньжонки, холсты и всякое домашнее снадобье. Поговаривали даже, будто в соседнем селе Орешкове мужик Дормидон, идучи по лесу, наткнулся на двух бродяг, которые наказывали ему передать их старосте, чтоб берег лошадей, не то уведут, и что, несмотря на все принятые предосторожности, лошадей все-таки увели в первую ночную сторожку. Все это разом прихлынуло в голову Антона; он невольно забыл на мгновение свое горе. Сумерки уже совсем омрачили небо, когда он вступил к себе в избу. Тут все уже давным-давно успокоилось. Варвара, свесив голову на стол и обняв обеими руками остаток каравая, спала крепко-накрепко; свет от догоравшей лучины отражался лишь в углу на иконе; остальная часть избы исчезла в темноте; где-где блистала кочерга или другая домашняя утварь; с печки слышалось едва внятное легкое храпенье обоих ребятишек. Антон поправил лучину, оглянул кругом стены и сел подле жены на лавочку. Движение это мгновенно пробудило Варвару.

— Ну что, Антонушка? — сказала она, отводя от лица волосы и придвигаясь проворно к мужу, — зачем звал тебя злодей-то наш?.. да что ж ты не баешь? — прибавила она, нетерпеливо дергая его за полу.

— Что тут баять, — отрывисто отвечал муж; он тяжело вздохнул и, как бы собравшись с духом, промолвил: — Велел пегашку вести... на ярманку!.. не надоть

ее, говорит... теперь дело зимнее: проживешь без лошади... Ну, вот, сказал тебе сдуру, а ты... эх, Варюха, Варюха! полно тебе рюмиться-то, ведь говорю, слезами-те пуще мутишь мне душу! Эка ты, право, неразумная баба какая... нешто горю этим пособишь?.. знать, погрешил я, право, чем перед господом богом!..

— Касатик ты мой! — говорила, рыдая, баба, — нешто я о своем горе убиваюсь... ох, рожоной ты мой... мне на тебя смотреть-то горько... ишь заел он тебя... злодей, совсем... как погляжу я на тебя... индо сердечушко изнывает... и не тот ты стал... ох...

И тут она, опустившись на лавку, затянула нараспев:

— Ох, горькая наша долюшка... и пошла-то я за тебя горькой сиротинушкой, на беду-то, на кручину лютую...

— Послушай, Варюха, а Варюха... слушай, что я тебе скажу, — твердил мужик, силясь приподнять ее, — не убивайся так-то, наше дело еще не пропащее, вот ономнясь встретился мне Федотов из Выселок, сказывал... сулил, что коли, мол, хошь, Антон, я тебя возьму в работники... пять десятков в год, вишь, дает... не убивайся, пойду в работники, отпрошусь на оброк...

— Ох, не верти меня, родимый; я все проведала: у Федотова давнешенько батрак нанялся... ох, горькая, горькая наша-то долюшка...

И баба снова повалилась на лавку, залилась пуще прежнего слезами.

— Эх я, дурень! — вскричал мужик. — Эй, Варюха, я, бишь, и забыл, вот поглядь-кось, поглядь — ишь какую штуку поднял я на дороге... погляди... — Сказав это, он выложил на стол платок, стараясь утешить бабу. — Иду по задам, гляжу, никого нет, а он вот висит на кусте, как словно зацепился...

— Родной ты мой, да ведь это, знать, старуха обронила...

— Какая старуха?

— Да вот нищенка-то, что к нам заходила...

— Ой ли?.. Полно, так ли, Варвара?.. Не обмолвилась ли ты спросонья?

— Что ты, касатик! Я сама видела, как она, сердешная, платок-от повязывала.

— Тут, Варюха, мотри, что-то непутное, — вымол-

вил Антон раздумчиво,— старуха-то... Э! то-то люди сказывают, будто и вчастую заставали ее за такими делами. И как это она скоро улизнула... Нет, не пущай ты ее к нам, долго ли до греха!.. Гость и немного гостит, да много видит; ишь, я было сдуру-то разговорился с нею, а кто ее знает, может, и взаправду зло какое замышляет... в чужой разум не влезешь... Я давно заприметил, она только и норовит, как бы выведать, что у нас в деревне делается... У кого, вишь, сколько скота, лошадок, как живет... Вот и нынче про Стегнея Борисова тоже выведывала, до всего ей дело! Э, нет, не пущай ее к нам в избу, ни за что не пущай, господи упаси!..

— Ее платок, точно ее,— заметила Варвара, утирая слезы,— вот и прореха на самой серединке.

— То-то,— отвечал мужик, заботливо качая головою,— ишь на старости лет какой грех принимает на свою душу, и бесстыжая ведь какая! Так вот и лезет, а поглядишь, словно и взаправду нищенка... Недаром говорят, у ней деньга-то водится, да... о-ох!..

Антон помолился перед иконою, разулся и, вздохнув несколько раз сряду, полез к ребятишкам на печку. Варвара затушила лучину и последовала за мужем. Вскоре все затихло в избе. Неизвестно, однако, скоро ли заснул бедный ее хозяин; быть может, он даже вовсе не смыкал глаз...

Верно только то, что не спал сверчок; унылая песнь его потянулась мерно и тихо, потом стала чаще, звончее, наконец мало-помалу заглушила храпенье ребятишек и наполнила собою избушку.

III

ДОРОГА

В избушке царствовал еще глубокий, непроницаемый мрак, когда Антон приподнял потихоньку голову и начал прислушиваться... Убедившись, что жена и ребята крепко-накрепко спали, он осторожно, чуть дыша, спустился с печи и стал приготовляться в дорогу. Отыскать ощупью полушубок и шапку, намотать наскоро в потемках онучи, отрезать краюху хлеба, завернуть ее в тряпицу и засунуть за пазуху — мужику дело привычное. Он перекрестился наобум перед

углом, где стояла икона, и выбрался на крыльцо. Заря еще не занималась; на дворе только что проглядывали первые повиднушки. Антон припер как можно плотнее дверь из крылечка в избу.

— Ну, теперь спите вволю,— вымолвил он,— господь с вами, спите... Слезами-те только душу мучите, а мне и без них куда тошно...

Он вошел в клеть, где стояла пегашка. Почуяв хозяина, она тотчас же повернула к нему кудластую свою голову, насторожила уши и замотала хвостом.

— Ну, пегашка, полно, полно те хвостом-то вилять,— произнес мужичок не совсем твердым голосом,— небось из дому-то не хочешь? Ступай-ка, ступай, не кобенься; супротив воли и люди идут, не токмо что ты... Ступай; знать, и тебе пришла пора делить хозяйское горе...

Антон взнуздал ее и вывел на двор. Бедная кляча словно предугадывала свою участь: всегда смирная и покорная, она в этот раз фыркала, упорно мотала головою и беспрестанно озиралась на стороны, как бы прощаясь навсегда с двором и клетью, посреди которых взросла и вскормилась. Антон также глядел на дряблую избушку свою; бог весть о чем он думал: чужая голова — темный лес. Наконец махнул он рукой, взял лошадь под уздцы и вышел на улицу. Он сел на лошадь. Но пегашка никак не хотела идти к околице, куда направлял ее Антон; несмотря на все усилия его, она пустилась сначала вскачь к колодцу, потом дала круг по всей улице и все-таки остановилась у избушки. Видя, что сила не берет, хозяин принужден был слезть наземь, снова взять ее под уздцы и вывести за околицу. Ворота заскрипели и затворились. Темнота уже заметно рассеялась; но не ясный, ведреный день обещало утро; там, с востока, не багрянилось небо, не ложились алые, золотистые полосы света, предвестницы теплого солнышка; небо было серо, пасмурно; сизые тучи облегали его отовсюду, суля ненастье и сиверку.

Дорога от околицы шла в гору; по мере того как Антон подымался, местность, окружавшая деревню, постепенно ограждалась возвышенностями и принимала вид лощины. Там, словно из земли, выступали поминутно — то крестьянский овин с пригнувшеюся к нему рябиною, то новый дощатый забор, то часть барского сада, о существовании которых нельзя было и подозревать с улицы. Мало-помалу показалась реч-

ка с угловатыми своими загибами, потом ветлы и кровля мельницы, еще выше – потянулись поля с знакомым осинником, потом снова все это попряталось одно за другим; вот уже исчезли мельница, господский дом, село, а вот и избушка Антона начала уходить за горою... Хозяин ее еще раз обернулся в ту сторону, прищурился, протер глаза и вдруг хлестнул пегашку и пустился рысцою по дороге. Миновав троскинские земли, Антон притянул поводья и поехал шагом. Гора уже давным-давно закрыла собою дорогу села; во все стороны на необозримый кругозор открывались черные поля, смоченные дождями; редко-редко мелькала вдалеке полоса соснового леса или деревушка; дорога то и дело перемежалась проселками.

Антон давно уже не езжал в город. Никита Федорыч не любил отпускать часто мужиков из деревни; особенно строго держался он этого правила с теми из них, с которыми находился в неприязненных отношениях. По его мнению, не отпустить мужика в город считалось хорошею и вместе с тем очень действительной мерой наказания. Так, например, накоплялось ли гороху у мужичка – где бы свезти его на базар, благо цена красна, ан нет: как ни бьется сердечный, Никита Федорыч ни за что не отпустит; подумает крестьянин: плетью обуха не перешибешь, да и продаст горох соседу за сущий бесценок – не лежать же стать житу да гнить в закроме. Другому господь бог залишнюю телушку послал; вот и бредет он к управляющему: «Деньги, – мол, – понадобились, батюшка, соблаговолите отпустить в город кой-что продать; надо, вишь, обзавестись тем да другим по хозяйству». – «Ах ты, такой-сякой, – молвит ему управляющий, – небось как соты-то ломал прошлую осень, так не принес мне медку? Сиди-ка дома; все бы вам только шляться...» «Что, – думает проситель, – господ наших нетути, а он у нас сила», не стать перечить, зарежет телку, да и поснедает ее с божьею помощью. Так же точно было и с Антоном, если еще не хуже.

Но теперь дело в том, что на шестнадцатой или семнадцатой версте наш мужик решительно стал в тупик; очнувшись внезапно от раздумья, которое овладело им с того самого времени, как покинул он Троскино, Антон никак не мог припомнить ни места, где находился, ни даже сколько верст оставалось приблизительно до города. Он только и помнил, что проехал

Киясавку и Выселки да свернул влево от Екиматовской слободы. На пегашку же положиться не было никакой возможности; Антон знал, что, будучи лошадью незаметною, то есть лишенною способности припоминать дорогу, она могла очень легко завезти его бог весть куда. Он задумывал было свернуть в сторону, к видневшейся влево за перелеском деревушке, когда один совершенно неожиданный случай навел его снова на путь истинный. Оглядывая местность, он увидел на распутье полуразвалившийся деревянный крест, водруженный в небольшой бугорок.

— Эхва, у меня из памяти-то вышла могилка дяди Андрея! — воскликнул он, снимая шляпу и крестясь набожно.— Дорога-то вот тут же и сворачивает в город... на Закуряево... Эх, совсем запамятовал, чуть было с пути не сбился!

Дорогою Антон невольно принялся припоминать происшествие, связывавшееся с дядею Андреем.

Года три тому назад, на этом самом распутье стояла мазанка, принадлежавшая монастырскому сборщику, одинокому старичку. Редкий из окрестных жителей не знавал его; бывало, кто бы ни плелся, кто бы ни ехал в город, мужик ли, баба ли, седой старичишка тут как тут, стоит на пороге да потряхивает своей книжонкой, к которой привязан колокольчик. И редкий говорил ему: «Бог подаст!» — редкий не отдавал ему копеечку на построение господнего храма. Все попривыкли к нему с самого детства. И вдруг не стало дяди Андрея, как словно никогда его здесь и не бывало. Толковали, толковали мужички окрестные и, наконец, вот что узнали.

Однажды в самую глухую зимнюю полночь входят к Андрею два незнакомые человека, скручивают его по рукам и по ногам и требуют денег. Долго допытывались они,— стоит на одном старик: три гроша всего, вишь, у него, остальные вечор в монастырь отослал, а больше, видит бог, нетути! Они пуще пытать. Уж он им молился, молился, нет! уходили-таки старика обухом и сами принялись искать. Как перешарили все до ниточки, тут только и спохватились, что даром потеряли человека: в тряпице за печью всего-навсе было три гроша. Наехали со всех сторон земские да понятые, закопали дядю Андрея на самом распутье, мазанку снесли на другую дорогу, ибо никто не соглашался поселиться в ней, а на ее месте воздвигли

крестик, тот самый, что так часто напоминал мужичкам дорогу в город.

Антон не успел еще перебрать в голове все подробности этого происшествия, наделавшего в свое время много шуму в околотке, как увидел вдалеке телегу, которая медленно приближалась к нему навстречу. Сначала показалось ему, будто в ней никого не было, но потом, когда она поравнялась, он разглядел на дне ее мужика, лежавшего врастяжку. Антон несказанно обрадовался.

— Эй! послушай, брат,— крикнул он,— а, примерно, далеко ли отсель до столбовой дороги?

Тот, к кому обращался вопрос, лениво и как бы нехотя приподнял голову, подперся локтем, поглядел пристально на Антона, зевнул протяжно и, не отвечая ни слова, улегся в телегу.

— Эй, сват, эй! — крикнул Антон,— что ж ты? эй, далече ли до столбовой?..

Мужик снова приподнял голову, поглядел на Антона, опять зевнул и, опять не ответив ни слова, опустился на дно своей телеги; только на этот раз он хлестнул лошадь, которая мигом унесла его из виду.

Антон опять остался один-одинешенек посреди полей: пегашка плетется дробным шажком, а он то и дело посматривает вправо да влево, то прищурится, то раскроет глаза, принимая каждый пень, каждую кочку за живого человека. И вот снова чудится ему, что кто-то едет навстречу. Глядит, и впрямь несется тележка; вороная лошадь в наборной шлее с медными бляхами, на облучке подскакивает не то мещанин, не то помещик, а только не мужик: на нем картуз и синий кафтан. На этот раз, однако, встреча, казалось, не порадовала нашего мужичка; он круто осадил пегашку, смутился, сделал даже движение, ясно выражавшее намерение кинуться в сторону, но тотчас же остановился: было поздно; Антон узнал в синем кафтане троскинского мельника, которого так усердно избегал несколько месяцев сряду. Мельник остановился; Антон слез с лошади.

— Здравствуй, Аксентий Семеныч! — произнес он, переминая в руках шапку.

— Здорово, брат, куда?

— В город, Аксентий Семеныч, лошадь продавать... подушных платить нечем; такая-то беда сталась со мною...

— Ну, а мне-то когда заплатишь? я, кажись, и то немало ждал...

Антон замялся.

— То-то, брат,— продолжал мельник, переменив тон,— ведь так промеж добрых людей делать не приходится; летом еще осталось получить с тебя за помол, а ты с той поры и глаз не кажешь: сулил отдать ко второму Спасу, а я хоть бы грош от тебя видел... так делать не показано вашему брату... на то есть правота: как раз пойду в контору... я давно заприметил, ты от меня отлыниваешь...

— А что мне от тебя отлынивать... нешто я коли отлынивал...

— Видно, так.

— Ину пору и рад бы отдал, да коли нечем; сам ведаешь, отколе скоро-то взять нашему брату хрестьянину... был нынче недород, с корки на корку почитай что весь год перемогались... Аксентий Семеныч... тут вот подушные еще платить надо...

— Про то не мое дело ведать... вам подушные платить, а мне небось по миру идтить... делай, как быть следно, знай честь, счетом взял, счетом и отдавай; что тут баить...

— Что ты опасаешься?.. — сказал Антон, смягчая по возможности голос.— Разве я отнекиваюсь от долга, говорю, отдам, обожди маненько, твое дело не пропащее, право, скажу спасибо...

— На какой мне леший твое спасибо? из него шубы-то не сошьешь...

— Кажись, Аксентий Семеныч, мне не впервые с тобою ведаться.

— Точно не впервые, что говорить; зачем же молоть-то на чужой мельнице? ась?

— На Емельяновке-то?

— А хоть бы и на Емельяновке...

— Сходнее, Аксентий Семеныч...

— Как сходнее?.. за восемнадцать-то верст сходнее?..

— Оно, что баить, далече, да на Емельяновке-то за помол берут с нас хлебом, а ты, вишь, требуешь деньгами... да еще пятак с воза набавил... сам порассуди, откуда их взять... наше дело знамо какое...

— Ладно, ладно... ну, а зачем же подзадоривал Федосея да Ивана Галку ездить на Емельяновку?..

— Да когда я их подзадоривал?.. что ты?..

— А то кто же? Ты первый из троскинских поехал...

— Знать, сами проведали...

— Сами проведали! То-то, шишковато больно говоришь; ты говори, да не ври, не вечор я родился, — что, думаешь, не знаю!

— Чтоб мне век от добрых людей добра не видать, Аксентий Семеныч, коли я им хошь слово какое сказал...

— Ладно, брат, толкуй дьяковой кобыле; я думал по чести вести с тобой дело, а ты вот на что пустился! других еще стал подзадоривать... Ладно же, — вскричал мельник, мгновенно разгорячаясь, — коли так, отколе хошь возьми, а деньги мои подай! подай мои деньги!.. не то прямо пойду в контору... Никита Федорыч не свой брат... как раз шкуру-то вылущит! погоди, я ж те покажу!

Сказав это, мельник дернул вожжи и поехал далее. Смущение и досада, овладевшие Антоном при этой встрече, уступили место тяжкому горю. Обстоятельство это показывало ему в самых резких и сокрушительных чертах и без того уже горькую его долю. Он уже не глазел теперь по сторонам; понурив голову, смотрел он печально на бежавшую под его ногами дорогу, и не раз тяжкий вздох вырывался из груди бедного мужика. Таким-то образом, сам почти не замечая этого, выехал он на большую дорогу. Тут Антон невольно должен был оставить свои думы и заботиться исключительно о настоящем своем положении.

Дорога, размытая осенними ливнями, обратилась в сплошную топь; стада волов, которых прогоняют обыкновенно без разбора, где ни попало, замесили ее и делали решительно непроходимою; стоило только зазеваться раз, чтобы окончательно посадить и лошадь и воз или самому завязнуть. Сколько ни оглядывался Антон, не замечал ни верст, ни вала, ни ветелок, которые обозначили бы границу: просто-попросту тянулось необозримое поле посреди других полей и болот; вся разница состояла только в том, что тут по всем направлениям виднелись глубокие ямы, котловины, «черторои», свидетельствовавшие беспрестанно, что здесь засел воз или лошадь; это были единственные признаки столбовой дороги. Местами, впрочем, заметны были следы чьего-то заботливого попечения: целые груды хвороста и мелкого леса воздвига-

лись, как бы предохраняя путника от трясины или топи; но путники, в числе их, разумеется, и Антон, старались по возможности объезжать их; даже кляча последнего с необыкновенною тщательностью обходила эти поправки, догадываясь, вероятно, глупым своим инстинктом, что тут-то легче всего сломить ногу или шею.

Спустя немного времени Антон встретил длинную вереницу баб в белых платках и таких же балахонах, делавших их владелиц издали похожими на привидения. Они тянулись одна за одной гуськом по дороге. У каждой была клюка и берестовая котомка с прицепленною к ней парою лаптей за плечами. Все от первой до последней шли босиком.

— А что, бабушка, вы небось из города? — спросил Антон у старушки, сгорбленной и едва передвигавшей от стужи ноги.

— Из города, касатик.

— Что, много небось на ярманке нашего брата с лошадьми?..

— А не знаю, кормилец,— отвечала она, кланяясь,— кто их знает: мы не здешние...

— Да вы отколе?

— Сдалече, родимый: мы каширские... идем в Воронеж на богомолье...

— По своей охоте... идете? — спросил рассеянно мужик.

— По своей.

Антон вздохнул и почесал затылок.

— Э! — произнес он, махнув рукою.

— О чем спрашиваешь, касатик? — сказала другая богомолка, помоложе первой.

— Далече ли до города? — вымолвил он отрывисто.

— А сколько? — продолжала она, обращаясь к третьей.— Тетка Арина, сколько до города? верст десяток станет?..

— Что ты,— отвечала нерешительно Арина,— много, много, коли пяток...

Не дожидаясь спора, который, без сомнения, должен был возникнуть вследствие этого недоразумения между бабами, Антон поехал далее; отъехав версты две, он услышал песню и немного погодя различил двух человек, которые шли по закраине дороги и, как казалось, направлялись к стороне города. Вскоре он

нагнал их. Это были два молодые парня веселой и беспечной наружности. Один из них, тот, который казался постарее, был с черною как смоль бородою, такими же глазами и волосами; белокурая бородка другого только что начинала пробиваться.

Мещанский картуз с козырьком, обвитый внизу у залома лентой, из-под которой торчали корешки павлиньих перьев, украшал голову каждого из них, спустившись с макушки набекрень; белые как мел полушубки с иголочки составляли их одежду, отличавшуюся вообще каким-то особенным щегольством. Смазные сапоги с алою сафьянною оторочкою болтались у них за плечами; коротенькая трубочка, оправленная медью, дымилась в губах того и другого. Не успел поравняться с ними Антон, как уже оба они остановились, и черный крикнул ему, оскалив свои белые как кипень зубы:

— Здорово, брат крестьянин! эй! не берешь ли попутчиков? Посади нас на лошадь, мы бы с тебя дешево взяли...

— Нет, братцы, спасибо... и одного-то насилу везет...— нехотя отшутился Антон.

— А мы, ей-богу, дешево бы с тебя взяли. Севка! сколько даешь?

Севка вынул изо рта чубучок, отплюнул сажени на три и залился звонким хохотом.

— А что, братцы, много ли еще осталось до города?

— Да вот как,— отвечал без запинки черный:— пойдешь — близко, думаешь, а придешь — скажешь, дорога дальняя!..

— Полно вам чудить, ребята,— произнес мужик,— э! — он махнул рукой,— ишь лошадь совсем умаялась...

— Что с тобой станешь делать... изволь, скажу... мотри только... чур не обгоняй, спроси у Севки, он те скажет...

— Как раз пять верст,— сказал Севка.

— Что ты! эк махнул! — вскричал черный,— пять!.. и в десять не вопрешь! что больно близко?..

— Ан пять!

— Ан десять!

— Ан пять!

— Ан десять!

— Врешь! эк ты, Матюшка, спорить горазд; сейчас

за горою будет село Бубрино, а от него всего четыре версты до заставы...

— Эка шалава, пра, шалава,— отвечал ему на это Матюшка потихоньку,— нешто не видишь, я хотел было мужика повертеть... пра, шалава...

Севка снова залился смехом.

— Отколе тебя бог несет, христов человек? — начал Матюшка.

— Мы из троскинских... знаете село Троскино?..— отвечал со вздохом Антон.

— Ну, вестимо, как не знать.

— А вы, братцы, отколе?

— Отколе? а из сельца Дубиновки, слободы Хворостиновки, вотчины Колотиловки,— отвечал серьезно черный.

— Ишь черти, балясники! — вымолвил Антон.

— Аль не веришь? — продолжал Матюшка,— ей-богу, правда; а коли знать хочешь, так по деревням шлялись, зипуны да понявы шили... Эй, земляк, нет ли табачку: смерть нюхнуть хоцца.

— Нет, нету... ну, а, примерно, какая ваша служба?

— А вот какая: пришел в деревню, брякнул дубиной в окно: «Эй вы, тетки, бабы, девки да хозяева с чечеревятами, нет ли шитва?», а нет шитва, так бражки подавай удалому Кондрашке!..

— Стало, вы портные?

— Портные, ребята удалые!.. Эй, Севка, что ж ты прикорнул, собачья голова, аль сноху нажил? ну, запевай: «Эй, вдоль по улице, да мимо кузницы»... ну!..

И оба затянули лихую, забубенную песню. Антон слушал, слушал и не мог надивиться удали молодцов.

— Что, много оброку платите? — спросил он задумчиво, когда песня была окончена и парни закурили свои трубки.

— Ровно ничего,— отвечали они в один голос.

— Как так?..

— Да так же: мы, брат, вольные, живем не тужим, никому не служим!..

Тут Матюшка приложил коренастую ладонь к правой щеке своей и запел тоненьким, пронзительным дискантом:

Ты зачем, зачем, мальчишка,
С своей родины бежал?
Никого ты не послушал,
Кроме сердца своего...

Вскоре все три путника достигли высокой избы, осененной елкой и скворешницей, стоявшей на окраине дороги при повороте на проселок, и остановились.

– Вот мы шутя, а алтын на сороковину отмахнули, – сказал Матюшка Антону. – Ну что ж, слезай, пора духу перехватить; вот, гляди, и казенная аптека перед нами...

– Нет, спасибо, братцы, – отвечал тот, – пра, спасибо, – прибавил он, озираясь на стороны и почесывая затылок.

– Э, полно миряком-то прикидываться, пойдем, сорвем косуху при спопутности...

– Неколи... вам дело досужное, а мне в город пора...

Антон вздохнул.

– Ну вот еще, поспеешь.

– Денег нету.

– Эка беда, ступай оставь что-нибудь в закладе, как назад поедешь, отдашь...

Видно было, что наш мужик сильно колебался; наконец он собрался с духом и сказал решительно:

– Ей-богу, не пойду!

– Что ж ты, глотку опозорить боишься, что ли? не пьешь?..

– Пить-то пью... эх, нет, не пойду!..

Антон повернул лошадь к городу.

– Ну, да черт те дери... эй, земляк, выпей хошь для миру... хошь для миру-то выпей...

– Господь с вами, – сказал Антон, пуская рысью пегашку.

– Экой черт! – кричали ему вслед молодцы, – прямая шалава!.. погоди, обронил хвост у лошади... эй!.. цапля!..

Но Антон ничего не слышал; он давно уже был за горою. Погода между тем как будто собиралась разгуляться; свинцовое небо прояснилось; это делалось особенно заметным вправо от дороги к селу Бабурину. Белый господский дом и церковь, расположенные на горе, вдруг ярко засияли посреди темных, покрытых еще густою тенью дерев и избушек; в свою очередь сверкнуло за ними дальнее озеро; с каждою минутой выскакивали из мрака новые предметы: то ветряная мельница с быстро вращающимися крыльями, то клочок озими, который как бы мгновенно загорался; правда, слева все еще клубились сизые хребты

туч, и местами косая полоса ливня сливала сумрачное небо с отдаленным горизонтом; но вот и там мало-помалу начало светлеть... Сквозь туманную мглу просияла пестрая радуга, ярче – и вот она обогнула собою половину неба; луч солнца, неожиданно пробившись сквозь облако, заиграл в бороздах, налитых водою, и вскоре вся окрестность осветилась белым светом осеннего солнышка. В то же время и самая дорога как бы немножко повеселела. Чем ближе придвигалась она к городу, тем более было заметно на ней оживления. Нередко начинали уже попадаться тучные, укутанные веретьями возы с мукою, рожью, огурцами, горшками и разными другими хозяйственными принадлежностями. Кое-где встречались бабы, тащившие за веревку хилую, костлявую коровенку с высохшим выменем, которую, вероятно в награду за ревностную службу многих лет, влачили продавать кошатникам на шкуру. Из проселков то и дело сворачивали телеги, наполненные мужиками и бабами, горланившими песни. Нарядные поярковые шляпы, кафтаны и сапоги у мужчин, алые повойники и коты пестрые у женщин давали знать о происходившей в городе ярмарке. Проехав еще версты две, Антон увидел длинную, бесконечную фуру с высоким верхом, покрытым войлоком; на передке сидел, нахохлившись, седой сутуловатый старик и правил изнуренною, едва переводившею дух тройкою; подле него на палке, воткнутой в облучок, развевался по воздуху пышный пучок ковыля. Из кузова, завешенного кое-как рогожею, высовывалось несколько ног, смуглых, черных, а между ними виднелась кудластая, взъерошенная голова, державшая во рту трубку с медною оковкою. Из фуры слышался живой разговор на каком-то странном, диком языке. К задней части экипажа, переплетенной веревками, была привязана целая дюжина разношерстных лошадей, тавренных по бедрам. Словом, по всему узнать можно было цыган-барышников. Далее попался слепой нищий, упиравшийся одной рукой на сучковатую палку, другою на плечо худощавого оборванного мальчика, с трудом вытаскивавшего изнуренные больные ноги из грязи. Оба они, как видно, также поспешали на ярмарку в надежде выгодной добычи. Наконец-то заблистали вдалеке маковки церквей, глянули кровли, здания, а там выставилась из-за горизонта и вся гора, по скату которой расползался город. На

песчаных отмелях широкой реки, огибавшей гору, белелся монастырь; паром, нагруженный подводами, медленно спускался по течению реки; на берегу чернелось множество народу, возов, лошадей. Шум слышался еще издали.

Сердце почему-то сильно забилось в груди Антона, когда он подъехал к заставе. Он словно впервые почувствовал себя на чужбине и безотчетно вспомнил о жене и ребятишках. Вслед за тем пришел ему в голову Никита Федорыч, горькая доля, ожидавшая семью в случае неудачи, потом встреча с мельником... Он быстро соскочил с пегашки и, приблизившись к мужику, торговавшему ободьями, спросил отрывисто, как бы проехать короче на конную. Получив ответ, Антон вступил за заставу и вскоре, подобно зерну, попавшемуся раз под порхающий жернов, был затерт толпою и исчез вместе с своей клячонкой.

IV

ЯРМАРКА

Городишко, где происходит ярмарка, принадлежал к самым ничтожным уездным городам губернии. Глядя на него в обыкновенное время, нельзя даже подумать, чтоб он мог служить целью какой бы то ни было поездки; он являлся скорее на пути как *средство* ехать далее; куда ни глянешь: колеса, деготь, оглобли, кузницы, баранки – и только; так разве перехватить кой-чего на скорую руку, подмазать колеса, сесть, и снова в дорогу. Но в ярмарочную пору, и особенно осенью, он принимал такую оживленную, разнообразную наружность, что трудно даже было узнать его. И немудрено: сколько ни находится в околотке мужичков с залежными гривнами и пятаками, с припасенными про случай ржицею, гречею, мукою и сеном, все окрестные купцы, барышники, мещане, промышленники всякого рода и сброда – все стекалось сюда, кто для барышей и дела, а кто, как водится, погулять, поглазеть да мошну повытрясти. Впрочем, и то сказать надо: есть на что посмотреть, есть что и купить в «коренную ярмарку»[1]. Сколько одних навесов, яток,

[1] Так называются вообще в средней России осенние ярмарки. *(Примеч. автора.)*

строек, шатров понаставлено не только на площадке, но даже по всем переулкам, закоулкам, по всему скату горы, вплоть до самого берега! И чего уж нет-то под ними, какого надо еще добра и товара? Тут пестрыми группами возносятся кубышки, крыночки, ложки кленовые, бураки берестовые, чашки липовые золоченые суздальские, жбанчики и лагунчики березовые, горшки, и горшки-то все какие – муравленые коломенские! Там целые горы жемков, стручьев, орехов, мякушек, сластей паточных-медовых, пряников, писанных сусальным золотцом... Здесь мечутся в глаза яркою рябизною своею полосушки, набойки, холстинки, миткали всякие... А сколько платков, и сизых, и желтых, и алых, с разводами и городочками, развеваются по воздуху! Сколько александровки, кумачу, ситцев московских, стеклярусу!.. А сколько костромского товару: запонок, серег оловянных под фольгою и тавлинок под слюдою! – кажись, на весь бы свет с залишком стало.

Поглядите-ка теперь, сколько посреди всего этого народу движется, толкается и суетится! какая давка, теснота! То прихлынут в одну сторону, то в другую, а то и опять сперлись все на одном месте – хоть растаскивай! Крик, шум, разнородные голоса и восклицания, звон железа, вой, блеянье, топот, ржание, хлопанье по рукам, и все это сливается в какой-то общий нестройный гам, из которого выхватываешь одни только отрывчатые, несвязные речи... Прислушайтесь: «Ой, батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!» – пронзительно взвизгивает толстая мещанка в мухояровой душегрейке на заячьем меху. «Ой, родимые, отпустите! Проклятый – чего лезешь!..» – и вслед за тем раздается подле густой бас: «А сама чего топыришься... Ну, ну, не больно пихайся, я и сам горазд...» – «Ах ты, такой-сякой, общипанец...» Но тут голос мещанки покрывается рассыпчатым дребезжаньем торговки: «Купчиха! голубушка! нà баранки, нà баранки, сама пекла! Нà сайку, нà горячу, сама пекла, нà сайку...» – «По лук, по лук!» – слышится вслед за этим. «Э! лачи грай! тамар у девел, течурасса ман!» (э! добрая лошадь, убей меня бог, украл бы). – «Авен, авенте кинас!» (пойдемте торговать!) – кричат в отдалении цыгане. «Что покупаете? Ситцы-с, канифасы, нанки, выбойки!.. у нас брали, пожалуйте!..» – «Эх, солнышко садится, а у меня в мошне ничего не шеве-

лится!» – раздается где-то в стороне. «Иван Трофимыч! Иван Трофимыч! где, вы говорили, гребенки продают?.. Ой! ой! давят!.. Иван Трофимыч, не отставайте!» – и толпа дворовых девок, разряженных в пух и в прах, кидается сломя голову к высокому лакею со встрепанной манишкой. «Сюда, сюда, Анна Андреевна, не опасайтесь-с, ничего-с... Марфа Васильевна, не отставайте, город помещенье большое-с, долго ли потеряться...» – «По клюкву, по ягодку по клюкву!» – «Помилуй, христов ты человек, сам гляди, нынешнее!» – «Черно больно...» – «Како черно, где оно черно? Ну, где? Сено что ни есть свежее, звонкое сено, духовитое...» – «Спиридоныч, а Спиридоныч! купи девке-те коты-те, ишь воет, ажно душу дерет». Звуки гармоники и удалая песня заглушают на мгновение все голоса. «Севка, а Севка! припрем-ка вон ту купчиху-то, что больно топырится...» – «И то, и то, напирай сильнее, Митюха, ну, не робей!» – «Ой, батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!» – снова вопиет на всю ярмарку мещанка в душегрейке на заячьем меху. «Ишь, чертова кукла, как воет; а ну-кась, Севка, катнем-ка еще...» – «Ну, черт с ней! Знаешь что, Матюшка, пойдем-ка, брат, на конную, нашлялись здесь вволюшку...» – «На нашу долюшку! Ну, Севка, пойдем... Эй, стой! Вон, кажись, сцепились – драка; ступай сюда!» Долговязый белокурый парень стоит, оскалив зубы, перед седым стариком, увешанным кнутами, варежками, кушаками, который ругается на все бока и чуть не лезет парню в бороду.

– Эй, дядя, чему оскаляешься, али рад, что дожил до лысины? Что таришь парня-то? – крикнул Матюшка.

– Вестимо, что у вас? что? – раздалось в сдвинувшейся толпе.

– Братцы! – прохрипел старик, – он мошенник, хлыновец окаянный!.. почитай что вот с самого утра прикидывается у меня к кушаку; торгует, торгует, а, словно на смех, ничего не покупает... Ах ты, в стеклянночной те разбей!.. Ах ты!..

– Господа, а господа, полно вам! – говорит городовой польского происхождения, инвалид с подбитым глазом, выступая вперед и толкая ссорившихся. – Полно, господа, начальство узнает, ей-богу, начальство... полно... вон (он указал на острог) туда как раз на вольный хлеб посадят... Полно, господа!..

— Эки дьяволы, право! — произнес Матюшка, отходя прочь. — Хошь бы маленько-то почесали друг друга, а то ишь чего испужались... Ну, леший с ними! Пойдем, брат Симион, на конную, ишь солнце того смотри сядет!

Конная площадь составляет главную точку ярмарочной промышленности. Там, правда, не встретишь ни офеней, увешанных лубочными картинами, шелком-сырцом, с ящиками, набитыми гребешками, запонками, зеркальцами, ни мирных покупателей — баб с задумчивыми их сожителями; реже попадаются красные девки, осанистые, сытые, с стеклярусными на лбу поднизями; тут по обеим сторонам широкой луговины сбился сплошною массою народ, по большей части шумливый, задорный, крикливый, охочий погулять или уже подгулявший. Одна сторона поля загромождена возами сена, дегтем, ободьями, лесом, колесами; также торгуют тут коровами и всяким скотом; другая почти вплотную заставлена ятками, харчевнями, кабаками и навесами со всяким харчем и снедью. Здесь-то теснятся кружки играющих в свайку и орлянку, разгуливают шумными ватагами песельники, хлыновцы, барышники и цыгане. По полю там и сям носятся всадники, пробующие лошадей, или летят иноходцы в беговых дрожках и легоньких тележках. Кое-где виднеются группы конских любителей, продавцов и покупателей.

Приятели — портной Матюшка и товарищ его Севка — не успели еще продраться сквозь толпу, составлявшую ограду площади, как первый закричал что есть мочи:

— Эй, Севка! поглядь-кась, никак вон тот самый мужик, что встрелся с нами на дороге... Ну, так, так, он и есть... вон и пегая его кляча... Должно быть, не продал... Эй, Старбей! — продолжал он, обращаясь к Антону. — Как те звать, добрый человек?.. Знакомый, аль знать не хочешь?.. Ну что, как бог милует?..

— Здравствуйте, братцы, — вымолвил Антон, подходя к портным вместе с другими двумя мужиками.

Новые товарищи Антона были приземистые рыженькие люди, очень похожие друг на друга; у обоих остроконечные красные бородки и плутовские серые глазки; синий дырявый армяк, опоясанный ремнем, вокруг которого болтались доспехи коновала, баранья

черная шапка и высокие сапоги составляли одежду того и другого.

– Что невесел, словно мышь на крупу надулся, ась? – произнес Матюшка насмешливо.

– Како тут веселье, – отвечал печально Антон, рассеянно глядя в поле.

– Что ж, опять небось алтын не хватает?.. Знамо, без денег в город – сам себе ворог; жаль, брат, прохарчились мы больно, а то бы, вот те Христос, помогли, ей-богу, хоть тысячу рублев, так сейчас бы поверили... А то, вишь, на косуху не осталось, словно бык какой языком слизнул... право...

В толпе раздался хохот. В это время к Антону подошли два мужика: мука, обсыпавшая их шапки и кафтаны, давала тотчас же знать, что это были мельники.

– Послушай, братец ты мой, – сказал старший из двух, – что ж, говори последнее слово; продашь лошадь-то али нет?..

Рыженькие приятели перемигнулись между собою, дернули Антона потихоньку сзади и сказали шепотом: «Мотри, земляк, не отдавай, надуть хотят, не отдавай!»

– Да побойся хоть ты бога-то, – отвечал Антон мельнику, – побойся бога; Христов ты человек аль нет? ну, что ты меня вертишь, словно махонького; ишь за каку цену хочешь лошадь купить...

– Оставь его, дядя Кондрат, – отозвался с сердцем товарищ мельника, – оставь, говорю; с ним и сам сатана возившись упарится; вишь, как он кобенится, часов пять и то бились, лошадь того не стоит; пойдем, авось нападем на другую, здесь их много...

– Вестимо, – отвечали в одно время рыженькие, – знамо, свет не клином сошелся; ступайте, вы лошадь найдете, а мы покупщика.

Старый мельник, казалось, с сожалением расставался с мыслию приобрести пегашку; он еще раз обошел вокруг нее, потом пощупал ей ноги, подергал за гриву, качнул головой и пошел прочь.

– Ишь, ловкие какие, – произнес один из рыженьких, – чего захотели, «атусбеш» [1], то бишь... тридцать

---

[1] Тридцать пять рублей на языке конских барышников и конокрадов. *(Примеч. автора.)*

пять рублей за лошадь дают... да за эвдаку животину и семьдесят мало...

— Эй, земляк, давай я лошадь-то куплю! — снова закричал Матюшка,— не грусти; что голову повесил? сколько спросил? сколько хошь, столько и дам: чур, мотри, твои магарычи, а деньги за лошадь, как помру.

— Чего вы привязались ко мне? ну, чего вам от меня надыть? — сказал с сердцем Антон и сделал шаг вперед. По всему видно было, что бедняга уже давным-давно вышел из себя и выжидал только случая выместить на ком-нибудь свою досаду.

Севка и Матюшка сделали вид, как будто испугались, и отскочили назад; толпа, расположенная к ним прибаутками, которые рассыпал Матюшка, заслонила их и разразилась громким, продолжительным хохотом. Ободренный этим, Матюшка высунул вперед черную кудрявую свою голову и заорал во все горло:

— Гей! земляк всех избил в один синяк!.. братцы, ребята, это, вишь, наш бурмистр, ишь какой мигач, во всем под стать пегой своей кобыле, молодец к молодцу... ворон, вишь, приехал на ней обгонять... Эй, эй! Фалалей, мотри, мотри, хвост-ат у клячи оторвался, ей-богу, право, оторвался... эй, го... го... го... го...

Антон в это время следовал за рыженькими своими приятелями, которые почти против воли тащили его на другой конец поля. К ним тотчас же подскочили три цыгана.

— Что, добрый человек, лошадь твоя?

— Моя.

— Продаешь?

— Мотри, не продавай,— снова шепнули Антону рыженькие,— народ бедовый, как раз завертят.

— Продаю,— отвечал нерешительно Антон и в то же время поглядел с беспокойством на приятелей.

Тогда один из цыган, дюжий, рослый мужчина в оборванных плисовых шароварах и синем длинном балахоне с цветными полотняными заплатами, подбежал к пегашке, раздвинул ей губы, потом поочередно поднял ей одну ногу за другой и, ударив ее в бок сапогом, как бы для окончательного испытания, сказал товарищам:

— Лачи грай, ян татарчинас, пшалы, ды герой лачи! (Добрый конь, давайте, братцы, торговать, смотри: ноги хороши больно.)

— Мычынав курано (как будто старенька),— отве-

чали те,— а нанано — пробине, пробине (а все попробуем).

И все трое принялись осматривать лошадь. Разумеется, удары в бок, как необходимейшее условие в таком деле, не заставили себя дожидаться.

— Что стоит? — спросил первый цыган.

— Семьдесят рублев,— отвечали равнодушно и как бы из милости рыженькие спутники Антона, отводя его в сторону и принимаясь нашептывать ему на ухо.

Цыгане засмеялись.

— А саранда рубли круут, де гаджо лове ватопаш, сытуте лове? (А сорок рублей стоит, да мужик отдаст за половину; деньги у вас есть?) — сказал первый.

— Сы (есть),— отвечали те.

— Лачи (ладно). Ну, братцы, и ты, добрый человек,— продолжал тот, указывая на лошадь с видом недовольным,— дорого больно просишь; конь-то больно изъезжен, стар; вот и ребята то же говорят...

— Да чуть ли еще не с норовом,— подхватил цыган, глядя пегашке в зубы,— ишь, верхний-то ряд вперед выпучился... а ты семьдесят рублев просишь... нет, ты скажи нам цену по душе; нынче, брат, не то время,— корм коня дороже... по душе скажи...

— Сколько же по-вашему? — спросил Антон.

— Да что тут долго толковать, мы в деньгах не постоим, надо поглядеть сперва ходу, как бежит... был бы конь добрый, цену дадим не обидную... веди!

Рыженькие отвели Антона в сторону.

— Экой ты, брат... мотри, не поддавайся... не купят, право слово, не купят, попусту только загоняешь лошадь и сам измаешься... говорим, найдем завтра покупщика... есть у нас на примете... вот уж ты сколько раз водил, не купили, и теперь не купят, не такой народ; тебе, чай, не первинка...— твердили они ему.

— Спасибо, родные, за доброе, ласковое ваше слово, да, вишь, дело-то мое захожее.

— Вот по той причине мы те и толкуем, на волоку и по волоку — надо дело рассуждать.

— Господь их ведает, может, и по честности станут цену давать; мне, братцы, така-то, право, тоска пришла, что хошь бы сбыть ее с рук скорей.

— Пожалуй, ступай себе; а только, право, попусту сходишь.

Антон взял пегашку под уздцы и, сопровождаемый цыганами, повел ее к стороне харчевен, откуда должен

был, по обыкновению, начаться бег. Рыженькие пошли за ними. Пройдя шагов двадцать, они проворно обернулись назад и подали знак двум другим мужикам, стоявшим в отдалении с лошадьми, чтобы следовали за ними; те тотчас же тронулись с места и начали огибать поле; никто не заметил этих проделок, тем менее Антон. Видно было по всему, что он уже совсем упал духом; день пропал задаром: лошадь не продана, сам он измучился, измаялся, проголодался; вдобавок каждый раз, как являлся новый покупщик и дело, по-видимому, уже ладилось, им овладевало неизъяснимо тягостное чувство: ему становилось все жальче и жальче лошаденку, так жаль, что в эту минуту он готов был вернуться в Троскино и перенести все от Никиты Федорыча, чтобы только не разлучаться с нею; но теперь почему-то заболело еще пуще по ней сердце; предчувствие ли лиха какого или что другое, только слезы так вот и прошибали ресницы, и многих усилий стоило бедному Антону, чтобы не зарыдать вслух.

— Эх, каман чорас грай, томар у девел чорас ме! (Эх, вот бы украл лошадь, убей меня бог, украл бы!) — сказал кто-то из цыган, когда пришли на место.

Тут стояли уже несколько человек с лошадьми; между ними находились и те, которым подали знак рыженькие.

— Ну, брат хозяин, садись на коня, — вымолвил первый цыган Антону, — поглядим, как-то он у тебя побежит... садись!..

Антон медленно подошел к пегашке, уперся локтями ей в спину, потом болтнул в воздухе длинными, неуклюжими своими ногами и начал на нее карабкаться; после многих усилий с его стороны, смеха и прибауток со стороны окружающих он, наконец, сел и вытянул поводья. Толпа, состоящая преимущественно из барышников, придвинулась, и кто молча, кто с разными замечаниями окружили всадника-мужика. В числе этих замечаний не нашлось, как водится, ни одного, которое бы не противоречило другому; тот утверждал что конь «вислобокой», другой, напротив того, спорил, что он добрый, третий бился об заклад, что «двужильный», четвертый уверял, что пегая лошадь ни более, ни менее, как «стогодовалая», и так далее; разумеется, мнения эти никому из них не были особенно

дороги, и часто тот, кто утверждал одно, спустя минуту, а иногда и того менее, стоял уже за мнение своего противника.

— Ну, теперь пущай ее... пущай! — закричало несколько голосов, и толпа ринулась в сторону.

Но усталая, измученная и голодная пегашка на тот раз, к довершению всех несчастий Антона, решительно отказывалась повиноваться пруканью и понуканью своего хозяина; она уперлась передними ногами в землю, сурово потупила голову и не двигалась с места.

— Конь с норовом... ан нет... ан да... о! чего смотрите, черти!.. она, вишь, умаялась: дай ей вздохнуть, вздохнуть дай!.. — слышалось отовсюду.

А Антон между тем употреблял все усилия, чтобы раззадорить пегашку: он то подавался вперед к ней на шею, то спускался почти на самый хвост, то болтал вдоль боков ногами, то размахивал уздечкой и руками; нет, ничего не помогало: пегашка все-таки не подавалась.

— Э... ге... ге... ге! — заметил цыган, — да она, брат, видно, у тебя опоена, видно, на кнуте только и едет.

Антон удвоил усилия; пот выступил у него на лбу.

— Ну, ну, — бормотал он, метаясь на лошади как угорелый, — ну, дружок! ну, дурачок!.. э!.. ну... эка животина... ну... ну... э!..

— Эй, брат!.. ребята! да вы проведите ее.

— Нет, зачем проводить... оставь... она и сама пойдет... дайте ей вздохнуть...

— А долго будет она так-то стоять? — сказал кто-то и без дальних рассуждений, подбежав к лошади, ударил ее так сильно в брюхо, что сам Антон чуть было не слетел наземь.

Толпа захохотала, а пегашка тем временем брыкнула, взвизгнула и понеслась по полю.

— Э! взяла, взяла! э! пошла, пошла, пошла! гей! гей! го-го-го! — послышалось со всех сторон.

Один из зрителей пришел в такой азарт, что тут же снял с себя кожух и, размахивая им с каким-то особенным остервенением по воздуху, пустился догонять лошадь.

— Ишь, прямо с копыта пошла, хорошо пошла, — произнес цыган, обращаясь к толпе.

— Николко, проста лашукр, — ведь хорошо бежит.

— Урняла, целдари урняла! знатно скачет! — отвечали те в один голос, глядя ей вслед, и закричали Антону: — эй! пусти ее во весь дух, пусти, небось... дыкло, дыкло! посмотрим!

Рыженькие, казалось, того только и ждали, чтобы отъехал Антон; они подошли к двум мужикам-товарищам и переговорили.

Когда Антон вернулся назад, они уже стояли на прежнем своем месте, а товарищи их пододвинулись со своими лошадьми к цыганам.

— Ну, вот что, брат, — сказал первый цыган Антону, — семьдесят рублев деньги большие, дать нельзя, это пустое, а сорок бери; хошь так хошь, а не хошь, так как хошь; по рукам, что ли? долго толковать не станем.

Антон поглядел нерешительно на рыженьких. Те замотали головами.

— Нет, — сказал он печально, — нельзя, несходно...

— Братцы, что вам, лошадь, что ли, надо? — заговорили тотчас приятели рыженьких, — пойдемте, поглядите у нас... уж такого-то подведем жеребчика, спасибо скажете... что вы с ним как бьетесь, ишь ломается, и добро было бы из чего... ишь, вона, вона как ноги-то подогнула... пойдемте с нами, вон стоят наши лошади... бойкие лошади! супротив наших ни одна здесь не вытянет, не токмо что эта...

— А чего вы лезете! — перебил один из близ стоявших мужиков, — нешто это дело — отбивать? экие бесстыжие, совести нет; вишь, он продает, а вы лезете; завидно, что ли?.. право, бесстыжие...

— А черт ли велит ему отмалчиваться? коли продаешь, так продавай, что кобенишься? да! что буркалы-то выпучил, словно пятерых проглотил да шестым поперхнулся... отдавай за сорок... небось несходно?.. отдавай, чего надседаешься...

— Нет, за сорок не отдам.

— Твоя воля, конь твой, — отвечал цыган, — ну, слушай последнее слово: сорок рублев и магарычи... хошь?

— Что мне магарычи? на кой мне их леший!..

— Узду в придачу!

— И узды не надыть.

— Эх, вы, ребята, словоохотливые какие, право, — начали опять те, — видите, не хочет продавать — и только; и что это вы разгасились так на эвту лошадь?

мотрите, того и гляди, хвост откинет, а вы сорок даете; пойдемте, вам такого рысачка за сорок-то отвалим, знатного, статного... четырехлетку... как перед богом, четырехлетку...

— Соле саракиресса, накамыл тебыкнел, авен, пшалы, не каман, ну, что с ним, взаправду, толковать? пойдемте, братцы; не хочет. Ну, прощай, добрый человек,— сказал первый цыган.— Авен, авен, пшалы, пойдемте, пойдемте, братцы.

Рыженькие тотчас же повели Антона в другую сторону.

— Ну, вот, говорили мы тебе... как, бишь, те звать?

— Антоном.

— Э! да у меня, брат, свояка зовут Антоном. Ну, ведь говорили мы тебе, не ходи, не продашь лошади за настоящую цену! э! захотел, брат, продать цыгану! говорят, завтра такого-то покупщика найдем, барина; восемьдесят рублев как раз даст... я знаю... Балай, а Балай, знаешь, на кого я мечу?..

Балай кивнул головою, искоса поглядел на Антона и значительно подмигнул товарищу.

— Спасибо, братцы, за ваши добрые речи,— отвечал мужик, уныло потупляя голову,— да, вишь, дело-то мое захожее; куды я теперь пойду? ночь на дворе.

— Куды пойдешь! об эвтом, земляк, не сумлевайся... а мы-то на что ж?.. вот брат пойдет домой в деревню, а я остаюсь здесь; пожалуй, коли хочешь, пойдем вместе, я тебе покажу, где заночевать.

— У меня, братцы, ведь денег нету... вот беда какая! думал лошадь продать, так...

— Эхва, беда какая! мало ли у кого не бывает денег, не ночуют же в поле... я тебя поведу к такому хозяину, который в долг поверит: об утро, как пойдешь, знамо, оставь что-нибудь в заклад, до денег, полушубок или кушак, придешь, рассчитаешься; у нас завсегда так-то водится...

— Когда ваше такое доброе слово,— отвечал Антон,— пойдемте, братцы, авось, господь милостив, завтра удастся продать лошаденку...

— Не сумлевайся, брат Антон, говорю, покупщик у нас есть знатный для тебя на примете; ты, вишь, больно нам полюбился, мужик-ат добре простой, не прикрельный... хотим удружить тебе... бог приведет, встренемся, спасибо скажешь...

И все трое покинули площадь. Только что своротили они в переулок, как Балай распрощался с Антоном и, перемигнувшись еще раз с товарищем, исчез в толпе.

V

НОЧЛЕГ

«Ох, горе, мое горе, кручинное житье! – думал Антон, следуя медленным, нетвердым шагом за товарищем. – День прошел, да, видно, до нас не дошел, ишь вечеряет, а лошаденка все с рук не сошла; что станешь делать!.. нет, знать, так уж господу богу угодно... погрешился я чем перед ним... охо, хо... Дома-то, дома у меня, я чай, ждут, сердешные, не дождутся; не наболится у родимых сердечушко... Правда, попался человек добрый, сулил покупщика хорошего, да это когда еще, завтра!.. Заночевать вишь пришлось в чужой стороне промеж чужих людей, денег ни полушки, а дело захожее... Ну, а как завтра да опять не выйдет на мою долю счастья, лошади опять не продашь, а только пуще бед наживешь, и с тем домой вернешься... Никита просвету не даст тогда, долой с бела света сгонит, совсем беда! пропадем ни за что и я, и Варюха, да и ребятенки-то тож... охо... хо, горе мое, горе, кручинное житье!..»

День между тем зримо клонился к вечеру; солнце село; золотистые хребты туч, бледнея на дальнем горизонте, давали знать, что скоро и совсем наступят сумерки. Подошва горы, плоские песчаные берега, монастырь и отмели окутались уже тенью; одна только река, отражавшая круглые облака, обагренные последними вспышками заката, вырезывалась в тени алой сверкающей полосою. Осенний ветер повеял холодом и зашипел в колеях дороги. Время от времени он изменял свое направление, и тогда слышались с реки отрывистые крики народа, толпившегося на берегу и ожидавшего парома, который чуть видимою точкой чернелся на более и более бледневшей поверхности воды, влача за собою огненную, искристую полосу света. Шум ярмарки умолкал; толпа в городе постепенно редела; скидывались ятки, запирались лари, лавки; купцы и покупатели расходились во все стороны, и все тише да тише становилось на улицах, на площади,

между рядами телег, подвод, укутанных и увязанных на ночь в рогожи. Вниз по горе тишина делалась еще заметнее; тут исчезли уже почти все признаки ярмарки; кое-где разве попадался воз непроданного сена и его хозяин, недовольное лицо которого оживлялось всякий раз, как кто-нибудь проходил мимо, или встречалась ватага подгулявших мужиков и баб, которые, обнявшись крепко-накрепко, брели, покачиваясь из стороны в сторону и горланя несвязную песню.

Антон и рыженький его товарищ достигли уже подошвы горы, когда на одном из поворотов дороги должны были остановиться по случаю стечения народа. Они подошли ближе. На самом крутом уступе лежал замертво пьяный мужик; голова его, седая как лунь, скатилась на дорогу, ноги оставались на возвышении; коротенькая шея старика налилась кровью, лицо посинело... Присутствующие, которых было очень много, не помышляли, однако ж, поднимать его; иные, проходя мимо, замечали только: «Эк его раздуло!» или: «Ишь-те как нализался!» Бо́льшая часть зрителей не делали, впрочем, никаких замечаний; они глядели на него с каким-то притупленным любопытством, почесывали затылки и качали головами, как бы в душе соболезнуя о злополучном землячке; но помощи никто решительно не подавал, никто даже не трогался с места. Антон принадлежал, должно быть, к последней категории; он постоял, покачал головою и готовился уже кликнуть своего товарища; но в эту самую минуту из толпы выскочил полный кудрявый детина в синем кафтане и с радостным восклицанием бросился обнимать его.

— Эхва!.. Антон! как тебя бог милует? подобру ли, поздорову? вот не чаяли встретиться...

— Здорово, Митроха,— вымолвил Антон, ошеломленный несколько неожиданным приветствием,— как можешь?..

Они обнялись и поцеловались. Встреча эта сильно озадачила рыженького; он суетливо подошел к Антону, дернул его за полу и шепнул: «Земляк, пора до фатеры, поздно, того и гляди, места не станет...»

— Шутка, дело какое! — продолжал Митроха,— почитай что целый год не видались; ну что, брат Антон, как тебя перевертывает? как поживаешь с хозяйкою и с ребятишками?..

— Ох, лучше и не спрашивай, плоше моего житья, кажись, на свете нет... мое житье самое последнее...

— Неужто все Никита проклятый досаждает?..

— Да,— отвечал печально Антон,— да; вот и теперь, пришел, брат, сюда последнюю лошадь продавать,— велел!.. не знаю, что и будет; совсем, знать, пришло мое разоренье...

— Ой ли? ну, брат, жаль, больно жаль мне тебя!.. а я, брат, на фабрике-то пооперился маненько; живу верстах в трех отсель на миткалевой фабрике... и хозяин такой-то, право, добрый достался, не в обиде живешь... Ну, расскажи-ка, братец ты мой, как поживают Стегней с женою? он ведь свояк мне...

— А что им делается — хлебушка есть, живут ладно, по милости господней.

— Новую избу, говорят, поставили?

— Поставили.

— Так; ну, брат Антон, где ж ты остановился здесь?

— Вот тут... близехонько,— отвечал скороговоркою рыженький,— у самого перевоза на постоялом...

— Дай ему господь бог здоровья,— продолжал Антон, указывая земляку на рыженького,— встрелся добрый человек... хочет провести на ночлег.

— Пойдем, Антон,— сказал тот,— пора, не опоздать бы нам, народу не подошло бы много с ярманки...

— Ну, ладно,— подхватил Митроха,— я к тебе завтра зайду на фатеру... как бог свят, зайду; ты, я чай, не больно рано пойдешь на ярманку... а мы до того времени перемолвим слово, покалякаем про своих... так-то, брат, я тебе рад, Антон, право, словно родному... инда эвдак сердце радуется, как случай приведет с земляком повидаться... Ну, прощай, брат, и мне пора ко двору, а завтра непременно зайду...

— Прощай, Митроха, заходи же, мотри...

— Ладно, ладно...

— Ну, братец, куда же нам теперь идти? — спросил Антон, когда земляк исчез за поворотом.

— Сойдем вниз, а там пойдем все по берегу, все по берегу, до самых кузниц.

— Далече?

— Эко ты наладил одно: далече да далече? видишь перевоз?

— Вижу...

— Ну, коли видишь, так ладно; тут как раз будет тебе и постоялый двор... он прямо стоит за кузнями...

Движения, походка, лицо товарища Антона мгновенно изменились: теперь все уже показывало в нем человека довольного, даже торжествующего; серенькие плутовские глазки его насмешливо суживались и поочередно устремлялись то на мужика, то на пегашку; он стал разговорчивее; но в речах его уже не было той заботливости, той вкрадчивости, с какими прежде подъезжал он к Антону. Все произошло, однако, так, как говорил рыженький: вскоре они достигли перевоза, там поднялись по скользкому грязному берегу и вышли на пустынное поле, огражденное с одной стороны рядом черных, мрачных кузниц, которые неровною линиею спускались почти к самой воде.

Миновав кузницы, рыженький молча указал Антону на высокую избу, одиноко стоявшую на дороге и окруженную длинными навесами. Тем временем, как они к ней приближались, ночь окончательно обхватила небо и окрестности. Месяц вышел из-за туч и весело проглянул на небе. Антон обернулся назад и бросил взгляд к стороне города; там все уже стихло; редко, редко долетала отдаленная песня или протяжное понуканье запоздалого мужика, торопившего лошадь. Где-то в стороне, далеко-далеко за рекою слышался стук в чугунную доску деревенского караульщика. Он увидел реку, исчезавшую после многих изгибов в темноте, крутые берега, отделявшиеся от нее белым туманом, и черные тучи, облегавшие кругом горизонт. Луна скрылась; воцарился глубокий, непроницаемый мрак; подходя к избе, Антон едва-едва различил подводы, стоявшие у ворот. Шумный говор и свет, выходивший длинною полосою из окна, давали знать, что на постоялом дворе было довольно народу.

— Ну, вот и пришли, — сказал рыженький Антону, — веди лошадь в ворота; ладно; ставь ее вот сюда, под навес, да пойдем ужинать...

— Послушай, добрый человек, — произнес Антон, оглядывая с беспокойством постоялый двор и навесы, — послушай, мотри, не было бы лиха... не обидели бы меня... не увели бы лошаденки; я слышал, народ у вас в городах на это дело добре податлив...

— Эх, ты! — воскликнул тот, ударив мужика по плечу, — прямой ты, брат, деревенщина, пра, деревен-

щина; борода у те выросла, а ума не вынесла; ну, статочно ли дело? сам порассуди, кому тут увести? ведь здесь дворник есть, ворота на ночь запирают; здесь не деревня, как ты думаешь? Знамо дело, долго ли до греха, коли не смотреть, на то, вишь, и двор держат, а ты думаешь для чего?..

— Оно так,— отвечал мужик, продолжая озираться на стороны,— вестимо так, а все словно думается...

— Что говорить,— начал рыжий, переменив вдруг насмешливый тон на серьезный,— кто против того? животину водить — не разиней ходить, это всякий знает... полно, земляк, полно; а ты взаправду опасаешься, что ли?..

— Как перед богом, боюсь... добрый человек.

— Ну, коли так, привяжи ее пока здесь к столбу, а потом приходи сюда спать; я и сам с тобою лягу... пойдем выпьем по чарке винца, смерть прозяб... а там подкинем соломы да всхрапнем... ладно, что ли?..

— Ладно, коли твоя добрая душа будет...

— Привязал?

— Привязал...

— Мотри, привязывай крепче, чтоб не отвязалась неравно да не ушла...

— Нет, не уйдет...

— Пойдем.

Изба, в которую рыженький ввел Антона, была просторна; по крайней мере так показалась она последнему при тусклом свете сального огарка, горевшего на столе в железном корявом подсвечнике; один конец перегородки, разделявшей ее на две части, упирался в исполинскую печь с уступами, стремешками и запечьями, другой служил подпорою широким полатям, с которых свешивались чьи-то длинные босые ноги и овчина. За столом, под образами, сидели четыре человека и ужинали; подле них хлопотала хозяйка, рябая, встрепанная, заспанная баба.

— Хлеб да соль, братцы,— вымолвил рыженький, запирая дверь,— здравствуй, хозяйка!

— Хлеб да соль,— проговорил в свою очередь Антон, крестясь перед образами.

— Спасибо,— отозвались сидевшие мужики.

— Вам постоять, что ли? — грубо спросила дворничиха.

— И то тебя, вишь, не обходим, вот и товарища привел.... ну, а хозяин где?

— Кто там?.. — послышалось сверху, и в то же время длинные ноги, висевшие с полатей, перевернулись и показали, что принадлежащее им туловище перевалилось на спину.

— Что там развалился, черт? — закричала сиповатым голосом хозяйка, — ступай! вишь, народ подошел...

На полатях послышалась зевота.

— О-о-о! Господи, господи, о-о! — бормотал хозяин, сползая по стремешкам печи вниз. — А! — воскликнул он, останавливаясь, — а! здорово, рыжая борода!

Рыженький подал ему из-за спины Антона выразительный знак рукою. Хозяин тотчас же замолчал; закинув обе руки за шею, он потянулся, зевнул и продолжал лениво:

— Эк вы поздно как таскаетесь, люди спать давно полеглись; ну, а мужичок с тобой пришел?

— Со мной.

— Лошадь есть?

— Есть.

— Сенца надыть, что ли? — спросил хозяин Антона, — у меня сено знатное...

— Нет, — отвечал простодушно Антон, — сена не надо, я лошадь-то продавать привел: и так простоит, сердешная...

— Твоя на то воля... ужинать небось станете?

— Давай!..

— Такая-то беда у меня... малого своего отослал в Зименки... до сих пор не вернулся; сам за все и про все, — говорил хозяин, слезая наземь.

— А почем ужин? — рассеянно спросил рыженький.

— Известно, что тут толковать, лишнего не берем, что в людях, то и у нас: шесть гривен с хлебом.

— Ладно... Эй, хозяйка! собирай скорей, смерть проголодались.

— Вам чего? щей плехнуть, аль гороху вальнуть, аль лепеху с семенем? — спросила хозяйка.

— Давай что ни есть... Хозяин, а хозяин, нет ли, брат, винца?

— Как не быть... вам сколько?

— Что, Антон, голову-те повесил, вино есть, аль не слышишь? выпьем, говорю, завтра знатный будет день. Хозяин, давай штоф!..

Когда дворник вышел, рыженький повертелся еще

несколько минут подле печки и шмыгнул в двери. Это было сделано так ловко, что Антон ничего не заметил; он снял с себя полушубок, повесил его на шесток, помолился богу, сел за стол и в ожидании ужина принялся рассматривать новых своих товарищей. Двое из них немного погодя встали, перекрестились и молча улеглись на нары, занимавшие целую стену избы. Антон увидел, что тут спало еще несколько человек мужиков. Из оставшихся двух за столом один особенно привлек внимание нашего мужика. Это был толстенький, кругленький человек, с черною окладистой бородкой, плоскими маслистыми волосами, падавшими длинными космами по обеим сторонам одутловатого, багрового лица, отличавшегося необыкновенным добродушием; перед ним на столе стояла огромная чашка каши, деревянный кружок с рубленой говядиной и хрящом и миска с лапшою; он уписывал все это, прикладываясь попеременно то к тому, то к другому с таким рвением, что пот катился с него крупными горошинами; слышно даже было, как у него за ушами пищало. Антон первый прервал молчание.

— Вы отколе? — спросил он.

Мужик встряхнул головою, устремил на него оловянные глаза и, проглотив кашу, мешавшую ему закрыть рот, отвечал:

— Сдалече: ростовские.

— Господские?

— Барские...

— Больша вотчина?

— Большая...

Тут хозяйка поставила перед ним чашку тертого гороху; мужичок принялся за него с тем же ничем не сокрушимым аппетитом и уже ничего не отвечал на вопросы Антона. Скоро вернулся рыженький с штофом вина, сел подле товарища, и оба принялись ужинать. Немного погодя явился и сам хозяин.

— А ты ехать собрался, что ли? — спросил он у мужичка, сидевшего рядом с ярославцем.

— Да, мне пора,— отвечал тот, подтягивая кушак,— до свету надо быть дома.

Антон мгновенно поднял голову, поглядел на него, вздохнул и перестал есть. Хозяин снял с полки счеты и подошел к отъезжавшему вместе с хозяйкой.

— Щи хлябал?

— Хлябал.

— Кашу ел?

— Ел.

— Масло лил?

— Лил.

— Сорок копеек,— произнес отрывисто хозяин, щелкнув костями.

Мужик расплатился, помолился перед образами и, поклонившись на все четыре стороны, вышел из избы. В то время толстоватый ярославец успел уже опорожнить дочиста чашку тертого гороху. Он немедленно приподнялся с лавки, снял с шеста кожух, развалил его подле спавшего уже товарища и улегся; почти в ту ж минуту изба наполнилась его густым, протяжным храпеньем. Дворничиха полезла на печь. В избе остались бодрствующими рыженький, Антон и хозяин.

— Хозяин! — начал первый, прислушавшись прежде к шуму телеги отъехавшего мужика,— подсядь-ка, брат, к нам, не спесивься; вот у меня товарищ-ат что-то больно приуныл, есть не ест и пить не пьет; что ты станешь с ним делать...

— Ой ли? — произнес хозяин, подходя к столу,— ну, давай... как, бишь, звать-то тебя?.. Пантелеем, что ли?

— Антоном...

— Давай, брат Антон, я выпью... да ты-то что? э! полно, чего кобенишься, пра, выпей, вино у меня знатное, хошь пригубь...

Антон выпил.

— Не то, братцы, на разуме у меня; так разве со стужи,— произнес он, крякнув и обтирая бороду.

— Пей, не робей,— вскрикнул рыженький, перемигиваясь с хозяином... Ну-кась, брат, со стужи-то еще стаканчик...

— Спасибо... много доволен...

— Э! что за спасибо! пей, сколько душа примет... знамо, первая чарка колом, вторая соколом, а третью и сам позовешь; пей; душа меру, брат, знает... а там и спать пойдем...

— Под навес? — спросил Антон, глаза которого начинали уже разгораться.

— Вестимо что под навес... вот добрый хозяин и соломки даст... да пей же, брат, пей без опаски... хлеб ешь?

— Ем.

— Ну, а разве вино не тот же хлеб! маненько толь-

ко пожиже будет... валяй! Ну, экой, право, приквельной какой, долго думать, тому же быть...

— Для ча не выпить, когда добрый человек подносит,— подхватил хозяин.— От эвтого, брат Антон, зла не будет... пей за столом, говорят добрые люди, да не пей, мотри, только за углом...

Антон выпил еще стакан.

— Братцы! — произнес он вяло и принимаясь тереть лицо, лоб и щеки, с которых катился крупными каплями пот.— Братцы, пра, пора... вот те Христос... домой пора бы. Варвара-то... э! Варвара... братцы...

— Погоди... поспеешь еще...— отвечал рыженький, наливая еще стакан,— вот выпей наперед, выпей, слышь, последний выпей... на стужу идешь...

— Пейте скорее, ребята, и мне пора спать... чай, полночь давно на дворе...— вымолвил хозяин, зевая и потягиваясь.

Антон осушил стакан бычком и почти в ту же минуту повалился как сноп на лавку...

— Спит? — спросил поспешно хозяин у рыженького, который уже нагнулся к Антону и слушал.

— Хоть кол на голове теши, не услышит! — отвечал тот, выпрямляясь и махнув рукою.

Оба засмеялись. Рыженький подошел к столу, выпил оставшуюся в штофе водку, взял шапку и стал поочередно оглядывать спавших на нарах; убедившись хорошенько, что все спали, он задул свечу и вышел из избы вместе с хозяином...

VI

ПЕГАШКА

Время подходило уже к самому рассвету, когда толстоватый ярославец был внезапно пробужден шумом в избе. Открыв глаза, он увидел стол опрокинутым; из-под него выползал на карячках Антон, крестясь и нашептывая: «Господи благослови, господи помилуй, с нами крестная сила...»

— Что, брат, с тобою?.. Эй, что ты? — спросил мужичок, соскакивая с нар и принимаясь трепать Антона по плечу.— Эк ты меня испужал; словно «комуха» [1], так вот и трясет меня всего...

[1] Лихорадка, по-ярославски. *(Примеч. автора.)*

— Господи благослови... ох!.. насилу отлегло...— выговорил Антон, вздрагивая всем телом,— ишь, какой сон пригрезился... а ничего, ровно ничего не припомню... только добре что-то страшно... так вот к самому сердцу и подступило; спасибо, родной, что подсобил подняться... Пойду-ка... ох, господи благослови! пойду погляжу на лошаденку свою... стоит ли она, сердешная...

Антон снова перекрестился и поспешно вышел из избы. Мужик сел на нары и начал мотать онучи.

Шум, произведенный Антоном, разбудил не одного толстоватого ярославца; с полатей послышались зевота, оханье, потягиванье; несколько босых ног свесилось также с печки. Вдруг на дворе раздался такой пронзительный крик, что все ноги разом вздрогнули и повскакали наземь вместе с туловищами. В эту самую минуту дверь распахнулась настежь, и в избу вбежал сломя голову Антон... Лицо его было бледно, как известь, волосы стояли дыбом, руки и ноги дрожали, губы шевелились без звука; он стоял посередь избы и глядел на всех страшными, блуждающими глазами.

— Что там? — отозвалась хозяйка, просовывая голову между перекладинами полатей.

— Что ты?.. эй, сват!.. мужичок... дурманом прихватило, что ли?.. Эк его разобрало,— заговорили в одно время мужики, окружая Антона.

— Что ты всех баламутишь? — произнес грубо хозяин, оттолкнув первого стоявшего перед ним мужика и хватая Антона за рубаху.— Да ну, говори!.. что буркалы-то выпучил...

— Увели!..— мог только вскрикнуть Антон.— Лошаденку... ей-богу... кобылку пегую увели!..

— Ой ли?.. братцы... ишь, что баит... долго ли до греха... э! э! э!..

И все, сколько в избе ни было народу, не исключая даже Антона и самого хозяина, все полетели стремглав на двор. Антон бросился к тому месту, куда привязал вечор пегашку, и, не произнося слова, указал на него дрожащими руками... оно было пусто; у столба болталась одна лишь веревка...

— Взаправду увели лошадь! ишь вот, вот и веревка-то разрезана, ножом разрезана... и... и... и...— слышалось отовсюду.

Антон ухватился обеими руками за волосы и зарыдал на весь двор.

— Братцы,— говорил бедный мужик задыхающимся голосом,— братцы! что вы со мною сделали?.. куды я пойду теперь?.. Братцы, если в вас душа есть, отдайте мне мою лошаденку... куды она вам?.. ребятишки, вишь, у меня махонькие... пропадем мы без нее совсем... братцы, в Христа вы не веруете!..

Ничто не совершается так внезапно и быстро, как переходы внутренних движений в простом народе: добро ряд об ряд с лихом, и часто одно венчается другим почти мгновенно. Почти все присутствующие, принявшие было горе Антона со смехом, теперь вдруг как бы сообща приняли в нем живейшее участие; нашлись даже такие, которые кинулись к хозяину с зардевшими, как кумач, щеками, со сверкающими глазами и сжатыми кулаками. Толстоватый ярославец горячился пуще всех.

— Ты, хозяин, чего глядел! — вскричал он, подступая к нему.— Разве так делают добрые люди? нешто у *тие* постоялый двор, чтобы лошадей уводили?.. нет, ты сказывай нам теперь, куда задевал его лошадь, сказывай!..

— Да ты-то, тие, тие... охлестыш ярославский, пузатый,— возразил не менее запальчиво хозяин,— мотри, не больно пузырься... что ко мне приступаешь? Мотри, не на таковского наскочил!..

— Вестимо, вестимо,— заговорили в толпе,— он тебе дело баит; сам ты, мотри, не скаль зубы-те! нешто вы на то дворы держите? этак у всех нас, пожалуй, уведут лошадей, а ты небось останешься без ответа...

— Да что вы, ребята,— отвечал хозяин, стараясь задобрить толпу,— что вы, взаправду: разве я вам сторож какой дался! Мое дело пустить на двор да отпустить, что потребуется... А кто ему велел,— продолжал он, указывая на Антона,— не спать здесь... Ишь он всю ночь напролет пропил с таким же, видно, бесшабашным, как сам; он его и привел... а вы с меня ответа хотите...

— Братцы! — закричал Антон, отчаянно размахивая руками,— братцы, будьте отцы родные... он, он же и поил меня... вот как перед богом, он, и тот парень ему, вишь, знакомый... спросите хошь у кого... во Христа ты, видно, не веруешь!..

— Ребята,— вымолвил ярославец,— я сам видел, как он вечор поил его... право слово, видел...

— А нешто я отнекиваюсь? Пил с ними; да, позвал меня товарищ, сам подносил; ну и пил...

— Да ты его знаешь... того, рыженького-то? Что прикидываешься!

— А отколь мне знать его? Эка леший! Нешто у меня здесь мало всякого народу перебывает! так мне всех и знать... я его впервинку и в глаза-то вижу... да что вы его, братцы, слушаете? может, лошадь-то у него крадена была... вы бы наперед эвто-то разведали.

— Братцы, кобылка, как перед господом богом, девятый год у меня стоит... спросите, у кого хотите...

— Да, ишь ловок больно! А у кого они спросят? Экой прыткой какой! — заметил хозяин.

— Что мне теперь делать? Что делать, братцы? — воскликнул снова бедный мужик, ломая руки.

— Слушай, брат, как, бишь, тебя?..

— Антон, родимый... как перед господом богом, Антон.

— Ну, хорошо; слушай, Антон,— сказал ярославец, выступая вперед,— коли так, вот что ты сделай: беги прямо в суд, никого не слушай, ступай как есть в суд; ладно; сколько у те денег-то?..

— Ни полушки нетути, касатик, то-то и горе мое; кабы деньги были, так разе стал бы продавать последнюю лошаденку... Нужда!..

— Как! у тебя денег нету? — возразил хозяин, разгорячаясь.— Ах ты, мошенник! так как же ты приходишь на постой?.. ты, видно, надуть меня хотел... Братцы! вот вы за него стояли, меня еще тазать зачали было... вишь он какой! он-то и есть мошенник...

— Тебе, я чай, сказывал рыженький... ах он... Господи! чем погрешился я перед тобою? — произнес Антон, едва-едва держась на ногах.

— Да, теперь отвертываться да на другого сваливать станешь... Ах ты, бездельник! да я сам пойду в суд, сам потащу тебя к городничему; мне и приказные-то все люди знакомые, и становой!..

— Полно, хозяин, ты, может, напраслину на него возводишь, ишь он какой мужик-ат простой, куды ему чудить! и сам, чай, не рад, бедный; может, и сам он не ведал, с каким спознался человеком...— послышалось в толпе.

Но хозяин и слышать не хотел; сколько ни говорили ему, сколько ни увещевал его толстоватый яросла-

вец, принимавший, по-видимому, несчастие Антона к сердцу, он стоял на одном. Наконец все присутствующие бросили дворника, осыпав его наперед градом ругательств, и снова обратились к Антону, который сидел теперь посередь двора на перекладине колодца и, закрыв лицо руками, всхлипывал пуще прежнего.

– Слушай, брат Антон,– начал один из них,– не печалься добре; гореваньем лошади не наживешь; твоему горю можно еще пособить; этако дело не впервинку случается; слушай: ступай-ка ты прямо, вот так-таки прямо и беги в Заболотье... знаешь Заболотье?..

– Нет, кормилец, не знаю: я не здешний.

– Ну, да нешто... ступай все прямо по большой дороге; на десятой версте, мотри, не забудь,– на десятой, сверни вправо, да там спросишь... Как придешь в Заболотье-то, понаведайся к Ильюшке Степняку... там тебе всякой укажет...

– Полно, кум, что баишь пустое! Ну, зачем пойдет он в Заболотье? тут вот, может статься, и ближе найдешь свою лошадь... Послушай, брат Антон, ступай помимо всех в Спас-на-Журавли, отсель всего верст двадцать станет... я знаю, там спокон века водятся мошенники... там нагдысь еще накрыли коноводов... ступай туда...

– А как туда пройти-то, касатик?..

– Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку влево; там тебе будет село Завалье; как пройдешь Завалье-то, спроси Селезнев колодезь...

– Эка, а Кокино-то и забыл...– заметил кто-то.

– Да, как пройдешь Завалье, спроси Кокинску слободу; обмолвился было маненько, ну, да нешто... а из Селезнева колодца пройдешь прямо в Спас-на-Журавли... вотчина будет такая большая...

– Дядя Михека, а дядя Михека,– перебил высокий и плешивый мужик, придвигаясь медленно к говорившему.

– Ну, что?

– А вот послушай ты меня, старика, что я тебе скажу...

– Ну...

– Право слово, ему податнее будет сходить в Котлы... вот как бог свят, податнее... Антон, право слово, ступай в Котлы; оно, что говорить, маненько

подалее будет, да зато, брат, вернее; вот у нас намедни у мужичка увели куцего мерина, и мерин-ат такой-то знатный, важнеющий, сказывали, в Котлах, вишь, нашли...

— Э! эка ты проворный какой! ну куда ты его за семьдесят-то верст посылаешь...

— А что? пойдет и за двести, коли лошади не отыщет,— ответил тот с чувством оскорбленного самолюбия.

— Полно, Антон, ступай, говорю, в Спас-на-Журавли; там как раз покончишь дело...

— И то ступай в Спас-на-Журавли! — закричали многие,— в Спас-на-Журавли ступай!

— Да, как бы не так,— возразил сурово хозяин,— я небось так вот и отпущу его вам в угоду... он у меня пил, ел, а я его задаром отпущу; коли так, нут-кась, ты хорохорился за него пуще всех, ну-кась заплати... что?.. а! нелюбо?..

— Что?..

— А вот то-то — теперь что? что?..

— Что мне тебе дать...— сказал Антон, поспешно вставая,— бери, что хочешь, бери, не держи только...

— Давай полушубок!

— Бери, господь с тобою...

— Так-то сходнее; придешь опять — отдам, не то пришли из деревни девять гривен... за постой да за ужин...

— Ах ты, алочный человек! пра, алочный! жалости в тие нет...— сказал ярославец.— Ишь, на дворе стужа какая... того и смотри, дождь еще пойдет... ишь, засиверило, кругом обложило; ну, как пойдет он без одежды-то? ему из ворот, так и то выйти холодно...

— А мне что, он пил, ел...

— Тебе что! эх ты...

— Да ты-то что! ну, отдай ему свой полушубок, коли жалеешь...

— А я в чем пойду?

— Ну, вот то-то и есть; и всякой хлопочет, себе добра хочет...

— Куда же мне идти теперь? — перебил Антон, отдавая полушубок хозяину.

— Ступай в Спас-на-Журавли! — закричало несколько голосов.

— Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку вправо... не забудь, Завалье, так Кокино...

— Спасибо... отцы мои... спасибо... — бормотал Антон, выбегая без оглядки на улицу.

— Ступай все прямо... ступай!.. — кричали ему вслед мужики, выходя также за ворота, — ступай, авось лошадь найдешь...

— А вряд ему найти, — заметил кто-то, когда Антон был уже довольно далеко, — ведь денег у него нету...

— Ой ли? и то, и то... где ж тут найти! попусту только измается, сердешный...

— Ну, да пущай его поищет, авось как-нибудь и набредет на след... без денег, вестимо, плохо... да во всем милость божия...

— Дядя Федосей, найдет он лошадь аль нет?

— Как тут найдешь, черта с два найдешь; слышь, денег нету... напрасно набегается...

В это время Антон остановился у берега и крикнул:

— А куды пройти к заставе?

— Ступай, ступай все прямо по горе, мимо острога... ступай на гору, ступай вверх по горе... — отвечали мужички в один голос...

И долго еще продолжали они таким образом кричать ему вслед; Антона и вовсе не было видно; уже давным-давно закрыла его гора, а они все еще стояли на прежнем месте, не переставая кричать и размахивать на все стороны руками.

VII

РОССКАЗНИ

Наконец-то мало-помалу мужички успокоились; кто сел на лавочку подле ворот, а кто на завалинку. Пошли толки да пересуды о случившемся. Хозяин присоединился к ним как будто ни в чем не бывало; сначала, однако, не принимал он ни малейшего участия в россказнях, сидел молча, время от времени расправлял на руках полушубок Антона, высматривая на нем дырья и заплаты, наконец свернул его, подложил под себя и сел ближе, потом слово за словом вмешался незаметно в разговор, там уже и заспорил. Кончилось тем, что не более как через полчаса все присутствующие, не выключая и тех, которые более других бранили дворника, согласились с ним во всем и чуть

ли даже не обвинили кругом бедного Антона. Сам толстоватый ярославец, принявший было так горячо сторону обиженного, и тот начал понемногу подаваться...

— Знамо, что́ говорить,— сказал он примирительным тоном хозяину,— кто его знает, что он за человек? в чужой разум не влезешь... да ведь разве я тебя тазал когда?.. когда я тебя тазал?.. я к слову только молвил, к полушубку; мужика-то жаль добре стало... ишь, стужа... а я тебя не тазал, за что мне тебя тазать?..

— Известно, братец ты мой, надо настоящим делом рассуждать,— отозвался седой старик,— за что ему на тебя злобу иметь, за что? (Он указал хозяину на ярославца.) Он ему не сват, не брат... может статься, так, слово какое в пронос сказал, а ты на себя взял; что про то говорить, может, и взаправду конь-то у него краденый, почем нам знать? Иной с виду-то таким-то миряком прикидывается, а поглядишь — бядовый! вор какой али мошенник...

— Как не быть! всяк случается, братец ты мой,— начал опять ярославец,— ты не серчай... Вот, примерно,— прибавил он после молчка,— у нас по соседству, верстах эвтак в пяти, и того не станет, жил вольной мужик, и парень у него, сын, уж такой-то был знатный, смирный, работящий, что говорить, на все и про все парень!.. С достатком и люди-те были... Об лето хаживали, вишь, они по околотку, и у нашего барина были, крыши да дома красили, тем и пробавлялись; а в зимнее дело либо в осенину ходили по болотам, дичину всякую да зайцев стреляли; кругом их такие-то все болота, и, и, и! страсти господни! пешу не пройтить! вот какие болота! Ну, хорошо; и говорю, мужички богатые были, не то, примерно, голыши какие... К ним господа езжали, и наш барин бывал, другой день поохотиться приедет, знамо, дело барское, ину пору позабавиться... Старик-ат куды, сказывают, горазд был знать места, где дичина водилась; куда, бывало, поедет, руками загребай; вот по эвтой-то причине господа-то... да, ну хорошо. Молодяк, сын-ат, слышите, братцы, такой-то парень был, что, кажись, во всем уезде супротив ни одному не вытянуть... куды смирный, такой-то смирный... хорошо, вот, на бяду, спознаться ему с солдаткой из Комарева; знамо, дело молодое! а уж она такая-то забубенная, озорная баба,

бяда! Ну хорошо, стакнулись, согласились, живут, то есть, выходит, примерно, по согласью живут. Вот, братцы, раз этак под утро приезжают к ним три купца: также поохотиться, видно, захотели; ну, хорошо; парнюха-то и выгляди у одного из них невзначай книжку с деньгами; должно быть, они с ярманки или базара какого к ним завернули; разгорелось у него сердце; а парень, говорю, смирный, что ни на есть смирнеющий; скажи он сдуру солдатке-то про эвти деньги, а та и пошла его подзадоривать, пуще да и пуще, возьми да возьми: никто, мол, Петруха, не узнает... А какой не узнает! где уж тут не узнать...

— Как не узнать!.. вона дело-то какое... э! э! ишь, проклятая!.. ишь, чего захотела... э! — заговорили в одно время слушатели, качая головами.

— Ну хорошо, — продолжал ярославец, — как начала она его так-то подзадоривать, а парень, знамо, глупый, дело молодое, и польстись на такое ее слово; она же, вишь, сам он опосля рассказывал, штоф вина ему принесла для куража, а может статься, и другое что в штофе-то было, кто их знает! туман какой, что ли! Ну, поснедали купцы, запалили ружья, да и пошли в лес; взяли с собой и парня, Петруху-то; ну хорошо. Вот, братцы вы мои, и залучи он того, с деньгами, в трущобу, вестимо ради охоты... Пришли. Как закричит Петруха-то на зайца, тот сердешный купец и кинулси; как кинулси-то он, а Петруха-то тем временем как потрафит да как стрельнет ему в спину, так, сказывали, лоском и положил купца, зараз потерял человека...

— Э!.. о!.. вона оно... ишь!.. эка грех какой!.. — отозвалось несколько голосов.

— Ну хорошо, — продолжал ярославец, — сам, братцы, сказывал опосля Петруха... самому, говорит, так-то стало жалко, ужасти, говорит, как жалко, за что, говорит, потерял я его; а как сначала-то обернулся купец-ат, говорил Петруха, в ту пору ничего, так вот сердце инда закипело у меня, в глазах замитусило... и не знать, что сталось такое... знать уж кровь его попутала... Ну хорошо, как повалился купец, Петруха по порядку, как следно, взял у него деньги, закопал их в землю, да и зачал кричать, словно на помощь, примерно, зовет, кричит: застрелился да застрелился! Стало, уж так недобрый какой обошел его; пришли два другие купца; прибежали, спраши-

вают Петруху... а тот и замялся, сробел, сердешной... Осмотрели они купца, видят, что спина у него опалена; глядят, дело неладно, обшарили – и денег нетути; так да сяк, взяли они Петруху, тогда сам, вишь, дался, в неправде-то бог, знамо, запинает, скрутили да в острог и посадили; в нашем остроге и сидел... Так вот, братцы, како дело вышло, а парень, говорю, что ни на есть смирнеющий, хороший парень, ловкий такой...

– Ну, а чем же, брат, дело-то покончилось? – спросили несколько человек.

– Дело-то чем покончилось?.. а вот чем: сидит так-то год целый Петруха в остроге... ладно; а отец, старик-ат, тем временем хлопотать да хлопотать, много и денег передавал, сказывают... ну, совсем было и дело-то уладил, ан вышло и бог знает как худо. Солдатка-то Петрухина повадилась опять, вишь, к нему таскаться; уж как угодила она, леший ее знает, а только в острог к нему таскалась. Ходила, ходила, да и выведай от него, недобрая мать, про деньги-то! простой был парень: он сдуру-то и поведай ей то место, куды закопал их; известно, может, думал, пропадут задаром, так пусть же лучше ей достанутся; хорошо; как получила она себе деньги, и пошла дурить, то есть чего уж ни делала! что ни день, бывало, платки у нее да шелки, прикрасы всякие, то есть цвету такого нет в поле, какие наряды носила, вот как! Знамо, бабье дело: чем бы деньги-то приберечь, припрятать, а она гремит их на весь свет... Что то за диво? – думали в Комареве. Отколь валит такое у Матрешки? таракали, таракали, хвать да хвать, спросы да расспросы, туда-сюда, да и доведались: все рассказала, где взяла, откуда и как достались... Дело и спознали... тут, как уж потом ни бился старик-отец, ничего не сделал; денег-то, знамо, уж не было у него в ту пору, все растуторил, роздал, кому следует... так и осталось... Заковали Петрушку в кандалы и погнали в Сибирь... Я помню, как и отправляли-то его, сердешного, довелось видеть... народу-то!.. и, и, и!.. видимо-невидимо... право, так инда жаль его стало: парень добре хороший был...

– Ну, а отец что?

– Да, сказывают, прошлу зиму помер...

– Ишь оно дело-то какое; какой грех на душу принял: польстился на деньги, – заметил старик. – А

что, братцы, он ведь это неспроста? помереть мне на этом месте, коли спроста...

— Знамо, что неспроста,— подхватил другой глубокомысленно,— надо настоящим делом рассуждать; разве по своей воле напустит на себя человек тако лихоимство? шуточно ли дело, человека убить! лукавый попутал!..

Во время этого разговора к воротам постоялого двора подъехала телега; в ней сидели два мужика: один — молодой, парень лет восемнадцати, другой — старик. Последний, казалось, успел уже ни свет ни заря заглянуть под елку и был сильно навеселе.

— Ребята! Эй, молодцы! — кричал он еще издали, размахивая в воздухе шапкою,— хозяин! можно постоять до ярманки?

— Ступайте,— откликнулся хозяин,— на то и двор держим, ступайте...

Он отворил ворота и ввел приезжих под навес.

Вскоре хмельной старичишка и молодой парень, сопровождаемые хозяином, подсели к разговаривающим.

— Про что вы тут толмачите, молодцы? — спросил старикашка, оглядывая общество своими узенькими смеющимися глазками; тут приподнял он шапку и, показав обществу багровую свою лысину, окаймленную белыми, как снег, волосами, посадил ее залихватски набекрень.

Присутствующие разразились громким единодушным смехом.

— Ишь, балагур, старик какой! ай да молодец! а нут-кась, тряхни-ка стариной! у! у! — послышалось со всех сторон.

— Ой ли? — произнес старик, подпираясь в бока и пускаясь в пляс,— ой ли? аль не видали?..

— Полно, батюшка,— сказал сердито молодой парень, удерживая его,— эк на старости лет дуришь, принес свою бороду на посмешище городу; полно...

— А что ж,— отвечал тот, силясь вырваться из рук сына.— Ах ты такой-сякой... я ж те, не замай... пфу!.. да ну те к нечистому, плюньте на него, ребятушки... давайте сядемте-ка... рассказывай ты, рыжая борода, о чем вы тут таракаете?..

— А вишь, нынешнюю ночь увели отсель у мужичка лошадь...— отвечал кто-то, думая вызвать этим известием хмельного старичка на потеху.

— Эхва! увели... ну, а где ж он сам-ат? в кабачище, чай, косуху рвет с горя?..

— Да, как же, в кабаке... побежал, вишь, ее разыскивать...

— Эй, Ванюха, чертова кукла! — вскричал старичишка, обращаясь мгновенно к сыну, который, казалось, очень был недоволен штуками отца, — мотри, уж не тот ли это мужик... Вот, ребятушки, — продолжал он, оскаливая свои беззубые десны и заливаясь хриплым смехом, — не будет тому больно давно, повстречали мы за заставой мужичка... такой-то чудной... так вот и бежит и бежит по полям, словно леший его гонит... — «Поглядь-ка, говорю, Ванюша, никак мужик бежит по пашне». — «И то, говорит, бежит...» Поглядели... бежит, так-то бежит, и, и, и! и давай кричать: «Эй, погоди, постой!..» Куды-те, дует себе, не докличешься!.. уж такой-то право, мужик любопытный! пра, любопытный!.. должно быть, он...

— Он, он и есть... он... — отозвалось несколько голосов.

Старик ухватился под бока, и все туловище его закачалось от хриплого прерывистого хохота. Тут разговор сделался общим; несколько человек, увлеченные сочувствием к старичку-балагуру, тотчас же принялись рассказывать ему в один голос все подробности происшествия ночи.

Между тем занялось утро; окрестности мало-помалу пробудились; по скату горы снова потянулись подводы, забелели палатки, запестрел народ. Паром, нагруженный возами и мужиками, задвигался по реке, противуположный берег которой заслонялся совершенно серым, мутным туманом; в кузницах подле постоялого двора загудели меха, зазвенело железо. Ярмарка снова начиналась, кому на горе, а кому и на радость. В самое короткое время двор наполнился постояльцами, приезжавшими из заречья; кое-кто из пешеходов подходил и со стороны города. Последние располагались кучками подле ворот и вокруг избы; в числе их особенно много было баб-проходимок, богомолок, нищих. Между последними нельзя было не заметить Архаровны. Она, по-видимому, не принадлежала ни к какой кучке и одиноко бродила туда и сюда. Никто из присутствующих не знал побирушки; но одна ее одежда, состоящая на этот раз исключительно из лохмотьев, связанных узлами и укутывавших ее

с головы до ног, так что снаружи выглядывало только сморщенное, темное лицо старухи и несколько пучков серых, желтоватых волос, в состоянии уж была обратить на себя всеобщее внимание. К тому также немало способствовали: сапоги вместо лаптей, непомерно длинная суковатая клюка, а наконец, и широкая сума, набитая вплотную и которую Архаровна держала на сгорбленной спине своей так же свободно, как любой бурлак. Три молодые парня, стоявшие у ворот, были первые, которые ее заметили. «Ишь,— сказал один,— вот так старуха; ну уж, баба-яга, подлинно что баба-яга».— «Да,— подхватил другой,— повстречаться с такой-то ночью, так испужаешься: подумаешь, нечистого встретил...» — «Ишь, старая, старая,— продолжал насмешливо третий,— а шутка каку штуку наворошила себе на спину... и нашему брату не под моготу...»

Архаровна подошла, припадая с одной ноги на другую, к окну избы, постучалась легонько по раме клюкою и произнесла жалобно нараспев: «Кормилицы наши, батюшки, подайте милостинку во имя Христо-о-во...» Окно отворилось, из него высунулось рябое лицо дворничихи. «Бог подаст, много вас здесь шляндает... ступай-ка, ступай...» — сказала она грубо и без дальних рассуждений захлопнула окно. Архаровна перекрестилась, потупила голову и подошла тем же точно порядком, припадая и прихрамывая, к толпе, стоявшей у ворот.

— Что, бабушка,— сказал один из молодых парней, ударяя ее по плечу,— умирать пора!..

— Ась, касатик!..

— Умирать пора, что шляешься...

— По хлебушко, кормилец, хлебушка нетути...

— А вон это что у тебя в мешке? ишь туго больно набито,— заметил он, подходя ближе и протягивая руку, чтобы пощупать суму; но старуха проворно повернулась к нему лицом и никак не допустила его до этого.

Другой молодой парень, стоявший поблизости, ловко подскочил в это время к ней сзади, и та не успела обернуться, как уже он обхватил мешок обеими руками и закричал, надрываясь от смеха:

— Старуха, мотри, эй, крупа-то высыпалась... право, на дне прореха... дорогой, того и гляди, всю раструсишь...

— Оставь!.. каку тут еще крупу нашел... — бормотала сердито Архаровна, стараясь высвободить мешок из рук парня, — экой пропастный, полно, оставь...

Но парень одним поворотом руки бросил суму наземь, повернул старуху и указал ей на прореху, из которой в самом деле сыпалась тоненькою струею крупа.

— Ахти!.. батюшки!.. — крикнула старуха, расталкивая собравшихся зевак и поспешно нагибаясь, — ой, касатики мои... вот люди добрые подали крупицы на мою бедность... да и та растерялась... ох...

И она заплакала.

— Знать, много ты бедна, — сказал иронически парень, — что целый мешок наворочали тебе люди-то добрые... эки добрые, право; у них крупа-то, видно, что скорлупа... Да что ты пихаешься, тетенька? небось не возьму, не съем, — продолжал он, удерживая одною рукою Архаровну, другою развертывая суму. — Ишь, ребята... эй, поглядите, какова нищенка... вона чего припасла... вон в кулечке говядинка... э! э!.. эхва, штоф винца в тряпице... два! братцы! два штофа и сала кусок, э! а вот и кулек с крупою... жаль только, тетка, прорвался он у тебя маленько... ай да побирушка! да полно, уж не живешь ли ты домком... Чай, на ярманке накупила по хозяйству... что ж, в гости-то позовешь нас, что ли?.. да полно, ну, чего пузыришься, ишь огрызается как! говорят, не съедим, не тронем, поглядеть только хотелось...

И он обхватил ее еще крепче руками.

— Ишь, взаправду, чего набрала, — заметил старик, подбираясь к мешку, — а еще милостинку собираешь... эх, ты... жидовина... да тебе, старой, эвтого и в год не съесть...

Все эти замечания, хохот, насмешки толпы, обступившей парня и нищенку, остервенили донельзя Архаровну; куда девались ее несчастный вид и обычное смирение! она ругалась теперь на все бока, билась, скрежетала зубами и казалась настоящей ведьмой; разумеется, чем долее длилась эта сцена, тем сильнее и сильнее раздавался хохот, тем теснее становился кружок зрителей... Наконец кто-то ринулся из толпы к парню и, ухватив его за плечи, крикнул что было силы:

— Эй, Петруха, мотри, укусит... пусти!..

Парень отскочил; толпа завыла еще громче, услы-

шав страшные ругательства, которыми старуха начала осыпать ее. Наконец Архаровна встала; повязка сползла с головы ее, седые волосы рассыпались в беспорядке по лохмотьям; лицо ее, искривленное бешенством, стало вдруг так отвратительно, что некоторые отступили даже назад. Она подобрала, не оправляясь, все свои покупки в суму, взяла ее в обе руки, забросила с необыкновенною легкостью на плечи и, осыпав еще раз толпу проклятиями, поплелась твердым шагом к городу. Все это исполнено было так неожиданно, что все опешили от удивления; густой, оглушительный хохот раздался уже тогда в толпе, когда старуха совсем исчезла из виду...

Хмельной старичишка, приехавший с молодым парнем, готовился было начать рассказ о встрече своей с Антоном какому-то мельнику (что делал он без исключения всякий раз, как на сцену появлялось новое лицо), когда к кружку их подошел человек высокого роста, щегольски одетый; все в нем с первого разу показывало зажиточного фабричного мужика. На нем была розовая ситцевая рубаха, подпоясанная низехонько пестрым гарусным шнурком с привешенным к нему за ремешок медным гребнем; на плечах его наброшен был с невыразимою небрежностью длинный-предлинный синий кафтан со сборами и схватцами. Зеленые замшевые рукавицы, отороченные красной кожей, высокая шляпа, утыканная алыми цветами с кулича, и клетчатый бумажный платок, который тащил он по земле, довершали его наряд.

— Здравствуйте, братцы,— произнес он, приподымая легонько шляпу,— вот что, не здесь ли остановился троскинский мужичок Антон?.. Он сюда лошадь приехал продавать... лошаденка у него пегая, маленько с изъянцем... Обещался я его проведать да никак не найду; по всему низовью прошел, ни на одном постоялом дворе нету...

— А какой он из виду? — спросил кто-то.

— Такой сухолядый, долговязый, лет ему под пятьдесят... с проседью...

— Э! э! э!..— раздалось в толпе,— да уж не тот ли, братцы?..

— С кем я повстречался на дороге? — подхватил хмельной старичишка,— говорю, мотри, Ванюха, мужик бежит... И то, говорит...

— Ну, брат,— живо перебил третий,— с ним неспорое дело попритчилось...

— Что ты? какое дело?..

— Да зевуна дал: у него кобылку-то подтибрили, увели; нынче ночью и увели...

— Неужто правда? – вскричал фабричный, ударяя об полы руками.

— Не встать мне с этого места... спроси хошь у ребят, вот те Христос – правда...

— Да кто ж это? как?..

— А бог их знает, увели, да и все тут!

— Где ж он сам-от?

— Разыскивать побежал лошадь... маненько, брат, и не захватил ты его...

— Я встрелся с ним на дороге,— начал было снова старичишка,— бежит, бежит, такой-то, право, мужик любопытный!..

— Эко дело! э! – произнес с истинным участием фабричный,— да расскажите же, братцы, как беда-то случилась.

Все разом принялись кричать, рассказывать; хозяин перекричал, однако, других и с разными прибавлениями, оправдывавшими его кругом, рассказал парню обо всем случившемся.

— Ну, пропал! совсем запропастил, сердяга, свою голову,— твердил тот, хмурясь и почесывая с досадою затылок,— теперь хоть смерть принять ему, все одно.

— А что, он тебе брат али сродственник какой?

— Нет, не сродственник: земляк; да больно жаль мне его, пуще брата... то есть вот как жаль!.. мужик-то такой добрый, славный, смирный!.. Его совсем, как есть, заест теперь управляющий... эка, право, горемычная его доля... да что толковать, совсем он пропал без лошади...

— Знамо, в крестьянском житье лошадь дело великое: есть она – ладно, нет – ну, вестимо, плохо.

— А какой мужик-то,— продолжал земляк Антона, садясь на лавочку и грустливо качая головою,— какой мужик! ох, жаль мне его...

— А мы, брат, не посетуй, признаться, чаяли, вот и хозяин говорил, будто он человек недобрый какой... И господь знает, отчего это нам на разум пришло.

— Хоть верьте, хоть нет, я не про то его хвалю, что земляк он мне... да вот, братцы, спросите...— С

этими словами указал он на мужика в красной александринской рубахе, подходившего к их кружку,— знаешь, Пантюха,— крикнул он ему, когда тот мог слышать,— знаешь, беда какая... подь скорей сюда...

— Ну что?

— Ведь у нашего Антона лошадь-то увели.

— Ой ли?

— Ей-богу, правда, вот здесь и молодцы все знают... а я думал, брат, на радость привести тебя к землячку, эка беда!..

И он повторил Пантюхе все слышанное им от дворника.

— Ну, пропал, совсем пропал мужик,— произнес тот после некоторого молчания,— невесть что с ним станется. Никита заест его... эка, право, мужик-ат этот лихобойный, бессчастный!..

— Да кто у вас Никита-то?

— Управляющий...

— Что ж ему заедать его? ведь лошадь не господская, мужицкая...

— А то, что он послал его продавать ее... податей заплатить нечем...

— Э! вот оно что... Стало, мужик добре бедный!..

— Какой бедный! совсем разоренный; а все через него же, управляющего... этакого-то господь послал нам зверя...

— Драчлив, что ли?

— Такой-то колотырник, так-то дерется, у-у-у!.. бяда! — отвечал Пантюха, махнув рукой и садясь на лавку подле товарища,— и не то чтобы за дело; за дело бы еще ничто, пущай себе; а то просто, здорово живешь, казнит нашего брата...

— Что и наш, верно,— перебил ярославец, молчавший все это время,— у нас вотчина-то большая, управляющий-то из немцев, такой же вот бядовый! ни богу, ни людям, ни нам, мужикам... смерть! Раз вот как-то иду я и, признаться, не заприметил, шапки ему не снял; ну хорошо; как подошел он ко мне да как хватит меня вот в эвто само место; ну хорошо; я ему и скажи в сердцах-то: Карл Иванович, за что, мол, ты дерешься? как он, братцы, хлысть меня в другую; ну хорошо; я опять: бога, мол, не боишься ты, Карл Иваныч... Как почел таскать, так я инда и света невзвидел, такой-то здоровенный, даром что немец... А спроси, за что бил, я чай, и сам не знает; такое,

знать, уж у него сердце... ретив, больно ретив...

— Поди ж ты, иной барин не так спесив: мужичка жалеет...

— Эти-то, что из нашего брата, да еще из немцев,— хуже,— заметил старик,— особливо, как господа дадут им волю, да сами не живут в вотчине; бяда! того и смотри, начудят такого, что ввек поминать станешь... не из тучки, сказывали нам старики наши, гром гремит: из навозной кучки!.. Скажи, брат, на милость, за что ж управляющий-то ваш зло возымел такое на землячка... Антоном звать, что ли?

— Думает, он понес на него жалобу барину в Питер...

— А, вот что! э! ишь!..— послышалось в толпе, которая все плотнее и плотнее окружала разговаривающих.

— А жалобу-то не он совсем и понес... коли на прямые денежки отрезать, по душе сказать. Она пошла от всего мира... он виновным только остался...

— Как так?

— Да вот как... Старый барин наш помер, тому лет пять будет; Никита и остался у нас управляющим. По настоящему делу ему не след было бы; да так уж старый барин пожелал... он, вишь, выдал за него при живности своей свою любовницу; ее-то он жаловал, она и упросила...

— Стало, любил ее барин?

— А так-то любил, что и сказать мудрено... у них, вишь, дочка была... она и теперь у матери, да только в загоне больно: отец, Никита-то, ее добре не любит... Ну, как остался он у нас так-то старшим после смерти барина, и пошел тяготить нас всех... и такая-то жисть стала, что, кажись, бежал бы лучше: при барине было нам так-то хорошо, знамо, попривыкли, а тут пошли побранки да побои, только и знаешь... а как разлютуется... беда! бьет, колотит, бывало, и баб и мужиков, обижательство всякое творит...

— Ну, а молодые-то господа?

— Молодые господа наши, сын да дочь, в Питере живут... мы их николи и в глаза-то не видали... вестимо, братцы, кабы они здесь жили или понаведывались, примерно, хошь на время, так ина была бы причина... у нас господа по отцу, добрые, хорошие, грех сказать, чтобы зла кому пожелали, дай им господь за то много лет здравствовать! Вот мой брат был в Питере и го-

ворит: господа важные!.. Да где ж им самим до всего доходить? вотчин у них много, и то сказать, всех не объездишь; живут они в Питенбурхе, – господа! они рады бы, может статься, особливо барин, в чем помочь мужикам своим, да, вишь, от них все шито да крыто; им сказывают: то хорошо, другое хорошо, знатно, мол, жить вашим крестьянам, ну и ладно, они тому и верят, а господа хорошие, грех сказать; кабы они ведали, примерно, что мужики в обиде живут от управляющего да нужду всяческу терпят, так, вестимо, того бы не попустили... Управляющему, знамо, какое до нас дело? нешто мы его? дана ему власть над нами, и творит, что ему задумается; норовит, как бы последнее оттянуть от мужичка... И добро бы, братцы, человек какой был, сам господин али какого дворянского роду, что ли; все бы, кажись, не так обидно терпеть, а то ведь сам такой же сермяжник, ходит только в барском кафтане да бороду бреет... а господа души, вишь, в нем не чают, они нашего мужицкого дела не разумеют, все сполняют, что ему только поволится... Ну, как почал он так-то обижать нас, видим, плохо; вот вся деревня наша и сговорилась написать жалобу молодому барину в Питер; время было к самому розговенью... а сговорившись-то и собрались так-то ночью в ригу, все до единого вросхмель, как теперь помнится, а рига такая-то большая, за барским садом стоит... был с нами и Антон...

При этом имени в толпе произошло движение, некоторые из слушателей наклонились еще ближе к рассказчику, и почти в одно и то же время со всех концов послышалось: «Ну, ну!»

– Он, нужно сказать, – продолжал фабричный, – изо всего нашего Троскина один только грамоте-то и знал... уж это всегда, коли грамоту написать али псалтырь почитать над покойником, его, бывало, и зовут... ну, его и засадили; пиши, говорят, да пиши; подложили бумагу, он и написал, спроворили дело... Ну хорошо, послали в Питер, никто и не пронюхал; зароком было бабам не сказывать, и дело-то, думали, споро, ан вышло не так...

У нашего управляющего, Никиты Федорыча, в Питере есть брат, такой же нравный; ходит он за барином; ну, вестимо, что говорить, сила! и другие-то люди из тамошних все ему сродни, заодно; как пришло наше письмо туда, известно, не прямо к барину: к лю-

дям сначала попало; швацар какой-то, сведали мы опосля, принял; барину он уж как-то там передает... у меня брат в Питирбурге-то у господ бывал... в одной, говорит, прихожей только-то народу, и-и-и... знамо, где уж тут дойти? народ все проворный, не то, что наш брат, деревенский; ну, братцы, как получили они себе письмо, должно быть и смекнули, с кой сторонки... бумага али другое что не ладно было; а только догадались – возьми они его, утаи от барина, да и доведайся, что в нем писано... а мы, вишь, писали, что управляющий и бьет-то нас беззаконно и всякое обижательство творит. Они видят, плохо пришло Никите, возьми да и отошли письмо-то назад к нему, да еще и свое приписали... Вот раз призывает нас так-то управляющий, этому года четыре будет, эвтак об утро, такой-то осерчалый, сердитый... а нам невдомек, и в мыслях не держали, чтой-то за дело... «Ах, мол, вы такие да сякие; я вас, говорит, по-свойски! я ж вам задам! Кто, говорит, писал на меня жалобу?» – да как закричит... так вот по закожью-то словно морозом проняло: знамо, не свой брат, поди-тка, сладь с ним; маненько мы поплошали тогда, сробели; ну, а как видим, дело-то больно плохо подступило, несдобровать, доконает!.. все в один голос Антона и назвали; своя-то шкура дороже; думали, тут, того и гляди, пропадешь за всех... Ну, вестимо, пришло Антону куды как жутко; уж чего-то он с ним, с сердешным, ни делал, как ни казнил, господь один знает. Был у Антона брат, Ермолай, женатый парень, того в первое рекрутство записал, а Антона на барщину да на барщину без отмены... Землица-то у него, как и у всех нас, плохая была; ну, вестимо, как рук не стало на нее, не осилил, и вовсе не пошло на ней родиться... тут, вишь, братнина семья на руках осталась, двое махоньких ребятенков, не в подмогу, а все в изъян да в изъян...

– Знамо, уж какая тут подмога – баба с ребятенками... – сказал, вздыхая, толстоватый ярославец. – Эка, мужик бедный, право...

– Это еще не все, братцы, – продолжал фабричный, постепенно воодушевляясь, – куды! он в отместку ему и землю-то у него ту отнял...

– Как, и землю отнял, землю? – крикнули многие.

– Да, отнял, и вырезал ему что ни на есть плошную во всей вотчине: суглинок... Хлеба у Антона

с первого же года и не стало... а жил он, нужно сказать, прежде не хуже других... Была у него при покойном барине добрая «кулига»[1] сена, и той не оставил ему Никита: жирно больно живешь, говорит... Видит Антон, нечем кормить скотинку, а нужда пришла, крайность; он и давай продавать, сердешный, то лошадку, то корову, то овцу... И что бы вы думали? и тут-таки донял его Никита: не пущает его в город, да и полно; что ты станешь делать? Продавай, говорит, в деревне... Известно, какой уж тут торг, мужички же неимущие, денег нету, отдавать стал за бесценок. Пришло Антону день ото дня плоше да плоше; вестимо, мужичок не грибок: не растет под дождём... долго ли разорить его? Так-таки совсем и разорил его, довел дотолева, что не осталось у него в доме ни полщепочки, живет как бы день к вечеру, и голодную собаку нечем стало из-под лавки выманить...

– Знамо, какое уж тут житье! Проти жара и камень треснет.

– Я чай, сам-то уж не рад, что грамоте горазд.

– Эх! бог правду-то видит, да, видно, не скоро ее сказывает! – заметил кто-то в свой черед.

– И такой-то человек этот Никита, – сказал фабричный, – что хоть бы раз забыл свою злобу. Вот нагдысь сказывал мне наш же мужик, приходит к нему нынешнюю весну Антон попросить осину – избенку поправить; уж он его корил, корил, все даже припомнил... опричь того, и осины не дал... Вестимо, одно в одно; до того дошел теперь Антон, что хошь ступай сумой тряси, то есть совсем, как есть, сгиб человек... Уж так-то, право, жаль мне его...

– Как же не жаль, – начал опять ярославец. – Охохо!.. Ты же, брат, говоришь, мужик-ат добрый...

– Уж такой-то добрый... простой... Бывало, как жил-то хорошо, всякого готов уважить, простыня-мужик... Через простоту свою да доброту и пострадал более... Добрая была душа...

– Ох, что-то теперь с ним станется?.. Ведь лошадь, ты, брат, говоришь, у него была последняя?..

– Последняя...

– Вот то-то... мерзлой роже да метель в глаза... Плохо ему... и вряд ему найти...

---

[1] К у л и г а – частица, участок. *(Примеч. автора.)*

— Где, где теперь найти! И господь знает, куды загнали лошадь...

— Право, кабы знал, пособил бы ему, ей-богу бы пособил,— сказал ярославец.— Послушай, брат хозяин, полно тебе жидоморничать; ну, что ты с него возьмешь, ей-богу, грех тебе будет, отдай ему полушубок... Э! Не видал, что ли, полушубка ты крестьянского?.. Слышишь, мужик бедный, неимущий... Право, отдай; этим, брат, не разживешься; пра, отдай!..

Оба фабричные и бо́льшая часть присутствующих изъявили то же мнение. Хозяин отмалчивался. Сухощавое лицо его выражало совершенное невнимание к тому, что говорили вокруг него; ни одна черта не обозначила малейшего внутреннего движения. Наконец он медленно приподнялся с своего места, погладил бороду, произнес с озабоченным видом: «Пустите-ка, братцы...» — подошел к воротам, окинул взором небо, которое начинало уже посылать крупные капли дождя, и, бросив полушубок Антона к себе на плечи, вошел в избу. Брань и ругательства сопровождали его.

Холодный осенний дождь — «забойный», как называют его поселяне, полил сильнее и сильнее. В одно мгновение вся окрестность задернулась непроницаемою его сетью и огласилась шумом потоков, которые со всех сторон покатились, клубясь и журча, к реке. Мужички поднялись с лавки и подошли к воротам.

— Вот тебе и ярманка,— сказал толстый мельник, выставляя свои сапоги под желоб.— Ишь какое господь посылает ненастье... Хорошо еще, что я не поторопился: того и гляди, муку бы вымочил...

— Ишь, дядя Трифон, погляди-ка, как народ-то бежит по горе,— произнес молодой парень, схватившись за бока,— вон, вон, по горе... Небось дождем-то знатно пронимает...

— Что за напасть, братцы, такая, вот почитай месяц целый, как дождь льет бесперечь... Теперь того и гляди мороз, долго ли до беды, как раз озими обледенеют... вымочки пойдут...

— Да, погрешились, знать, перед господом богом: и прошлого года было куды с хлебами-те плохо, а как нынешний пойдет такой же, так и совсем бяда...

— Что-то теперь с землячком твоим станет, где-то он, сердешный? — сказал ярославец, подходя к одному из фабричных, прислонившемуся к завалинке.— Вот

ему куды, чай, как плохо: ишь чичер, сиверца пошла какая...

— А что сталось, — перебил седой старикашка, проходя в это время мимо, — бежит себе да бежит, как когда я его встрел... так вот и дует, чай... Такой-то мужик любопытный...

— Пошел, старый, не тебя спрашивают... Эх, жаль мне его, уж так-то, право, жаль! — прибавил фабричный, обращаясь к ростовцу.

— И полушубка-то на нем нет... у хозяина, у подлой души, за долг оставил... Чай, так-то иззяб, сердешный...

— Как не прозябнуть! Ишь какая пошла погода, все хуже да хуже, индо в дрожь кинуло... И ветрено как стало... так с ног и ломит...

— Чай, промок?

— Как не промокнуть! Говорят, в одной рубахе пошел, аль не слышишь?..

— Ишь, кругом, братцы, как есть обложило, надолго, знать, будет дождь.

— Пойдемте в избу... и здесь донимать начинает... смерть... Ишь золко добре...

И толпа повалила греться.

VIII

НИКИТА ФЕДОРЫЧ

Несмотря на раннюю пору и сильный морозный ветер, обращающий лужи в гололедь, троскинский управляющий, Никита Федорыч, был уже давно на ногах. Исполненный благодарности к молодым господам своим, которые так слепо доверяли его честности свое состояние, так безусловно поручали ему страшную обузу управления полуразоренного имения, он старался всеми силами если не вполне оправдать их доверие, то по крайней мере не употреблять его во зло. И мог ли он в таком случае щадить свои силы и здоровье? Должен ли был потакать той гнусной лени, которая, бог весть за что и почему, досталась в удел русскому человеку?.. С обязанностью управляющего соединяется всегда столько хлопот, труда, попечений, ответственности!.. Нет, Никита Федорыч не мог действовать иначе. Если б даже находился он

при других обстоятельствах, то есть не пользовался бы таким безграничным доверием господ или был поставлен судьбою сам на их место, и тогда, в этом можно смело ручаться, нимало не утратил бы ни благородного своего рвения, ни деятельности, ни той ничем не сокрушаемой энергии, которая так резко обозначалась в его серых, блистающих глазах; он слишком глубоко сознавал всю важность такой должности, он как будто нарочно рожден был для нее.

Иметь под надзором несколько сот бедных крестьянских семейств, входить в мельчайшие их отношения, чуять сердцем их потребности и нужды, обладать возможностью иногда словом или даже движением обращать их частые горести в радость, довольствоваться умеренно их трудами, всегда готовыми к услугам, и вместе с тем наблюдать за их благополучием, спокойствием,— словом, быть для них, бедных и безответных, отцом и благодетелем,— вот какая доля досталась Никите Федорычу! вот чему он так горячо мог сочувствовать и сердцем и головою. И, боже, как был счастлив троскинский управляющий! Как легко довелось ему стать в положение такого человека! Есть люди, которые с детства готовятся для какого-нибудь назначения, работают денно и нощно, истощают все силы и средства свои и все-таки не достигают того, чтобы обнаружить свои труды и мысли на деле, тогда как он... Стоило только Аннушке, теперешней супруге управляющего, замолвить слово старому барину — и уже Никита Федорыч стоит лицом к лицу с своей задушевной целью и действует. Впрочем, сказывают, все это случилось перед самою кончиною барина.

Итак, Никита Федорыч, несмотря на раннюю пору и стужу, был уже на ногах. Он успел побывать на скотном дворе, заглянул в клеть, где стояли три тучные коровы, принадлежавшие супруге его, Анне Андреевне, посмотрел, достаточно ли у них месива, погладил их, потом прикрикнул на старую скотницу Феклу, хлопотавшую подле тощих барских телок, жевавших по какому-то странному вкусу, им только свойственному, отлежалую солому. Далее заглянул он в ригу, где несколько мужиков обмолачивали господскую рожь. Исполнив это, Никита Федорыч направился к собственному своему «огородишку», как называл он его, то есть огромному пространству отлично удобренной и обработанной земли, на котором виднелись

в изобилии яблони, груши, лен, ульи и где репа, морковь, лук и капуста терпели крайнюю обиду, ибо служили только жалким украшением. Тут он совсем захлопотался с мужиками, которые окутывали ему на зиму яблони и обносили огород плотным забором и канавой. «Экой проклятый народ,— твердил он, размахивая толстыми своими руками,— лентяй на лентяе; только вот и на уме, как бы отхватать скорее свои нивы, завалиться на печку да дрыхнуть без просыпу... до чужого дела ему и нуждушки нет... бестия народ, лентяй народ, плут народ!»

Время, вот видите ли, подходило к морозам; Никита Федорыч нарочно нагнал всю барщину, думая живее отделаться с своим огородом, чтобы потом, сообща, дружнее, всем миром приняться за господскую молотьбу; но мир почему-то медленно и нехотя подвигал дело, и это обстоятельство приводило бедного управляющего в такое справедливое негодование. Пожурив, как водится, лентяев, снабдив их при случае полезными советами и поучительными истинами, Никита Федорыч поплелся через пустынный барский двор прямо к конторе. Но даже и здесь не дали ему покоя. Не успел он сделать двух шагов, как Анна Андреевна высунула из окна больное, желтое лицо свое, перевязанное белою косынкой по случаю вечного флюса, и прокричала пискливым, недовольным голосом:

— Никита Федорыч, а Никита Федорыч, ступай чай пить! что это тебя, право, не дождешься; да ступай же скорее!.. полно тебе переваливаться!..

— Иду, иду, барыня, успеешь еще... иду...— проговорил заботливый супруг.

Тут замахнулся он было в рассеянности на петуха, взгромоздившегося на соседний забор и неожиданно продравшего горло, но, к счастию, спохватился заблаговременно: петух был его собственный; он кашлянул, плюнул и, окинув еще раз двор, вошел к себе в сени.

Квартира его занимала часть старого флигеля, построенного, как водилось в прежние годы, для помещения гостей, имеющих обыкновение приезжать в провинции на неделю, а иногда и более, нимало не заботясь о том, приятно ли это или нет хозяину. Но теперь не оставалось и тени тех крошечных, уютных комнаток с ситцевым диванчиком, постелью, загромо-

жденною перинами, умывальником подле окна с вечно висевшим над ним пестрым полотенцем – узаконенным годичным приношением трудолюбивых деревенских баб. Следы комнаток обозначались лишь на внутренней стене всего здания желтоватыми полосами от перегородок, замененных двумя капитальными стенами, с сеничками посередине, разделявшими флигель на две равные половины. Над дверьми одной стороны сеней висела черная доска с надписью: «Контора»; над дверьми другой не было никакой надписи – да и не надо было: всякий знал хорошо, что тут жил Никита Федорыч. Нельзя пропустить без внимания промежутка между двумя этими половинами, то есть сеничек; они также имели свое особое назначение, хотя также не видно было никакой надписи: здесь в летнее время Никита Федорыч производил суд, или, лучше сказать, расправу над провинившимися крестьянами, порученными его надзору, с истинно безукоризненной справедливостью.

Квартира управляющего состояла из темной прихожей, в то же время кухни, и трех больших светлых комнат. В первой из них, как прежде других бросающейся в глаза, хозяин и хозяйка старались завсегда соблюдать чистоту и порядок. Предметы роскоши также имели здесь место. В самом светлом и видном углу блистал ярко вычищенный образ в богатой серебряной ризе, которым покойный барин, в качестве посаженого отца, благословил жену бывшего своего камердинера; подле него на старинной резной горке находился разрозненный фарфоровый сервиз, или, лучше сказать, несколько разрозненных сервизов, вероятно тоже подаренных в разных случаях старым барином смазливой Анне Андреевне. В остальных углах и вдоль стен были установлены в ряд разнокалиберные, разнохарактерные диваны, кресла, стулья, иные из красного дерева с позолотою, другие обтянутые полинявшим штофом, которыми владел Никита Федорыч, должно быть, вследствие духовного завещания после барина или чрез излишнюю к нему благосклонность покойника. Две другие комнаты были почти вплотную заставлены пожитками, перинами, холстинами, сундуками и всяким другим добром обоих супругов, не выключая, разумеется, и широкой двуспальной постели, величественно возносившейся поперек дверей. Но туда из посторонних никто не заглядывал; Никита Фе-

дорыч почему-то не допускал этого, а следовательно, и нам нет до них никакой надобности.

— У-уф! матушка Анна Андреевна, умаялся совсем с этим проклятым народом,— произнес Никита Федорыч, садясь к окну в широкие старинные кресла.— Ну, барыня-сударыня,— продолжал он,— наливай-ка теперь чайку... смотри, покрепче только, позабористее... Эй ты, ваша милость, троскинский бурмистр, поди-ка, брат, сюда...— сказал он, обращаясь к необыкновенно толстому, неуклюжему ребенку лет пяти, сидевшему в углу под стенными часами и таскавшему по полу котенка, связанного веревочкою за задние ноги.— Экой плут, зачем привязал котенка? брось его, того и гляди глаза еще выцарапает...

Ребенок, страдавший английскою болезнию, согнувшей ему дугой ноги, встал на четвереньки, поднялся, кряхтя и покрякивая, на ноги и, переваливаясь как селезень, подошел к отцу.

— Ну, ну, скажи-ка ты мне, молодец,— продолжал тот, гладя его с самодовольной миной по голове,— я, бишь, забыл, какие деньги ты больше-то любишь, бумажки или серебро?..

Это был всегдашний, любимый вопрос, который Никита Федорыч задавал сыну по нескольку раз в день.

— Бумажки! — отвечал, отдуваясь, ребенок.

— Ха, ха, ха!.. Ну, а отчего бы ты скорее взял бумажки?

— Легче носить! — отвечал троскинский бурмистр таким голосом, который ясно показывал, что уже ему надоело повторять одно и то же.

— Ха, ха, ха!.. Ну, ну, поди к матери, она тебе сахарку даст; пряничка ел сегодня?

— Нет,— сказал ребенок, глядя исподлобья на мать.

— Врешь, ел, канашка, ел... плутяга...

— Полно тебе его баловать, Никита Федорыч; что это ты, в самом деле, балуешь его,— подхватила Анна Андреевна,— что из него будет... и теперь никак не сладишь...

— Ну, ну... пошла, барыня,— вымолвил муж, громко прихлебывая чай,— будет он у меня погляди-ка какой молодец... ха, ха, ха!.. Ваня,— шепнул он ему, подмигивая на сахарницу,— возьми потихоньку,— ишь, она тебе не дает... Ну, матушка Анна Андреев-

на,— продолжал он громко,— видел я сегодня наших коровок; ну уж коровы, нечего сказать, коровы!..

— Мне кажется только,— заметила супруга,— Фекла стала что-то не радеть за ними... ты бы хоть разочек постращал ее, Никита Федорыч... даром что ей шестьдесят лет, такая-то мерзавка, право...

— Небось, матушка, плохо смотреть не станет: еще сегодня задал ей порядочную баню... Ну, видел также, как наш огородишко огораживали... велел я канавкой обнести: надежнее; неравно корова забредет или овца... с этим народцем никак не убережешься... я опять говорил им: как только поймаю корову, овцу или лошадь, себе беру,— плачь не плачь, себе беру, не пущай; и ведь сколько уже раз случалась такая оказия; боятся, боятся неделю, другую, а потом, глядишь, и опять... ну, да уж я справлюсь... налей-ка еще чайку...

— Мне говорила наша попадья, что ярманка была очень хорошая,— начала Анна Андреевна,— и дешево, говорит, очень дешево продавали всякий скот... вот ты обещал тогда купить еще корову, жаль, что прозевали, а все через тебя, Никита Федорыч, все через тебя... впрочем, ты ведь скоро в город пошлешь, так тогда еще можно будет.

— Нет, я в город не скоро пошлю,— отвечал как можно равнодушнее супруг.

— Как! а оброк-то барской когда ж пошлешь на почту? — возразила та сердито.

— Он еще не собран; да хоть бы и весь был, торопиться нечего, подождут! Брат Терентий Федорыч пишет, что барину теперь не нужны деньги... Этак станешь посылать-то без разбору — так, чего доброго, напляшешься с ними; повадятся: давай да давай... я ведь знаю нашего молодца: вот Терентий Федорыч пишет, что он опять стал ездить на игру; как напишет, что проигрался да к горлу пристало, тут ему и деньги будут, а раньше не пошлю, хоть он себе там тресни в Петербурге-то! Меня не учить, барыня-сударыня; я ведь знаю, как с ними справляться, с господами-то. «Нет у меня денег,— написал ему, да и баста! — пар, мол, сударь, не запахан, овсы не засеяны, греча перепрела»,— вот тебе и все; покричит, покричит, да и перестанет; разве они дело разумеют; им что греча, что овес, что пшеница — все одно, а про чечевицу и не спрашивай... им вот только шуры-муры, рюши да

трюши, да знай денежек посылай; на это они лакомки... Вот с ними так куды мастера справляться; э! матушка, знаю я их, голубчиков, не в первый раз вести с ними дело... вот потому-то и оброку не пошлю... незачем!..

— Так-то ты всегда,— проговорила, ворча, хозяйка.— Когда это до нашего добра, так ты всегда кобенишься... денег небось жаль на корову... оттого и в город не посылаешь...

— Да, жаль, жаль! оттого и не посылаю...

— Жаль, то-то... а от кого и в люди-то пошел? от кого их добыл, деньги-то?..

— Ну, ну... пошла, барыня... э! смерть не люблю!..

Тут, без сомнения, возникла бы одна из тех маленьких домашних сцен, которые были так противны Никите Федорычу, если б в комнату не вошла знакомая уже нам Фатимка. Не мешает здесь заметить при случае, что лицо этой девочки поражало сходством с лицом жены управляющего, и особенно делалось это заметным тогда, когда та и другая находились вместе; сходство между ними было так же разительно, как между одутловатым лицом самого Никиты Федорыча и наружностью троскинского бурмистра. Те же черты, несмотря на разницу лет и всегдашний флюс Анны Андреевны, который сильно вытягивал их; разница состояла исключительно в одних лишь глазах: у жены управляющего были они серы и тусклы, у Фатимки — черны, как уголья, и сыпали искры. Впрочем, сходство между ними должно было приписывать одной игре природы, ибо Фатимка, или, как называли ее в деревне, «Горюшка», никаким образом не приходилась сродни Никите Федорычу.

— Ну, что? — спросил он ее.

— Мельник-с пришел...— отвечала она робко.

— Ах, я, бишь, совсем забыл... да, да... скажи, что сию минуту выйду в контору.

— Что там еще? — отозвалась Анна Андреевна.

— Должно быть, матушка, насчет помочи...— сказал супруг смягченным голосом,— мужиков пришел просить на подмогу...

Никита Федорыч хлопотливо покрыл недопитый стакан валявшимся поблизости календарем, искоса поглядел на жену, хлопотавшую подле самовара, потом как бы через силу, ворча и потягиваясь, отправился в контору. Косвенный взгляд этот и суетливость не

ускользнули, однако, от Анны Андреевны, подозрительно следившей за всеми его движениями; только что дверь в комнату захлопнулась, она проворно подошла к сыну и, гладя его по головке, сказала ему вкрадчивым, нежным голосом:

— Ванюша... ты умница?..

— Умница.

— Сахару хочешь... голубчик?..

— Кацу.

— Ну, слушай, душенька, я тебе дам много, много сахару, ступай потихоньку,— смотри же, потихоньку,— к тятьке, посмотри, не даст ли ему чего-нибудь мельник... ступай, голубчик... а мамка много, много даст сахарку за то... да смотри только не сказывай тятьке, а посмотри, да и приходи скорее ко мне... а я уж тебе сахару приготовлю...

— Ты обманешь...

— Нет, душенька, вот посмотри... я сюда сахарок положу... как придешь, так и возьми его...

— Ты мало положила... еще...

— Экой... ну, вот еще кусочек...

— А еще положи...

— Довольно, душечка: брюшко заболит...

— Нет, еще... еще, а то не пойду,— закричал ребенок, топая ногою.

— Ну, ну... на вот тебе еще два куска... — отвечала мать, боязливо взглянув на дверь,— ступай же теперь.

Ванюшка сполз со стула и потащился из комнаты, оборачиваясь беспрестанно к матери, которая одной рукой указывала ему на порог, другою на кучку сахару . . . .

. . . .

— Здравствуй, брат Аксений,— сказал управляющий, подходя к мельнику и глядя ему пристально в глаза.

— Здравствуйте, батюшка Никита Федорыч,— отвечал тот, низко кланяясь.

— Что скажешь? а?..

— Да к вашей милости, батюшка, пришел.

— Ну, ну, ну...— проговорил заботливо управляющий и сел на лавочку.

— Что, батюшка Никита Федорыч,— начал мельник, переминаясь, но со всем тем бросая плутовские взгляды на собеседника каждый раз, как тот опускал

голову, моргал или поворачивался в другую сторону,— признаться сказать... вы меня маненько обиждаете...

— Как так?

— Да как же, батюшка: прошлого года, как я поступил к вам на мельницу, так вы тогда, по нашему уговору, изволили сверх комплекта получить с меня двести пятьдесят рублев; это у нас было по уговору, чтоб согнать старого мельника... я про эвти деньги не смею прекословить, много благодарен вашей милости; а уж насчет того... сделайте божескую милость, сбавьте с меня за... вино.

— Э! ге, ге, ге... так вы вот зачем, батюшка, изволили пожаловать! — произнес управляющий тоном человека, возмутившегося неблагодарностию другого.— Э! я тебе позволил держать вино на мельнице, беру с тебя сотню рублишков, а ты и тут недоволен, и этого много... Да ты знаешь ли, рыжая борода, что за это беда! вино не позволено продавать нигде, кроме кабаков, а уж я так только, по доброте своей, допустил это тебе, а ты и тут корячишься... Еще нынешнею весною допустил тебя положить с наших мужиков лишний пятак с воза, и это ты, видно, тоже забыл, а? забыл, что ли?..

— Нет, батюшка Никита Федорыч, мы много благодарны вашей милости за твою ласку ко мне... да только извольте рассудить, если б, примерно, было такое дело на другой мельнице, в Ломтевке или на Емельяновке, так я бы слова не сказал, не пришел бы тревожить из-за эвтого... там, изволите ли видеть, батюшка, место-то приточное, по большей части народ-то бывает вольный, богатый, до вина-то охочий; а вот здесь, у нас, так не то: мужики бедные, плохонькие... винца-то купить не на что... а мне-то и не приходится, батюшка Никита Федорыч...

— Ах ты, бестия, бестия! — говорил управляющий, качая головою,— ну, что ты мне пришел турусы-то плесть? а? Выгод тебе нет!.. Ах ты, борода жидовская!.. Да хочешь, я тебе по пальцам насчитаю двадцать человек из троскинских мужиков, которые без просыпу пьянствуют?..

— Что говорить... батюшка, есть пьющие... да только супротив Емельяновки-то того... а я вашей милости, пожалуй, перечить не стану, готов заплатить... да только, право, маненько как будто обидно станет...

— Полно тебе, старая харя,— возразил, смеясь, Никита Федорыч,— меня, брат, не проведешь; да ну, принес, что ли, деньги-то?..

— Есть, батюшка,— отвечал тот, охорашиваясь.

— То-то, выгоды тебе, верно, нет; вот оно что; вино-то почем берешь?

— Да по десяти с полтиной, батюшка-с.

— А сколько воды-то подливаешь? — спросил лукаво управляющий.

Мельник улыбнулся, почесал голову и поклонился.

— Давай-ка, давай, что толковать...— продолжал Никита Федорыч, вставая и подходя ближе к мельнику.

Тот вынул из-за пазухи тряпицу, в которой были деньги, и стал считать. В это время дверь конторы скрипнула. Никита Федорыч дернул мельника, набросил на деньги его шапку и выбежал в сени. Вскоре вернулся он, однако, совсем успокоенный; за дверью никого не оказалось.

— Вот так-то лучше,— говорил он, кладя деньги в карман,— а насчет дарового леса я уж писал барину... сказывал, что плотину сшибло паводком; он непременно пришлет разрешение выдать... ну, доволен, что ли, борода?..

— Благодарствуйте, батюшка Никита Федорыч, готов и впредь служить вашей милости, как угодно...

— Ну то-то же, смотри у меня...

— Никита Федорыч,— произнес мельник, взявшись за шапку,— к вам еще просьбица есть...

— Что такое?

— Да вот, батюшка, у вас здесь мужичок находится, Антоном звать; прикажите ему отдать мне деньги; с самой весны, почитай, молол он у меня, по сю пору не отдает; да еще встрелся я как-то с ним, на ярманку вы его, что ли, посылать изволили, так еще грубиянить зачал, как я ему напомнил... уж такой-то мужик пропастный... батюшка...

— А!.. хорошо, хорошо,— вымолвил с расстановкою управляющий,— я этого еще не знал... ну, да уж заодно не миновать ему поселений! поплатится, каналья, поплатится за все... Эй, Фатимка!..— произнес он, отворяя дверь.

Фатимка прибежала.

— Ступай сейчас в крайнюю избу, к Антону, скажи, чтобы шел сюда...

— Да он еще не возвращался с ярманки,— возразил мельник,— я уже заходил к нему...

— Как! и нынче еще не возвращался! вчера и третьего дня тоже! ну, да ничего, тем лучше; ступай, да смотри ты, бегом у меня, зови сюда жену его; я ж им покажу!

Фатимка побежала.

— А ты, Аксентий, ступай пока домой, я с ним разделаюсь.

В сенях Никита Федорыч встретил Ванюшу, который сосал пальцы, выпачканные сахаром.

— А нут-кась, бурмистр,— сказал отец, подымая сына на руки,— хошь ли быть троскинским управляющим?

— Кацу,— живо отвечал мальчишка.

— Ха, ха, ха!.. ну, а что бы ты стал тогда делать?..

— А вот... вот... высек бы Михешку кузнецова...

— Ха, ха, ха! ай да бурмистр... ну, а за что бы ты его высек?

— У него,— отвечал Ваня гнусливо,— у него, вишь, бабка-свинчатка есть... он мне ее не дает...

— Ха, ха, ха!.. пойдем, пойдем, расскажи-ка это матери... Анна Андреевна, а Анна Андреевна! послушай-ка, что говорит наш молодчик... ха, ха, ха!.. ну-ка, Ваня, скажи же мамке, за что бы ты высек Михешку-то кузнецова...

Но, к крайнему удивлению Никиты Федорыча, жена его не обнаружила на этот раз ни малейшего удивления к необыкновенной остроте любимого чада; она сердито поправила косынку, перевязывавшую больную щеку, и сухо сказала супругу:

— Полно пустяки-то врать!.. зачем приходил к тебе нынче мельник?

— Эка тебе, барыня-сударыня, приспичило! плотина повредилась — так мужичков просил... ведь я тебе уже сказывал...

— Ах ты, бессовестный! бессовестный! — закричала она, всплеснув яростно руками,— так-то ты? обманывать меня хочешь? Ты думаешь, что я не узнаю, что он тебе денег дал?.. ты от меня прячешь, подлая душа! Разве забыл ты, через кого в люди пошел... через кого нажился?.. кто тебя человеком сделал!..

— Что ты орешь, ведьма! — вскричал в свою очередь Никита Федорыч, делая несколько шагов к жене,— молчи! теперь старого барина нет, я тебе власти-

тель, я тебе муж! шутить не стану; смотри ты у меня! Да, получил деньги, не показал тебе, не хотел говорить, да и не дам ни полушки, вот тебе и знай... да не кричать!

— Разбойник! — завопила жалобно Анна Андреевна, ложась на диван и ударяясь выть, — ты меня погубить хочешь! зарезать, обокрасть... Не жена я тебе, холопу проклятому!

— Варвара пришла-с... — произнесла Фатимка, войдя в комнату.

Услыша вопли Анны Андреевны, она быстро обернулась в ту сторону; видно было по первому ее движению, что она хотела к ней броситься, но взгляд Никиты Федорыча тотчас же осадил ее назад; она опустила глаза, в которых заблистали слезы, и проворно выбежала в сени. Управляющий вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью. Трепещущая от страха Варвара стояла в сенях и, закрыв лицо разодранным рукавом рубахи, тяжело всхлипывала. Услышав шаги Никиты Федорыча, она мгновенно открыла лицо свое, на котором изображались следы глубокого отчаяния, простерла руки и с криком повалилась к нему в ноги.

— Батюшка! батюшка!.. не погуби! — твердила она, рыдая и орошая грязный пол и сапоги управляющего потоками слез, — не погуби... нас... сирот горемычных...

— Ступай-ка сюда, сюда! — произнес Никита Федорыч, топнув ногою.

Он указал ей на контору. Оба вошли. Фатимка, притаившись в темном углу сеней, глядела с каким-то страхом на всю эту сцену; но только что скрылась Варвара, она, как котенок, выпрыгнула из своей прятки, подбрела к дверям конторы, легла наземь и приложила глаза к скважине. Каждый раз, как голос Никиты Федорыча раздавался громче, бледное личико ребенка судорожно двигалось; на нем то и дело пробегали следы сильного внутреннего волнения; наконец все тело ее разом вздрогнуло; она отскочила назад, из глаз ее брызнули в три ручья слезы; ухватившись ручонками за грудь, чтобы перевести дыхание, которое давило ей горло, она еще раз окинула сени с видом отчаяния, опустила руки и со всех ног кинулась на двор. Так обогнула она флигель, потом опять перелезла через забор и, очутившись в крестьянских огородах, пустилась все прямо, по задам деревни. У крайних

изб, за ригами, между обвалившимися плетнями стояла толпа девчонок и ребятишек; завидя ее, все в один голос принялись кричать: «Горюшка идет! Горюшка! Горюшка!» Тут Фатимка, как бы собравшись с последними силами, пустилась как стрела и, размахивая отчаянно ручонками, прокричала задыхающимся голосом:

— Беда с Варварой! бьют! бьют!!

В то самое мгновение в толпе раздался детский вопль и слова: «Ой, мамка! мамка, мамка!» В то же время из среды ребятишек выбежала рыженькая хромая девочка, уже знакомая читателю, и поскакала навстречу Фатимке, вертясь на одной ножке и пронзительно взвизгивая: «Горюшка! Горюшка!..»

— Полно тебе, Анютка: услышат! — проговорила та, удерживая ее за руку и торопливо подбегая к Аксюшке и Ванюшке, племянникам Антона, которые ревели в два кулака.— Ну, Ваня, ну, Аксюшка,— продолжала она, обхватив их ручонками,— беда! беда пришла тетке Варваре... беда! бык-от и дядю вашего хочет, вишь, куды-то отправить... я все, все слышала... все в щелочку глядела... не кричите, неравно услышат... право, услышат...

Все это проговорила она с необыкновенным одушевлением; ее бледные щечки разгорелись, она живо при каждом слове размахивала руками, беспрерывно поправляя длинные пряди черных своих волос, которые то и дело падали ей на лицо. Аксюшка положила свой кулачок в рот и, удерживая всхлипывания, еще пуще зарыдала.

— Ой, дядя Антон, дядя Антон,— бормотал, заливаясь, Ванюшка,— куда ты ушел?.. он бы не дал бить тетку Варвару...

— Вот что! — сказала вдруг Фатимка, выпрямляясь и становясь посередь толпы,— вот что! Ваня, Аксюшка, все, все... побежимте туда... берите все камни, швырнем ему в окно, я покажу, в какое... мы его испужаем! кто из вас меток?..

— Я! я! я! — закричало несколько тоненьких голосков, и множество худеньких ручонок замахали в воздухе.

— Я! я! Горюшка, я! — звончее всех визжала хромая Анютка, принимаясь снова кривляться вокруг Фатимки.

— Полно тебе, дура! эка бесстыжая!.. молчи!..

— Я пойду! я меток! — вскричал Ванюшка, торопливо утирая слезы, — я пойду!..

И он бросился уже подымать камень; но камень пришелся не по силам; Ванюша залился снова слезами.

— Ничего, Ваня, ничего, — продолжала с тем же волнением Фатимка, — побежимте скорее... там много камней у забора... скорее, скорее, а то будет поздно... ложитесь все ползком наземь, а не то увидит; скорее, скорее...

Хромая Анютка принялась было опять за свои прыжки, но на тот раз со всех сторон посыпались на нее брань и ругательства; она поневоле легла наземь и ползком потащилась за всеми вдоль плетня на брюхе... А между тем Никита Федорыч давным-давно отпустил жену Антона. Бабы, глядевшие из окон и видевшие, как прошла она мимо деревни, перестали даже толковать об этом предмете и перешли уже совсем к другому. Никита Федорыч один-одинешенек расхаживал теперь вдоль и поперек по конторе, заложив руки назад, опустив голову; казалось, он погружен был в горькое, тревожное раздумье. Сцена, которую сделала ему Анна Андреевна, возмущала его кроткую душу. Наконец он как будто бы принял какое-то твердое намерение, ударил себя руками по полам архалука, закинул голову назад и направился к двери. В эту самую минуту верхнее слуховое окно конторы зазвенело, разлетелось вдребезги, и несколько увесистых камней упало ему чуть-чуть не на нос. Никита Федорыч обомлел: с минуту стоял он как вкопанный на одном месте, потом со всех ног кинулся в сени и, метаясь из угла в угол как угорелый, закричал что было мочи:

— Эй! кто здесь? Степан! Дормидон! Эй, Фатимка! эй, черти!..

Никто не отвечал. Никита Федорыч остановился и стал прислушиваться... Волнение его мало-помалу утихло, когда он убедился, что кругом его никого не было. Он осторожно вышел из сеней, еще осторожнее обогнул флигель и не без особенного смущения, похожего отчасти на страх, поглядел через забор. Но каково же было его изумление, когда он увидел собственное чадо.

— А, так это ты, пострел! — закричал он, грозя сыну. — Погоди! я тебя выучу бить стекла!.. ступай сюда!..

— Нет, тятенька, нет,— отвечал троскинский бурмистр, подбегая к отцу,— это ребятишки... сейчас убежали... я их видел...

— Какие ребятишки?

— Деревенские-с... я знаю, кто камень-то бросил, тятенька... это не я-с... не я-с.

— Ну?

— Это, тятенька-с... как, бишь, его?.. Ванюшка... Антонов... не я, тятенька... я сам видел...

— А!.. ну хорошо, э! э! э!.. да это того самого... э!.. хорошо, я с ним тотчас же разделаюсь... пойдем, Ванюша, холодно тебе...

Сказав это, Никита Федорыч перекинул через плетень толстые свои руки, обхватил ими сына, поднял его на плечи и с торжествующим видом направился к дому.

IX

ВОЗВРАЩЕНИЕ

...Трое суток бегал Антон, разыскивая повсюду свою клячонку; все было напрасно: она не отыскалась. В горе своем не замечал он студеного дождя, лившего ему на голову с того самого времени, как покинул он город, ни усталости, ни холоду, ни голоду... Без полушубка, без кушака и шапки, потерянных где-то ночью, метался он как угорелый из деревни в деревню, расспрашивая у встречного и поперечного о своей пегой кобылке. Никто ничего не знал; никто даже не дал ему разумного ответа. Кто молча отворачивался за недосугом, кто равнодушно отсылал его дальше, а кто попросту отзывался смешком на его оторопевшие, нескладные речи. Впрочем, и то сказать надо, что если б Антону посчастливилось даже отыскать конокрада, последствия были бы не лучше. У него не было денег. Мужички, провожавшие его за ворота постоялого двора, были совершенно правы, решив в один голос, что «не найти-де ему лошади, коли алтын нетути, попусту только измается, сердешный...».

Полный немого отчаяния, которое, постепенно возрастая в нем, жгло ему сердце и туманило голову, Антон бросил, наконец, свои поиски и направился к дому. Когда он ступил на троскинские земли, была

глухая, поздняя ночь, одна из тех ненастных осенних ночей, в которые и под теплым кровом и близ родимого очага становится почему-то тяжело и грустно. Льдяной порывистый ветер резал Антону лицо и поминутно посылал ему на голову потоки студеной воды, которая струилась по его изнуренным членам; бедняк то и дело попадал в глубокие котловины, налитые водою, или вязнул в глинистой почве полей, размытой ливнем. Густой туман усиливал мрак ночи; в двух шагах зги не было видно, так что иногда ощупью приходилось отыскивать дорогу. Когда ветер проносился мимо и протяжное его завывание на минуту смолкало, окрестность наполнялась неровным шумом падающего дождя и глухим журчанием потоков, катившихся по проселкам. Казалось, не было уголка на белом свете, где бы в это время могло светить солнышко и согревать человека. С каждым шагом вперед все темней и темней становилось в душе мужика. Вскоре почувствовал он под ногами покатость горы, по которой дней пять тому назад подымался на пегашке; смутно и как бы сквозь сон мелькнуло в голове его это воспоминание. Откинув дрожавшими руками мокрые волосы от лица, вперил он тогда помутившийся взор к селу и значительно прибавил шагу.

Таким образом спустя несколько времени очутился он посередь улицы. Но здесь было так же мрачно, как в поле: темнота ночи сливала все предметы в одну неопределенную, черную массу; слышно только было, как шипела вода, скатываясь с соломенных кровель на мокрую землю. Вытянув шею вперед, Антон продолжал идти, ускоряя все более и более шаг... Вдруг посреди завывания непогоды раздалась резкая, звонкая стукотня в чугунную доску... Сердце мужика вздрогнуло. Он остановился как вкопанный и поднял голову: перед ним возносился старый флигель, вмещавший контору и квартиру управляющего. Пока он силился припомнить, каким случаем попал сюда, в стороне послышались шаги, и почти в ту ж минуту грубый, сиповатый голос прокричал: «Кто тут?» Голос показался Антону чей-то знакомый; он невольно сделал несколько шагов вперед.

— Какого тут дьявола еще носит? Кто тут?.. — произнес тот же голос ближе, и Антон увидел перед собою двух человек с дубинками.

— Что ты, леший, не откликаешься? — повторил

громче прежнего один из караульщиков, стукая дубинкою по грязи.– Аль оглох? Слышь, тебя спрашивают!..

Антон молчал, потирая руками мокрую свою голову.

– Стой! – закричали в один голос караульщики и кинулись на него.

Тот без всякого сопротивления дался им в руки.

– Управляющий... дома? – спросил он глухо.

Но едва успел он произнести это, как один из мужиков тотчас же выпустил его и, засмеявшись, сказал товарищу:

– Дядя Дорофей... поглядь-ка, да ведь это наш Антон!

– Ой ли?..

– Вот те Христос... отсохни руки и ноги...

– Эй, сват! – крикнул Дорофей, также выпуская Антона и принимаясь его ощупывать,– какого лешего тебе здесь надыть?.. Что с тобой?.. Аль с ума спятил?.. Без шапки, в такую-то погоду... какого тебе управляющего?.. Из города, что ли, ты?..

– Из города...– проговорил Антон, вздрагивая всем телом.

– Эхва!.. так ты теперь-то управляющего хватился!.. Ну, брат, раненько! Погоди, вот тебе ужотко еще будет... Эк его, как накатился... Федька, знать выпимши добре, ишь лыка не вяжет... Что те нелегкая дернула,– продолжал Дорофей, толкая Антона под бок,– а тут-то без тебя что было... и-и-и...

– Что?..

– Да, теперь небось что?.. что?.. Ишь у тебя язык-от словно полено в грязи вязнет... а еще спрашиваешь – что? Поди-тка домой, там те скажут – что! Никита-то нынче в обед хозяйку твою призывал... и-и-и... Ишь, дьявол, обрадовался городу, словно голодный Кирюха – пудовой краюхе... приставь голову-то к плечам, старый черт! Ступай домой, что на дожде-то стоишь...

– Эх, фаля! вот погоди, погоди; что-то еще завтра будет тебе?.. Да что ж ты ничего не баишь, аль совсем те ошеломило?! Антон, а Антон! сват!..

– А?..

Дорофей и Федька залились во все горло.

– Слышь, что ли,– произнес первый, дергая его за руку,– полно тебе зуб-то об зуб щелкать; ступай

домой, пра, ступай домой, слышь, что те говорят?

Но Антон уже ничего не слышал. С остервенением оттолкнул он, наконец, караульщиков и кинулся стремглав к стороне околицы.

– Антон! эй, Антон! – кричали ему вслед мужики. – Экой леший! Что с ним, право, попритчилось?..

– А что попритчилось, – примолвил Дорофей, – запил! вот те и все тут; экой, право, черт... должно быть, деньги-то все кончил... Поди ж ты, Федюха, а, кажись, прежде за ним такого дела не важивалось; управляющего, слышь, захотелось ему ночью... знать, уж больно он его донимает... ну, да пойдем, Федюха: я индо весь промок... так-то стыть-погода пошла...

– Пойдем, дядя Дорофей... Постучим еще в доску... да завалимся спать... смерть иззяб...

Немного погодя резкие, звучные удары в чугунную доску далеко разнеслись по окрестности, заглушая на минуту завывание ветра и шум бури, которая, казалось, усиливалась час от часу. Антон между тем продолжал бежать как полоумный. Поравнявшись с первыми избушками, он круто своротил к огородам и пустился задами деревни. Тут шаг его сделался тверже и медленнее. Когда он приближался к тому месту, где несколько дней тому назад поднял платок, ему вдруг почудилось, что кто-то мелькнул мимо него поперек дороги. Он остановился и оглянулся в ту сторону. В эту самую минуту сильный порыв ветра раздвоил тучу, и бледным светом озарилась та часть поля. Антон явственно различил тогда в белом пятне неба над поверхностью межи профиль старухи. Согнувшись в три погибели, она ковыляла, размахивая сучковатою своею клюкою, которой, казалось, ощупывала дорогу... Антон тотчас же узнал Архаровну. Все россказни и слухи о богатстве ее разом прихлынули ему в голову; ему пришло в голову, что она может пособить ему. Секунду спустя кинулся он вслед за побирушкой, несколькими прыжками нагнал ее и крикнул задыхающимся голосом:

– Помоги, коли хочешь спасти душу христианскую от греха – дай денег!

– Касатик! касатик! – могла только проворчать побирушка, – Христос с тобой... ой... да это... ты, родной... Антон Прохорыч... какие у меня деньги!.. Христос с тобой!..

— У тебя есть!.. Все сказывают! — прибавил он.

— Что с тобой делать, — завопила старуха, — вишь ты какой странный... аль руку на себя поднять хочешь, что ли, прости господи! — деньги... у меня в березничке... в кубышке... зарыты...

— Веди туда!.. — крикнул мужик, — веди!.. скорее...

Старуха оправилась, поспешно подняла клюку; он уцепился ей за полу, и оба быстрыми шагами пустились по дороге к роще.

Пока еще тянулся проселок, они шли ходко, но как только старуха свернула на пашню, Антон начал уже с трудом поспевать за ней; ночь стала опять черна, и дождь, ослабевший было на время, полил вдруг с такой силой, что он едва мог различать черты своей спутницы. Глинистая почва пашни прилипала к их ногам тяжелыми комками и еще более затрудняла путь; время от времени они останавливались перевести дух. Наконец старуха свела его в глубокую межу, на дне которой бежал, журча и клубясь, дождевой сток; с обеих сторон поднимались черные, головастые дуплы ветел; местами тянулись сплошною стеною высокие кустарники; кое-где белый ствол березы выглядывал из-за них как привидение, протягивая вперед свои угловатые худощавые ветви. Дорога час от часу становилась затруднительнее; ноги поминутно встречали камни или скользили в тине; иногда целые груды сучьев, сломанных ветром, заслоняли межу. Подобно несметному легиону духов, ветер проносился с одного маху по вершинам дерев, срывая миллионы листьев и сучьев; потом вдруг, как бы встретив в стороне препятствие, возвращался с удвоенною силой назад, покрывая землю глыбами смоченных листьев. Тогда грохот бури смолкал на минуту, и снова слышалось журчание потоков и однообразный шум дождя, который падал полосами на деревья и скатывался на дорогу.

— Ой, погоди, касатик, дай вздохнуть... надыть еще в овраг спущаться, — сказала старуха.

Антон молча остановился. Немного погодя они, в самом деле, начали спускаться по крутому каменистому скату в овраг. Очутившись на дне, Антон поднял глаза кверху; окраины пропасти вырезывались так высоко на небе, что едва можно было различить их очертание. Несколько раз Антону приводилось проползать под стволами дерев, опрокинутыми там и сям

поперек пропасти, загроможденной повсюду камнями; старуха, по-видимому, хорошо знала дорогу; она ни разу не оступилась, не споткнулась, несмотря на то, что шла бодрее прежнего и уже не упиралась более своею клюкою. Затесавшись, наконец, вместе с Антоном в густую чащу кустарников, из которой выход казался невероятным, она неожиданно остановилась, рванулась вперед и закричала хриплым своим голосом:

— Ребятушки! сюда, родимые!..

Одуматься не успел Антон, как уже почувствовал себя в руках двух дюжих молодцов. Движимый инстинктивным чувством самосохранения, он бросился было вперед, но железные руки, обхватившие его, предупредили это намерение и тотчас же осадили назад.

— Куда? — сказал один из них, — куда? небось не уйдешь, и здесь подождешь!..

— Ермолаюшка, касатик, — заговорила старуха, — погоди, не замай его... родимый, ведь это брат твой, Антон; ох! рожоный, уж такой-то, право, колотырный... пристает, вишь, пособи ему, дай ему денег.

Услыша это, Ермолай отступил назад и крикнул:

— Антошка, ты ли?..

Но так как Антон не отвечал, он быстро подошел к нему, взял его обеими руками за плечи, глянул ему в лицо и потом, упершись кулаками в бока, залился дребезжащим смехом.

— Антошка! черт! каким те лешим принесло сюда?.. Петруха, пусти его, небось не уйдет: он сродни!..

Петруха пристально посмотрел в лицо мужику и тотчас же выпустил его, промолвив, однако, грубо товарищу:

— Что ж, что он брат тебе... коли пришел выведать... так все одно ему...

— Да что ж ты ничего не говоришь, словно пень? — продолжал Ермолай, обращаясь к брату, который не двигался с места. — Зачем пожаловал сюда, чего те от нас надо?.. да говори же, дьявол! аль взаправду глотку-то заколотили тебе на деревне?..

— Дай ему опомниться, касатик ты мой, видно, запужался больно, — подхватила старуха, нагибаясь и кладя что-то наземь, — вот иду я так-то, родной, из ихнего Троскина...

— Ну, что? — спросили в одно время Петр и Ермолай.

— Да вот, — отвечала она, понизив голос, — две курочки у мужичка сволочила... Ну, вот так-то, — продолжала она громко, — иду я, а он, окаянный, как кинется ко мне: денег, говорит, давай!.. такой-то пропастный!..

— Э! ге-ге... так ты, видно, горемыка! — воскликнул Ермолай. — Что, брат, знать, не по вкусу пришли дубовы-то пироги с березовым маслом?.. Да что ж ты, взаправду, ничего не говоришь? ай не рад, что встрелся?..

— Рад не рад, — произнес другой подходя к мужику, — тебе отсель не выйти...

— Братцы, — начал вдруг Антон, как бы пробудившись от сна, — мне денег надо, денег!.. Лошадь увели намедни... последнюю лошадь... оброку платить нечем, — прибавил он через силу.

— Так ли?.. Слыхал я про эвто, да...

— Так, родной, — перебила старуха, — по миру, почитай, пустил его управитель-то...

— Ну, а ребята мои живы? — спросил Ермолай.

— Живы... да есть нечего, — отвечал мрачно Антон, — пособите, братцы, хошь сколько-нибудь дайте денег! — промолвил он голосом отчаяния.

— Мы ведь недавно, всего, кажись, три недели сюда подоспели... Вот парнюхе старуху свою хотелось проведать... да место вышло податно, так и остались зимовать... а то бы я навестил тебя... на ребяток поглядеть хотелось, мать-то их добре померла... так что ж ты, Антонушка?.. К нам, что ли?..

— Последнюю лошадь увели, — начал снова Антон, — подушных платить нечем... денег мне надо...

— Эх-ма! пособить-то те можно, да вот, вишь, какое дело — деньги-то у нас не то что свои, не то что чужие. Они у нас теперь в кармане, так, стало, наши. А вот маленько прежь сего их держал у себя за пазухою купец, ехавший с ярманки; мы к нему, знашь, тово: поделись, дескать, добрый человек! Он на нас с криком, мы погрозили порядком, деньги-то с бумажником он нам и швырнул в лицо, а сам давай бог ноги... Ну, ты теперь наш, все узнал; помочь-то тебе мы поможем, да только ни гугу, а то ведь беда! Купец-то ночью нас не разглядел, да и лыжи отсюдова навострил далеко, так никто не узнает, коли ты не пробол-

таешься. Мы теперь зайдем в кабак вместе, недалеко отсюдова, а там дадим тебе на разживу да разойдемся на разные стороны. А что ты, Антошка, бывал у Бориски-рыжака, пивал у него когда?

— Нет.

— Ну, стало, не знает тебя рыжий?

— Не знает.

— Ну и ладно, идем... А ты, матушка, здесь оставайся!

— Вестимо, родной... вас поджидать стану... мотри только, касатик, его-то от себя не пущайте...

— Небось, не уйдет! — отвечал тот. — Ну, идемте, ребята... мотри же, Антонушка, опростоволосишься, вот те Христос, поминай как звали!..

Бродяги допили штоф, подняли кверху дубинки и, сказав еще что-то шепотом старухе, пропустили Антона вперед и начали выбираться из оврага.

Кабак, куда направлялись они, стоял одиноко на распутье, между столбовой дорогой и глубоким, узким проселком; сделав два или три поворота, проселок исчезал посреди черных кочковатых полей и пустырей, расстилавшихся во все стороны на неоглядное пространство. Ни одно деревцо не оживляло их; обнаженнее, глуше этого места трудно было сыскать во всей окрестности.

Здание кабака соответствовало как нельзя лучше печальной местности, его окружавшей: оно состояло из старинной двухэтажной избы с высокою кровлей, исполосованной по всем направлениям темно-зеленым мохом и длинными щелями. На верхушке ее торчала откосо рыжая иссохшая сосенка; худощавые, иссохшие ветви ее, казалось, звали на помощь. Стены избы были черны и мрачны; промежутки между бревнами, серо-грязноватого цвета, показывали, что мох уже давным-давно истлел. Новенькое сосновое крылечко, прилаженное ко входу избы, еще более выказывало ее ветхость. Его гладенькие вылущенные столбики, белый, лоснящийся навес с вычурами, тоненькие перила так резко бросались в глаза своим контрастом с остальною частью кабака, что невольно напоминали уродливое сочетание безобразного старика с свеженькой молодой девушкою. Здание, подобно многим в этом роде, было окружено с трех сторон навесами, дававшими тотчас же знать, что радушие хозяина не ограничивалось одною лишь косушкой: тут находился

и постоялый двор; польза соединялась, следовательно, с приятным. Таким образом проходимцу или извозчику предстояло чрез это истинно благодетельное соединение выпить вместо одной косушки, уже необходимой для подкрепления сил, еще две лишние: одну, как водится, после ужина, другую при расставанье под утро.

По мере того как темнота ночи рассеивалась, черная профиль высокой кровли кабака и сосны, усеянной заночевавшими на ней галками, вырезывалась резче и резче на сероватом, пасмурном небе. Кругом тишина была мертвая. Несмотря, однако ж, на ранний рассвет, в одном из окон нижнего этажа, пока еще смутно мелькавшем сквозь полосы тумана, светился огонек. После некоторого внимания можно даже было довольно четко различить длинную тень человека, ходившего взад и вперед по избе. Вскоре тень эта скрылась. На крылечке показался тогда высокий мужчина в длиннополом кафтане на лисьем меху. Сначала нагнулся он на перила и, приложив ладонь ко лбу в виде зонтика, долго глядел на большую дорогу; потом, сделав нетерпеливое движение, незнакомец сошел вниз. Видно было, однако, что и здесь остался он недовольным; простояв еще несколько времени, махнул он, наконец, с досадою рукой и опять поднялся на крылечко. Находясь, должно быть, под влиянием нетерпеливого ожидания и не доверяя, вероятно, своей зоркости в первых двух попытках, он сел на ступеньки, подперся ладонью и снова принялся глядеть в туманную мглу, окутывавшую местность.

Но вот уже потянулся туман в вышину, глубокие колеи дороги, налитые водою, отразили восход, а он все еще не покидал своего места и не сводил глаз с дороги. Пахнёт ли ветерок по влажной земле, пронесется ли в воздухе стая галок,— он быстро подымает голову, прислушивается. Терпение его, казалось, наконец истощилось: он вскочил на ноги и проворно вошел в сени кабака. Тут по-прежнему увидел он рыжего целовальника, лежавшего навзничь между двумя бочками, устланными рогожей; в углу, на полу, храпели два мужика и мальчик лет тринадцати, батрак хозяина. Дверь налево, в кабак, была заперта на замок. Человек в длинном кафтане прошел поспешно сени и вступил в избу направо. Он, по-видимому, был чем-то сильно встревожен. Слабый свет догоравшей свечки,

смешиваясь с белым светом утра, набрасывал синевато-тусклый отблеск на лица нескольких мужиков, спавших на нарах. На лавке подле стола, покрытого скудными остатками крестьянского ужина, сидел, опустив голову на грудь, бородатый человек, которого по одежде легко можно было принять за купца. Опершись одною рукой на стол, другою на лавочку, он храпел на всю избу. Незнакомец прямо подошел к нему и дернул его за руку; потеряв равновесие, купец свалился на лавку и захрапел еще громче.

— Матвей Трофимыч,— сказал с досадою незнакомец, принимаясь будить его,— Матвей Трофимыч! проснись, эй!.. до сна ли теперь? Да встань же... ну...

— Мм... а что, брат приехал? — отозвался купец, торопливо протирая глаза.

— Какой приехал! Слышь, Матвей Трофимыч... мне все думается, не беда ли какая случилась с братом...

— Гм! — произнес Матвей Трофимыч, приподнимаясь,— давно бы надо здесь быть... вечор еще... сколько, бишь, сказывал он, верст от города до Марина?

— Да, никак, двадцать или двадцать две, говорил...

— Эх, напрасно, право, мы с ним тогда не поехали, получка денег не бог знает сколько взяла бы времени!.. Да делать нечего, подождем еще, авось подъедет...

— Мне все думается, не прилучилось бы с ним беды какой... поехал он с деньгами... долго ли до греха... так индо сердце не на месте... Слышал ты, мужики вечор рассказывали, здесь и вчастую бывает неладно... один из Ростова, помнишь, такой дюжий, говорил, вишь, из постоялого двора, да еще в ярманку, вот где мы были-то, у мужичка увели лошадь.

— Ой ли?..

— То-то, Матвей Трофимыч, ты спал, а я слышал...

— Авось, бог милостив... ох-хе-хе...

В то время в избу вошел целовальник; закинув коренастые руки свои назад за шею, он протяжно зевнул и сказал, потягиваясь:

— А что, не приезжал еще ваш товарищ?..

— Нет, брат, не едет, да и полно,— отвечал высокий,— я уж поджидал, поджидал, глаза высмотрел... побаиваемся мы, не случилось ли с ним беды какой... ехал ночью, при деньгах... на грех мастера нет...

– Что случится... запоздал, должно быть...

– У вас вот, говорят, на дорогах-то шалят больно... вот об эвтом-то мы и сумлеваемся...

– Что говорить, случалось, всяко бывает; да уж что-то давно не слыхать; намедни вот, сказывают, бабу, вишь, каку-то обобрали... а то не слыхать... кажись, смирно стало...

– О-ох, беда, да и только... уж не съездить ли мне в Марино... далече отселева станет?

– Верст семнадцать без малого... да вы не ездите... обождите... Господь милостив... о!.. о!.. (Целовальник зевнул.) Эй, Пахомка! что ты, косой черт...– крикнул он, выходя в сени и толкнув под бок ногою мальчика,– вставай, пора продрать буркалы-те... время кабак отпирать... день на дворе...

Матвей Трофимыч сел снова на лавочку и задремал; товарищ его вышел на крылечко и снова принялся глядеть на дорогу.

Вскоре кабак ожил. Зазвенели склянки, зашумел народ, все пришло в движение. Работница-стряпуха затопила печь, мужики завозились под навесами, и немного погодя послышались уже громкие восклицания и удалая песня. Человек в длиннополом кафтане продолжал глядеть с тем же притупленным вниманием на дорогу. Вдруг он поднялся, взбежал на крыльцо и вытянул вперед шею, как бы силясь приблизиться к увиденному им вдалеке предмету. Но лицо его, обнаружившее радость, мгновенно нахмурилось; обманутый ожиданием, он печально отошел назад. На дороге показались три пеших человека.

Когда подошли они ближе, купец невольно обратил на них внимание. Двое из них были покрыты грязными лохмотьями, лица их были тощи и изнурены; щетинистые, взъерошенные брови и бакены придавали им вид суровый, дикий. Наружность третьего путника особенно поразила купца. Это был высокий сгорбленный мужик лет шестидесяти, покрытый сединою, с лицом известкового, болезненного цвета, он как будто удручен был каким-то сильным недугом. Голова его несколько висела набок; огромные коренастые руки старика как-то безжизненно болтались при каждом шаге вдоль угловатых, костлявых ног, перепутанных разодранными онучами, покрытыми грязью. Он, казалось, совершенно бесчувствен был к стуже, которая багровила ему грудь и плечи, едва

прикрытые лохмотьями крестьянской рубашки. Приблизившись к кабаку, товарищи старика оглянулись сначала на все стороны, потом взяли его под руки и поспешно вошли в кабак, не взглянув даже на сидевшего незнакомца. Купец, поглядев еше несколько минут на дорогу, тоже вошел в кабак. В голове его невольно мелькнуло какое-то подозрение...

Бо́льшая часть мужиков, заночевавших у целовальника, находилась уже тут; некоторые из них стояли посередь избы и о чем-то горячо спорили, другие сидели на лавочке за большим столом. В углу подле сороковой бочки, уставленной разнокалиберными медными воронками, за небольшим столиком сидели по обеим сторонам Антона брат его Ермолай и Петрушка. Перед ними стояли штоф и стаканы. Ермолай, положив локти на стол и запустив ладони в черные свои волосы, глядел беспечно в окно; но усилия, с какими расширял он глаза, беспрерывное движение мускулов на узеньком лбу его и легкое наклонение головы свидетельствовали, что он жадно прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Антон и другой его товарищ сидели насупясь и молчали. Немного спустя целовальник подошел к купцу.

— Ну, что? — сказал он, — видно, брат-от не едет...

— Нет, не едет, — отвечал тот, бросив косвенный взгляд на угол, где сидели бродяги, — я уж, право, думаю, беда случилась... он был при деньгах... поехал ночью...

Движение Ермолая и товарища его, который быстро поднял голову, не ускользнуло от купца; сердце его колотило так сильно, что он несколько секунд не мог произнести слова; оправившись, он продолжал, однако стараясь принять по возможности спокойный вид:

— Ты же, брат, рассказывал, что у вас здесь какую-то бабу обобрали на дороге... точно, место глухое... чего доброго, ограбят еще...

Речь замерла у него на устах; взгляд, брошенный Ермолаем на дверь и на товарищей, усиливал в нем подозрение; все говорило ему, что тут крылось что-то недоброе. Он как бы нехотя приподнялся с своего места и, толкнув локтем целовальника, вышел с ним в сени.

— Слушай, брат хозяин, — сказал он торопливо, — мне сдается, беда прилучилась... видал этих трех, что сидят в углу подле бочки?..

— Как же... а что?..

— Сделай милость, — продолжал купец убедительным голосом, — ради господа бога, не пущай ты их, разведаем сперва, что они за люди... тебе будет не в обиду... ишь они какими недобрыми людьми выглядят... И тот, что с ними, старик-ат... в одной рубахе... точно, право, бродяги какие... не пущай ты их... я пойду разбужу товарища... мне, право, сдается, они...

И купец, не докончив речи, опрометью кинулся в избу. Целовальник, страстный охотник до всяких свалок и разбирательств и которому уже не впервые случалось накрывать у себя в заведении мошенников, тотчас же принял озабоченный вид, приободрился и, кашлянув значительно, вошел в кабак. Ермолай и его товарищи успели опорожнить в то время штоф и сбирались в путь.

— Хозяин, — сказал он, подходя бодро к целовальнику, — что с нас?

— Штоф, что ли? — спросил тот, окидывая взором стол и Антона, сидевшего недвижно, как и прежде.

— Да, брат, штоф, — отвечал Ермолай, надевая одною рукою шапку, другою подавая красную ассигнацию. — Эх, жаль, время не терпит, а то бы знатную у тебя выпивку задали.

— А вам нешто к спеху, — продолжал рыжий Борис, которому красная бумажка показалась что-то подозрительною в руках такого оборванца. — Вы отколь?..

— А мы, брат, сдалече, копальщики, идем с заработок... домой, — отвечал, нимало не смущаясь, Ермолай и в то же время подал знак Петру, указав на брата.

Но заметив усилия, с какими Петр приподнимал Антона на ноги, целовальник спросил:

— А что это у вас товарищ-ат... кажись, разнемогся...

— Да... на дороге из Тулы... что-то животы подвело... — отвечал Петр, подбираясь с Антоном к двери.

— Хозяин, давай-ка скорей сдачу, — сказал Ермолай нетерпеливо.

Но купец, сопровождаемый несколькими мужиками, загородил им дорогу. В числе мужиков находился и ростовец, тот самый, что встретился с Антоном на ярмарке. Увидя его, он растопырил руки и произнес радостно:

— А! здорово, брат, как тие бог милует... Вот не чаял встретить! ну что, нашел лошадь?

Антон вздрогнул.

— Разве ты его знаешь? — спросил удивленный купец.

— Как же! — отвечал ростовец, подходя ближе к Антону,— да ведь это, братцы, тот самый мужичок, что сказывал я вам вечор, у кого лошадь-то увели... ну, брат... уж как же твой земляк-то убивалси!..

Несколько мужиков встали с своих мест и подошли с участием к Антону.

— Мы на другой день нашли его лошадь... — отвечал, оторопев, Петр,— насилу откупились...

— Ой ли?..

— Да тебе-то что?.. — сказал Ермолай, толкнув плечом ярославца и силясь пробиться к двери. Видно было, что ему становилось уже неловко.

— Ты, брат, мотри не пихайся, не к тебе слово идет...

— Стой, молодец! — произнес вдруг целовальник, удерживая бродягу.— Как же ты говорил мне, вы с заработок шли... а вот он его видел (тут Борис указал на ростовца и потом на Антона) с лошадью на ярманке... и сказывал, мужик пахатный... помнится, еще из ближайшей деревни...

— Как же, из Троскина какого-то,— заметил ростовец.

— Что ж ты бабушку путаешь? — воскликнул Борис, подступая к Ермолаю.— Какой же он копальщик?..

— Да чего тебе от нас надо? — крикнул Ермолай, врываясь силою в двери.

— Нет, погоди... постой... эй, ребята! не пущайте его... сказывай прежде, что вы за люди...

— Разбойники, разбойники! — завопил неожиданно купец, выхватывая из рук Ермолая зеленые замшевые рукавицы, которые тот не подумал второпях спрятать.— Братцы! вяжи их! братнины рукавицы!.. знать, они его ограбили... крути их!..

— Эй... держи!.. вяжи!.. держи!.. — раздалось со всех сторон в кабаке, и толпа мужиков обступила бродяг.

— Чего вы, дьяволы! ну что,— кричал Ермолай, становясь в оборонительное положение,— ну, что вам надо?..

— Откуда у тебя рукавицы, разбойник? — произнес купец, хватая его за грудь.

— На дороге нашел!..

— Врешь, собачий сын!.. — сказал целовальник, вытаскивая в эту самую минуту из-за пазухи Ермолая замшевый бумажник. — А это что?..

Не прошло минуты, как уже Ермолай лежал в сенях, связанный по рукам и по ногам; Петрушку также выводили из кабака; проходя мимо товарища, он сказал дрожащим, прерывающимся голосом:

— Братцы... отпустите меня... за что вы меня тащите... это вот он с своим братом... мужик тот... седой-то... обобрали купца... отпустите!..

— Как! убили! — завопил купец, вбегая в сени. — Обобрали!.. — И он кинулся как полоумный вон из избы.

— Эй, целовальник! хозяин! — закричал Матвей Трофимыч рыжему Борису, все еще хлопотавшему подле Ермолая, — посылай скорей в их вотчину... внакладе не будешь... скорей парня на лошади посылай в их деревню за десятским... за управляющим... да, ну брат, проворней!..

Пока прикручивали Петра, в дверях кабака послышался страшный шум; в то же время на пороге показалось несколько мужиков, державших Антона; хватив старика кто за что успел, они тащили его по полу с такою яростью, что даже не замечали, как голова несчастного, висевшая набок, стукалась оземь. Глаза Антона были закрыты, и только судорожное вздрагивание век и лба свидетельствовало о его жизни. Сквозь стиснутые зубы и на бледных губах его проступала кровь. Толстоватый ярославец, казалось, более других был в бешенстве; он не переставал осыпать его ударами.

— Вяжи его, разбойника... вяжи!.. — кричал он хриплым голосом. — Вишь, надул... мошенник... надул, собака... а я-то, волк меня съешь, еще плакал было над ним... тащи его!.. разбойника!.. вяжи его! вяжи!..

— Эй, Степка! бери скорей лошадь, валяй в Троскино село, — сказал целовальник вбежавшему дворнику, — ступай прямо к управляющему, зови его сюда... да скажи, чтоб слал народу, разбойников, вишь, поймали из их вотчины...

Тот опрометью кинулся под навесы. Немного погодя Степка мчался что есть духу по дороге в Троски-

но. Рыжий Борис, Матвей Трофимыч и еще несколько человек из мужиков стояли между тем на крылечке, махали руками и кричали ему вслед:

– Ступай, не стой... мотри, скорей... зови управляющего, зови народ... погоняй, не стой!..

X

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неделю спустя после происшествия в кабаке, на улице села Троскина толкалась почти вся деревня; каждый, и малый и взрослый, хотел присутствовать при отправлении разбойников. Пестрая толпа из мужиков, баб, девок, ребят и даже младенцев, которых заботливые матери побаивались оставить одних-одинешенькх в качках, окружала с шумом и говором две подводы, запряженные парою тощих деревенских кляч. В телегах покуда никого еще не было. Прислонившись к одной из них, стояли друг подле дружки два седые старика в рыжеватых коротеньких полушубках, туго подтянутых ремнем; медные восьмиугольные бляхи, пришитые к правой стороне груди каждого из них, и обритые бороды давали знать, что это были не кто иные, как наемные сотские из стана. Оба дружелюбно разговаривали с молодым парнем, которому, в качестве хозяина очередной подводы, следовало везти конвойных до ближнего острога. Поодаль от этой группы находился служивый этапной команды; опершись на ружье и повернувшись спиною к хозяину другой телеги, малому лет шестнадцати, он то и дело поглаживал щетинистый ус свой и вслед за тем лукаво подмигивал близ стоявшим бабам. По другую сторону подвод сидели, прислонившись на ось, кузнец Вавила и его помощник. Последний расположился на кожаном мешке, из которого выглядывали железные кольца и молоты; он свирепо почесывал затылок и, закинув голову назад, всматривался почему-то очень пристально в небо, покрытое густыми беловатыми тучами. К ним-то толпа и напирала сильнее всего. Каждый старался просунуть голову, чтобы только хоть вскользь да поглядеть на новые березовые колодки, лежавшие грудой у ног Вавилы. Высокий плешивый старик, стоявший впереди других, не утерпел даже, чтобы не прикоснуться к ним несколько раз ногою.

— Эки штуки! — произнес он наконец, проворно отдергивая ногу.

— А чего надо? — сказал сурово Вавила. — Не видал, что ли?..

— Нет, не приводилось, — отвечал тот с сожалением, — занятно больно...

— А что, дядя Вавила, я чай, куды тяжелы станут? — спросила в свою очередь красная, как мак, и востроносая, как птица, баба, вытягивая вперед длинную, костлявую свою шею.

— Вестимо, тяжелы... попробуй... — отвечал кузнец.

— Ну, ты что лезешь... нешто не видала? Пошла, вот как двину! — вымолвил высокий плешивый старик, выжимая востроносую бабу из толпы и снова устремляя круглые свои глаза на колодки — предмет всеобщего любопытства.

— Где ты их срубил, дядя Вавила, в осиннике, что ли? — вымолвила румяная курносая девка, повязанная желтым платком, высунув голову из-за плеч сгорбленной, сморщенной старушонки.

— А тебе на што?..

— Эх, я чай, побредет теперь наш Антон, — заметил кто-то далее. — Вот привелось на старости лет надеть сапожки с какой оторочкою...

— Поделом ему, мошеннику!.. А разе кто велел ему на старости лет принять такой грех на душу... Шуточное дело, человека обобрать!..

— Да, братцы, не думали, не гадали про него, — начал опять другой. — Дались мы диву: чтой-то у нас за воры повелись: того обобрали да другого; вот намедни у Стегнея все полотно вытащили... а это, знать, всё они чудили... Антон-от, видно, и подсоблял им такие дела править... Знамо, окромя своего некому проведать, у кого что есть...

— Поделом ему, мошеннику, поделом... Что вы его, разбойника, жалеете, братцы...

— Тетка Федосья, была ты ономнясь на улице, как провели ту побирушку-то, что к нам в деревню шлялась?

— Нет, матушка, не привелось видеть; ведь она, сказывают, мать тому бедному-то?

— Мать... Трифон Борисов баил, уж такая-то, говорит, злыдная, невесть какая злыдная; руку, говорит, чуть было не прикусила ему, как вязать-то ее зачали.

— Что ты?

— Провалиться мне на этом месте, коли не сказывал... Вот, тетка Федосья, и на уме ни разу не было, чтобы она была таковская... Поглядеть, бывало, смирная, смирная... еще и хлебушки подашь ей, бывало...

Словом, всюду в толпе, окружавшей подводы, раздавались толки и пересуды. Но вдруг толпа зашумела громче, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! ведут!»

На противоположном конце улицы показались тогда Ермолай, Петр, Архаровна и Антон; впереди их выступал с озабоченным, но важным видом Никита Федорыч, провожаемый сотскими и старостами; по обеим сторонам осужденных шли несколько человек этапных солдат в полной походной форме, с ружьем и ранцем; позади их валила толпа народу. Между нею и Антоном, который шел позади товарищей, тащилась, переваливаясь с ноги на ногу и припадая беспрестанно на колени, Варвара, сопровождаемая Ванюшею и его сестрою, ревевшими на всю деревню. В стороне от всех бежала, то тискаясь, то рассыпаясь, пискливая ватага девчонок и ребятишек. Рыженькая хромая девочка, прыгая на одной ножке и коверкаясь как бесенок, опережала всех.

— Пошли прочь! — крикнул сердито Никита Федорыч, расталкивая мужиков и баб, теснившихся вокруг телег. — Чего стали?.. Пошли, говорю. Ну, ты, вставай да набей-ка им колодки, мошенникам. А вы смотрите, братцы, — продолжал он, обращаясь ласково к старикам, сотским и солдатам, — не зевайте, держите ухо востро!

Никита Федорыч отошел несколько в сторону.

Вавила приступил немедленно к исполнению приказания. В толпе воцарилось глубокое молчание, так что с одного конца улицы в другой можно было ясно расслышать удары молотка, которым кузнец набивал колодки.

— Эх, брат Вавила, — произнес бойко Ермолай, подставляя ногу, — вот где привелось свидеться!.. Помнишь, кум, как пивали вместе? Лихой, брат, был ты парнюха!

— Садись, мошенник! — сказал ему Никита Федорыч, — садись! Вот погоди-ка, тебе покажут парнюху

Ермолай с помощью сотских взгромоздился на телегу подле Архаровны и Петра. Когда очередь пришла Антону и Вавила, усадив его на ось телеги, уда-

рил в первый раз по колодке, посреди смолкнувшей толпы раздался вдруг такой пронзительный крик, что все невольно вздрогнули; почти в то же мгновение к ногам Антона бросилась Варвара; мужики впихнули за ней Ваню и Аксюшу. Понява Варвары распадалась лохмотьями, волосы ее, выпачканные грязью, обсыпали ей спутанными комками лицо и плечи, еле-еле прикрытые дырявою рубахой. В беспамятстве своем она ухватилась обеими руками за ноги мужа, силясь сорвать с них колодки.

– Отец ты наш... отец, батюшка... Ой, родные, спасите... вы меня... не пущайте его, родного сиротинушку, на кручину лютую... На кого-то, отец, оставишь ты нас, горемычных!..

Далее ничего нельзя было разобрать: протяжное рыдание заглушило ее несвязную речь. Ваня и сестра его стояли неподвижно подле дяди и обливались слезами.

– Эй, братцы! – закричал снова Ермолай. – Мотрите, по старой дружбе не давайте моих ребят в обиду, они непричастны!.. Эй вы, девки, и юбки-голубки, сорочки-белобочки, – присовокупил он, подмигивая глядевшим из толпы девкам, – мотрите, будьте им отцами!..

Антон, сидевший по сю пору с видом совершенного онемения, медленно приподнял голову, и слезы закапали у него градом.

Он хотел что-то сказать, но только махнул рукой и обтер обшлагом сермяги глаза.

– Ну, сажай его! – сказал Никита Федорыч, указывая сотским на Антона. – А вы-то что ж стоите?.. Садись да бери вожжи; что рты-то разинули!.. Эй вы, старосты, оттащите ее... было ей время напрощаться с своим разбойником... Отведите ее... Ну!..

– Батюшка! – вскричала Варвара, судорожно протягивая руки к мужу. – Ба... тю... шка!.. Ох, Антонушка!.. Ох!..

И баба грохнулась со всех ног наземь.

– Эх-ма! тетка Варвара, – начал опять Ермолай, взмостясь на перекладину телеги. – Полно! его не разжалобишь (он указал на Никиту Федорыча): ишь он как пузо-то выставил...

– Трогай! – закричал сердито Никита Федорыч, махнув рукою мужикам, усевшимся на облучки подвод.

Они ударили по лошадям, присвистнули, и телеги покатились.

Толпа кинулась вслед за ними; впереди всех, подле самых колес, скакала, вертясь и коверкаясь на одной ножке, рыжая хромая Анютка.

— Прощайте, ребята, прощайте! — кричал Ермолай, размахивая в воздухе шапкой.— Не поминайте лихом! Прощайте, братцы, прощайте, нас не забывайте!

. . . .

Телеги приближались к околице. В это время белые густые тучи, висевшие так неподвижно на небе, как бы разом тронулись, и пушистые хлопья первого снега повалили, кружась и вертясь, на землю. Вмиг забелела улица Троскина, кровли избушек, старый колодец, а наконец и поля, расстилавшиеся далеко-далеко вокруг всей вотчины; холодный ветер дунул сильнее, и снежная сеть заколыхалась, как тяжелое необъятное покрывало. Никита Федорыч закутался плотнее в свой архалук и обернулся к околице; но ничего уже не увидел управляющий; даже крайние избы села едва заметно мелькали сквозь пушистые хлопья валившего отовсюду снега.

— Эки мошенники! — произнес он, отряхиваясь и продолжая путь.— Ведь вот говорил же я, что вся семья такая... Недаром не жалел я их, разбойников... Ну, слава богу, насилу-то, наконец, отделался!.. Эк, подумаешь, право, заварили дело какое... с одним судом неделю целую, почитай, провозились... Ну, да ладно... Теперь по крайней мере и в помине их не будет!..

Размышляя таким образом, Никита Федорыч не заметил, как подошел к конторе. Голос Анны Андреевны мгновенно вывел его из задумчивости.

— Никита Федорыч, а Никита Федорыч, ступай чай пить! — прокричала она, высовывая из форточки желтое лицо свое, перевязанное белой косынкой.— Ступай чай пить, полно тебе переваливаться-то!..

— Иду, иду, барыня-сударыня,— отвечал супруг с достоинством и вошел в сени старого флигеля, не заметив Фатимки, которая стояла за дверьми и, закрыв лицо ручонками, о чем-то разливалась-плакала.

1847





БОБЫЛЬ

(Рассказ)

Суд наедет, отвечай-ка,
С ним я век не разберусь!
Пушкин

Темная осенняя ночь давным-давно окутала сельцо Комково. Погода стояла бурная, ненастная; мелкий дождь падал пополам с снегом; холодный ветер гудел протяжно в отдаленных полях и равнинах... Но буря, слякоть и темнота нимало не вредили приходскому празднику в сельце Комкове, и гулянка, которой год целый ждали обыватели, была в полном своем разгаре. На улице толпилась тьма народу. Со всех сторон слышались нестройные песни, восклицания, говор, хохот; правда, время от времени их заглушал суровый голос бури, которая с ревом и свистом пробегала по обвалившимся плетням и лачугам, но тем не менее песни и крики раздавались громче и громче, когда ветер проносился мимо и буря на минуту стихала. Почти в каждой избушке светились огоньки, и длинная нить их, отражавшаяся багровыми полосами в лужах, давала знать, что и внутри домов точно так же продолжалась пирушка. Словом, жители Комкова веселились и гуляли на славу.

Но тогда как веселье так единодушно обнаруживалось с одного конца деревни до другого, в доме самой помещицы было что-то особенно спокойно и тихо. Распутица ли помешала соседям съехаться по обыкновению к Марье Петровне, ненастье ли или другое что, а только она сидела этот раз почти без гостей. Общество составляли всего-навсе – бедная вдова, поручица Степанида Артемьевна, проживавшая в доме третий год в качестве «приживалки», и еще ближайшая соседка Марьи Петровны, Софья Ивановна, или просто «Иваниха», как называли ее крестьяне. Все три дамы расположились в небольшой уютной комнатке, выходившей на улицу.

В углу, подле незавешенного окна сидела особняч-

ком Степанида Артемьевна и вязала чулок; против нее на столике стояло все нужное для чаю. Огромный неуклюжий самовар из красной меди, занимавший чуть ли не половину стола, пыхтел и отдувался, как толстяк, обремененный тяжкою ношей, в знойное время; из него валили, клубясь и журча, густые струи серого пара, то направляясь на соседнее окно и обдавая его крупными каплями, то вдруг обращаясь косою полосой на сальный огарок, находившийся тут же, между чайником и чашками.

При таком неожиданном нападении со стороны соседа огарок бросал еще более сомнительный свет на поручицу, женщину с наружностью жесткой и деревянной, одетую, как вообще все вдовствующие поручицы-приживалки, в глубокий траур. Другие две дамы сидели поодаль от окна, у лежанки. Красное пламя жарко топившейся печки не только позволяло различать их лица, но даже обозначало на стене длинные, угловатые профили собеседниц. Одна из них, хозяйка дома, была подслеповатая маленькая старушонка с лицом кротким и добродушным, напоминавшим скорее, однако ж, безответную простоту, чем первые два качества. На ней был черный поношенный платок, черный ситцевый капот с белыми крапинами и жиденький чепец с темными лентами, находившимися постоянно в каком-то лихорадочном состоянии, вопреки неподвижности самой владелицы; это происходило оттого, что головка старухи, и без того уже слабая, приняла дурную привычку трястись с тех пор, как раз ночью испугали Марью Петровну, объявив ей, что в Комкове загорелась баня. Наружность Софьи Ивановны представляла самую резкую противоположность с наружностью ее соседки. Ясно, что эти крутые багровые щеки, готовые лопнуть каждую минуту вместе с серыми глазами навыкате, этот узенький лоб, сплюснутый нос и темные волосы без проседи, несмотря на пятидесятый год, могли только принадлежать бойкой и энергической женщине. Все три дамы хранили глубокое молчание. Тишина в комнате прерывалась лишь треском и щелканьем печки, метавшей на пол искры, и пискливым напевом самовара, которому вторило иногда недовольное ворчанье собачонки, лежавшей на диване, за спиною помещицы. Извне слышался отдаленный гул толпы, бродившей по улице; время от времени гул этот как будто приближался и, смешав-

шись внезапно с свирепым завыванием ветра и шумом дождя, посылаемого в окна, производил такой грохот, что даже канарейка, сидевшая нахохлившись в клетке над головою поручицы, вздрагивала, высовывала из-под крылышка голову и начинала отряхиваться.

— Цыц, Розка,— говорила тогда Марья Петровна, обращаясь к собачке, которая принималась неистово лаять,— цыц! Господи благослови,— продолжала она,— с ума они сошли, что ли? того и смотри, деревню сожгут... Степанида Артемьевна, посмотрите, матушка, в окно, уж не случилось ли чего?..

Тут Марья Петровна поворачивала с беспокойством худощавое лицо свое к окошку и крестилась с особенною выдержкою.

— Не видно ничего-с,— отвечала приживалка, обтирая рукою мутное стекло,— все окно доверху занесло снегом-с.

— Эх, матушка, Марья Петровна, охота же вам, право, допускать такие буйства,— произнесла Софья Ивановна грубым голосом, соответствовавшим как нельзя лучше ее дубовой наружности,— смотрите, когда-нибудь наживете себе беду с вашею добротой; уж когда-нибудь да сожгут вам ваше Комково ваши же мужики!..

— Пресвятая богородица, божья матерь, святой Сергий-угодник... ох!.. моя Анюточка покойница (царство ей небесное!) к нему прикладывалась... — простонала жалобно хозяйка, возводя очи к потолку и принимаясь снова креститься.

— Да, конечно, сожгут вам деревню,— продолжала соседка,— если станете попускать такие буйства и бесчинства; время же стоит почти всякий раз в этот день, как нарочно, ветреное; разумеется, дело осеннее, долго ли до беды!

— Ох! да что ж мне делать-то с ними, Софья Ивановна?..

— Как что делать, матушка? вот славно! Да кто же здесь госпожа? Сказали: не хочу, не сметь, мол, вам буйствовать! да и постращать хорошенько, вот и будет все в порядке; а то, право, долго ли этак до греха... слышите сами, какой ветер?.. слышите?..

Софья Ивановна наклонила набок голову, Марья Петровна и поручица последовали ее примеру.

Пронзительный ветер люто завывал вокруг всего дома, потрясая ставни и выступы; дождь стучал не-

умолимо, то глухо ниспадая на кровлю, то барабаня по окнам.

— Ох, сколько, я думаю, Софья Ивановна, бездомных-то сироточек идут теперь по миру в такую-то погодушку,— промолвила после молчка Марья Петровна,— и пристанища-то у них, бедненьких, нету...

— А вам бы их небось всех к себе заманить хотелось? Много их, матушка Марья Петровна,— на всех богадельни в вашем Комкове не построишь, да и капиталу-то недостанет. Знаете ли, чем нам об эвтом сумлеваться, погадайте-ка лучше опять в карточки...

Слова эти произвели магическое действие на старушку; лицо ее, обыкновенно безжизненное, осмыслилось вдруг выражением живейшего участия; даже что-то вроде улыбки показалось на иссохших губах ее. Нужно заметить, что она слыла во всем околотке мастерицею гадать в карты, и в этом сосредоточивалась вся деятельность, все самолюбие доброй Марьи Петровны. Она с самодовольною улыбочкой взяла со стола замасленную колоду, стасовала ее и, тряхнув быстрее обыкновенного головкой, сказала поручице:

— Степанида Артемьевна, поставьте-ка, голубушка, к нам огарок да присядьте сами сюда.

Приживалка зажгла, однако же, другую свечку, поставила ее перед помещицею и, не отвечая ни слова, уселась на прежнее свое место. Профили старух еще значительнее вытянулись и расширились на стене: голова Софьи Ивановны приняла вид исполинской тыквы; нос Марьи Петровны вытянулся и заострился так немилосердно, что досягнул до чайного стола, так что при малейшем движении пламени, казалось, он клевал прямо в сахарницу, а иногда зацеплял даже за чепец поручицы, принявшейся снова за свой чулок.

— Вам, Софья Ивановна, я знаю, верно, на червонную даму... вы всегда на нее загадываете? — спросила старушка, утвердительно кивая головою.

— Ну, хорошо, ставьте хоть на червонную,— отвечала та, придвигаясь ближе.

— Уж как хорошо выходит,— говорила помещица, между тем как худощавые ее пальцы так вот и бегали по столу,— уж как хорошо... интерес, да, от трефового короля получите большой интерес... постойте, что это? Да,— продолжала она, задумчиво потирая лоб,— препятствует какая-то белокурая дама, довольно пожилая...

– Гм! белокурая! кто же, однако ж?.. ну, что же еще?

– Письмо получите из дальней дороги, вести, вот видите ли, дорога?.. постойте... вот тут как будто болезнь, но небольшая, так, простуда какая-нибудь легонькая... но вообще все очень, очень хорошо; интерес, большой интерес от трефового короля получите...

– Марья Петровна, Софья Ивановна, – перебила сухо поручица, – не будете больше кушать чаю? я прикажу снести самовар...

– Погодите, Степанида Артемьевна, может, Софье Ивановне угодно будет выкушать еще чашечку...

– Нет, матушка, благодарствуйте, я уж и так по горлышко... больше не могу...

В эту самую минуту на улице раздался такой неистовый грохот, что все три дамы разом вздрогнули. Почти в то же время подле окна, где сидела приживалка, послышался протяжный вой собаки; он начался тихо, но потом, по мере возвращавшейся тишины, вой этот поднялся громче и громче, пока, наконец, не замер с последним завыванием ветра. Собачка, лежавшая на диване, на этот раз не удовольствовалась ворчаньем: она проворно спрыгнула наземь, вскочила на окно и принялась визжать и лаять, царапая стекла, как бешеная.

– Цыц, Розка! цыц, Розка! – болезненно простонала испуганная Марья Петровна, – ох! что это в самом деле? слышите, душенька Софья Ивановна, как на дворе собака-то воет, и ведь не в первый раз, уж не к покойнику ли?..

– Ну вот еще, – возразила ее собеседница, – у вас все на уме такое... просто воет себе собака.

– Ох, – начала снова Марья Петровна, крестясь и возводя очи к потолку, – божья матерь, святой Сергий-угодник, моя Анюточка покойница (царство ей небесное!) к нему прикладывалась... Степанида Артемьевна, да отгоните же Розку, ишь как она мечется, того и смотри окно прошибет.

Поручица бросила с сердцем чулок, крикнула на собачонку и, бормоча что-то сквозь зубы, вышла вон. Минуту спустя в комнатку вошла высокая рябоватая белобрысая девка; она подошла к самовару и стала убирать чашки.

– Палашка, – сказала помещица, – какая у вас там собака воет? весь вечер покою не дает...

— Змейка, сударыня,— отвечала Палашка, глядя исподлобья,— у ней щенят вечор покидали в реку... так, должно быть, и воет... Мы ее отгоняли от крыльца, да никак не сладишь с проклятой-с.

— Ох уж мне эта собака! Представьте, какой случай с ней был нынешним летом: взбесилась да Фетиске, кучерову сыну, всю икру искусала... уж как же она меня тогда напугала, сказать вам не могу...

— Чем же вы его вылечили, Марья Петровна?

— Обыкновенно чем, всегдашнее мое средство: сначала мышьяком присыпала... а потом давала ему пить по три раза в день подорожникова листочка...

— Напрасно вы это делали, только лишняя потрата вам... Если хотите, я вам скажу другое средство... и гораздо дешевле; мне передала его по секрету одна дама... да я, уж так и быть, не утаю от вас, для милого дружка и сережка из ушка... вы же много больных лечите, вам оно пригодится.

— Ах, матушка Софья Ивановна, уж как же вы меня много обяжете... вы не поверите, сколько мне стоят эти лекарства; поверите ли, ведь из чужих деревень приходят; разумеется, больной принесет из благодарности то яичек, то рыбки, то медку, да господь с ними, я ведь ничего не беру, народ бедный, а денежки-то всё идут да идут...

— Вот то-то и есть,— перебила соседка,— слушайте же, что я вам скажу.— Тут она придвинулась еще ближе и примолвила с таинственным видом: — Как у вас придется еще такой случай: укусит кого-нибудь бешеная собака, вы возьмите просто корку хлеба, так-таки просто-напросто корку хлеба, напишите на ней чернилами или все равно, чем хотите, три слова: «Озия, Азия и Ельзозия», да и дайте больному-то съесть эту корку-то: все как рукой снимет.

— Неужели правда? — воскликнула помещица, всплеснув руками.

— Да вот как,— отвечала скороговоркою Софья Ивановна,— та, которая передала мне этот секрет, сказывала, что пятерых сряду вылечила этим средством.

— А, матушка, как же я вам благодарна; сами знаете, мышьяк дорого стоит, да еще и не скоро достанешь его... уж так-то я вам благодарна, так благодарна...

— Очень рада, Марья Петровна, очень рада... ну,

так как долг платежом красен, говорят добрые люди, и у меня также найдется к вам просьбица...

— Что такое?..

— Вот что: вы картофель нынче сеяли?

— Сеяла, Софья Ивановна, и такой-то крупный уродился, благодарение царю небесному...

— В таком случае попрошу я у вас без зазрения совести, просто без зазрения совести, мерочку на мою долю; я не сеяла.

Софья Ивановна проговорила все это с той приятной шутливостью, под видом которой люди, думающие бить наверняка, делают самые нахальные просьбы. Помещица с радостию изъявила готовность пособить горю соседки.

— Экая память, право, у меня,— вымолвила она после минуты раздумья,— вот ведь я уж и забыла, что вы мне сказали... что, бишь, писать-то надо такое... зо... за... за... как, бишь, это?..

— Азия-с, Озия-с и Ельзозия-с...— отвечала соседка наилюбезнейшим образом,— да вам бы лучше записать на бумажке...

— Да, да, и то правда... Степанида Артемьевна,— сказала она входившей в это время поручице,— дайте, матушка, чернильницу и календарь...

Исполнив просьбу, приживалка сердито сняла со свечки, пошевелила узенькими своими губами и села к окну. Помещица записала рецепт и, как бы утомленная такою продолжительною работой, прислонилась к спинке дивана. В маленькой комнатке вновь воцарилось глубокое молчание, прерываемое по-прежнему ворчаньем Розки, шумом бури, а иногда песнями и криками гулявших комковцев.

Минут двадцать спустя в комнату вошла рябая Палашка, сопровождаемая скотницею Феклой. Последняя выступила с озабоченным видом вперед и, поклонившись барыне в пояс, возвестила, что пришел какой-то старик на скотный двор, пришел да и сел на порог, стонет да охает да госпожу видеть просит.

— Уж так плох, матушка-барыня, так плох,— присовокупила скотница, качая головою,— лица на нем, сударыня, нетути; и ничего-то не молвит, только что охает, так-то охает, что беда-с; больно хил, сударыня; побоялась я оставить его до завтра, народу в избе нет, на праздник все ушли... я и пришла доложить вашей милости...

— Пресвятая богородица, заступница наша! — произнесла после тяжкого вздоха помещица, — ох, должно быть, больной какой-нибудь, бедняжушка! Сейчас, Фекла, сейчас иду, подожди меня в «аптеке»...

— Что это вы, Марья Петровна, — воскликнула Софья Ивановна, удерживая ее за руку, — уж не хотите ли идти в такую пору, в такое ненастье на скотный двор? помилуйте, Христос с вами! что это вы делаете?..

— Нет, отпустите меня, душенька Софья Ивановна, — возразила старушка, — у меня и сердце не на месте...

— Так вот нет же, не отпущу.

— Нет, отпустите, душенька, право, сердце не на месте; пойду погляжу... может, помощь нужна скорая...

— Ну, вот, уж и скорая — да не умрет, не бойтесь; должно быть, у вас же на деревне употчевали его, дело праздничное, вот и все тут...

— Нет, все равно, душенька Софья Ивановна, а я пойду к нему, все спокойнее на сердце-то будет.

Сказав это, старушка поспешно вступила в комнату еще меньшего размера, увешанную с потолка до полу пучочками сушившихся трав. Тут также находился старинный, вычурный шкап; сквозь стекла его можно было различить легионы пузырьков, баночек, скляночек и ярлыков — это была «аптека» помещицы. Марья Петровна немедля натащила на ноги теплые валенки, закуталась в старый салоп на заячьем меху, намотала на шею платок и, сопровождаемая Феклою, державшею фонарь, отправилась на скотный двор.

— Сюда, сюда-с пожалуйте, матушка-барыня, — твердила Фекла, поддерживая одною рукою барыню, другою освещая ей дорогу, — не оступитесь, матушка-барыня, извольте вот сюда пожаловать, ишь лужи какие...

— Святой Сергий-угодник, — твердила жалобно Марья Петровна, шлепая по грязи, — ох! чуть было не оступилась...

— С нами все святые! — присовокупила скотница, удваивая старания, — долго ли до беды... ишь ветер какой, так с ног вот и ломит... да и снег-то глаза залепляет... пожалуйте сюда-с... здесь будет посуше...

Вскоре своротили они за дом. Скотница направила

фонарь прямо по долони через длинный барский двор, и обе пустились по этому направлению.

С улицы все еще слышались крики и песни неугомонных комковцев; там и сям за заборами, сквозь темноту мерцали огоньки, показывавшие, что пирушка и не думала умолкать.

Наконец Фекла подвела свою госпожу к скотному двору – мрачной избе, обнесенной с трех сторон навесами. Посоветовав Марье Петровне не трогаться с места, чтобы не быть вымоченной дождем, шумно ниспадавшим с навесов, баба уставила фонарь в грязь и приблизилась к зданию; тут она неожиданно загремела щеколдой, отворила узенькую дверцу, снова подняла фонарь и осторожно ввела барыню в большие черные сени, где вместо пола служила твердо убитая земля.

– Не оступитесь, матушка-барыня, – говорила Фекла, – он тут, того и смотри, где-нибудь да на полу валяется; как пошла-то я к вашей милости, лежал он на пороге...

В сенях, однако ж, никого не было, и помещица, ступая осторожно в багровом кругу света, бросаемого фонарем, вошла в избу. Совершенная тишина царствовала повсюду; в избе было темно, хоть глаз выколи; острый запах дыма свидетельствовал, что лучина незадолго угасла. Когда фонарь осветил жилище Феклы, взоры помещицы встретили прежде всего одни голые бревенчатые стены и угол закопченной высокой печки; но потом, когда она обратила глаза назад, ей представилась в тени чья-то фигура, полулежачая, полусидячая на полу, покрытом редкой соломой.

– Посвети поближе, Фекла, – вымолвила смущенным голосом помещица, принимаясь креститься под салопом.

Фекла вынула из фонаря оплывшую свечку и поднесла ее почти к самому полу. Марья Петровна явственно увидела тогда при желтоватом, трепетном свете огарка длинный, костлявый образ старика лет восьмидесяти. Продолговатое, правильное лицо его, обрамленное реденькими сероватыми волосами, мягкими как пух, склонялось на узенькую сухощавую грудь, еле-еле прикрытую дырявой рубахой, из которой выглядывали также тщедушные плечи и локти. Рубашка была мокра до последней ниточки; казалось, все члены старика съежились под ней как осенние

листья, прохваченные морозом. Черная тень, спускаясь от сухого подбородка прямо на середину груди, скользила по ней угловатою, глубокою извилиной и выказывала еще резче ее худобу и впадины; но, несмотря на некоторую резкость, придаваемую чертам этого человека его чрезмерною худобою и грубыми пятнами света и тени, лицо его сохраняло выражение самое кроткое и тихое; даже запекшиеся, побелевшие губы дышали тем невыразимым добродушием, которое как бы просвечивалось во всей его наружности. Старик, как уже сказано, лежал на полу; костлявое туловище его, слегка приподнятое локтем правой руки, бросало густую тень на стену и лавку, в которую упирались его длинные ноги, перепутанные онучами. Левая рука бедняка безжизненно покоилась на жиденькой холстяной суме в заплатах и поношенной шапке. Последние два предмета обозначали на полу следы воды, которою были пропитаны.

Страдальческая наружность бедняка, возбуждавшая невольное сочувствие, успокоила мало-помалу Марью Петровну. Она нагнулась и сделала шаг вперед. Старик, узнав в ней тотчас же барыню, хотел было привстать; но усилие его оказалось бесполезным, и он снова опустился на локоть. Подняв дрожащую руку на грудь, он устремил на нее мутные глаза свои и сказал с сильною одышкою:

— Простите, матушка... встать-то не смогу никак... не взыщите... сударыня... силой-то больно плох стал...

— Не надо, не надо,— торопливо проговорила Марья Петровна,— ничего, лежи, старичок... лежи; что с тобою? чем ты болен?

Старик опять попробовал было приподняться, закашлялся и вымолвил, останавливаясь почти на каждом слове:

— Грудь одолела... ломит все... матушка... ходить не дает... Одышка тяготит больно меня... Уж пятый месяц так-то бьюсь с ней... сударыня...

— Что ж, ты застудил ее, что ли?

— Нет, матушка,— продолжал бедняк, опуская в изнеможении голову,— не застудил ее... зашиб добре...

— Э, да как же это случилось?

— Я кровельщик... сударыня; у нас в вотчине... мельницу ветряную ставили... Народ-то все молодой... меня и послали... кровлю свести, вишь, понадоби-

лось... Время-то... ненастное стояло... по весне было, матушка... Я и скатись с нее... да вот грудью-то и упал на бревна... Ох!.. С той поры так-то вот все и бьюсь... с ней...

— Э-э-э, старичок, — перебила Марья Петровна, жалостливо качая головой, — да тебе бы тогда надо было кровь пустить или сходить тотчас же в город к лекарю...

— Был, матушка, — отвечал старик ослабевшим голосом, — да не приняли... Места, вишь, в ту пору не было... О... ох!..

Усилия, какие употреблял бедняк, чтобы говорить с помещицей, казалось, превышали его силы; едва произнес он последнее слово, как звук уже замер на устах его, одышка и хриплый кашель, которому конца не было, совсем одолели старика. Внезапно лицо его искривилось, руки брякнули оземь, и он покатился на солому.

— Воды! Фекла, скорей воды! — завопила Марья Петровна, мотаясь как угорелая. — Господи боже мой! Заступница наша, пресвятая богородица... Скорей, Фекла, спрысни ему лицо... Господи, что с ним такое?

— Ох, матушка-барыня, — твердила не менее испуганная скотница, поливая без милосердия голову старика студеной водой, — с ним это не впервые... как только пришел он сюда, тоже вот такое попритчилось... Ох! чего доброго, помрет еще, пожалуй... Спросить бы его, барыня, откуда он... все бы, кажись, не так опасливо... Эка беда какая!..

В это время старик глубоко вздохнул, открыл глаза и медленно начал приподниматься; он как будто совестился оставаться в таком положении при барыне.

— Откуда ты, старичок? — спросила Марья Петровна, тряся головой сильнее обыкновенного.

Старик тотчас же заметил выражение беспокойства на лице барыни; он, вероятно, также понял причину ее опасений и вместе с тем все, что ему угрожало в таком случае. Стараясь по возможности придать лицу своему бодрое и спокойное выражение, он произнес с меньшею, однако, против прежнего твердостью:

— Вот, матушка, как словно теперь полегче стало... Со мной так-то бывает... Оно ничего, сударыня... ничего... не откажите только своею милостию... не гоните меня без помощи, как другие. (Тут он устремил

на нее умоляющий, влажный взор.) Оно ничего, матушка, прошло, ты не бойся... на силы-то больно я понадеялся... прошел добре много, сударыня...

— Да ты откуда? — спросила Марья Петровна.

— Я-то? — простонал старик.

— Да, из каких ты мест?

— Издалече... верст за девяносто...

— Чьих господ?

— Бакушиной... Анастасии Семеновны... матушка...

— Э-э-э, — перебила Марья Петровна, потряхивая головой, — экой ты какой, старичок, право! да тебе бы лучше подождать в городе, пока место в больнице не очистилось...

— Я и сам думал, сударыня, — заметил старик, — да сказали: долго придется так-то ждать... Я и пошел опять в деревню...

— Оно бы лучше было, хоть в деревне бы дождался... в больнице тебя бы, наверное, вылечили...

— Не у кого было, сударыня, жить в деревне-то, — отвечал со вздохом бедняк, — землицы и избенки нету у меня, матушка... Я по старости с пашни-то уже девятый год снят... затяглым считаюсь... семьи нет, одинокий...

— У кого же ты жил?

— Да у своего же мужичка... на хлебах... Подсоблял ему кое-что править... пока господь сил не отнял... Он меня и кормил, матушка... Ну, как сил-то не стало, случилася со мной беда-то, расшибся, пришел ему в тяготу... Он кормить-то и не стал меня... Вестимо, в чужих людях даром хлеба не дадут...

— Так неужто уж у тебя никого нет из родни в деревне?

— Есть, матушка... дочка есть... — отвечал он, оживляясь, — да только не в деревне у нас... За садовником она, в тридцати верстах отселева живет... К ней-то я, сударыня, и пошел, и лето, почитай, все у нее прожил... да так же, сударыня, люди они бедные, — прибавил он после вздоха, — в тягость я им пришелся... Они-то не сказывали, да вижу сам, невмоготу им стало кормить меня, старика... я и пошел побираться... Вот в Заполье ономнясь проведал я про твою милость... и пришел к тебе... да, видно, через силу шел-то, время холодное, ненастье такое... мне хуже и стало... Не оставь, матушка, меня своею милостью... век буду за тебя молить бога; мне у тебя здесь так-то хорошо...

изба теплая... совсем обогреюсь... не оставь... родимая...

— Погоди, погоди, бедный старичок, погоди,— сказала Марья Петровна,— отдохни здесь, сейчас пришлю тебе лекарства... Напьешься горяченького, и груди легче станет... и мази также пришлю тебе...

Старик не отвечал ни слова, но взгляд, брошенный им на барыню, передавал его благодарность лучше всякой речи. Марья Петровна и Фекла, успевшая уже в это время воткнуть огарок в фонарь, вышли из избы.

. . . .

— Ну, что у вас там такое случилось? — спросила Софья Ивановна, встречая соседку в «аптеке».— Что это за старик?

— Ох, душенька Софья Ивановна, лучше и не спрашивайте! — могла только проговорить помещица.— Ох! представьте,— продолжала она, разводя руками,— какой-то старик, старый-старый, пришел за девяносто верст в эту погоду, и уж чуть-то живехонек... Грудь расшиб, бедненький, с мельницы упал... Ох! не знаю, право, чем бы ему помочь... бузины разве с шалфеем сварить... пусть напьется горяченького, оно мягчит, а потом велю Палашке натереть ему грудь оподельдоком... как вы думаете?

— Смотрите, Марья Петровна, не нажить бы вам бед с вашими леченьями! Сами же вы говорите, что старик этот чуть живехонек... Ну, а как он вдруг да отдаст у вас богу душу, умрет, что вы думаете? Знаете ли, какое это дело? Да тут от суда не отделаешься. Разве не слышали, каких хлопот нажил себе чрез такой же точно случай Егор Иванович Редечкин третьего года?.. Христос с вами, Марья Петровна, что вы делаете?..

— Ох, Софья Ивановна, не пугайте меня, душенька, у меня и так сердце не на месте! — воскликнула в страхе старуха.— Палашка! Палашка! поди сюда, дура, взлезь поскорей на стул да сними вон с того шестка два пучочка травы... Ну, беги теперь в кухню, спроси медный чайник у Прасковьи и неси его в ту комнату... Что, печка еще топится?

— Топится.

— Ну, хорошо; так беги же, смотри, скорей... Напою его, Софья Ивановна, тепленькой бузиной, авось господь не попустит такой беды...

Минуту спустя Марья Петровна сидела перед печкой, заставляя рябую Палашку мешать целебные травы и в то же время твердя молитвы. Софья Ивановна вместе с поручицей, все еще вязавшей чулок, расположилась подле нее. Первая не переставала повторять соседке свои опасения, подтверждая их каждый раз случаем с Егором Ивановичем Редечкиным.

А между тем буря по-прежнему свирепствовала на улице, ветер жалобно завывал вокруг всего дома и дождь безмилосердно барабанил в окна; заунывный голос Змейки также иногда раздавался за окном, вторя мрачному напеву бурной осенней ночи... Вода в чайнике начинала уже закипать, когда в комнату неожиданно вбежала Фекла; комки мокрого снегу, покрывавшие голову и плечи бабы, свидетельствовали, что она не подумала даже второпях отряхнуться и обчиститься в сенях, лицо ее изображало сильную тревогу. Марья Петровна, увидя ее, раскрыла рот, глаза и осталась как окаменелая в этом положении; Софья Ивановна одна не растерялась.

— Что ты? — спросила она, поднимаясь на ноги. — Верно, что-нибудь случилось?..

— Беда, матушка-барыня! — проговорила скотница, размахивая руками и посылая при этом случае брызги воды на обеих старух. — Старик-ат никак совсем отходит!..

— Божья матерь, святой Сергий-угодник... — простонала, наконец, помещица.

— Ну, Марья Петровна, не говорила ли я вам, что это будет? — произнесла торжественно соседка.

— Ох, что ж мне с ним делать?

— А вот что, — вымолвила опять Софья Ивановна, энергически махнув рукой, — по-моему, просто-напросто прикажите-ка скорей отвезти его на дорогу, да пусть идет себе умирать куда хочет!..

— Вестимо, матушка-барыня, — возразила Фекла, поливая барыню, как из лейки, — оно, что про то говорить, время ненастное, да все же лучше отослать его до греха...

— Видите, Марья Петровна, — перебила соседка, — вам даже это говорит простая мужичка... что вы делаете? Помилосердуйте... послушайте меня... я вам добра желаю... Посудите сами, время праздничное, подумают еще, как следствие затеется, что его здесь

и убили у вас; прикажите его, говорю вам, отвезти скорее, бог с ним, своя рубашка ближе...

Марья Петровна минуту целую ничего не могла отвечать: глаза ее были устремлены на лампадку, висевшую в углу перед образом, и, казалось, все существо ее переселилось мысленно на кончик светильни. Наконец она обратила добродушное лицо свое к Фекле и сказала более твердым голосом:

— Беги скорее к старосте, скажи ему, чтобы велел запрячь тележку да отвез бы старичка куда ему надо... ох! Да вели ему дать, бедненькому, пирожка на дорогу... Постой, вот я волью в посудинку бузины... пусть прежде напьется хорошенько горяченького... Палашка! Вынь ей также белый хлебец из кладовой... а ты, Фекла, ступай сюда (тут она ввела бабу в «аптеку»), на́ тебе мазь, скажи ему, чтоб натирал грудь утром и вечером... Ох! С нами крестная сила!.. Ну, ступай, ступай... Господь с тобою!..

Получив, что следовало, Фекла заблагорассудила наперед всего забежать домой и поглядеть на старика. Она увидела его распростертого, как прежде, на полу, без малейшего признака жизни.

Заметив, однако ж, после внимательного рассмотрения легкое колебание рубашки на груди страдальца, она перекрестилась, поставила фонарь и ношу свою на окно и сломя голову кинулась к старосте.

Изба Демьяна была полна народу, и прежде чем Фекла достигла «красного угла», где дребезжал, как струна бойкого шерстобита, голос старостихи, она должна была протискаться сквозь густую толпу баб, девок, ребят, мужиков. Хозяйка дома, краснощекая, румяная баба, стояла против дюжего багрового мельника, кланялась ему низменно и упрашивала откушать еще пирожка; она не обращала ровно никакого внимания на то, что стол перед мельником был покрыт грудами съестного; еще менее заботилась старостиха о том, что кусочки лепешек, пирогов и каравая, за неимением другого места, покоились гуськом на коленях именитого гостя; она только кланялась да приговаривала:

— Да пожалуйце, да покорнейше прошу, да откушайце...

На что гость отвечал, отдуваясь, как бык:

— Много довольны... не обессудьте... очень довольны...

— Да пожалуйце,— продолжала хозяйка,— да хоть скушайце кусочек... вы мало чего получаете... из-под себя кусочек выкушайце...

— Много довольны,— отвечал опять тот,— и так передо мной копной-с наворочено...

Когда Фекла объявила во всеуслышание причину своего посещения, в избе поднялся такой страшный шум, что с минуту можно было думать, что она разрушается до основания; в сенях послышалась давка, визг, пискотня... Не успела одуматься хозяйка, как уже изба ее опустела, остался только мельник; благодаря радушному приему один он не в силах был последовать общему примеру.

— Ахти, матушка! — вскричала старостиха, всплеснув руками.— А ведь мужа-то нету дома... знать, загулял где... постой, я побегу за ним... поди ты, дело-то какое!..

Не дожидаясь приготовлений старостихи, Фекла стремглав понеслась домой. Она до того была занята своим делом, что на повороте улицы не заметила двух пьяных мужиков, лежавших в луже поперек дороги, и чуть не шлепнулась через них со всего размаху; услыша неожиданно голос старосты, она подбежала к одному из них и, толкая его, принялась было передавать ему приказание барыни; но тщетны были ее старания; Демьян ничего и слышать не хотел. Обняв крепко-накрепко свата своего Стегнея, он только лобызал его в бороду, повторяя: «Сенька, Сенька, запой! запой!..» — вследствие чего сват раскрывал рот наибезобразнейшим образом, испуская сиплый, раздирающий звук,— только то и было.

Видя, что толку не доищешься, Фекла поспешно подобрала подол и продолжала путь. Народ, извещенный случаем, валил на скотный двор со всех сторон и успел уже натискаться в избу вплоть до самых сеничек. Никто, однако ж, из толпы, окружавшей бедняка, не трогался с места; все глядели на него, вылупив глаза, с каким-то притупленным любопытством, и только глухой ропот пробегал иногда с одного конца избы до другого. Старик лежал по-прежнему на соломе; ему как будто опять отлегло. Ошеломленный шумом, смотрел он в недоумении на толпу, его окружавшую. Казалось, тяжкое предчувствие того, что

должно было случиться, начинало уже мало-помалу забираться в его душу; но когда Фекла, продравшись к нему, тряхнула его за руку и сказала:

– А что, старик, тебе, кажись, опять легче стало? Вставай! – все разом прояснилось перед ним.

Судорожный трепет пробежал по всем его жилам. Он не сказал, однако ж, ни слова. Медленно, с неимоверными усилиями приподнялся он с помощию рук на колени, и только раздирающий вздох ответил на шум толпы, поднимавшийся все сильней и сильней.

– Постой, дядя, я те помогу привстать-то, – вымолвил, наконец, дюжий мужик, выступая вперед и пропуская коренастую руку под плечо больного. – Митроха, – примолвил он, толкнув локтем молодого парня, – подсоби! Чего стоишь, рот-то разинул?

Старика поставили кой-как на ноги. Кружок значительно расширился.

– Вот что, старик, – начала Фекла, заглядывая ему пристально в лицо, – ступай-ка ты лучше от нас с богом, мы те проводим, а то пришел ты, господь тебя знает, отколе... неравно еще беда с тобой случится, всем нам хлопот наживешь... ступай, до греха...

– Вестимо, – перебила какая-то близ стоявшая старушка, обращаясь к бобылю, – погляди-ка, касатик, на себя, ведь на тебе лица нет, родимый, того и смотри, богу душу отдашь.

– И то, – заметил дюжий мужик, все еще поддерживавший старика, – ишь уже ноги-то как трясутся... и всего инда дрожь пронимает... ступай-ка лучше от нас до беды... ты помрешь, тебе что, а нам от суда-то житья не будет, дело знамое; ишь у те как глаза-то посоловели... ступай, дядя, лучше от нас, пра, ступай...

– Да что вы с ним больно кобянитесь, – послышался чей-то голос, – ведите его, и все тут; чего ждете? небось хотите, чтоб помер да всем беду накликал!..

– Погодите! – закричала Фекла. – Барыня велела ему дать мази на грудь... Старик, где у тебя сума-то? Старик!

– Ась?

– Мешок где?

– А!..

– Здесь, здесь! – закричало несколько голосов, и в то же время множество рук протянулось к Фекле с сумою.

— Погодите,— продолжала Фекла,— барыня велела еще положить туда хлеб белый да лекарство; ну, дядюшка, а посудинка где твоя?.. Эй, тетки,— крикнула она,— за вами, кажись, на окне посудинка стоит... Да что вы тискаетесь, черти, словно угорелые, чего не видали? Эки бесстыжие какие!.. (При этом Фекла начала угощать подзатыльниками девчонок и мальчишек, карабкавшихся под ее ногами.)

— Кажись, все теперь,— прибавила она, торопливо надевая мешок на плечи старика и нахлобучивая ему на глаза шапку.— Ну, теперь господь с тобой, дядюшка!.. Ступай от нас!..

Старик медленно поднял костлявые, сухие руки свои к голове и стащил шапку; после этого правая рука его еще медленнее поднялась кверху, и трепещущая, неверная кисть ее прильнула к страдальческому челу, потом к груди и робко сотворила крестное знамение.

Фекла снова помогла ему надеть шапку; тогда дюжий мужик толкнул еще раз Митроху и, приподняв старика под руки, повел его вон из избы. Опустив голову, бедняк безмолвно протащился в сени, преследуемый шумною толпой, которая чуть не сшибла с ног его вожаков, ругавшихся на все бока; но когда его вывели на улицу, когда неумолимый дождь начал снова колотить его в бока и спину, когда студеные лохмотья рубашки, раздуваемые свирепым ветром, начали хлестать в его изнуренную грудь, старик поднял голову, и помертвелые уста его невнятно прошептали о пощаде; но яростное завывание бури заглушало слова страдальца, и его повлекли прямо к околице.

Вскоре не стало старика в сельце Комкове, и толпа, его провожавшая, снова загуляла на славу; и долго потом громкие крики веселившегося народа раздавались на улице, долго еще слышались во всех ее концах звонкие залихватские песни, говор и дружный беспечный хохот, пока, наконец, глубокая полночь не прогнала хмельных обывателей в теплые избы, на полати и печи. Все понемногу стихло и смолкло. Один лишь свирепый ветер, пробегая по кровлям и заборам, подымал свой пронзительный голос в тишине ночи, да изредка вторило ему с барского двора протяжное завывание Змейки, которую не могли никак отогнать караульщики...

. . . .

На другой день утром Софья Ивановна собралась ехать домой. Невзирая ни на какие убеждения со стороны Марьи Петровны, упрашивавшей Христом-богом соседку погостить еще денечек, она осталась непоколебимою в своем намерении. Делать было нечего; велено было рябой Палашке приказать кучеру запрячь каурую кобылу. К полудню старинные дрожки Марьи Петровны бойко подкатили к крыльцу, причем рыжий Степка, сидевший кучером (отец злополучного Фетиски находился еще в расслабленном состоянии после вчерашнего праздника), поглядел на дворовых, столпившихся у застольной, как бы похваляясь перед ними своею удалью. Когда обещанный кулечек с картофелем был привязан белобрысою Палашкой к экипажу, Софья Ивановна, закутанная с головы до ног, стала усаживаться на дрожки, поддерживаемая лакеем Федором, у которого все лицо, от стужи ли, или от чего другого, было покрыто синяками. Марья Петровна, стоявшая с поручицей-приживалкой на крыльце, готовилась уже спуститься вниз, чтобы в последний раз поцеловать дорогую соседку, как в это самое время откуда ни возьмись появился перед нею староста. На лице Демьяна не было и следа вчерашней гулянки; оно выражало одни лишь тяжкие заботы.

— Что ты, Демьян? — спросила помещица.

— Да к вашей милости, матушка Марья Петровна,— отвечал он с поклоном,— вечор, матушка, приходил сюда хворый мужик, так вы его отослать приказали... Ну, слава богу, сударыня, что отделались мы от него... такую было беду заварил.

— Что такое? — вымолвила с беспокойством старушка.

— Да что, матушка Марья Петровна, сюда приехал на мельницу мужик из Орешкова, сказывал, старика-то, вишь, нашли у них нынче к рассвету, на меже, мертвого... Пошли, говорит, ихние ребята за кольями, а он, сударыня, и лежит подле самой-то межи, в канавке, словно, говорит, живой... подле него мешок, шапка... сказывал мужик тот; к ним и становой, вишь, приехал... така-то, говорит, беда завязалась...

Софья Ивановна всплеснула руками и подпрыгнула на дрожках; Марья Петровна прослезилась и подняла очи к небу; одна лишь поручица прослушала все это с обычным своим хладнокровием.

— Божия матерь, святой Сергий-угодник... Ох! — простонала, наконец, Марья Петровна.

Головка ее тряслась сильнее обыкновенного, и теплые благодарственные слезы текли по иссохшим ее щекам.

— Вот то-то, — произнесла ей соседка, размахивая руками, — теперь небось сами, Марья Петровна, благодарите бога, а вчера, помните ли? и слушать меня не хотели... ну, не предупреждала ли я вас, а? а вы еще хотели оставить его у себя... ну да слава царю небесному, что это дело так благополучно для вас окончилось, очень рада... Прощайте, душенька Марья Петровна, благодарю за хлеб за соль, да к нам в Закуряево скорей приезжайте погадать в карточки... Прощайте!..

И дрожки укатились, унося с собою помещицу, добрую меру картофеля и целый короб новостей, которые Софья Ивановна поспешит сообщить другой своей благодетельнице, куда и приказывает немедля направить путь рыжему Степке.

1847





КАПЕЛЬМЕЙСТЕР СУСЛИКОВ

(Повесть)

I

Несколько лет тому назад город Б*** находился в страшном волнении. Один из самых богатых обывателей этого города, Алкивиад Степаныч Кулындин, получил известие, что одно довольно значительное лицо, приходящееся ему несколько сродни, проездом остановится у него в доме. Супруга Алкивиада Степаныча, Софья Кирилловна, тотчас же приказала заложить карету и поспешила сообщить новость приятельницам; те, разумеется, точно таким же порядком передали ее своим, а те опять-таки своим. Сам Алкивиад Степаныч, не медля ни минуты, дал знать о событии местному начальству, которое в свою очередь передало весть женам, те опять другим приятельницам, так что в самое короткое время весь город узнал о неожиданной новости. Все засуетилось. Со всех сторон показались озабоченные лица; у мужчин заботливость эта, неизвестно почему, выразилась вдруг значительным пожиманием бровей и обращением губ в трубу; у дам обозначилась она радостными улыбками и той суетливостью, какая предвещает всегда появление чего-нибудь необыкновенного, торжественного. Но не в том дело; уже во всех концах города гремели коляски, рыдваны, дрожки, тарантасы, разлюли; многочисленные экипажи направлялись, однако ж, сколько известно, преимущественно к двум только пунктам: те, в которых сидели мужчины, стремглав летели к подъезду Алкивиада Степаныча; другие, занятые дамами, направились к голубому домику, украшенному надписью: «Госпожа Трутру из Парижа, Modes» [1], с прибавлением внизу русскими буквами: «Нувоте́» [2]. Не мешает заметить, что Софья Кириллов-

[1] Моды *(фр.)*.
[2] Модные новинки *(фр.)*.

на в разговорах с приятельницами намекнула вскользь о бале, который думает дать ее муж в честь дорогого родственника. В то время когда каждый занимался своим делом, местное начальство съезжалось к Кулындиным, а жены осаждали г-жу Трутру, город Б***, забытый всеми, решился показать, что он не хуже других и, в случае надобности, может точно так же пригладить свою будничную наружность и пощеголять перед гостем: улицы вдруг очистились, обвалившиеся заборы отнеслись на задворья, домостилась площадь, ворота окрасились свежею масляною краской, и с такой тщательностью, что даже не было никакой возможности отогнать от них собак, привлекаемых, вероятно, столько же искусством маляра, сколько необыкновенною свежестью колеров. Город Б***, украсив таким образом свои главные улицы (об остальных он и не заботился), перещеголял даже многих обывателей мужеского пола, которые, несмотря на парадный вид, очень походили на вымоченных куриц. Появление дорогого посетителя возбуждало такое любопытство, что один толстенький, коротенький обыватель с крутым брюшком и круглою головой поместился у самой заставы, чтобы только прежде других посмотреть ему в лицо; он то и дело щурил масляные свои глазки по направлению к большой дороге, подымался на цыпочки и, приложив жирную ладонь ко лбу в виде зонтика, удваивал внимание каждый раз, как в той стороне показывалась пыль...

Приезд родственника Кулындиных подействовал, однако ж, сильнее всего на Николая Платоныча Сабанеева. Лицо его отразило почти в одно и то же время все разнохарактерные выражения, какие только неожиданная весть могла разбросать на лица остальных обывателей города. Он то улыбался, то сердито хмурил густые свои брови, то вдруг опять самодовольная улыбка появлялась на губах его; он расхаживал с озабоченным видом взад и вперед по кабинету, трепал себя немилосерднейшим образом за высокие воротнички (в то время носили еще высокие воротнички), взъерошивал волосы и радостно потом потирал руки. Николай Платоныч, точно так же как приятель его Алкивиад Степаныч,– обыватель города Б***, обыватель с достатком, с весом. Сверх того, он был еще и содержателем театра. Нечего упоминать, что полунищие антрепренеры, таскающиеся по ярмаркам и уездам

с оборванною труппою, так же походили на него, как актер, представляющий Цезаря на сцене, похож на настоящего Цезаря. Николай Платоныч не только не имел в виду гнусной корысти, но даже охотно жертвовал каждый год из своего кармана на улучшение и содержание театра, который в самом деле представлял все совершенства, каких только можно ожидать в провинции. Особенно оркестр обращал на себя внимание г. Сабанеева. Николай Платоныч был сам музыкант, меломан в душе и даже композитор по призванию — главная причина, заставившая его, как утверждали многие, взяться за управление театром. Что он такое компоновал, определить трудно, потому что, кроме огромной оперы, над которой трудился он неусыпно десять лет сряду в своем кабинете, из-под пера его вышли две только пьесы, марш и русская песня; но, во всяком случае, избранное общество города Б*** очень хорошо делало, сохраняя высокое мнение о его таланте и музыкальных познаниях. Уже одна наружность Николая Платоныча свидетельствовала если не совсем гениального человека, то уж, конечно, натуру необыкновенную. Маленькая подвижная фигурка, как будто разбитая когда-то вдребезги и склеенная потом неопытным мастером, увенчивалась огромною головой, казавшеюся втрое еще больше от серых сухих волос, встрепанных самым неистовым образом; лицо Николая Платоныча, свойства желчного, представляло одни только глубокие впадины и выступы; между последними особенно отличались энергический нос, загнутый клювом, и четырехугольный подбородок, редко выбритый; одну из самых резких особенностей композитора составляла небрежность туалета. Николай Платоныч находился вечно в каком-то волнении: глядишь — сел; не успеешь отвернуться — как уже быстро расхаживает по комнате, покручивая головой, взъерошивая волосы и мурлыча что-то под нос. Сухощавые, но жилистые и крепкие его члены подергивались беспрерывно судорожными движениями; он никогда не оставался в покое; взглянув на него, действительно можно было поверить, что в нем, как сам он утверждал, сидела целая дюжина огнедышащих гор. Николай Платоныч говорил разбитым, надорванным голосом; но это потому, что он никак не мог победить в себе горячку и спорил до упаду с встречным и поперечным о музыке и своих произве-

дениях, несмотря на ежедневную клятву обращаться с таким предметом к одним дамам. Г. Сабанеев не бегает дамского общества; напротив того, присутствие прекрасного пола как-то вдохновляет, воодушевляет композитора; между женщинами и артистами существует уже издавна сродство: одни нежные, мягкие души способны понимать друг друга. Не все, однако ж, согласятся с этим: одна молоденькая дама не разделяла общего сочувствия к Николаю Платонычу; она уверяла даже, будто русская песня и марш знакомы ей еще с детства и не принадлежат его гению; но это несправедливо, и Николай Платоныч был вправе продолжать отзываться о ней дурно, несмотря на то, что уже прошло много лет с тех пор и молоденькая дама успела с того времени родить сына и определить его в пансион; впрочем, дама была музыкантша: это объясняет лучше другого ее вражду к композитору. Пора, однако ж, объяснить, каким образом при всех этих обстоятельствах, по-видимому совершенно частных, приезд гостя так сильно мог подействовать на директора театра. Несколько месяцев до начала рассказа в гостиных города Б*** распространился слух, что Николай Платоныч подводит к концу свою оперу и решился, наконец, подарить Б*** общество несколькими выдержками; но слухи, подтвержденные самим автором, почему-то не состоялись; слышно только было, что репетиции делались каждый день и оркестр, управляемый старым капельмейстером Сусликовым, просиживал с утра до вечера в театре. Так продолжалось до тех пор, пока Алкивиад Степаныч не получил вести о прибытии в Б*** своего родственника. Нечего распространяться о том, как обрадовался Николай Платоныч случаю, позволяющему показать постороннему лицу, да еще значительному, театр во всем его блеске; что же в самом деле могло быть выгоднее для славы провинциального театра выдержек из совершенно новой, оригинальной оперы, написанной притом самим директором? Он распорядился отлично: из выдержек составился целый дивертисмент, с хорами, танцами и пением. Судя по репетициям, дивертисмент подавал надежду пройти очень удовлетворительно. С этой стороны Николай Платоныч был совершенно спокоен. С другой стороны (и что очень естественно), его терзало то тревожное чувство, которое суждено испытывать каждому артисту, выста-

вляющему на суд публики свое произведение, даже и тогда, когда существует твердая уверенность в его успехе и достоинстве.

В таком-то неопределенном состоянии духа Николай Платоныч сел в карету и поехал на репетицию.

II

Репетиция еще не начиналась. На слабо освещенной сцене толпилась уже почти вся труппа. Подле оборванных кулис, на лавочке, изображающей лодку, сидело несколько женщин, вязавших чулок; кое-где в потемках в глубине театра, между холстяными полосами, представляющими швейцарскую долину, слонялись из угла в угол хористы, актеры и статисты. На темном этом поле четко обозначалась фигурка молоденькой сухощавой женщины, освещенная сбоку лампою; на ней было коротенькое танцевальное платье; ухватившись одною рукой за кулису, она мерно размахивала левою ногой и упражнялась в батманах; неподалеку от нее стоял, вывернув носки и приложив пятку к пятке, человек лет тридцати, коренастый, с завитками на голове, в белой холстяной куртке и таких же панталонах; он плавно разводил руками и, сгибая колени, делал плие за плие. Между ними, как маятник, ходил взад и вперед через всю сцену толстый трагик труппы, с синеватым, отекшим лицом, посреди которого высовывался нос, похожий на пузырек с бакaном; вся краска с широкого лица его постепенно сходила к этому носу, который в самом деле был так красен, что казалось, как будто кровь всего тела устремилась туда и раз навсегда остановилась в нем. Заложив обе руки за спину, закинув назад голову, он поминутно останавливался, подымал опухшие глаза свои к холстяным облакам, болтавшимся на потолке, издавая раздирающие восклицания, явно относившиеся к роли, потому что никто не обращал на них внимания. На переднем плане сцены, подле темного оркестра, из которого выглядывали глянцевитые лысины и головы музыкантов, ярко освещенные свечками, прикрытыми колпаками, сидела на позлащенном картонном стуле примадонна в шляпке и бархатном бурнусе; подле нее увивался вертлявый режиссер с гладко прилизанными волосами и такою лоснящеюся физио-

номией, как будто ее только что вымазали постным маслом. Говор, шушуканье и хохот, слышавшиеся со всех сторон, перебивались иногда бранью бородатых мужиков, тащивших с криком и гамом лес или гору; иногда вся сцена, от колосников до преисподней, наполнялась яростными сухими раскатами грома, который машинист приводил в движение ради пробы; с другой стороны внезапно раздавались удары молотков или слышался пронзительный свист искусственного ветра; были минуты, где весь этот шум, смешиваясь с говором, писком, визгом, дополняемый звуками инструментов, которые настраивали в оркестре, производил такую кутерьму, что примадонна затыкала уши и топала ногою, причем режиссер бегал по сцене, хлопал в ладоши и кричал: «Тише! тише!..»

В одну из таких минут послышалось вдруг шиканье, и кто-то неистово крикнул из-за кулис:

– Николай Платоныч! Николай Платоныч!

Все разом смолкло.

– Позвать Сусликова! – произнес почти в то же время разбитый, хриплый голос, и содержатель театра, взъерошивая себе волосы, торопливо вошел на сцену.

Все присутствующие, кроме примадонны, повскакали с своих мест и поклонились.

– Здравствуйте, здравствуйте, – говорил Николай Платоныч, направляясь прямо к примадонне, – здравствуйте, Глафира Львовна. Ну, матушка, новости! Все сюда, все! – продолжал он, становясь спиною к оркестру и нетерпеливо махая рукою. – Горковенко, собрать всех ко мне!

Режиссер засуетился; вмиг труппа окружила Сабанеева; даже коренастый господин в белой курточке, с завитками на голове, перестал упражняться в плие и, помощью вывороченных, гусиных ног своих, стал подбираться к общей группе.

– Сегодня спектакля не будет, – начал содержатель театра, обращаясь, однако ж, к одной примадонне, – завтра идет полный дивертисмент из моей оперы, тот самый, который мы репетировали: сначала третий нумер, потом хор вятичей и радимичей и русская ария Миловиды. (Тут он самодовольно покрутил головою и, наклонившись к Глафире Львовне, пошептал ей что-то на ухо.) Горковенко! выставить крупными буквами на завтрашней афише имя Глафиры

Львовны да составить скорей афишу: пьесы оставь, какие были назначены; главное – надо успеть еще раз прорепетировать дивертисмент. Смотрите же,– продолжал он, повертываясь, наконец, лицом к труппе,– не плошать у меня завтра, особенно ты, смотри! У-у-у!.. (Тут он с некоторою строгостью посмотрел на трагика с пузырем бакана вместо носа, который стоял потупя голову и глядел исподлобья.) А что ж Сусликов? Горковенко, скоро ли?..

Горковенко метнулся за кулисы, но чуть было не шлепнулся со всего размаху, столкнувшись с Сусликовым, который в страшных попыхах бежал на сцену. Это был человек лет пятидесяти, среднего роста, сухощавый, жиденький, кисленький, вида самого кроткого, смирного, отчасти немного даже глуповатого; крошечное лицо его, усыпанное красными и синими жилками, скорее склонялось книзу, чем закидывалось кверху; серенькие глаза, лишенные ресниц, постоянно слезившиеся, заслонялись большими круглыми очками в оловянной оправе, скрепленной кое-где черными нитками. Широкая лысина, сливающаяся непосредственно с низеньким лбом и обнажавшая все темя, вплоть до того места, где затылок упирался в воротник сюртука, обрамлялась с боков жиденькими пучочками седых волос, зачесываемых обыкновенно Сусликовым на самую лысину справа налево. Одежду его составляли ветхий бумажный галстук, полосатый жилет, упорно подбиравшийся к подбородку, и классический длиннополый сюртук горохового цвета, сделавшийся уже почему-то неизбежной принадлежностью всех старых театральных музыкантов. Оправившись немного после сшибки с Горковенкой, Сусликов подбежал к Сабанееву и, сложив по обыкновению своему обе ладони к животу, согнулся в три погибели.

– Куда это ты вечно забежишь, что тебя собаками надо отыскивать? Где ты был до сих пор? – спросил Николай Платоныч, закидывая руки назад.

– Я-с насчет... все... маленечко... Николай Платоныч,– начал было Сусликов, да замялся и окончил оправдание новым поклоном.

– Ну, ну, хорошо, хорошо,– перебил содержатель театра.– Все пьешь! – заключил он, насупив брови.– Завтра идет дивертисмент; чтоб все у тебя было исправно. Смотри, Сусликов: я знаю, кто тебя подбивает,– прибавил он, грозя пальцем трагику, который

тотчас же принял мрачный вид,— все ли у тебя в оркестре как следует, а?..

— Все-с,— возразил Сусликов,— вот только, Николай Платоныч, гобойчик разве...

— Что такое? — живо перебил содержатель театра.

— Да захворал как словно маленечко...

— Что ж ты мне прежде не сказал этого? а? а? ну, что ж ты стоишь? надо поскорей дать знать Алкивиаду Степанычу и просить, чтобы он одолжил своего гобоиста на завтра.— Куда? куда-а-а? погоди, после, теперь надо пройти дивертисмент... я сам пошлю потом: ступай! да живо настроить оркестр!

Николай Платоныч говорил «ты» всем артистам без различия; но тыканье его отнюдь не было грубо и оскорбительно; напротив того, в нем заключалось что-то нежное, отеческое, способное скорей размягчать, чем оскорблять сердце того, к кому оно относилось. Через несколько минут лысина Сусликова показалась посредине оркестра, и началась репетиция. Прежде всего пошла русская ария Миловиды, главная пьеса дивертисмента.

— Тише! Сусликов, тише! — кричала, топая ногами, Глафира Львовна, когда не хватало у ней голоса, чтобы покрыть весь оркестр.

— Тише же, тише вы! — повторял примирительным тоном автор, самодовольно проводя ладонью по волосам.— Тра, та, та, та!..

Тут он ударял в такт ладошами и, когда оркестр начинал играть, принимался снова расхаживать по сцене, закинув назад руки.

— Громче, громче! Что это, я просто петь не могу! Громче, говорят! — отчаянно произносила примадонна каждый раз, как обрывалась у ней нота и она чувствовала, что не дотянет ее до конца.

— Ну, громче же, громче! — подхватывал композитор.

Наступила очередь танцовщицы.

— Скорее! скорее! — кричала она, опасаясь кончить пируэт прежде музыки,— скорей! Тише теперь, тише! — продолжала она, становясь в аттитюд, в котором выгодно выказывались ее плечи.

Затем последовала казацкая пляска, исполненная танцовщицей и тем самым господином с вывернутыми ногами и завитками на голове, который упражнялся в плие, потом дело дошло до комического танцора

Розанцева, который должен был пройти свой знаменитый английский комический па под названием «Hornpippe»;[1] затем выступили вперед хористы, и началась проба еще одной выдержки из оперы директора: хор вятичей и радимичей; но тут уже сам автор принужден был несколько раз останавливать оркестр, чтобы мылить капельмейстеру голову. Николай Платоныч был, впрочем, очень доволен выполнением своих выдержек и если задавал Сусликову острастки, так единственно на том же основании, как одна баба, нежная мать, наказывала сына из убеждения, что побои-то для будущности пригодятся. Едва кончилась репетиция, появился Горковенко с составленною афишею.

— Хорошо,— сказал Николай Платоныч, пробегая глазами.— А зачем же в драме назначен Переславский вместо Мускатицкого, а? Выставить опять Мускатицкого, да вперед не умничать!

— Никак нельзя-с,— отвечал Горковенко.

— Что такое? Как нельзя?

— Никак не управишься, Николай Платоныч; Мускатицкий даже на сцену сойти не мог, мы водой его отливали в уборной, насилу очнулся-с...

— Позвать его сюда, притащить пьяницу! о-о-о!..— твердил Николай Платоныч, быстро расхаживая по сцене.

Спустя минуту привели первого любовника труппы, Мускатицкого, высокого, худощавого, как щепку, человека с неимоверно длинными белобрысыми волосами, пропитанными водою и прилипавшими к его лицу и шее; на нем было жиденькое прорванное твиновое пальто, составлявшее, впрочем, всегдашний и вместе с тем единственный домашний гардероб первого любовника. Увидя перед собою содержателя театра, Мускатицкий опустил глаза свои, тусклые, как у вареной рыбы, и горько зарыдал, повторяя посреди всхлипываний, что его обидели.

— Спустить его под сцену,— сказал Николай Платоныч Горковенке,— да сию ж минуту снять с него сапоги, чтоб не убежал, а к завтрашнему спектаклю все-таки выставить его на афише... Ступайте!..

Сделав такое распоряжение, Николай Платоныч снабдил еще кой-какими замечаниями артистов, пожал

---

[1] Правильно Hornpipe (*англ.*) — название матросского танца.

руку Глафире Львовне, дал еще раз поучительное наставление Сусликову, мимоходом погрозил трагику и, взъерошивая себе волосы, покинул, наконец, театр, очень довольный своими выдержками. Вскоре сцена опустела; остались один только первый любовник Мускатицкий, которого жалобные вопли глухо раздавались под полом, да Сусликов, убиравший в оркестре ноты. Наконец и капельмейстер вышел на подъезд. Яркий солнечный свет так ошеломил его после закулисных потемок, что он невольно ухватился за лицо руками, причем толстые тетради нот, находившиеся у него под мышкою, шлепнулись наземь. Сусликов проворно раскрыл глаза и, к величайшему удивлению, увидел в нескольких шагах от себя Анику Федоровича Громилова, трагика труппы, того самого, которому так часто грозил директор. Закинув один конец шинели за плечо и драпируясь в него наподобие римских трибунов, он мрачно глядел на афишу, возвещавшую о представлении, только что отмененном директором. Шум упавших нот заставил его оглянуться в ту сторону. Увидев капельмейстера, трагик подозвал его к себе величественным жестом. Сусликов поспешно подобрал ноты и приблизился с видом крайне оторопевшего человека.

– Сюда, Семен, сюда, ко мне! – закричал трагик, хватая его обеими руками за воротник сюртука и дергая так сильно, что тот едва держался на ногах. – Смотри (тут он указал ему на афишу), видишь, опять она! опять ее имя напечатано выше моего, да еще крупными буквами! Тараторка проклятая! Ты слышал, как «он» приказал Горковенке напечатать ее имя еще повиднее... мало ей! Сюда ждут, вишь, важного человека, так боится, чтоб не пропустил ее... Чай, опять раздаст «он» цветов да венков своим людям да велит им хлопать ей что есть мочи... Глафира Цветошникова! Эка диковинка! я небось и постарше ее, все первые роли играю в трагедиях, драмах, мелодрамах, комедиях, да не выставляют Громилова крупными буквами, не бросают венков... Имечко-то Громилова почище ее, Громилова все театры видали, все! Да ничего! пусть ее выставляют, пусть! Громилов себя покажет! Громилову только обидно... «Но тверд, из глаз нет слез, из уст не слышен стон!..»

Тут трагик оттолкнул далеко капельмейстера, уда-

рил себя кулаком в грудь и снова принял мрачный вид.

— Охо-хошиньки,— повторял Сусликов, обтирая беспрерывно лоб, лицо и лысину клетчатым дырявым платком.

— Семен, дай понюшку! — отрывисто сказал трагик.

Сусликов пошарил в кармане, поскрипел табакеркою и поспешно подал ее Громилову.

— Да, будь у меня деньги,— продолжал Аника Федорыч,— я б им показал, как понукать Громиловым, я б им... Семен! — прибавил он, величественно махнув рукой,— ступай за мной!..

— Куда ж это мы так пойдем-то, Аника Федорыч? — вымолвил капельмейстер, боязливо оглядываясь на стороны.

— Ступай за мной! — торжественно заключил трагик, направляясь прямо к трактиру, которого вывеска с надписью «Trakteur» блистала в отдалении.

— Аника Федорыч, миленький, постой, Аника Федорыч, погоди, что я скажу тебе...— повторял Сусликов, стараясь всеми силами удержать трагика за полы шинели.

— Ну, что?..

— Аника Федорыч... маленечко как будто уж поздноватенько...— едва внятно произнес капельмейстер,— милый человек, погоди, что я тебе скажу... домой пора...

— Полно врать, ступай за мной!..

— Ох... да что ж она-то, Арина-то Минаевна-то...

— А, так ты опять стал бояться ее? — сказал Громилов, презрительно оглядывая Сусликова с головы до ног.— Где она? подай мне ее сюда!.. Ах ты! что ж ты, муж, что ли? али нет? а? Она тебя бьет, а ты ее боишься... Ах ты, тряпка ты этакая... Семен! за мной... идем!..

Идем на путь, предназначенный славой!..

Идем!.. И кто ж, Семен, велел тебе жениться на этаком уроде?.. Нет!..

Не Гименей там был, Мегера там была!..

Ступай за мной!..

Трагик держал Сусликова за рукав; Сусликов уже

не противился и ковылял за ним, как школьник, которого учитель поймал в шалостях и ведет сечь.

— Я тебя выучу, как бояться Арины Минаевны,— повторил трагик, сжимая все крепче и крепче обшлаг горохового сюртука,— ты у меня забудешь Арину Минаевну...

— Слабый человек, слабый человек,— бормотал сквозь зубы капельмейстер,— охо... хошиньки... хохошиньки...

Наконец они подошли к трактиру.

— Ступай вперед! — сказал трагик, вталкивая Сусликова в двери, несмотря на все усилия последнего, упиравшегося руками и ногами.

Четверть часа спустя приятели вышли из трактира и тут же на пороге расстались; путь каждого из них лежал в противоположную сторону. Оставшись один, Сусликов вздохнул свободнее и начал оглядываться во все стороны. Кругом все было тихо, нигде живой души, и только глухое дребезжанье дрожек обывателей города Б***, возвращавшихся кто от Алкивиада Степаныча, кто от г-жи Трутру, раздавалось в отдалении на главных улицах. Капельмейстер приладил под мышку ноты, обтер лицо и лысину, значительно раскрасневшиеся, потом поскрипел табакеркою и, окинув еще раз глазами площадь, направился неровным, колыхливым шагом к дому.

III

Если Сусликова прозывали тряпкой и он в самом деле оправдывал такую кличку, из этого еще не следует, чтобы в нем не было природного дарования, точно так же как не следует и того, что дарование это наследовал он от отца своего, Игнатия Сусликова, игравшего в свое время на контрбасе. Смело можно утверждать, что дарование, какое бы оно ни было, явление совершенно случайное в роде Сусликовых. Трудно сыскать человека, который находился бы в таких враждебных отношениях с музыкою, как покойный Игнатий Сусликов, отец Семена Сусликова. Прежде чем сделаться контрбасистом, Игнатий Сусликов слыл в целом околотке за самого страстного охотника. Да вдруг как-то его барин произнес: «В контрбасы!» — и стал с тех пор Игнатий Сусликов контрбасистом.

Но с сыном Сусликова было совсем другое; заметив в нем сызмала склонность к музыке (кто заметил и почему, неизвестно), ему дали скрипку (почему именно скрипку, также неизвестно) и принялись не на шутку учить музыке. От шестнадцати до двадцати пяти лет его жизнь не обозначалась ровно ничем замечательным, кроме разве, что из Сеньки он преобразовался в Семена, из Семена в Семена Игнатьича, да и то с такою постепенностию, что, право, не стоит и упоминать об этом. Когда умер отец его, он уже изрядно делал piccicato [1], а когда скончался хозяин оркестра, Сусликов состоял первою скрипкою в капелле. Он и еще три музыканта согласились тогда отправиться в О*** попытать счастие... Они дали концерт, но счастье их обмануло, и скоро концертисты рассеялись бог весть куда, за исключением Сусликова, попавшего в оркестр к одному знатному барину. Жизнь Сусликова была бы самая счастливая, если б он только сумел ею воспользоваться; капельмейстер этого оркестра, старик лет восьмидесяти, по прозванью Матвей Гусликов, принял его под свое покровительство; разумеется, это досталось ему не даром. Не знаю, с чего вспало на ум Сусликову сочинить кадриль. Старый капельмейстер, узнав об этом, взял кадриль и при первом торжественном случае разыграл ее перед барином. «Это что-то опять новенькое? – сказал барин капельмейстеру, – хорошо, хорошо, продолжай!» Капельмейстер встал и, выразив на лице своем добродушную улыбку, почтительно поклонился. С тех пор, как только являлся торжественный случай: именины, обед, съезд, старый капельмейстер поручал Сусликову написать кадриль, матрадуру, монимаску, курант – словом, все, что требовалось. Сусликов писал, барин хвалил, а старый капельмейстер кланялся с обычною добродушною улыбкой. Справедливость требовала же, наконец, чтобы старый капельмейстер получал какое-нибудь вознаграждение за покровительство, оказываемое им молодому музыканту; смешно было восставать против этого; но грубой натуре Сусликова недоступны были такие тонкие отношения; он не замедлил отплатить благодетелю самою черною неблагодарностию. Раз как-то Гусликов поручил Сусликову

---

[1] Пиччикато или пиццикато – исполнение щипками, без применения смычка *(ит.)*.

написать экосез к балу, назначенному в день именин барина. Экосез был окончен с умыслом в день самого бала. Добродушный старик попросил Сусликова сделать пробу и заранее потирал себе руки. Но когда вечером он взял смычок и оркестр грянул экосез, все присутствующие разразились таким неистовым хохотом, какого, верно, не слышно было со времен богатырских. Вместо экосеза Сусликов нарочно наплел такую белиберду, так перепутал звуки инструментов, что сам, наконец, не выдержал и покатился со смеху под самым носом своего благодетеля. Но шутка стоила ему дорого. Гусликов так возненавидел Сусликова, что принялся гнать его беспощадно; музыканты, подчиненные Гусликову, движимые чувством справедливого негодования к неблагодарному, начали вторить своему капельмейстеру; Сусликова гнали, гнали, и так гнали, что он должен был искать себе другого места. Но Сусликов родился под счастливою звездою. Он вскоре попал в оркестр одного довольно значительного провинциального театра. В этом театре, однако ж, как назло, все капельмейстеры и даже музыканты были композиторы, и уже достаточно было им узнать, что новый собрат сочинил матрадуру, чтобы не дать ему ходу и сбыть его как можно скорее с рук. Так и случилось. Сусликову пришлось плохо, денег ни гроша; он уже задумывал было покончить с музыкою навсегда, да, к счастию, выручил содержатель другого театра, приехавший вербовать свежую труппу. Дело сладилось скоро, и Сусликов отправился с ним в качестве первой скрипки и капельмейстера. Несмотря на непостоянство и шаткость провинциальных театров вообще, Сусликов ухитрился, однако ж, так, что провел на своем месте несколько лет сряду с самым невозмутимым спокойствием. На сороковом году от рождения (эпоха, в которую начал он носить очки и завел табакерку со скрипом) счастье стало сильно изменять ему. Это обстоятельство значительно подействовало на капельмейстера; привыкнув опираться весь свой век на фортуну, как на костыль, он вдруг ослабел, как ребенок, смирение, кротость и уступчивость сделались отличительными чертами его характера. Он вдался в чудачество и, что всего хуже, не только не умел поддержать к себе уважения товарищей, но даже заслужил от них название «плюгавого капельмейстера» – кличка, оставшаяся за ним вплоть до той

минуты, когда бросили последнюю горсть земли в его могилу.

Никто, разумеется, не понимал настоящей причины, внезапно изменившей капельмейстера; всякий объяснял ее по-своему. Причина заключалась в следующем: Сусликов нанимал квартиру у одной бездетной вдовы одного провинциального трагика; вдова эта, олицетворявшая как нельзя лучше всем известную Бобелину и не уступавшая в энергии и силе духа сказочной героине, воспользовалась могучими своими качествами, чтобы взять в руки Сусликова, и делала из него по произволу то верх, то подкладку. Ослабевший Сусликов боялся ее как огня и с каждым днем поддавался ей сильнее и сильнее. Такая покорность объясняется только влиянием боа на птицу или животное: боа пользуется обыкновенно своим влиянием и поглощает свою жертву; энергическая хозяйка Сусликова поступила иначе: она вышла за него замуж. Как решился Сусликов на такой отважный поступок, объяснить трудно. Со стороны выгод каких-нибудь не представлялось ему ровно ничего. Он жил у ней несколько лет сряду жильцом самым горемычным, – женившись, остался неизменно в положении того же самого жильца, в той же самой комнатке, под тем же строгим надзором Арины Минаевны; а впрочем, бог его знает, разные бывают причины, почему иногда люди женятся; я знал, например, одного человека, женившегося потому только, что его крайне соблазнил парадный обед, который должен был сопровождать свадьбу; мысль быть распорядителем на том обеде, первым лицом — словом, играть роль, заставила его закрыть глаза на пятидесятилетнюю невесту; другой сочетался браком вследствие купленной им по оказии за дешевую цену двухспальной кровати.

Что ж касается до Арины Минаевны, цель ее очевидна: Семен Игнатьич получал четыреста рублей ассигнациями в год, и хотя она и прежде еще, до свадьбы, распоряжалась этими деньгами как хотела, но все-таки приятнее было ей глядеть на них как на законную, неотъемлемую собственность. «Ну, а как сгонят его вон, – думала предусмотрительная Арина Минаевна, – как обанкрутится содержатель театра, он съедет с квартиры, поступит на другое место, я-то что тогда?» Арина Минаевна имела право более, чем какая-нибудь другая женщина, искать положительного

обеспечения; покойный трагик оставил всего-навсего три целковых долгу в трактире, которые в свое время стоили ей много слез и горя. Арина Минаевна пробавлялась кой-как своими трудами: то уладит свадебку честную, то съездит к благодетельным помещицам уезда попросить бедной вдове на бедность; да ведь горек такой хлеб; хорошо еще, если подадут его; случалось попадать и на жесткое, каменное сердце; приедет к помещице, и плачет-то над нею, заливается, и жалеет-то ее всячески, и хвалит-то, да с тем и уедет, все труды пропали... вот это-то каково?..

Чтобы окончательно оправдать Арину Минаевну, стоит только сказать, что она не обманулась, и предусмотрительность ее вовсе была не лишняя. Не прошло и года после ее брака, как содержатель театра действительно обанкрутился, и Сусликов лишился своего места. Арина Минаевна тотчас же запаслась рекомендательными письмами, взвалила домашний скарб и мужа на подводу и поехала в другую губернию. Она бегала, хлопотала, плакалась, забегала и кончила все-таки тем, что нашла Семену Игнатьичу место в другом театре. Тут только понял Сусликов, что Арина Минаевна ему необходима, и уже с той минуты окончательно покорился ей во всем. Таким образом провели они несколько лет, таскаясь из театра в театр, пока, наконец, Арина Минаевна не заехала со своею подводою, рухлядью и мужем в город Б***, где и определила последнего к Николаю Платонычу. Никогда еще положение Сусликова не было так благополучно обставлено. Даже то, что причиняло обыкновенные невзгоды капельмейстеру, именно способность сочинить на скорую руку матрадуру или монимаску, обратилось здесь ему в пользу. Николай Платоныч особенно благоволил к нему. Распоряжение это приняло вскоре такие широкие размеры, что композитор строжайше запретил Сусликову обнаруживать кому бы то ни было о своей авторской способности, опасаясь вероятно, чтобы подобное известие не вооружило против него других музыкантов города Б***, как нарочно людей самых завистливых и самолюбивых. Вот именно около этого-то времени и появились в свет выдержки из оперы Николая Платоныча (это приводится здесь исключительно для исторической верности). Впрочем, что ж скрывать: Николай Платоныч, пожалуй, если хотите, и прибегал иногда к по-

мощи Сусликова; но нужно опять принять в соображение, как это делалось. «Позвать Сусликова!» – крикнет обыкновенно содержатель театра. Придет Сусликов. «Ну, брат, – говорит ему Николай Платоныч покровительственным тоном (заметьте, покровительственным, а отнюдь не повелительным), – подойди сюда, а вот я опять написал кое-что... а?.. возьми-ка да перепиши... у меня, ты знаешь, рука неразборчива; перепиши же, да смотри не дай маху, не ошибись... ну, понимаешь... если встретишь там какой-нибудь промах или пропуск – так поправь: всего не досмотришь; да смотри, никому не говорить, что, мол, Николай Платоныч написал новую пьесу: я держу это покуда в секрете; ступай!» Сусликов прикладывал по обыкновению обе ладони к животу, низенько кланялся, брал ноты и шел домой, очень довольный ласкою и милостями г. Сабанеева. При всем том, он сумел-таки насолить себе. Ни с того ни с сего связался он с Аникою Федорычем Громиловым, известным трагиком и еще более известным пьянчужкой. Сам нечистый, казалось, завидуя его счастью, натолкнул его на этого бесшабашного человека. Уж одно то, что дурной пример пагубно действовал на старика; но, приняв еще в расчет его робость и слабость, сообщество с Громиловым легко могло погубить окончательно капельмейстера. Дело шло, однако ж, до сих пор довольно ладно; Николай Платоныч глядел на проказы капельмейстера сквозь пальцы. Сусликов был счастлив и доволен и, вероятно, прожил бы в таком завидном состоянии до глубочайшей старости, если б не случилось одного обстоятельства, которое сразу подкосило все его существование.

IV

Приближаясь к дому, серенькой лачужке о двух окнах и крылечке, выглядывающих на улицу и пятившихся недоброжелательно друг от друга, Сусликов вытянул вперед шею и, повернувшись несколько бочком, стал прислушиваться; таким образом добрался он до самых окон, осторожно заглянул в каждое из них и, наконец, юркнул в сени. Повсюду царствовала мертвая тишина, прерываемая только жужжанием мух. Сусликов бодро вступил в следующую комнату,

но в ту же минуту отшатнулся в угол и стал как вкопанный: на постели, заваленной пуховиками и перинами, лежала Арина Минаевна. Огромное ее туловище, закутанное в черный коленкоровый капот, почти исчезало в перинах; одни лишь ноги, запрятанные в серые, шерстяные чулки, да голова с черными встрепанными волосами, прикрытыми черным же чепчиком, выглядывали наружу. В комнате стояла жара нестерпимая: два окна на двор были заколочены наглухо, несмотря на знойное лето. Арина Минаевна тяжело дышала, и по широкому красному лицу ее струились ручьи, как по самовару, когда утекает кипящая в нем вода. Семен Игнатьич вскоре, однако ж, оправился; подогнув колени и съежившись в три погибели, он начал подбираться на цыпочках к двери, останавливаясь при каждом скрипе и шорохе и не упуская из виду несметных полчищ мух, осаждавших лицо Арины Минаевны так же усердно, как морские птицы спинку кита, случайно высунувшуюся из воды. Сусликов пробрался, наконец, в кухню; но тут он уже смелее подошел к сундуку, на котором спала кухарка.

— Дарьюшка, Дарьюшка,— шептал Сусликов, толкая ее легонько под бок,— вставай, голубушка... вставай!..

— Асинька?.. о! о! о!.. а! да это ты, кормилец,— вымолвила Дарья, сбрасывая босые ноги на пол и принимаясь тереть глаза, или «кукситься», как выражаются в простонародье,— ах мой касатик, рожоный ты мой, что ж тебе, чай, покушать небось надыть?..

— Да, Дарьюшка... я нынче еще не обедал... поесть бы маленько чего-нибудь...

— Ох ты, болезный ты мой, умаялся, чай, на службе-то на своей... что ж бы тебе такого... Арина-то Минаевна почитай что сама все поела... уж так-то, касатик ты мой, осерчала сегодня...

Сусликов проворно оглянулся назад.

— А мне бы чего-нибудь кисленького...— вымолвил он, бросая еще раз украдкою глаза к двери.

— Ох ты, рожоный ты мой... да кисленького-то, кажись, у нас нетути... киселику нынче не готовили, а вот огурчики соленые да похлебочка осталась... покушай на здоровье.

— Ничего, Дарьюшка, ты только потихонечку; все равно, дай хоть солененького... да только потихоньку, не буди...

— Ох ты, рожоный, ненаглядный ты мой,— твердила Дарья, роясь в темном шкапу, наполненном мухами, как улей пчелами.— А вот и пирожка с капустой нашла... сейчас соберу на стол. Ты, чай, здесь в кухоньке покушаешь?..

— Здесь, все равно,— сказал Сусликов, снимая сюртук и усаживаясь к окну против березового дощатого стола.

Нужно заметить, что хозяйственная часть в доме Сусликова находилась в крайнем запустении и беспорядке. Арина Минаевна, проживавшая день-деньской у благодетельниц или бегавшая по делам сватовства, не имела времени заняться этим предметом. Все было поручено старой Дарье, простой деревенской бабусе, поступившей к ней в батрачки за два с полтиной в год и спавшей решительно с утра до вечера на своем сундуке.

— Рожоный ты мой, да ты хошь пирожка-то еще прикушай,— говорила Дарья, нарезывая ломоть за ломтем,— чай, голоден, болезный ты мой...

— Нет, спасибо, а вот кабы теперь кваску бы, Дарьюшка,— произнес Сусликов, когда все уже исчезло со стола (старик любил плотно покушать), и он уже готовился снять очки, чтобы всхрапнуть часочек, как вдруг в соседней комнате послышался громкий кашель и вслед за тем раздались по всему дому шаги Арины Минаевны. Дарья и Сусликов заметались как угорелые; последний кинулся к двери, но в ту самую минуту на пороге показалась Арина Минаевна, и он остался пригвожденным к полу, с открытым ртом, в котором виднелся еще кусок пирога.

— Что вы здесь делаете, а? — прохрипела Арина Минаевна, быстро окидывая заспанными глазами кухню.— Где ты по сю пору шлялся, а? — присовокупила она, мгновенно обращаясь к мужу и сердито хмуря густые с проседью брови.

— Ей-богу... а вот же ей-богу... Арина Минаевна, был на репетиции...— отвечал Сусликов с уверенностию, разводя руками, но так, однако ж, чтобы, в случае надобности, защитить ими свою лысину.

— Врешь, врешь,— круто перебила жена,— я давно встретила этого поганца Горковенку... ты опять шлялся, а? — прибавила она, делая шаг вперед.

— Уж я ли, я ли шляюсь, Арина Минаевна,— произнес Сусликов, забиваясь в угол и стараясь при-

нять вид самого ничтожного, незначительного существа.

— Опять ты у меня по трактирам пошел! — продолжала Арина Минаевна. — Погоди же, разбойник ты этакой... вот я тебе покажу...

— А вот же, ей-богу, не был... ей-богу, — сказал супруг, высовываясь из угла, — отсохни руки и ноги, коли был... Грешно тебе, Арина Минаевна, бога ты не боишься... (Тут Сусликов быстро подогнул колени, прикрыл лысину обеими руками и окончательно исчез за душегрейкою Дарьи, болтавшеюся на гвоздике.)

— Уж попадись только в руки этот плут Громилов, окаянный, разбойник этакой... я ему покажу, как подбивать людей да водить по трактирам!..

— Ей-богу, Арина Минаевна, не был, — повторял Сусликов, высовывая опять голову, — маковой росинки во рту не было...

Арина Минаевна была в тот день очень не в духе. Во-первых, купец Рыжиков, которому она сватала дочь купца Севрюгина, повздорил с отцом невесты за роспись приданого, требуя от него настоятельно лисьей шубы, означенной в росписи и от которой Севрюгин начинал отнекиваться, — свадьба разошлась и, следовательно, труды свахи пропали задаром; во-вторых, Арина Минаевна, забежавшая после такой неудачи к одной молоденькой даме, провела битых три часа, восхищаясь ее красотою и платьем, только что принесенным от г-жи Трутру для бала, назначенного в честь гостя Кулындиных, не получив за то ровно никакого вознаграждения. Арина Минаевна осталась без гроша, и это обстоятельство тем более возбуждало в ней желчь, что до получения мужнина жалованья надо было ждать целый месяц. Куда девала Арина Минаевна столько денег, неизвестно. Не знаю также, до чего возросло бы неудовольствие грозной супруги, если бы не раздался в сенях стук и вслед за ним не послышался голос: «Кто здесь?.. дома, что ли?..»

В дверях показалась долговязая фигура с серыми глазами, в серой фуражке и серой ливрейной шинели с красным стоячим воротником и такими же красными полосами на капюшоне.

— Чего вам надо? — спросила наотрез Арина Минаевна.

— А надо, что Алкивиад Степаныч Кулындин требует к себе музыканта, что при театре.

— Зачем?

— Вот еще зачем? а я почему знаю, зачем? требует, приказал позвать, то есть чтоб сейчас же шел, нужно оченно скоро...

— Скажите, батюшка, сию, мол, минуту придет,— отвечала Арина Минаевна, бросаясь впопыхах к мужу,— сию минуту... Что ж ты, чушка ты этакая, копаешься? — ворчала она, подталкивая Сусликова, который схватывался за лысину и подгибал колени каждый раз, как только супруга приближалась.— Ступай скорей! А ты, разиня, чего буркалы-то свои глупые кажешь? потри ему сапоги. Ну, ну, скорей! неравно еще помощь какую оказать хочет тебе, дураку... а коли за чем другим зовет, так сам проси у него... ну, ступай! ступай!..

Через несколько минут Сусликов ковылял по улице, провожаемый глазами Дарьи, которая стояла на крылечке и, скрестив руки на крутую грудь свою, повторяла жалобным голосом: «Ах ты, рожоный, болезный ты мой, и отдохнуть-то тебе, сердешному, не дадут... ненаглядный соколик!»

Вскоре Сусликов очутился подле дома Алкивиада Степаныча Кулындина и не замедлил войти в переднюю. В передней толкалось множество лакеев; тут находились всякого рода люди. Но Сусликов не оторопел, как нужно было ожидать; он поспешно поскрипел табакеркою и учтиво предложил каждому из них понюшку. Тонкая политичность капельмейстера, разумеется, не могла пройти даром в таком образованном обществе; кто-то из них взялся даже доложить о нем барину.

Когда Сусликов вошел в залу, его чуть не сшибли с ног шут и шутовка, или, правильнее сказать, дурак и дура, выпрыгнувшие неожиданно из-за двери и принявшиеся трепать его за полы сюртука. Капельмейстер согнул уже колени и прикрыл руками лысину, как перед Ариной Минаевной, но дело вскоре объяснилось: шут и шутовка потребовали табаку. Сусликов поскрипел табакеркою и поспешил исполнить их просьбу. Тогда дура, наряженная в белый суконный балахон, испещренный красными кругами, треугольниками и фигурками, побежала вперед, как бы расчищая дорогу, а дурак, приподняв свой халат из цветных лоскутков, пустился плясать вокруг Сусликова, ударяя при каждом коленце пяткою в пол и напевая в такт:

Чижик, чижик, где ты был?
На Фонтанке воду пил... и т. д.

Сусликов вступил в кабинет, сопровождаемый ими.

— Василиса пришла! — произнесла дура, вытягиваясь перед барином и делая самую серьезную мину, как будто докладывая о вошедшем.

— Пошла, пошла, префелка, пошла, дура, — сказал с добродушною улыбкою Алкивиад Степаныч. — Здравствуй, Сусликов; подойди сюда, милый мой...

Алкивиад Степаныч, человек высокого роста, худощавый, приятной наружности, в золотых очках, с мягкими реденькими черными волосами, но так гладко прилизанными, что можно было без большого затруднения пересчитать все выступы и впадины на его черепе, что, без сомнения, доставило бы большое удовольствие не только Галлю, но и вообще всякому другому френологу. Алкивиад Степаныч изъясняется мягко и плавно; в его голосе есть что-то такое, невольно располагающее в его пользу.

— А я вот зачем позвал тебя, милый мой, — начал он. — Я ожидаю с минуты на минуту своего родственника... завтра у меня бал... Пошел прочь, Эська, пошел, дурак, — присовокупил он, обращаясь к шуту, который, просунув рыжую, выстриженную в кружок голову под руку Сусликова, показал ему язык, что крайне смутило капельмейстера. — Да, так у меня завтра бал... Можешь ли ты, милый мой, написать мне польский?

— Как же, сударь... только бы Николай Платоныч... — отвечал, переминаясь, капельмейстер.

Но тут Эська схватил Сусликова за плечи и, повертывая им как волчком, запел с приплясом:

Ой, коток, коток, коток,
Что ж ты ходишь без чулок...

— Пошел прочь, Эська! Экой дурак! пошел вон! Префела! прогони своего жениха... пошли в залу... Ну, так ты можешь написать мне к завтрему польский?

— Как же, можно-с... вот только разве Николай Платоныч... — повторил Сусликов.

— Знаю, знаю, — перебил Алкивиад Степаныч, да он и без того очень занят, ему некогда... я нарочно не просил Николая Платоныча, он бы не отказал мне; да видишь ли, дело к спеху, а я слышал, у тебя к этому

большой навык; главное, чтоб поспело к завтрему вечеру; так можешь ли взять на себя такую работу?

— Можно, сударь... если ваша милость...

— И к завтрему будет готово?

— Как же, сударь.

— Наверное?

— Слушаю-с; можно даже к вечеру, если угодно, и репетичку сделать.

— И прекрасно! ну, а уж ты мною останешься доволен.

Сусликов приложил руки к животу, поклонился и повернулся, чтобы выйти.

— Погоди, милый мой, — сказал Алкивиад Степаныч, удерживая его за руку, — я позабыл сказать тебе, что все это должно оставаться в тайне до завтрашнего вечера, чтобы никто не знал об этом; это сюрприз... слышишь?.. Устрой так, чтобы даже музыканты до репетиции не знали.

— Слушаю-с...

— Ну, хорошо, милый мой, принимайся сейчас же за работу, чтоб не опоздать — это главное; ступай, милый мой, прощай!

Сусликов вышел в залу, но опять-таки попал в руки Фефелы и Эськи, которые, вместо ласк, принялись на этот раз преследовать его с гиком и визгом вплоть до самой передней. Наконец капельмейстер выбрался на улицу.

— Ну что, зачем тебя призывали? — спросила Арина Минаевна, выбегая к нему навстречу.

— А насчет музыкантов, — отвечал, запинаясь, Сусликов, — завтра, вишь, бал там, просил поуправиться с оркестром.

— Что ж он тебе дал?

— Посулил, Арина Минаевна; говорит: не забуду, доволен останешься.

— А тебе бы, дураку, попросить да поклониться.

— Не смел, Арина Минаевна.

— Э, дурак, дурак! ну, что — чай, при тебе небось говорили — что сказывали, а? ждут, чай, гостя?..

— Ништо, Арина Минаевна, ждут-таки.

— Ну а в доме ничего не видал? чай, суматоха идет, а?

— Два какие-то, ништо, Арина Минаевна, так-то прыскают.

— Какие два?

— Скоморошенные, кажись, какие-то...

— Эх ты, дурак, дурак!

Арина Минаевна поспешно набросила на плечи траурный платок и побежала со двора. Сусликов снял сюртук, приладился к окну, поставил чернильницу, нотную бумагу, и вскоре весь домик наполнился визжанием скрипки, прерываемым иногда скрипом пера, которым Сусликов довольно быстро водил по бумаге, выставляя крючки и закавычки. Дарья, любившая засыпать под шумок скрипки своего болезного хозяина, приподымалась, однако ж, довольно часто с своего сундука и, отворив осторожно дверь, произносила вполголоса, жалобно качая головою:

— Рожоный ты мой... Ох, болезный, соколик ты наш, вишь как умаялся, касатик, и вздохнуть-то тебе не дадут, моему батюшке...

Проговорив все это, она снова запирала дверь и отправлялась на сундук.

Сусликову тем более удобно было заниматься, что жена не ночевала дома. Арина Минаевна провела ночь у одной вдовы, оплакивавшей мужа, скончавшегося десять лет тому назад, и единственное утешение которой составляла старая моська, кормимая пилюлями из пресного теста, нарочно для нее изготовляемыми.

Весь следующий день прошел для Сусликова в занятиях. Он не отрывался от своего дела ни на минуту; он не заметил даже, как мимо его окон пролетали дрожки и линейки, не обратил ни малейшего внимания на общую городскую суматоху, возвещавшую о приезде ожидаемого гостя в город Б***. К вечеру только, часу в четвертом, капельмейстер вышел из дому, неся под полою только что оконченный польский. Все прошло как нельзя лучше; Алкивиад Степаныч остался до того доволен музыкою Сусликова, что тут же вынул из бумажника две беленькие и подал их капельмейстеру, подтвердив ему явиться тотчас же по окончании спектакля на бал для управления оркестром и польским.

V

Зала театра была полнешенька. Все, что слыло в городе лучшим, собралось сюда в тот знаменитый вечер. Даже в местах за креслами и в райке сидели не бедняки. Первые ряды были заняты местным начальством и ремонтерами, тамошними театралами. Нечего

упоминать, что избранная публика съехалась не для каких-нибудь драм или водевилей, которых все более или менее видели несколько раз; даже самый дивертисмент Николая Платоныча служил, кажется, одним только предлогом. Всеобщее внимание исключительно обращалось к приезжему, сидевшему налево, в ложе бельэтажа, принадлежавшей Алкивиаду Степанычу Кулындину – обстоятельство, возбудившее в разных концах залы несколько едких эпиграмм и замечаний со стороны самых искренних приятельниц Софьи Кирилловны Кулындиной и ее супруга, который в самом деле принял почему-то уже слишком надменную и оскорбительную позу, хотя и не переставал улыбаться. Взоры всех все-таки с жадностью устремлялись на известную ложу; одна пожилая дама в зеленом платье с розовыми бантами, уподоблявшими ее издали тучному кусту, усеянному пышными розами, приехавшая в театр с тремя жиденькими дочерьми, была так очарована наружностью гостя, что не давала дочкам глядеть на сцену и, подталкивая поочередно каждую из них сзади, повторяла беспрестанно:

– Инна, держись прямее!.. Ринна, куда глядишь! Пи́нна, смотри налево!..

Причем Инна, Ринна и Пинна вытягивались в струнку и, кокетливо суживая глазки, бросали томные взгляды на ложу Кулындиных. Тишина в зале не прерывалась; зрители хранили благоговейное молчание, так что, если б внимание публики было обращено на актеров, никто не проронил бы слова из драмы, которая разыгрывалась на сцене. Признаюсь, в этом случае можно сожалеть о присутствии родственника Кулындиных, потому что драма действительно достойна внимания, – уже одно то, что главная роль считалась лучшею в репертуаре Громилова. Вот ее содержание:

Один молодой человек (Аника Федорыч) и одна молодая девушка (Курочкина) страстно любят друг друга; ложный друг Громилова (Мускатицкий) влюблен также в эту девушку. Он похищает ее против воли из дому родителей и увлекает несчастную на корабль. Громилов преследует их на другом корабле. Буря посреди океана. Корабли сшибаются, разбиваются вдребезги, и часть обоих экипажей бросается на плот, нарочно приготовленный для непредвиденного случая. На плоту сталкиваются: ложный друг Муска-

тицкий, Громилов и Курочкина. Страшная сцена, заглушаемая ревом бури, свистом ветра и раскатами грома. Мало-помалу все умирают с голоду. Гром поражает злодея Мускатицкого. Остаются в живых одни лишь несчастные любовники. Но голод томит их; они уже четырнадцать дней без пищи; Громилов, в забытьи и ярости, решается, наконец, съесть свою возлюбленную, которая, жалобно скрестив ослабевшие руки на грудь, умоляет о пощаде, припоминая ему, в трогательных выражениях, то время, когда они рвали фиалки у берега ручья. Но освирепевший Громилов уже ничего не слышит, и жертва погибает. Утолив голод, несчастный любовник (и в этой-то сцене особенно хорош Аника Федорыч) начинает мало-помалу приходить в себя: он катается по плоту, терзаемый угрызениями совести, и решается лишить себя жизни, как вдруг показывается шлюпка. Но Громилов сошел уже с ума. Пьеса кончается тем, что Громилов бродит по лесу, отыскивая повсюду гробницу милой; но вдруг появляется прислуга из дома умалишенных, вооруженная факелами. Громилов хватается за сердце, вновь обретает рассудок. Но поздно: силы его слабеют, он падает в изнеможении и испускает последний вздох посреди живописной группы прислужников, потрясающих факелами.

Тишина в зале прерывалась, однако ж, каждый раз, когда заезжий гость, желая поощрить актера или оказать учтивость Николаю Платонычу, с которым его только что познакомили, хлопал в ладоши, – потому что тогда вся публика, от райка до задних рядов, принималась также хлопать, движимая, вероятно, теми самыми чувствами, какие воодушевляли гостя.

Николай Платоныч, находившийся в это время за кулисами, не переставал, однако ж, трепать себя за волосы и, казалось, был в сильном волнении. Через полчаса какие-нибудь должен был начаться дивертисмент. Он поминутно посылал в оркестр за Сусликовым.

— Все ли у тебя исправно? – в сотый раз спрашивал Николай Платоныч. – Смотри, не забыл ли чего-нибудь? Сейчас начнется дивертисмент, – помни, что я тебе говорил: как только Глафира Львовна оборвется или не дотянет ноты, fortissimo[1] всем оркестром!

---

[1] Очень сильно (*ит.*).

Да и не слишком зачащивай, когда танцовщица начнет свой па, – дай ей три такта, три такта... слышал? Смотри же, держать ухо востро; ступай!..

Волнение Николая Платоныча возрастало с каждою минутой; временами оно принимало даже вид некоторой досады; это особенно случалось, когда громкие рукоплескания раздавались в честь Громилова, Мускатицкого и девицы Курочкиной. Наконец начался дивертисмент. По мере того как русская ария Глафиры Львовны приходила к концу, не нарушив ни разу молчания, досада г. Сабанеева начинала обнаруживаться сильнее и сильнее. «Охрипла! робеет! – твердил Николай Платоныч. – Сорвалась нота – э! Проклятый Сусликов не подтянул: fortissimo, fortissimo! – кричал он в оркестр, прикладывая к губам обе ладони в виде трубы. – Опять опоздал, – э! ну, брр... прр! ну, пошло все к сатане!.. Вот что наделали, негодяи!» – присовокупил он, пожимая плечами и ударяя кулаком по коленям. Начался хор радимичей и вятичей; но хору суждено было претерпеть ту же неудачу. И в самом деле, охота же была Николаю Платонычу исключительно писать ученую музыку, доступную одним лишь высоким знатокам и ценителям искусства. Николай Платоныч ходил уже как угорелый, проклиная артистов и неловкого капельмейстера. Как назло, случилось, что при первом появлении танцовщицы и господина с вывернутыми ногами рукоплескания заглушали оркестр; г. Сабанеев заскрежетал зубами; но когда г. Розанцев начал свой комический английский па под названием horn-pippe и публика, потеряв всякое воздержание, разразилась единодушным восторженным браво, от которого дрогнули самые стены театра, гнев окончательно обуял композитора; даже режиссер Горковенко и еще несколько человек, одетых испанскими грандами, стоявшие поблизости, попрятались в самые темные углы кулис. «Позвать Сусликова! Сусликова сюда!..» – мог только прокричать Николай Платоныч, подстрекаемый, как нарочно, криком толпы, вызвавшей Розанцева за комический horn-pippe... Должно полагать, однако ж, что вызовами занимался в это время раек, потому что главная публика спешила уже давным-давно на бал к Кулындиным.

Дом Алкивиада Степаныча представлял самое великолепное зрелище: плошки, шкалики, фонари снару-

жи по карнизам и на подъезде, цветы и ковры на парадной лестнице, везде лакеи в богатых парадных ливреях; по комнатам, усыпанным сотнями свечей, носятся струи самых тонких курений. Свет главной залы, обращенной окнами на парадный двор, был так ярок, что позволял даже различать лица горожанок и купчих, стекавшихся толпами к решетке двора, чтобы поглазеть на праздник. Танцы еще не начинались. В залах, наполнявшихся народом, слышался покуда отрывчатый глухой говор и шелест туго накрахмаленных платьев. Дорогой гость, держа под руку хозяйку дома, стоял посредине залы, под самою люстрою; его окружали значительные лица города; остальные, менее значительные лица бродили взад и вперед, бросая томные, но более завистливые взгляды на эту группу. Пожилая дама в зеленом платье с розовыми бантами, окончательно очарованная наружностью величавого гостя и желавшая, вероятно, чтобы дочки разделяли ее чувство, не переставала подталкивать Инну, Ринну и Пинну, приглашая их всматриваться в него как можно пристальнее. Все казались, однако ж, очень довольными и веселыми. Мрачен был один только Николай Платоныч, приехавший после других. Он, пожалуй, также улыбался, но это были скорее тени улыбок, да и то появлявшиеся не иначе, как когда гость поворачивался в его сторону. В таком многочисленном собрании никто, разумеется, не замечал мрачного лица директора; да и кому в эту минуту было до него, кроме разве Сусликова, который, судя по времени, должен уже был стоять где-нибудь в оркестре.

— Послушай, Николай Платоныч, я отыскиваю тебя повсюду, я уже думал, что ты не приехал,— сказал хозяин дома, неожиданно подлетая к директору.— У меня к тебе просьба: позволь твоему капельмейстеру управлять оркестром... Представь, он увидел тебя и, хоть зарежь его, не хочет; умора! Ну, брат, нечего сказать, задал же ты ему страху,— прибавил он шутливо, трепля его за руку.

- Пожалуй, любезнейший, сколько хочешь... Ты знаешь, я ни в чем тебе не отказываю... пусть управляет... пусть управляет...

— Нужно тебе сказать, у меня сюрприз,— это по твоей части,— новый польский... чудо!

— Чей? — спросил Николай Платоныч, судорожно ухватив себя за воротнички.

— Твоего Сусликова,— отвечал ему на ухо Алкивиад Степаныч.— Ну, брат, просто талант, я нарочно не говорил тебе, хотел сделать сюрприз: ну, mon cher[1], и ты таки удивил нас всех нынче... спектакль твой — charmant, charmant![2] — присовокупил хозяин дома, повернувшись на каблуке и послав композитору поцелуй рукою.

Но композитор уже ничего не слышал и не видел; он судорожно взъерошил себе волосы и в один миг очутился подле оркестра. Горячий пот прохватил его насквозь, когда, по знаку Алкивиада Степаныча, Сусликов появился вдруг на возвышении перед музыкантами, и польский грянул всем оркестром. Все вокруг засуетилось, и вскоре пестрая вереница из дам и кавалеров, предводительствуемая гостем и хозяйкою дома, потянулась зигзагами по зале. «Charmant! прекрасно, превосходно! славный польский!» — послышалось внезапно отовсюду. Содержатель театра вздрогнул. Если б только Сусликов взглянул в эту минуту на Николая Платоныча, он, верно, выронил бы смычок и дал тягу,— но, к счастию, этого не случилось. Сусликов уже ничего не видел перед собою. По мере того как польский приближался к концу, группы перед оркестром умножались и похвалы раздавались сильнее и громче,— лицо старика разгоралось, оживлялось, колени его выпрямлялись, тщедушная согнутая фигурка его как будто вырастала и закидывалась назад; он быстро размахивал на все стороны смычком, мотал головою, топал ногою; жиденькие волосы, прилизанные на лысине, взбились кверху и колыхались, как степной ковыль, раздуваемый ветром...

— Charmant! прекрасно! отличный польский! ай да Сусликов! — кричали отовсюду.

Воодушевление капельмейстера возрастало... Но вдруг он опустил смычок, склонил лысину на сторону и дрожащею от волнения рукою положил скрипку: польский кончился.

— Прекрасный польский! очень, о-о-очень хороший,— сказал в свою очередь гость, останавливаясь перед оркестром подле самого директора (гость, нужно заметить, был в полном убеждении, что польский сочинен Николаем Платонычем, о котором наслышал-

---

[1] Мой милый *(фр.)*.

[2] Прелестно, прелестно! *(фр.)*

ся уже как о музыканте).— Алкивиад Степаныч! — продолжал приезжий, обращаясь к хозяину дома, который подошел к нему с видом счастливейшего человека,— скажи, пожалуйста, откуда этот польский? Я никогда его не слыхал. Это, должно быть, что-то новенькое! Очень, о-о-очень хорошо...

— Это сочинение капельмейстера из оркестра господина Сабанеева,— отвечал с сияющим от восторга лицом г. Кулындин, подводя содержателя театра к своему родственнику.

— Неужели! — воскликнул тот.— Поздравляю вас, милостивый государь, с таким прекрасным приобретением. Это просто находка,— присовокупил он, пожимая руку композитора, с которого градом катил пот,— вы обладаете, как вижу, прекрасными талантами, и я вам вполне завидую... Нельзя ли мне как-нибудь доставить этот польский?.. Вы бы меня очень обязали... я большой охотник до музыки...

— Мне будет очень приятно,— пробормотал сквозь зубы Николай Платоныч, не упуская случая кивнуть Сусликову, который стоял ни жив ни мертв за своим пульпитром.

— У меня тоже свой оркестр,— продолжал гость,— но, признаюсь вам, далеко от такого капельмейстера...

— Вы делаете мне много чести,— пробормотал, краснея до ушей, Николай Платоныч и в то же время подал знак Сусликову, чтобы тот сошел вниз.

Николай Платоныч подавал эти знаки так искусно, что гость и окружающие видели одни только приятные улыбки на лице Сабанеева, тогда как Сусликов встречал каждый раз грозно сдвинутые брови и вздрагивающие губы. Раскланявшись с гостем, Николай Платоныч бросился в угол подле оркестра, где ожидал его капельмейстер. Что говорил он ему, неизвестно; издали, впрочем, судя по фигуре Сусликова и выражению его лица, казалось, как будто Николай Платоныч извещал его о скоропостижной кончине отца и матери.

В то время приезжий, сопровождаемый многочисленною своею свитою, успел уже отойти на средину залы; место Сусликова в оркестре занял домашний капельмейстер Алкивиада Степаныча; через несколько минут заиграли первую французскую кадриль, и бал начался.

Но Николаю Платонычу было уже не до праздника; напрасно предлагали ему сесть в преферанс или

остаться до ужина: он наотрез отказался. «Что с тобою, Николай Платоныч? Не болен ли ты? Не случилось ли чего?» – спрашивали вокруг приятели. «Ну, брат, поздравляем тебя! Вот не ожидали! Каков Сусликов, а? Кто бы мог думать?.. Талант, просто талант!» – говорили другие. Николай Платоныч ровно ничего не отвечал, хмурил только брови, дергал себя за воротнички, взъерошивал волосы и думал, как бы скорее выбраться вон. С своей стороны, Сусликов спешил также домой. Мысли его были в страшном беспорядке. «Дома ли Арина Минаевна?» – мог только произнести капельмейстер, когда Дарья вышла на его стук с фонарем в руках.

– Нетути ее, рожоный ты мой, не приходила; да что с тобой, касатик? Али что прилучилось недоброе?..

– Ох-хохошиньки, хохошиньки... беда наша, Дарьюшка, – отвечал Сусликов, заботливо потирая лысину. – Не сказывай только Арине Минаевне, – прибавил он умоляющим голосом.

Далее Сусликов ничего не объяснил старой Дарье, сколько она ни допытывалась. Собрав черновые листы польского, он пустился со всех ног к Николаю Платонычу. Вручив бумаги камердинеру, он так же поспешно возвратился домой, спросил опять: «Дома ли Арина Минаевна?» – и, получив отрицательный ответ, казалось, несколько успокоился.

На другой день, часу в двенадцатом, Николай Платоныч явился к родственнику Кулындиных с польским, исправленным им в продолжение ночи. Гость был любезен до крайности, осыпал его похвалами и, в довершение, объявил, что польский уже есть у него, ибо Алкивиад Степаныч, не далее часа тому назад, принес ему эту пьесу в оригинале, оставленном вчера после бала на пульпитре.

Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство произвело, однако ж, очень важные последствия. «Позвать Сусликова!» – были первые слова, произнесенные содержателем театра по возвращении его домой. Слова эти были так произнесены, что лакей, к которому обращено было приказание, исполнил его на рысях, и не более как через пять минут явился сам Сусликов.

Какого рода совещание происходило между Николаем Платонычем и Семеном Игнатьичем, определить

в точности трудно; должно предполагать, однако ж, что объяснение было горячее, потому что первый любовник, Мускатицкий, которого также приказал позвать Сабанеев для каких-то переговоров, услышав частичку разговора, никак не решился войти в кабинет и стоял за дверью, пронимаемый попеременно ознобом и жаром, как будто его обдавали то кипятком, то студеной водой.

Свидетельство Сусликова ровно ничего не объясняло из того, что происходило между ним и директором. Когда расспрашивали его об этом, он только прикрывал рукою лысину да подгибал поспешно колени, и больше ничего.

VI

К вечеру того же дня в городе узнали, что капельмейстер Сусликов отставлен от своей должности, а на место его назначен кларнетист, дальний родственник известной примадонны, Глафиры Львовны Цветошниковой. По поводу этого родства и поспешности, с какою исполнялось Николаем Платонычем все, чего требовала Глафира Львовна, было, разумеется, много толков.

Каждый легко вообразит, какое впечатление произвело на Арину Минаевну известие об изгнании мужа. Распространяться о том, что произошло в ее доме, чем обнаружились первые ее движения, лишнее; вторым ее делом было кинуться к Николаю Платонычу. Но композитор не дослушал ее слезной речи, повернулся к просительнице спиною, взъерошил волосы, дернул себя за воротнички и приказал немедленно выйти ей вон. Затем Арина Минаевна пустилась со всех ног к Алкивиаду Степанычу. Алкивиад Степаныч, выслушав внимательно, в чем дело, попросил ее подождать, сел в коляску и полетел прямо к Николаю Платонычу. Не прошло и четверти часа, как он снова вернулся назад; но, вместо утешительных известий, г. Кулындин объявил наотрез Арине Минаевне, что ровно ничего не может для нее сделать, что Николай Платоныч грубый человек, с которым хочет он прервать всякого рода сношения, что он прежде не знал этого, что с этого же дня нога его не будет в доме Сабанеевых и, наоборот, что он очень сожалеет о невоз-

можности определить Сусликова в свой собственный оркестр, за неимением в нем на время никакой надобности, и так далее; словом, поверг Арину Минаевну в совершенное отчаяние. Но кто представит себе весь ужас злосчастной женщины, когда, вернувшись домой, она услышала от Дарьи, как Сусликов пропал из дому, а с ним вместе и Аника Федорыч Громилов, как захватили они с собою скрипку, ноты, баночку с канифолью и как после всего этого рожоный и болезный Семен Игнатьич сулил ей три двугривенных, если только она согласится поступить к трагику кухаркой.

Арина Минаевна с плачем и воплем бросилась к благодетельницам, прося защиты и помощи, но на этот раз никто не слушал ее. Уж весь город, не выключая и самих благодетельниц, был исключительно занят ссорою Николая Платоныча и Алкивиада Степаныча. В самое короткое время образовались две партии – одна за Сабанеевых, другая за Кулындиных; партии эти, предводительствуемые большею частию благодетельницами, объявили вскоре войну; пошли споры, толки, пересуды, и бог весть чем бы все это кончилось, если б мужья, наскученные такою дребеденью, не махнули рукой и не разъехались кому куда пришлось. Тогда только, посреди возникшей тишины, вспомнили старого Сусликова и его супругу: но тут толков не много было и партий решительно никаких не возникло; все единодушно утверждали, что Сусликов пьет запоем, а Арина Минаевна – бедная женщина, достойная всякого сострадания и лучшей участи. Последнее заключение справедливо, но первое, к несчастию, еще справедливее.

В таком-то положении находились дела, как вдруг Алкивиад Степаныч получил письмо от дорогого своего родственника, в котором тот убедительно просил его переманить как-нибудь к нему в оркестр капельмейстера Сусликова. Хотя Алкивиад Степаныч был человек известный своею обходительностию и кротостию, однако ж мысль сделать что-нибудь в пику своему врагу Николаю Платонычу так обрадовала его, что он тотчас же приказал позвать к себе старого капельмейстера. Обстоятельства Сусликова, нужно заметить, находились в это время в самом жалком состоянии. Уже две двадцатипятирублевые ассигнации, пожалованные ему за польский, приходили к концу, а вместе с тем и самая дружба Аники Федорыча что-

то начинала ослабевать; уже старик приходил в отчаяние и думал прибегнуть к крайней мере, обратиться снова к Арине Минаевне, когда неожиданно позвали его к Кулындину. Увидев перед собою капельмейстера, Алкивиад Степаныч отступил шаг назад, скрестил руки на грудь и покачал головою.

— Ай, ай, ай! — произнес он, оглядывая старика с головы до ног,— значит, милый мой, мне правду про тебя говорили... тссссс... ай, ай... стыдись, милый мой, стыдись, посмотри, на кого похож теперь...

Сусликов действительно много переменился: лицо его осунулось, похудело, спина согнулась, волосы не были приглажены по обыкновению на лысине справа налево, а торчали туда и сюда, как после сна; от жилета и горохового сюртука оставались одни лишь лохмотья...

— Тсссссс...— продолжал Алкивиад Степаныч,— жаль, жаль, ведь ты, милый мой, артист, художник, тсссс... ведь тебе только что по-настоящему открывается дорога. Знаешь ли что: мой родственник, тот самый, который хвалил твое новое сочинение, просит определить тебя к нему в оркестр капельмейстером... а ты так дурно ведешь себя, пьешь все... стыдись, милый мой. Знаешь ли, что родственник мой показывал твой польский артистам и музыкантам, лучшим музыкантам: все утверждают, что у тебя есть талант, что ты можешь выйти далеко... а ты еще пьешь, милый мой... тссс... стыдись...

Сусликов ничего не отвечал; он стоял, понуря лысую свою голову, и только переминал дрожащими руками лохмотья бумажного платка.

— Ну, милый мой,— присовокупил Алкивиад Степаныч,— надеюсь, что ты исправишься... не так ли? Подумай, ведь ты арист, милый мой, художник, человек с дарованием... как же это можно пить! тсссс... (Тут г. Кулындин опять-таки замотал головою.) Нужно тебе сказать,— прибавил он,— что родственник мой дает тебе две тысячи рублей в год жалованья, ты будешь жить в его доме, на его глазах; подумай об этом; ведь если ты станешь продолжать вести себя таким образом, ты лишишься своего места, а что ж тогда?.. тсссс...

Сообщив Сусликову еще кой-какие замечания касательно нового места, снабдив его добрыми наставлениями, Алкивиад Степаныч, тронутый, вероятно, жал-

ким видом горохового сюртука, сунул ему в руку ассигнацию и приказал немедленно готовиться в дорогу. На радостях Сусликов, может быть, и отправился бы в ближайшее заведение, но, к счастью, намерение его предупредили. Камердинер Алкивиада Степаныча, согласно отданному заранее наставлению, передал его из рук в руки Арине Минаевне, которая, извещенная уже обо всем, ожидала блудного своего супруга в передней. Находясь в трезвом состоянии и быв, следовательно, слаб духом, Сусликов не противился и, прикрыв лысину, подогнув колени, тотчас же последовал за дражайшею половиной... Несколько дней спустя после того из ворот серенького домика с крылечком, где жил старый капельмейстер, выехала телега, навьюченная кулечками, перинами, горшками и всяким домашним скарбом и рухлядью. Главное место подводы занимала Арина Минаевна. Толстая голова ее была укутана черным шерстяным платком, по-дорожному. Подле нее, ближе к козлам, между кулем картофеля и футляром скрипки робко высовывалась голова Сусликова. Воротник горохового сюртука, приподнятый кверху, позволял, однако ж, различить лицо старика, изображавшее глубокую тоску. На облучке рядом с извозчиком сидела, обернувшись передом к хозяевам, Дарья. Телега подвигалась молча, никем почти не замеченная, посреди пыльных улиц города Б***; на всем пути от дома до заставы попались два-три лица, выглянувшие из окон между горшками с бальзамином, да и те такие заспанные и недовольные, что Сусликов невольно отвернулся. У заставы подвода остановилась. Дарья медленно слезла наземь. Началось прощанье. Все совершалось как нельзя спокойнее. Но когда Арина Минаевна отдала приказание ехать и телега тронулась, Дарья, оставшаяся одна-одинешенька, выронила из рук узелок, в котором хранились ее пожитки, присела на тумбочку и разразилась таким воплем, что стоявший поблизости ее таможенный досмотрщик почел необходимым сказать ей: «Чего ты глотку-то дерешь? отваливай! здесь не место...»

Делать было нечего; Дарья встала, взвалила узелок на плечи и направилась к городу, не переставая, однако ж, оборачиваться поминутно к дороге, где клубилось косое облако пыли, относимое ветром...

Легко, очень легко могло статься, что Сусликов,

несмотря на то, что ему было скоро шестьдесят и глаза его начинали слепнуть, довершил бы свою музыкальную карьеру чем-нибудь достопримечательным и оправдал бы надежды Алкивиада Степаныча Кулындина, если бы только счастливая звезда его, утомленная, вероятно, напутствовать такого недостойного любимца, не закатилась преждевременно. Сусликову, должно быть, уж на роду написано было получать не более пятисот рублей жалованья и проживать смирненько, скромненько, в глухой неизвестности, под блюстительным оком Арины Минаевны. Дело в том, что Семен Игнатьич не доехал до места назначения. На третьей или четвертой станции от города Б*** он почувствовал сильный жар и попросил чего-нибудь кисленького, чтобы утолить жажду. К несчастью, в гостинице нашлось все, что угодно, кроме того, что спрашивал проезжающий. Арина Минаевна уложила мужа в подводу и поехала далее. На пятой станции стало ему хуже, на шестой – еще хуже; на седьмой – он слег в постель шурина, станционного смотрителя, полежал час, другой, вздохнул, попросил еще раз чего-нибудь кисленького и отдал богу грешную свою душу...

Что ж касается до Арины Минаевны, она живет о сю пору, и как еще живет! толстеет и добреет с каждым часом; да, впрочем, что ей делается? Она разъезжает по уездам от одной помещицы к другой: где день погостит, где два, где и целую недельку. Тут выпросит медку, там крупицы, здесь курочку, в другом месте поднесут рюмочку, в третьем предложат очередную подводку да проводника доехать до ближайшего соседа. И вот Арина Минаевна садится и едет себе по извилистому кочковатому проселку, покрякивая да подталкивая своего вожатого. Подъезжает она, голубушка, к барскому дому, вываливается, кряхтя, из телеги, спрашивает повелительно помещика или помещицу и прямо вваливается в комнаты.

– Здравствуйте, сударыня или сударь, – говорит Арина Минаевна, смягчая по возможности свой сиплый, басистый голос, – здравствуйте, честь имею рекомендоваться – была прежде жена музыканта – капельмейстера, а теперь – просто Арина Минаевна...

– Позвольте узнать, – спрашивают обыкновенно хозяева, – что вам угодно?

– Всякое даяние благо... всякое даяние благо... не

поможете ли чем бездетной одинокой вдове?..— отвечает Арина Минаевна, слегка приподнимаясь с места и устремляя серые глаза свои на хозяев.

Она всем берет, чем угодно; и удивительное дело, как проворно исчезает в ее руках всякое подаяние! вот, кажется, только что взяла целковый, глядишь, глядишь пристально — и уже нет его, между тем как ее пальцы, толстые и жирные, кажется, вовсе не созданы для фокусов. После подаяния радушные хозяева предлагают бедной вдове откушать с ними чем бог послал; но Арина Минаевна имеет обыкновение отказываться, уверяя, что только что отобедала у губернаторши.

— Велите-ка лучше, милостивая государыня,— присовокупляет вдова,— истопить мне баньку...

После баньки, которую Арина Минаевна между прочим считает первым наслаждением, она просит, чтоб ей отрекомендовали кого-нибудь из ближайших соседей, и обращается обыкновенно с этою просьбою к людям.

— Да ты мне, братец, не толкуй,— говорит она с некоторым жаром,— не рассказывай про тех, у кого в семи дворах один топор; говори про тех, которые могут мне помощь оказать... понимаешь?..

Расспросив подробно, как и куда следует ехать, Арина Минаевна как бы вдруг переменяет намерение и просит у хозяев позволения заночевать. Таким образом заночевывает она, сердечная, ночь, другую, третью, пока, наконец, хозяин или хозяйка, приведенные в отчаяние опустошительною гостьею, не предлагают ей очередную подводу. Тогда Арина Минаевна Сусликова, нимало не обидясь, прощается с хозяевами, укладывает свои узелки с подаянием, вваливается, кряхтя и ворча, в телегу и снова отправляется в путь.

1848





НЕУДАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

(Повесть)

I

ПОКУПАТЕЛЬ

Недалеко от Сенной площади, на Екатерининском канале, существует с незапамятных времен лавочка, которая невольно обращает на себя внимание наблюдателя. Она в самом деле не лишена оригинальности. Расположенная в огромном доме, под старыми воротами,— лавочка эта с первого разу бросается в глаза. Наружность ее облеплена справа и слева, снизу и сверху пестрыми рядами лубочных картинок и книжонок, прикрепленных на бечевках раздвоенными колышками и щепками. Владетель этих сокровищ — старичок лет семидесяти. Его знают все окрестные обыватели. Лицо его, скомканное, как вымокший пергамент, длинные седые волосы, тронутые кое-где желтизной, сгорбленная, сухая фигурка и серые слезливые глазки, мутно выглядывающие поверх круглых оловянных очков,— все это могло бы служить художнику отличной моделью для колдуна или алхимика средних веков. Особенно хорош был старик, когда он целиком появлялся у темного входа ворот, причем свет падал на него прямо сверху. Это случалось очень часто. То вызывал его «Еруслан Лазаревич», которого ветер перегибал изнанкой кверху и грозил сбросить в лужу, то приводилось прикрикнуть на зевак, неотступно толкавшихся у входа и заслонявших часто свет божий. Нечего и говорить, что последних было более, чем покупателей. Ни на одной выставке, может статься, не толпилось столько народу. Иначе, впрочем, и быть не могло.

Идет ли «служба», перед ним подвиги «Русских с Кабардинцами», или картина, изображающая воина на коне: под копытом лошади, слева, копошатся, в страшных судорогах, изрубленные, безголовые турки, справа непоколебимо вытягиваются строи русских

войск, над которыми, однако ж, патриот-художник не много трудился: мазнул суриком – вышли воротники, мазнул синькой – мундиры, мазнул сажей с клеем – сапожки, и т. д.

– Эй, тетка, – говорит солдат, указывая проходящей курносой бабе на «Чертову мельницу», – погляди-ка, как вашего брата, старух беззубых, черт с лекарем в молоденьких перемолачивают!..

И бабу забирает любопытство, и она останавливается. Грамотей-лабазник также не прошмыгнет мимо, не перечитав вслух «занятных» похождений «Ваньки Каина, Кондрашки Булавина» или «новейшего, полнейшего оракула». Тащится ли ватага каменщиков, поравнявшись с лавочкой, они тотчас же рассыпаются: кто таращит глаза на мужиков «Долбилу и Гвоздилу, побивающих французов», кто на приключения «Носа и Сильного мороза...» Долго стоят они в каком-то оцепенении, и разве когда товарищ прочтет им вслух несколько поучительных изречений из тут же вывешенных книжонок: «Вред от пьянства» или «Убегай кабака», решаются они променять лавку на соседнюю распивочную.

Но часто не одни лубочные изделия украшают вход знаменитой лавочки. Иногда, посреди их ослепительной пестроты, попадается строгая античная головка или этюд с натуры, писанный тружеником-художником, или, наконец, древний итальянский эстамп с картины великого мастера, занесенный бог весть каким случаем, между «Погребением кота» и портретом «Кизляра-аги»...

После знойного июльского дня, часу в седьмом вечера, толпа любопытных замуравливала, по своему обыкновению, вход в лавочку, к совершенному отчаянию хозяина, который сидел внутри и, вероятно, должен был задыхаться от жары. На этот раз всеобщее внимание было обращено к купчику, гнусливо читавшему во всеуслышание похождения «Великого шута и плута, Совесдрала большого носа»... Почти в то же время молодой человек, очень бедно одетый, – на нем было серенькое, твиновое пальто и порыжевшая шляпа, – остановился в нескольких шагах от толпы. Еще издали, когда лавочка, с облипавшими ее картинками, представлялась общим пятном, ярко блистающим на конце, он жадно всматривался в ту сторону. Прекрасное, но бледное и несколько истомленное ли-

цо молодого человека озарилось радостною улыбкой, когда он остановился.

— Ну, слава богу, еще не продан!.. — произнес он вполголоса, нетерпеливо устремляя глаза на темный, желтоватый эстамп, покрытый по краям зазубринами, но все-таки отличавшийся от блестящих соседей своих, как лилия посреди крапивы.

Эстамп изображал одну из последних мадонн Рафаэля. Молодой человек отошел несколько в сторону, повернулся лицом к Екатерининскому каналу, вынул из кармана жиденький кошелек и принялся считать деньги. Но вид целкового, двугривенного и гривенника, оказавшихся в кошельке, по-видимому, не очень его обрадовал. Взглянув еще раз на скудную сумму, он уже приготовился было всыпать ее назад, но в эту минуту глаза его «случайно» встретили эстамп, и он снова остановился в нерешимости. Наконец, он перешел улицу и присоединился к толпе, окружавшей гнусливого купчика.

«Что ж, — шепнул он себе под нос, — сахару у меня покуда еще довольно... Чаю станет также... Сегодня уж пятнадцатое число, — жалованье через две недели... Что ж касается до булочника, — он не может не верить в долг — давно ли я заплатил ему? А наконец, что за беда, если и не поверит... Не в первый раз, — э!..»

Тут он махнул рукой с такой решимостью, как будто дело шло о жизни или смерти, смело протискался до входа лавочки и остановился перед мадонной.

— Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, — произнес хриплый голос в лавочке и вслед за тем на пороге показалась сгорбленная, съежившаяся фигура старика. — Здравствуйте, батюшка, — продолжал он, обращая мутные зрачки свои на молодого человека, — я чай опять пришли на эстампик поглядеть... Что ж, купите, коли понравился, важная штучка!.. — присовокупил он, проводя костлявою, изрытою ладонью по нежным, плавным очертаниям эстампа, — я дешево с тебя возьму, купите!..

— Дядя, а дядя, что стоит? — неожиданно перебил дюжий, плечистый солдат, суя ему под нос огромный лист, изображающий «Обжору».

— Пятак!

— Э! — уж и пятак!.. копейку бери...

— Пошли вы, пострелы, прочь! — зашумел старик, поворачиваясь спиной к служивому и обращаясь с сердцем к толпе босых мальчишек в затрапезных халатах, напиравших чуть не в самую лавочку, — вот я вас! ишь повадились... ну, чего уставились, окаянные...

Этим временем молодой человек проворно отвел глаза от эстампа и, остановив их на грубой копии с Орловского, сделал вид, как будто рассматривал ее с величайшим вниманием.

— Что ж, «барин», купите эстампик-то, — снова пристал хозяин.

— Нет, что мне в нем, — отозвался покупатель, презрительно кивая в ту сторону, — старье!.. Скажи-ка лучше, что возьмешь за эту тройку, она будет почище того... К тому же у меня уже есть такой... Эх, старик, старик, сам не знаешь цены своему товару! — прибавил он, стараясь придать насмешливое выражение своему голосу.

Старик недоверчиво покосился.

— А что дадите! — вымолвил он, — троечка славная... ишь кони-то залихватские какие... ишь... а я бы, право, дешево взял; да уж так и быть, эстампик-то заодно возьмите, парочка славная будет!

— Пожалуй, я бы и его взял, — отвечал как бы нехотя покупатель, — да ты последний раз заломил за него целковый... а что в нем? сам посмотри, точно тряпка!

— Меньше целкового нельзя взять, сами видите, какая работа... Вот за «Долбилу» возьму, пожалуй, гривенник, зато разнота будет... меньше нельзя.

— Азбука есть? — спросил вдруг мужик, просовывая рыжую бороду.

— Есть, ступай сюда.

Старик и борода нырнули в лавочку.

Молодой человек взглянул еще раз на мадонну, сжал рукой кошелек и с грустною решимостью направился к Кокушкину мосту. Но не сделал он и двадцати шагов, как опять остановился, вынул кошелек и снова принялся считать деньги. Пересмотрев и перевернув каждую монету, то копьем, то решеткой, он, наконец, круто повернул к лавочке и нетерпеливыми шагами подошел к старичку, только что отпустившему азбуку.

— Ну, так и быть,— сказал он шутливо,— что станешь с тобой делать, давай эстамп!.. Не тронь, не тронь,— крикнул он, высвобождая мадонну из жестких рук старика,— я сам сверну. На, возьми, вот тебе целковый...

Сказав это, молодой человек ухватился за эстамп, свернул его в трубочку и выбрался на улицу, чуть не прыгая от радости, но со всем тем тщательно обходя прохожих, как будто он нес в карманах хрустальную или фарфоровую посуду. Удовольствие проглядывало во всех его движениях: то шаг его ускорялся, он чуть не бежал, подвергаясь попасть под ноги лошадям или запутаться в постромках, то внезапно останавливался, брал сверток в обе руки, но, не находя, вероятно, возможности развернуть его, не пропускал, однако ж, случая заглянуть в отверстие. Он похож был на молоденького гимназиста, получившего первый хороший аттестат: не довольный тем, что будет чем похвастать перед семьей, домашними, даже старой няней и людьми,— он готов показать его всем и каждому на улице, целому Петербургу, воображая в простоте души, что каждый должен непременно принимать участие в его гордости. На Измайловском мосту молодой человек встретил нищенку и, в порыве необдуманного великодушия, свойственного радостному чувству, отдал ей «целый» гривенник. Миновав мост, он пошел направо по набережной Фонтанки и, не доходя до Египетского или Цепного моста, свернул в узенький переулок, предшествующий Коломне. По мере того, однако ж, как он удалялся от шумных улиц, юношеские порывы восторга, блиставшие в его светлых глазах, отражавшиеся так чистосердечно на чистом, бледном лице его, заметно стали охлаждаться. Их постоянно сменяла тихая задумчивость, согласовавшаяся, впрочем, как нельзя лучше с печальными, пустынными переулками, составляющими предместье «Новых мест», которые, в свою очередь, составляют почти предместье Петербурга. Чувство одиночества и неотвязчивой грусти, ощущаемое посреди этих пустырей, действительно в состоянии усмирить какое угодно воображение, привести в порядок и сосредоточить самые растрепанные мысли. Но, взяв в соображение уверенность, с какой молодой человек огибал заборы и закоулки,— место, казалось, было ему слишком знакомо, чтобы могло действовать своею внешностью на его расположение;

а между тем, чем далее подвигался он, тем заметнее обнаруживал и признаки грусти.

Печальное ли воспоминание детства так некстати проскользнуло в голове молодого человека, набрели ли случайно мысли его на какой-нибудь суровый, неотразимый факт действительной жизни, который хотя и вчуже совершился, но, тем не менее, тяжело ложится на душу человека, еще юного и впечатлительного, полного огня и поэзии, смотрящего на все сквозь розовую призму, такую же чистую и светлую, как собственная душа его; или же, наконец, внезапно овладело им чувство неопределенной, но тревожной тоски, чувство, похожее на предчувствие, когда сам не знаешь, отчего вдруг сжимается болезненно сердце и плакать хочется, – но, во всяком случае, уже трудно было узнать в нем того юношу, который за час какой-нибудь скакал и прыгал как дитя по поводу купленного им старого ободранного эстампа. Таким образом вышел он к Обводному каналу. Тут место стало еще пустыннее. Достигнув самой возвышенной точки берега, молодой человек снял шляпу, сел на траву и, положив голову на ладони, принялся глядеть на Петербург, который с этого места виднелся на всем своем протяжении.

Жаркое летнее солнце медленно опускалось за город. Отдаленные здания, тонувшие в огненном, золотистом облаке пыли, постепенно окутывались голубоватым туманом. Местами, длинные, фиолетовые пятна неопределенного очертания скользили над кровлями, то суживаясь, то расширяясь и захватывая каждый раз на пути своем башню или церковь, которые вдруг четко обозначались тогда на пламенеющем небе. Слева, в отдаленном горизонте, показывался, словно дымкой окутанный, профиль Исаакия, и только на круглом его куполе играли и дробились последние лучи заходящего солнца. Впереди, где сидел молодой человек, ближайшие заборы окончательно стемнели. Огромное кирпичное здание завода, с высокою своею трубой, похожей на египетский обелиск, отделялось уже как черное пятно на серовато-прозрачном тоне. Стук экипажей сливался в какой-то общий ослабевающий гул, напоминающий отдаленный шум плотины, в которой постепенно, один за одним, запирают шлюзы.

Молодой человек не отрывал глаз от города. Но

великолепная картина, расстилавшаяся перед ним, вместо того, чтобы его рассеять, казалось, еще сильнее, еще сознательнее развила раздумье, овладевшее им на дороге. Взглянув на белокурую, кудрявую голову молодого человека, с трудом верилось, однако ж, чтобы вид великолепной столицы успел уже так рано пробуждать в нем грустные мысли. Казалось, ничего еще общего не могло быть между ними, кроме беспечного веселья, развлечений и тысячи увлекательных соблазнов, щедро рассыпанных в каждом большом городе для человека молодого, неопытного. Ему особенно все бы должно было покуда улыбаться. Он был молод, хорош собой, много ума и мыслей отражалось на чистом, выгнутом лбу его, в глазах так много еще блистало жизни, одушевления... А между тем он неподвижно сидел, уперши локти в колена, и с безотрадным, горьким выражением смотрел на город. Преданный весь какой-то неотвязчивой мысли, он забыл даже о существовании драгоценной покупки; эстамп валялся подле на траве; он не глядел на него, хотя теперь можно было, не опасаясь карет и толпы, любоваться им вдоволь.

Уже стало смеркаться, когда он покинул свое место. Машинально поднял он сверток, взглянул еще раз на город, покрытый свинцовою тенью, судорожно провел ладонью по бледному лицу и быстрыми шагами направился к дому. Вскоре из-за заборов показались высокие кирпичные дома «Новых мест», – отдаленной части города, избираемой не всегда без причины любителями строить «капитальные» здания. Молодой человек вступил на двор одного из таких домов. В то время, как проходил он к заднему углу, из окна, расположенного в верхнем этаже того же угла, выглянуло кругленькое женское личико и черные быстрые глазки устремились на молодого человека, который, в свою очередь, достигнув середины двора, также глянул украдкой в ту сторону. Но личико в ту же минуту скрылось за занавеской. Такие проделки повторялись неоднократно, и всякий раз одинаково удачно со стороны женщины, пока, наконец, предмет такого настойчивого любопытства не исчез окончательно на лестнице.

II
ПОД КРОВЛЕЙ

Квартира Андреева (так звали молодого человека) состояла из небольшой, продолговатой комнаты об одном окне, выходившем на известный уже двор. Двойная дверь, обитая снутри и снаружи грубой клеенкой, отворялась прямо на лестницу, – обстоятельство, которым всегда как-то дорожат молодые люди, осужденные проживать в конурках «с отоплением и прислугой», отдаваемых обыкновенно жильцами. Ничего не могло быть беднее этого жилища; но это далеко не была, однако ж, та безалаберная, грязная, отталкивающая бедность, какую часто встречаешь в подобных уголках. Общее с ними заключалось разве в недостатке света. Между краем кровли и противоположной стеной дома оставалась лишь тоненькая полоска неба. В сумерки с трудом уже можно было различать в заднем углу, за ширмами, диван, служивший постелью, и ночной столик. Но чистота и порядок, отражавшиеся всюду, придавали все-таки комнате вид веселый и уютный. Прежде всего бросался в глаза ветхий письменный стол, на котором молодой жилец сосредоточил, казалось, всю свою роскошь. Тут помещались самые красивые книжки; голубая стеклянная вазочка для перьев и костлявая гипсовая анатомия, со вздернутой кверху рукой, возвышались на ящике стародавнего фасона из карельской березы, – подарок, или, вернее, наследие какой-нибудь провинциальной прабабушки. Над ними висело несколько древних эстампов, тщательно наклеенных на папку; подле гипсовая маска Венеры, освещенная сбоку, четко вырезывалась на темной, закопченной стене. Стол был покрыт тетрадками и бумагами, испещренными головками, фигурками, а иногда и целыми эскизами, ловко набросанными карандашом. По всему видно было, что стол этот любили и холили, что тут-то преимущественно занимались и работали. Полуразвалившиеся кресла, обтянутые красноватой набивной байкой, показывавшей местами мочалку, примыкали к столу. Далее, вправо, лепился кривой комод с прорехами вместо замочных скважин; на нем чайник, стаканы, тарелки, прикрытые толстым деревенским полотенцем. Тут же на гвоздиках висела старая шинель

и две-три принадлежности гардероба, закутанные разодранной простыней. Три разнокалиберные стула довершали мебель. Но комнату более всего оживляли этюды с известных античных голов и фигуры, рисованные с натуры итальянским карандашом. Все три стены были усеяны ими; на каждом из этих рисунков, прикрепленных мякотью или воском, виднелся еще внизу красный нумер, свидетельствовавший о их академическом происхождении.

Когда Андреев вошел в комнату, там уже было совершенно темно. Не дав даже времени снять шляпу, он подбежал к окну и, притаившись за простенок, посмотрел к соседям. Нужно заметить, что окно его, вместе с окном, где была занавеска и откуда показалась женская головка, составляли угол дома, так что легко было, и особенно вечером, при внутреннем освещении комнат, наблюдать из одной квартиры в другую. Не желая, вероятно, чтобы знали его дома, и, разумеется, не подозревая, сколько такая предосторожность была уже лишней, он тщательно занавесил окно свое старым одеялом. Убедясь хорошенько, что не будет просвету, Андреев зажег свечку, уселся в кресло, вынул из бокового ящика лист бумаги и начал писать:

«Вот ровно две недели, как я каждый день, каждую минуту собираюсь писать тебе, сестра. Мне грустно, бог знает, как грустно! а отчего, — сам не знаю. Не потому ли, кажется, что было прежде слишком легко и весело? Никогда еще чувства и мысли мои не находились в таком тревожном состоянии, как все это время. То представляются мне с раздирающею ясностью печальные наши обстоятельства, — я падаю духом и прихожу в отчаяние; то, сам не знаю почему, поддаюсь сильнее, чем когда-нибудь, вопреки всякому здравому рассудку, самым обольстительным надеждам, — и на душе делается вдруг весело, как десятилетнему школьнику. Я вижу, однако ж, всю несообразность оставить службу. Как это сделать, когда все вы нуждаетесь в этих несчастных ста рублях, которые уделяю я из годичного жалованья? Я понимаю, как нельзя лучше, что, не имея никаких залогов в будущем, не зная даже и наверное, есть ли во мне талант (ты, сестра, право, кажется, судишь пристрастно), страшно было бы решиться на такое дело даже и тогда, если б не связывали меня наши домашние обстоя-

тельства. Согласись сама, чем стал бы я жить те три или четыре года, которые необходимы мне, чтобы добросовестно заняться своим предметом: учиться и работать? Кто возьмется обеспечить меня на это время хотя куском хлеба? Кому какая нужда до меня? Кто поверит на слово, что я не употреблю во зло доверия и в самом деле готов неутомимо трудиться? Учиться и в то же время зарабатывать хлеб,— я сам не хочу. Я разделяю твое мнение. Правда, такая жизнь способна только охлаждать человека к труду задушевному. Примеров, к несчастью, много. Но со всем тем, поверишь ли, сестра, все-таки недостает сил примириться с горькой судьбой. Внутренний голос говорит мне, что из меня могло бы что-нибудь выйти... На днях случай свел меня в первый раз с несколькими учениками нашей академии. Мне привелось обедать на Васильевском острову за общим столом, куда они обыкновенно сходятся. Они возвращались из этюдного класса; с ними была работа. Сказать тебе не могу, как все это показалось мне слабо и бесцветно; главное то, что в их работах не видно ни малейшей любви к искусству; все кой-как писано и рисовано, как будто нехотя, по долгу или заказу. А между тем все эти молодые люди (их было четверо) поставлены в то положение, за которое я бог весть чем бы готов был пожертвовать! Кроме этого, самое их общество пришлось мне как-то не по сердцу. Если б не Борисов и Петровский,— два художника, которых мне показали на прошедшей выставке,— я, вероятно, никогда бы не вернулся обедать на Остров. Помнишь, с каким восторгом описывал я тебе картину «Агарь в пустыне»,— это работа того самого Петровского. По отрывчатым слухам о нем на выставке, меня влекло уже к нему, как я писал тебе, сильное сочувствие. Это в полном смысле то, что называют: художник. Впрочем, я встретил его всего один раз у Юргенс (хозяйки общего стола). Он и товарищ его, Борисов, кажется, даже вовсе меня не заметили. Представить себе не можешь, как благодетельно подействовала на меня эта встреча. Я никогда еще не чувствовал такой сильной потребности приняться за живопись. Сам не знаю отчего, но вид талантливого художника или артиста всегда как-то увлекает меня; он возбуждает как будто горячее соревнование; невольно уважаешь тогда искусство и веруешь в него. Я пришел домой, чертил эскиз за эски-

зом, и не сомкнул глаз во всю ночь. До сих пор еще не совсем отрезвился, и не далее как сегодня, вероятно, под тем же влиянием, не мог устоять, чтобы не купить эстампа с мадонны Рафаэля. После этого я был два раза у Юргенс, думая снова встретить Петровского, но оба раза одинаково безуспешно. Я узнал, однако ж, что он часто там бывает, и на этом основании завтра, в воскресенье, снова отправлюсь туда попытать счастье, авось приведется его увидеть. Ах, сестра, сестра, как грустно быть бедняком! Я бы, кажется, вынес безропотно свое состояние, если б только оно не мешало мне идти по дороге, которую избрало мое сердце. Если нет у меня дарования, я бы, кажется, все равно, трудом и любовью взял то, что так легко дается таланту; я уверен, что труд добросовестный никогда не пропадает даром. Но довольно об этом. Надеюсь, что на этот раз я много говорил о себе и ты останешься довольна, хотя покуда не сказал тебе ничего утешительного. Но что ж делать! не могу писать тебе иначе, когда мне грустно, – сам не знаю, как это делается. Говорят, будто в веселые минуты становишься эгоистом; но так как это чувство не может иметь места между нами, я считаю заключение несправедливым, точно так же, как и то, что дружба и привязанность охлаждаются в разлуке, – последнее, думаю, еще несправедливее. Когда я сижу, как теперь, один в своей комнате и вспоминаю нашу прежнюю жизнь, сердце мое невольно наполняется неизъяснимою любовью ко всему прошедшему. Я даже забываю все дурное в этом прошедшем и, право, многое бы отдал, чтобы прожить хоть один день по-старому. Я кляну свое равнодушие, не постигаю, как можно было просиживать с тобой по целым вечерам, не обняв тебя ни разу, не высказав тебе все то, что хотелось бы сказать теперь. Поверишь ли, сестра, я даже с любовью вспоминаю иногда пустынные переулки нашего уездного городка, наш ветхий домик подле оврага, мне мил каждый камень в этом овраге, каждый куст; я часто думаю, как могло статься, что я не засиживался по целым часам на берегу нашей чудной реки? Разумеется, я не отделяю тебя ни от одного из этих воспоминаний, сестра моя; я даже думаю, что люблю их потому, что они связываются так тесно с тобой. Но, несмотря на все это, я все-таки хочу побранить тебя. Скажи, пожалуйста, как могла прийти в твою чу-

десную, умную голову мысль прислать мне денег!.. Неужели ты думаешь, что я скрыл бы, если б в самом деле в них нуждался? Я бы хотел только, чтоб ты видела (впрочем, можешь судить по рисунку, присланному прошлого года), какая у меня славная комната, как много в ней всего и даже сколько лишнего. Вы все почему-то предубеждены в провинции против дороговизны петербургской жизни, между тем как здесь все дешевле, чем у вас: причина ясная – производства больше и покупателей больше. Помилуй, сестра, знаешь ли, что у меня теперь целых пятьдесят рублей в кошельке! Уверяю тебя, что я ни в чем не нуждаюсь; лучшим доказательством служит покупка эстампа, о котором я тебе говорил. Чтобы прислать мне эти пять целковых, ты, вероятно, просидела несколько дней за работой, и это меня очень огорчает. Ради бога, не делай этого вперед. Если тебе непременно хочется прислать мне что-нибудь, так уж лучше пришли еще платков. У меня, как и прежде, на них какое-то особенное несчастье. Уж чего, кажется: и берегу, и карманы ощупываю, – а кончается всегда тем, что затеряю. Ты меня очень обрадовала, сообщив, что крестный отец отозвался обо мне отцу и матери с хорошей стороны. Главное в том, что такие похвалы набрасывают на тебя, на мою воспитательницу, выгодный свет в их глазах. Сестрам, я думаю, это, однако ж, не очень приятно... впрочем, может ли их радовать все, что лично до них не касается? Но что нам до них, пусть себе дуются сколько угодно, это не помешает нам любить друг друга по-прежнему, – не так ли?.. Ах, кстати, о крестном отце: нельзя ли, ради бога, устроить как-нибудь, чтобы отец и мать не надоедали ему беспрестанно просьбами и расспросами обо мне. Он то и дело попрекает меня этим. Прощай, пиши как можно скорее, обнимаю тебя крепко, крепко; прощай еще раз...»

Письмо это заметно рассеяло Андреева. Хотя оно ровно ничего не изменяло из настоящих его обстоятельств, однако ж, – ак это часто бывает, – тяжелая тоска, давившая сердце молодого человека, мгновенно исчезла. Он даже как будто снова повеселел. Письмо было уже запечатано, и Андреев писал слова адреса, как вдруг за стеной кто-то постучался и вслед за тем послышался басистый голос хозяина квартиры.

— Григорий Петрович, будете пить чай? — скоро восемь часов, — пора!

— Да, да, — крикнул Андреев, быстро подскакнув на своем кресле; но почти в ту же минуту спохватился. Он вспомнил, что на дне кошелька оставалось только всего тридцать копеек; что если он соблазнится и будет пить чай, завтра не на что станет обедать у Юргенс и надо будет отказаться от встречи с Петровским. Сообразить такие доводы и счеты было не трудно. Андреев бросился к стенке, откуда раздался стук, и тут же объявил хозяину, что не чувствует сильного голода, ибо только что напился чаю у «одного знакомого».

После того он спрятал письмо и принялся ходить по комнате. В одну из тех минут, как он приближался к столу, глаза его случайно упали на эстамп. Лицо его снова просияло. Не прошло и пяти минут, как уже Андреев сидел с карандашом перед гравюрой и чертил что-то на бумаге. В комнате стало тихо. Пламя свечки, прикрытое бумажным колпаком собственного изделия, обливало ослепительным блеском часть стола и худощавые руки молодого человека; лицо его оставалось в тени, но желтоватый, горячий отблеск бумаги, над которой оно склонялось, позволял различать оживленные черты его. Остальная часть комнаты была в полумраке, и только вздрагивавший круг света на потолке набрасывал на ближайшие предметы прозрачные, бледные пятна.

Андреев был так занят своей работой, что не заметил, как дверь, которую забыл запереть второпях, отворилась, и в комнату вошла молоденькая женщина. Вытянув вперед голову, на которую был наброшен клетчатый темный платок, и приложив палец к губам, она долго не решалась тронуться вперед; уверившись таким образом, что не подозревают ее присутствия, она осторожно заперла дверь и, слегка подобрав платье, тихонько, как котенок, пробирающийся к мышке, прокралась к самому креслу.

Андреев продолжал так же усердно рубить карандашом справа и слева. Молодая женщина с невыразимою легкостью перегнулась через спинку и тихо склонила свою голову над работой Андреева.

Кругленькое ее личико, освещенное сполна пламенем свечки, выглядывающим поверх колпака, представляло самую подвижную, оживленную физиономию.

Вздернутый носик, тоненькие, черные как смоль, брови и красные, смеющиеся губки, сквозь которые сверкал ряд белых, крошечных зубов,— придавали ей что-то лукавое, беспечное и бойкое. Черные глаза, бегавшие в одно время по всему столу, не пропускали ни одного движения молодого человека. Соскучась, вероятно, одним холодным наблюдением, она вдруг перевернулась всем телом через кресло, прильнула губами к его уху, вскрикнула и, откинувшись в ту же секунду на середину комнаты, принялась хохотать и хлопать в ладоши.

— Боже мой,— произнес Андреев, оправившись от испуга и вскакивая с места,— помилуй, Катя, что тебе за охота шалить!.. Э! право, какая... ну, смотри, что я теперь стану делать?.. я испортил из-за тебя рисунок,— прибавил он, не скрывая своей досады.

Катя упала на стул и залилась звонче прежнего.

— Вечно вздор затеваешь! — продолжал Андреев, бросая с сердцем карандаш на стол и попав прямо в чернильницу.

Но тут хохот Кати дошел до того, что Андреев должен был броситься к ней и обхватить ее руками, чтобы она не упала на пол. Катя быстро, однако ж, вывернулась и, став на ноги, принялась прыгать и дергать его то с одной, то с другой стороны за платье.

— Да перестань же, сделай милость,— говорил Андреев, поворачиваясь на одном месте,— что скажут соседи?.. подумают, что здесь какие-нибудь сумасшедшие...

Но, вместо ответа, Катя приняла трагическую позу и запела тоненьким голосом слова известного куплета:

Окончив курс моей науки,
Завел я сумасшедший дом,
Тра-ла – ла – ла – ла!..

— Тьфу ты пропасть, что говори ей, что не говори, все одно...

— Бррр...— перебила Катя, неожиданно проводя ладонью по губам Андреева.— Да что вы, в самом деле, раскричались? тсс! — прибавила она, внезапно останавливаясь и топнув ножкой.

— Я вовсе не кричу,— сказал Андреев, понижая голос и разглаживая волосы,— да только, право...

— Что такое?.. вот еще новости, я не смею смеять-

ся перед ним!.. Да вы бы должны радоваться, что я пришла... А он смеет еще дуться — скажите, пожалуйста! — присовокупила она, хмуря брови.

— Я вовсе не дуюсь... я рад тебя видеть...

— В самом деле? — сказала она, перегнув набок голову и насмешливо суживая глазки,— а кто занавесил окно? Скажите, господа, это он хотел меня видеть!.. славно, Григорий Петрович, прекрасно, нечего сказать!.. А кто сказал мне, что придет в шесть часов?.. где вы были, позвольте вас спросить!..

— Я ходил гулять...

Андреев замялся.

— Знаю, знаю,— перебила Катя, внезапно переменив интонацию,— знаю, вы всегда ходите гулять, и только когда я прошу вас пойти со мной, говорите, что вам надо работать.— Тут она принялась его передразнивать, но уж видно было, что сердца было более, чем шутки.

— Знаю, все знаю,— продолжала она,— вам стыдно со мной ходить по улицам...

— Вот еще вздор выдумала,— произнес Андреев, смягчая более и более голос,— как тебе не стыдно говорить такие пустяки, ты, право, сегодня, как сумасшедшая!

— Да, да, я сумасшедшая,— воскликнула она обиженным тоном,— я это также знаю... пожалуйста, оставьте меня,— сухо сказала она, отталкивая его руку, которая протягивалась к ее руке,— не нужно мне ваших ласк... совсем не нужно!..

— Полно же,— вымолвил Андреев, стараясь принять веселую наружность,— ведь ты, чего доброго, вздумаешь рассердиться не на шутку,— глупо, право, глупо.

— Вот славно! он станет делать разные штуки, а я не смей и слова сказать; да, всегда скажу: вы для меня никогда ничего не делаете, никогда никакого удовольствия, никогда, никогда! тебе все равно...

— Выслушай же наконец хоть раз; ну, скажи, пожалуйста, из чего ты все это затеваешь, ну, из чего?.. Катя, ты знаешь, откуда возьму я денег? У меня гроша теперь нет!..

— А это откуда? — радостно воскликнула Катя, схватив со стола эстамп и махая им по воздуху

— Это... послушай...

— И слышать ничего не хочу,— закричала она, за-

крыв уши и мотая головой,— вы еще сегодня утром, когда я просила пойти в Александринский театр, говорили, что у вас нет денег... Для меня у вас никогда ничего нет; вы скорее накупите всякой дряни, ваших глупых рисунков, отдадите нищенке какой-нибудь! Я знаю, вы любите больше ваше мерзкое рисование, чем меня! вы только говорите, что любите, но хорошо, теперь я ничему не верю, ничему, ничему; я вижу, что вы меня только обманываете, да! Вы думаете...— Катя повернулась к двери и, закрыв лицо руками, притворилась плачущей.

— Ну, опять начинается! — сказал Андреев, отходя в сторону и махнув рукой.

— Да, начинается,— живо подхватила Катя, подступая к Андрееву,— и всегда будет начинаться, вы сами виноваты. Я вам надоела, не правда ли?.. Работаю, работаю... (тут она снова принялась его передразнивать) а какая у вас работа? так только, вздор, пустой предлог; не нужно мне всех ваших хитростей, скажите лучше прямо: я надоела...

— Я вовсе этого не думаю, да и думать не хочу; ты сама знаешь... Я только не понимаю, как тебе не совестно капризничать.

— Хочу, хочу, хочу!..— перебила Катя, топая ногами и принимаясь не на шутку плакать.

Хотя Андреев знал по опыту, что лучшим средством прекратить сцену было сохранить равнодушие, не возражать и не обращать внимания, однако ж, мягкое его сердце не выдержало, теория его, как это обыкновенно водится в подобных случаях, ровно ни к чему не послужила. Он подошел к Кате и, нежно взяв ее за руки, принялся увещевать. Но Катя, как назло, ничего не хотела слушать; она не переставала плакать и отбивалась руками и ногами. Сам Андреев потерял, наконец, терпение. Он бросился в кресло и, повернувшись к ней спиной, углубился в рассматривание своего эстампа. Катя зарыдала еще громче прежнего.

— Я самая несчастная женщина и проклинаю тот день, в который встретила вас...— повторила она усиленно отчаянным голосом и в то же время косясь на кресло.

Андреев продолжал, молча, что-то скоблить на бумаге.

— Боже мой, за что мне такое несчастье? — про-

должала Катя, — ничего не хочу теперь, все кончено, все брошу — все!..

Андреев не трогался с места. Мало-помалу он склонился к столу, карандаш снова очутился в руках его, и, почти незаметно, Андреев увлекся своей работой.

Так прошло, по крайней мере, добрых полтора часа. Рисунок уже приближался к концу, когда Андреев вспомнил сцену с Катей. Он поднял голову и быстро обернулся назад. Но там никого уже не было. Тишина мертвая царствовала в комнате, прерываемая лишь мерным постукиванием маятника за соседней стеной. Не доверяя своему слуху, Андреев снял со свечки колпак, бережно отодвинул кресло и, приподнявшись на цыпочки, взглянул за ширмы.

В полусвете, проникавшем за ширмы и ложившемся полосами на диван, он увидел Катю. Подогнув под себя разутые ножки свои и положив обе ладони под левую щеку, она спала сладким сном ребенка, заснувшего во время слез и горя. На пухленькой щеке виднелись еще следы крупной слезы, остановившейся в ямочке подбородка и сверкавшей там, как капля росы на дне розового листка. Покатость подушек, живописно перегнув ей шейку, усиленно выдвинула узенькое, беленькое плечико, полированное как мрамор и казавшееся еще белее посреди черных, смолистых волос, рассыпавшихся в беспорядке.

У Андреева отлегло сердце. Он потихонечку опустился на колена перед диваном, расправил ей волосы, пристально посмотрел ей в лицо и тихо склонил свою голову над пылающей щекой Кати. Так кончалась у них, впрочем, всякая ссора.

III

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Андреев не был петербургским уроженцем. Детство и юность его прошли в глухом уездном городке одной из самых отдаленных наших губерний. Отец его, выслужившийся протоколист, в звании четырнадцатого класса, занимал в этом городке одно из самых ничтожных мест. Семейство старика было слишком многочисленно, слишком даже велико, принимая в со-

ображение средства. Оно состояло из старухи-жены (дочери какого-то чиновника, отставленного из земского суда), трех дочерей, сына, и находилось постоянно в крайней бедности. Не входя ни в какие обстоятельства, не разбирая большую или меньшую способность старика-отца, можно отчасти объяснить безуспешность его стараний улучшить благосостояние семейства. К несчастью (так думал и видел отец Андреева), фразы: «обременен многочисленной семьей, дети маленькие, бедность одолела...» и другие в том же роде, приправляемые, как водится, пожиманием плеч, перевертыванием одного большого пальца руки вокруг другого и уничиженным опусканием глаз к земле, — теперь уже совершенно утратили кредит и с трудом пособляют добывать копейку. Нужны другие, более действительные меры. Век ушел вперед, — что ж прикажете делать? — на время пенять нечего!

Детство молодого Андреева, как каждый легко себе представит, было незавидно обставлено. Старуха-мать, все помыслы которой сосредоточивались на печении кулебяк с визигой и морковью; две сестры, — старые девы, немногим опередившие мать; несколько писцов и протоколистов — старых товарищей отца, да заседатель (аристократ этого круга) — вот и все. Нет сомнения, что бедный мальчик, сделавшись раз юношей, захлебнулся бы в этом омуте, если б не спасла его заблаговременно третья сестра, вернувшаяся к этому времени в дом родительский. Но, вероятно, и это не помогло бы, если б три года спустя, когда ему минуло девятнадцать лет, кто-то (и чуть ли не заседатель, — умная голова!) не надоумил отца отправить сына в Петербург, благо представлялся случай. Кто не желает своему детищу пользы?.. Но когда польза, приносимая детищу, может, вдобавок, обратиться и на родителей, — желание пользы делается еще убедительнее. Колебаться и раздумывать в таком случае — просто нелепость. Попав раз на эту мысль, отец Андреева, не медля ни минуты, написал крестному отцу Гриши, служившему в Петербурге, прося его снизойти к мольбам бедного семейства, «обремененного» скорбями и несчастиями, «угнетенного» и расстроенного. Спустя несколько времени, крестный отец отвечал, что, пожалуй, готов исполнить просьбу.

Разумеется, не много заботились о тоне, с каким

был написан ответ. Главная забота состояла в том, чтобы не получить отказа. Гришу принялись снаряжать в дорогу. Настал день разлуки. Старики благословили сына, снабдили его общепринятыми наставлениями, смысл которых заключался, однако ж, в том, что он единственная надежда и подпора семейства, и проч., и проч. Старшие сестры в это время сунули ему мешок с лепешками и ватрушкой. Началось прощание. Все прошло как нельзя спокойнее, и только, когда бедный мальчик обнял в последний раз младшую сестру свою, громкие рыдания, вырвавшиеся внезапно у обоих, прервали на минуту тишину дворика, посреди которого стояла дорожная тележка.

Приехав в Петербург, молодой человек остановился у крестного отца.

Как и всякому человеку, вышедшему из ничтожества, добившемуся, помощью разных лишений и трудов, до кой-какого состояния, крестному отцу тотчас же представилось, что тут метят, вероятно, более, чем на одно покровительство с его стороны. Два, три водевиля, виденные им случайно в Александринском театре, подтвердили его предположение. В этих водевилях крестный отец и дядя играли всегда роль положительных благодетелей. Запугавшись не на шутку, чтобы вредная мысль господ водевилистов не запала как-нибудь в голову крестника или отца его,— он поспешил сообщить свои опасения жене. Та подтвердила их. Воображение у женщин еще горячее, нежели у мужчин.

На другой же день крестный отец принялся допытываться у крестника истины, объясняя ему в то же время обиняками о дороговизне столичной жизни, о неудобствах квартиры, о заботах и хлопотах, связывающихся с его приездом,— словом, дал ему понять, что держать у себя лишнего человека было бы для него крайне затруднительно. Андреев, заранее приходивший в отчаяние от мысли жить под одной и той же кровлей с крестным отцом и его женой (так сильно развилось к ним сочувствие молодого человека после первого беглого взгляда), услыша все это, чуть было не бросился на шею благодетелей. Это обстоятельство тотчас же вызвало приятные улыбки на лицах обоих супругов, и крестный отец начал искать ему место в своем ведомстве.

Первые дни, проведенные Андреевым в той самой

комнате, где видел его читатель, промелькнули незаметно. Отсутствие семейной зависимости, о котором так горячо мечтает каждый юноша, как бы ни было хорошо в родном гнезде, свобода ходить и думать, не отдавая никому отчета, – все это занимало его. К тому же все окружающее было для него столько же ново, сколько самая жизнь. Бедное дитя скромного уездного городка, он восхищался безусловно всем, что только попадалось на глаза. Первое впечатление было так сильно, что он принял сначала решительное намерение перерисовать весь город, все здания, все памятники, не выключая даже статуй Летнего сада, перед которыми просиживал он целые часы в немом восторге. Восторженность молодого провинциала, как следовало ожидать, была непродолжительна. Мало-помалу он начал отрезвляться. Все вокруг него, одно за другим, принимало свою обыденную, холодную, несообщительную наружность. Нежное сердце юноши сжималось впервые от какого-то темного, неопределенного сознания своего сиротства посреди шумного, многолюдного города.

Но когда место, отыскиваемое крестным отцом, было найдено, и Андреев вступил в круг новых своих товарищей, разочарование окончательно наложило свою ледяную руку на пылающую, восторженную его голову. Как все молодые люди с горячим воображением, обманутые раз в своих ожиданиях, Андреев почувствовал вдруг тоску страшную. К этому, впрочем, немало способствовал его характер, в котором, несмотря на живость и жажду сообщительности, заключалась еще какая-то тонкая деликатность сердца, мешавшая ему скоро сближаться и заключать связи. Неохотное сближение это происходило частью, может статься, от дикости, от непривычки жить между чужими, частью также от новых товарищей, не возбуждавших в нем сочувствия.

И загрустил бедный Андреев. Никогда еще не чувствовал он себя столько одиноким. Возвращаясь в свою комнату, где отныне должна была заключаться жизнь его, он вспомнил с сожалением глухой городишко; ему казалось, что многое было там лучше, чем он прежде думал; тут только в первый раз понял он, как сильно любит сестру свою. Подавленный иногда грустью, он писал ей письмо за письмом, и в этом проходили у него дни за днями. Изредка, когда легче

было на сердце, он брал карандаш и принимался чертить все, что приходило в голову. Рисование было с детства любимой мечтой, любимым занятием Андреева. Руководимый в последнее время младшей сестрой, прежний самоучка, чертивший мелом и углем на стенах и заборах улиц, – он уже ловко передавал свою мысль бумаге.

Но такие минуты увлечения часто приносили больше горя, чем радостей. Ему тотчас же припоминались слова одного из сослуживцев, которому он как-то нечаянно проговорился:

– Эге-ге!.. так вы, батюшка, художник, вот оно что-с!.. Что ж вы не поступили тогда в академию? Здесь, любезнейший, художество вот какое...

При чем сослуживец выразительно черкнул пером по бумаге и насмешливо подмигнул левым глазом.

– И в самом деле, – повторил Андреев, – к чему все это?.. Разве затем меня сюда прислали?..

И увлечение уже звучало в душе его упреком. Он начинал понимать свое назначение. Перед двадцатилетним юношей раскрывалась понемногу горькая, неотразимая действительность; сердце его обливалось смертельным холодом, глаза отуманивались слезой, и любимый карандаш падал из рук на неоконченный рисунок...

Уже два месяца, как Андреев живет в своей комнате под кровлей. Раз (это было летом), поздно вечером, сидел он у отворенного окна; ночь была чудесная, светлая, теплая, какие бывают иногда в Петербурге. Положив голову в ладони, он глядел в раздумье на двор, рассеянно прислушиваясь к шуму засыпающего города. Легкий кашель, раздавшийся в нескольких шагах, заставил его приподнять глаза. Каково было удивление Андреева, когда он увидел в окне, составляющем, вместе с его окном, угол дома, фигуру женщины, повернувшуюся к нему лицом. Блеск светлого, звездного неба позволял различать ее черты. Она была очень молода, хороша собой и, казалось, глядела прямо на него своими темными глазами. Застигнутый врасплох, Андреев сделал невольное движение, чтобы откинуться назад, но молоденькая женщина предупредила его и еще быстрее скрылась за стеной.

Открытие хорошенькой женщины мигом рассеяло раздумье молодого человека. Как робкий и неопытный мальчик, стоял он с минуту в нерешительности,

раздумывая очень серьезно, что ему делать. Любопытство взяло, однако ж, верх. Он осторожно выдвинулся за окно и бросил украдкой глаза к соседке. Соседка, появившаяся снова на прежнем своем месте и не ожидавшая, вероятно, такого упорного преследования, опять скрылась. «Уж не рассердилась ли она?.. Что я наделал?..» – подумал Андреев, отскочив в самый задний угол своей комнаты. «Но что ж это такое, в самом деле?.. Неужели по ее милости я должен простоять здесь целый вечер? вот славно! я также хочу сидеть у окна... Ах, какая она, однако ж, хорошенькая!..» Последнее заключил он, стоя уже за простенком подле окна. Соседка снова появилась; сначала она протянула обнаженную свою ручку, чтобы запереть окно, но тут же отложила намерение и, откинув концы темного платка на перекладину, положила на них круглые свои локти и продолжала глядеть на двор. Мало-помалу головка ее повернулась к стене Андреева; выражение веселости и тонкого лукавства промелькнуло на лице ее. Она вытянула вперед свою шейку, приподняла тоненькие свои брови и, суживая глазки, казалось, нетерпеливо искала чего-то на соседнем окне. Сердце Андреева никогда еще не билось так сильно. Он не отрывал глаз от хорошенькой женщины и простоял за своим простенком до тех пор, пока она, потеряв, вероятно, терпение, не захлопнула окна и не скрылась из виду. Тут он зажег свечку и стал расхаживать по комнате, удивляясь, как могло статься, чтоб он до сих пор не заметил присутствия хорошенькой женщины, жившей с ним почти стена об стену.

Рассуждая таким образом, он не пропускал случая заглянуть к ней каждый раз, как проходил мимо окна. Внезапно у соседки мелькнул свет. Андреев бросился сломя голову к постели, сорвал одеяло, завесил им окно, задул свечку и, прильнув к скважине между рамой и одеялом, обратился весь в зрение. Он явственно различил тогда часть белой стены, комод, край постели и несколько юбок, висевших на гвоздике. Немного погодя высокая тень задрожала на потолке, и вдруг вся фигурка соседки целиком показалась на дне комнаты. Поставив свечку на комод, она неожиданно сбросила платок и, смотрясь, вероятно, в зеркало, приподняла плечи, окруженные плохо стянутой сорочкой. Вслед за тем, быстрым движением повернула она спину к свечке, перегнула назад голову и, положив руку на

красные полоски, оставленные шнурками сорочки на спине и на плечах, принялась их разглаживать. Дыхание занялось в груди бедного Андреева; он прильнул всей силой к стеклу окна; но в эту самую минуту соседка скрылась и свет угас в ее комнате. Как провел Андреев эту ночь, предоставляю судить всякому, кто только был молод и случайно видел на сон грядущий подобное зрелище.

На другое утро, первым делом его было броситься к заветному окну; глаза его встретились прямо с глазами хорошенькой соседки. Она рассмеялась и, как белка, прыгнула в глубь комнаты. В это утро Андреев опоздал целой четвертью часа к должности, за что и получил нагоняй от крестного отца. Но ему уже нипочем были теперь нагоняи. Он думал только, как бы скорее прибежать домой и взглянуть на соседку. Вечером того же дня он был влюблен по уши. Он весь переселился мысленно в комнату к хорошенькой женщине; тысяча самых наивных планов и предположений бродили в голове его.

– Но кто же она, кто? – повторял он, расхаживая в волнении взад и вперед, из одного угла в другой.– Прекрасно, вот счастливая мысль! – воскликнул наконец юноша,– спрошу у жены моего хозяина, она верно знает!

Привести в исполнение такую мысль было нетрудно. Он постучался в стену и, назвав по имени хозяйку, попросил ее войти.

Варвара Гавриловна, жирная, грязная тихвинская мещанка, глупая до бесконечности, проводившая деньденьской рыская по кухням и девичьим и наполнявшая их своими жалобами на мужа, с которым жила не в ладах, не замедлила явиться. Она не прочь также была выпить в трудные минуты жизни и чувствовала (если только что-нибудь чувствовала) сильное расположение к жильцу, у которого всегда находила способ выманивать пятачки и гривеннички. Зная подноготную историю каждого семейства в доме, она очень легко могла удовлетворить любопытство молодого человека. В нескольких словах она сообщила ему, что подле жил старик, выгнанный за пьянство из питейной конторы, что у него была старая кухарка и дочь; что кухарка, баба вострая и «пронзительная», вот уже седьмой год, как держит хозяина в ежовых рукавицах. Он боится ее пуще огня и шагу не смеет ступить без ее ве-

дома. Дочь, по словам Варвары Гавриловны, терпит страшный загон. Ей житья нетути. Нередко приходилось ей ночевать у соседей или проводить целые дни у знакомых. Варвара Гавриловна привела разные случаи из частной жизни соседей,— между прочим, как Катя (так звали девушку) прибежала раз к ней ночью вся избитая и истерзанная. Она рассказала много других примеров, но и этого было довольно Андрееву. Воображение его, управляемое добрым, впечатлительным сердцем, уже рисовало перед ним страшные картины, перед которыми, кажется, в самом Ловласе должны бы были пробудиться человеческие чувства.

В двадцать лет, когда сердце уже почти созрело и рвется впервые навстречу женщине, ничто не возбуждает такого горячего сочувствия, как женщина тихая, обиженная, загнанная, несчастная. Робкий и неопытный юноша боится всегда как огня женщин, свободных и смелых: такая женщина, по его мнению, никогда не может любить — ему непременно нужна жертва. Плаксивые барышни, сиротки, угнетенные гувернантки,— вот идеалы почти каждого неиспорченного, чистого двадцатилетнего молодого человека. Тут, по крайней мере, чувство его не будет отвергнуто; его примут с благодарностью. Роль покровителя подле угнетенной кажется ему во сто раз лучше роли счастливого любовника. Так, по крайней мере, думал и чувствовал Андреев.

В несколько дней рассказ Варвары Гавриловны принял самые широкие размеры в голове его. Каждый крик или шум за стеной казался уже ему воплем несчастной Кати. Он бросался к окну и чаще всего встречал веселое, улыбающееся личико девушки. Но это обстоятельство, вместо того, чтобы успокоить, казалось, еще сильнее возмущало его сердце. Он не понимал, как могла она смеяться и быть веселой посреди такой жизни. Согласно роману, созданному его фантазией, он хотел, чтобы она являлась перед ним не иначе, как в слезах, с признаками отчаяния на лице. Веселый вид придавал Кате, в глазах Андреева, холодность, равнодушие, бесчувственность... Но, несмотря на то, с каждым днем он сильнее и сильнее привязывался к мысли любить Катю и мало-помалу начинал любить ее не на шутку. Время проходило недаром. Оба они достигли уже того периода, когда, не сказав еще ни слова, понимали друг друга как нельзя лучше.

Более или менее сильное движение занавески, свечка, поставленная ниже или выше – говорили им лучше всякой речи. Когда она долго не возвращалась домой, Андреев занавешивал окно и не показывался целый вечер. Эти отлучки приводили его в истинное отчаяние. Полный весь своим романом, он уже воображал Катю, доведенную до крайности обращением пронзительной кухарки и искавшую убежища в чужом доме; он видел, как она рассказывала свое горе, как брали ее за руку... Сердце Андреева кипело ревностью. Как всем влюбленным, ему казалось, что он один мог спасти Катю, что всякий другой должен был непременно обмануть и погубить ее, что всюду подвергалась она неминуемой опасности, что в нем одном заключалась способность любить горячо, с преданностью и самоотвержением. И думал он все это искренно, забывая, что сам искал и требовал от Кати того, чего так боялся со стороны других... Но таковы все влюбленные! С некоторых пор, однако ж, Катя заметно реже стала отлучаться из дому. Наступила осень, полились дожди, и Катя, к совершенному восхищению Андреева, не покидала уже окна. Они виделись каждый час, каждую минуту. Недоставало им только встретиться и подать друг другу руки. Вскоре случай представился.

Однажды, возвращаясь из служебного места, Андреев столкнулся под темными воротами дома с Катей, которая шла гулять, а может статься, попросту ожидала его. Встреча была так неожиданна, что страстные монологи, приготовленные Андреевым на случай первого свидания, рассеялись как зажженный порох. Язык решительно не повиновался ему. Простояв с минуту перед ней в какой-то мучительной лихорадке, он наконец приподнял дрожащей рукой шляпу и поклонился. Катя засмеялась, посмотрела ему в лицо и выбежала на улицу. Андреев проклял свою глупость и решился прибегнуть к письму, которое было уже давным-давно приготовлено. Но как доставить его? Каким способом?

Мысль обратиться к Варваре Гавриловне развязала все трудности. Он собрал всю свою мелочь, позвал хозяйку и, объяснив ей в чем дело, отдал письмо. Варвара Гавриловна охотно взяла послание и, выразив на отекшем лице своем глупую улыбку, не лишенную тупого лукавства, положила деньги в карман и обещалась сегодня же доставить ответ. Но прошли три му-

чительные дня, которые не принесли ничего нового в жизни двух соседей. Он видел Катю каждую минуту, видел, как она показывала ему письмо его, подавала какие-то знаки, ждал каждую минуту ответа, а ответа все-таки не было. Щепетильный, обидчивый, как все влюбленные, Андреев подумал, что Катя над ним потешается. Он занавесил окно и, скрепя сердце, решился не подходить к нему, пока не получит ответа.

Дело было в таком положении, когда раз, вернувшись домой, он заметил странную перемену в своей комнате. Все вокруг сияло необыкновенной чистотой и порядком. Бумаги и книги были тщательно и симметрически разложены; даже на рабочем столе, к которому строго было запрещено прикасаться хозяину, виднелись следы чьей-то руки, заметно постаравшейся придать всему кокетливый вид. Андреев постучался в стенку и позвал Варвару Гавриловну. Вошла хозяйка.

— Скажите, пожалуйста, что это значит?..— спросил он, оглядывая с недоумением комнату.

Варвара Гавриловна сделала несколько шагов вперед и, нагнувшись к жильцу, произнесла с таинственностью: «Катерина Андреевна приходила без вас!..»

— Как, что вы говорите? — воскликнул Андреев.— Быть не может!..

— А что с ней станешь делать? — отвечала самодовольно хозяйка,— пришла об утро ко мне: дай, говорит, Гавриловна, ключ, хочу посмотреть, как живет твой жилец...— Что вы, говорю, барышня! — Ничего, говорит, он не рассердится.— Ну, взяла это она, батюшка, ключ, а я за ней... Уж чего только она здесь не делала; ни одной книжки не оставила в покое, до всего вишь ей дело. Что вы, говорю, барышня? Ничего, говорит, я теперь ему приберу все к месту. Уж трудилась это она, трудилась, инда изнемоглась сердечная... Я, говорит, и завтра приду, и послезавтра, не говори только ему, смотри, Гавриловна... Я стояла так-то у окна. Катерина Андреевна, говорю, барин идет! Она шмыг ко мне, дождалась, пока вы постучались в стенку,— да давай бог ноги, уж такая-то бедовая... Я чай, сидит теперь дома, да сюда поглядывает.

Андреев бросился как сумасшедший к окну, и глаза его прямо встретили Катю, которая, увидев его, захлопала в ладоши и, ухватившись за бока, принялась хохотать и выделывать какие-то па. На другой день

Андреев не пошел на службу. В девять часов он стоял уже под воротами и караулил минуту, когда Катя пробежит через двор на его лестницу. Это не замедлило случиться. Простояв несколько минут в нерешительности, Андреев собрал, наконец, всю свою бодрость, взлетел на лестницу, отворил дверь и вошел в комнату.

Катя сидела преспокойно в креслах и, положив ножки на соседний стул, рассматривала какие-то картинки. Заслыша стук двери, она быстро приподняла голову, и, увидя Андреева, немножко смутилась. Но смущение было непродолжительно. Почти в ту же секунду она оправилась, спустила на пол ножки, весело подошла к нему и сказала довольно бойко:

— Вы не сердитесь, что я пришла к вам в гости?..

. . . .

В тот же вечер оба сидели на одном и том же кресле и говорили друг другу «ты». Андреев, не веря еще своему счастью, казался несколько задумчив. Катя, напротив того, была весела, как птичка весной. Она скакала, смеялась и прыгала по комнате. Она была как дома; с Андреевым обходилась как со старым другом. Она поминутно вытаскивала его на середину комнаты, тормошила его во все стороны, поворачивала его на одном месте, смеясь и глядя ему в глаза, проводила ладонью по лицу его, и путала ему волосы, и не давала ни минуты опомниться.

С этого вечера Андреев и Катя виделись каждый день. Преданный весь своей любви, Андреев забыл в первое время все свои горести, все воспоминания; забыл и уездный город, и настоящее, и прошедшее. Так прошло несколько месяцев. Но в это время многое успело уже измениться, если не в сердце, то, по крайней мере, в головах обоих молодых людей.

Андреев ясно увидел, что роман, сотканный им вокруг Кати, нисколько не соответствовал героине в действительности. Катя его фантазии являлась окруженная ореолом страдалицы, существом глубоко страждущим, тогда как Катя настоящая была веселая, беспечная, ветреная девушка, для которой страдания не существовали, а горе (если только и приходило) рассеивалось как нельзя лучше прогулкой на Крестовском, особенно когда много было народу, трескотни, шуму и давки. Веселье было также необходимо ей, как вода для рыбы. Это была ее сфера. Внутренний мир

со всеми его душевными волнениями и скорбями, с приливами и отливами тоски и радостей, был для нее решительно недоступен. Когда печальные обстоятельства Андреева подступали ему к сердцу и он задумывался, Катя переставала также быть веселой, но это вовсе не потому, что она разделяла его горе,— ей просто становилось скучно,— он не забавлял ее, не занимал, не бегал с ней. Добрая по натуре, но не получившая никакого воспитания и развития, закаленная с детства среди грубой жизни и дурных примеров,— в ней не было той тонкой деликатности, тех возвращений к нежности, которые заставляют прощать любимой женщине самые резкие, охлаждающие выходки. Ей было скучно, она начинала дразнить Андреева; если это не помогало — она бежала искать развлечений к старым своим приятельницам, и все это нимало не подозревая, сколько должна была она огорчать Андреева, и боже упаси, если он обнаруживал, особенно не шутя, свое неудовольствие. Сценам конца тогда не было; и редко обходилось без слез, сопровождаемых самыми жестокими упреками. Тут забывалось, что Андреев просидел тридцать ночей сряду, переписывая бумаги, чтобы заработать ей шляпку, что он голодал целую неделю и питался, бедный, одним ячменным кофе, чтобы свести ее в театр, и многое еще другое. А между тем она любила Андреева. Стоило только показаться веселой улыбке на лице его — и грозу уносило, как вихрем. Она снова являлась тогда беспечной, резвой, любящею; она бросалась к нему на шею, осыпала его самыми нежными именами и готова была на все жертвы, чтобы только как можно долее продлилось веселье.

Впрочем, вне этих маленьких сцен, кончавшихся большею частью всегда миролюбиво и приносивших даже больше сердечных радостей, чем ровная и тихая страсть,— они были до сих пор очень счастливы. Голова Андреева только охладела немного; что ж касается до сердца, оно еще полно было огня и щедро тратило все свои сокровища навстречу первой женщине, приветливо ему улыбнувшейся. Он любил, как любят в первый раз, когда все помыслы о женщине, все женщины вообще, соединяются покуда в одной.

IV

У ЮРГЕНС

На другой день после того, как Андреев написал сестре письмо, сообщенное читателю во второй главе, часу в первом пополудни он стал готовиться в путь. По случаю воскресения службы не было. Он мог, следовательно, располагать целым днем. Программа этого дня, ожидаемого с нетерпением, была уже давным-давно обдумана: в два часа он будет обедать за общим столом у госпожи Юргенс, наслушается вволю рассказов о художниках, мастерских, картинах; встретится снова, может статься, с Петровским. Затем, часа в четыре, отправится на острова; толпа будет страшная; но он пройдет мимо, заберется в самую глухую чащу Елагина и прорисует там с натуры вплоть до вечера.

Андреев заранее потирал руки. Запрятав на самое дно кармана оставшуюся мелочь, сунув под мышку тетрадь с этюдами, он нетерпеливо спустился с лестницы и вышел на улицу. День был чудесный: на небе ни облачка, все вокруг дышало весельем и чем-то праздничным, соответствовавшим как нельзя лучше расположению самого Андреева.

Не мешает воспользоваться дорогой Андреева, чтобы сказать несколько слов об общем столе госпожи Юргенс, который играл в то время большую роль на Васильевском острове. Сюда собирался преимущественно весь тогдашний круг молодых художников. Ни знаменитый Гейде, — Дюссо или Сен-Жорж Васильевского острова, — ни множество других трактиров и кухмистеров, рассеянных в изобилии по линиям, не в состоянии были отвлечь привычных посетителей Каролины Карловны Юргенс. Стол ее, говоря по совести, нельзя, однако ж, было назвать отличным. Картофель, ветчина и луковый суп — главные основы его — приправлялись, по немецкому обычаю, так немилосердно перцем и всякими другими пряностями, что у посетителей по целым часам болел язык и щипало горло; но, со всем тем, подлежит сильному сомнению, чтобы в блестящих кафе Петербурга ели с таким хорошим аппетитом, чтобы царствовало там когда-нибудь столько распашного, непринужденного веселья. Общество Каролины Карловны, несмотря на свои одно-

родные стихии, представляло все-таки в целом сборище самых разнохарактерных образчиков и типов.

Тут были и истинные художники – люди с талантом, сосредоточившие сознательно всю свою жизнь, все помыслы в любимом выше всего искусстве, благородные, неутомимые труженики, с любовью жертвовавшие ему всеми сокровищами своего мозга и сердца; были и такие, которым искусство представлялось выгодным и в то же время не очень тяжелым ремеслом; попадались наконец (и это чаще всего) восторженные ребята, с длинными, вскосмаченными гривами, широкополыми шляпами, одетые с умышленной, разительною небрежностью, которым улыбнулось искусство потому только, что здесь предстояло широкое поле разгула и безнаказанно давался повод восторгаться всем, чем угодно. Кроме этого, появлялись иногда и сторонние лица. Там, где собираются художники, как бы ни была ничтожна их степень, уж непременно следуют, по чутью какому-то, словно мелкорыбица за акулой, так называемые «любители», не столько художеств, разумеется, сколько общества художников. Это неизбежно. Любители эти большей частью люди молодые, вертлявые, жиденькие, заискивающие; иногда добрые, разгульные ребята и неглупые; но чаще нестерпимо скучные и надоедающие насмерть. Но никому не было особенной нужды определять тогда эти подразделения, да никто об этом и не думал. Общий колорит молодости сглаживал частные различия, и всем было одинаково хорошо и привольно у г-жи Юргенс.

В три часа, столовая была обыкновенно полнешенька. Стук вилок, ножей, тарелок, покрываемый попеременно шумными возгласами и неистовым хохотом, слышались чуть ли не с одного проспекта до другого. Летом, Каролина Карловна, сорокалетняя вдова, с бельмом на левом глазу, с добродушной улыбочкой и рыжими пуклями, боязливо глядевшими из-под вздрагивающего чепчика, переезжала на «дачу», т. е. переставляла столы и стулья из столовой на маленький дворик, примыкавший непосредственно к ее кухне. Дворик, обнесенный с других трех сторон дырявыми барачными досками и тщательно усыпанный песком, отражал ту же чистоту и опрятность, какими отличалось все заведение. По середине его возвышалась тощая рябина; несмотря на свои чахлые ветви,

прокопченные насквозь дымом, деревцо это доставляло неизъяснимое утешение посетителям. Получасом раньше приходили, чтобы только завладеть местом под его тенью, и уж, конечно, тощей этой рябине привелось слышать на веку своем более тостов в честь Италии и Рима, чем слышал их самый Рим. Обедать на этом дворике – считалось верхом благополучия. Когда Каролина объявляла в первый раз, что с завтрашнего дня стол накроют на «даче», радостные восклицания неслись отовсюду, и страшный, оглушительный тост в честь хозяйки дома потрясал стены, кухню и все здание до фундамента. На другой день она и сама уже не радовалась своей выдумке. И в самом деле, весне ли рады, свежему ли воздуху, но только гости шумели еще более, тосты повторялись еще чаще, хохот раздавался звонче, курили немилосерднее; так курили, что проезжающий по Неве, взглянув в ту сторону, мог легко принять столб дыма над кровлей немки за дым парохода, готовящегося к отплытию по Малой Невке. И несмотря на всю бедность такой обстановки, посетители общего стола были тогда счастливы, и как еще счастливы! Многие, вероятно, и теперь вспоминают о нем с сожалением...

Тут-то беззаботно промелькнули лучшие, золотые минуты многих из нас! Эти серенькие, закопченные комнаты, этот дворик с его тощей рябиной составляли для очень многих чуть ли не единственный теплый угол, какого они уже потом нигде не встречали. Здесь, по крайней мере, часто с истинным, непритворным, ненатянутым увлечением говорили об искусстве, возникали жаркие литературные споры; здесь восторженно встречалась всякая счастливая мысль собрата художника; никто не стыдился своих восторгов, никто не смеялся над ними. Каждый почти верил тогда, что пылкая, страстная восприимчивость души, что эти восторги – лучшее, драгоценнейшее сокровище юности И что ж мудреного? Сюда стекалась по большей части молодежь, сосредоточившая богатый запас своих сил и способностей на одну благородную цель – любовь к искусству и дружно, рука в руку, с ребяческою беспечностью взбиравшаяся по скользкой крутизне художества, сама еще не ведая, что ожидало ее впереди!..

Итак, каждый день часу во втором, когда рука

уставала упираться на муштабль[1], когда натурщик или, как говорится, «натура» начинала покрякивать и просила, чтобы отпустили ее подкрепить силы в погребок или харчевню, – бо́льшая часть художников укладывали палитру и краски, покидали академию и шумною ватагой отправлялись к доброй немке.

Было уже два часа, когда Андреев вошел к Каролине Карловне. Он снял пальто, положил на стул тетрадь, прикрыл шляпой и вступил на маленький дворик, потопленный голубоватой тенью, бросаемой кухней. Посетителей было очень мало. В числе их Андреев увидел двух художников, Вахрушева и Сидоренку, с которыми уже встречался оба раза, как обедал у Юргенс.

Вахрушев был малый лет двадцати пяти, красивой, но утомленной наружности, с глазами навыкате, похожими на глаза из фарфора, какие делаются на фабрике Корнилова для гостинодворских кукол; белокурые, безобразно длинные волосы его были тщательно прилизаны и подогнуты снизу, наподобие театральных париков времен рыцарства. Реденькие, волнистые усики, закругленные кверху, и эспаньолка напоминали несколько портрет Вандика. (Несчастное это сходство было единственной причиной, заставившей Вахрушева переменить звание чиновника, к которому обнаруживал он сыздетства большие склонности, на звание художника, хотя к последнему не было у него ни малейшего призвания.) На нем был широкий плащ, подбитый черным бархатом, конец которого закидывал он на спину, но так искусно, однако ж, что весь бархат оставался на виду. Широкая серая шляпа и бархат на плаще довершали сходство Вахрушева с Вандиком, и потому он никогда не являлся в другом костюме. Наружность Сидоренки показывала, что он также бил на эффект, но только иными средствами. Коренастый, приземистый хохол, с раздавленной, рябой физиономией, раздутыми ноздрями, двумя пучочками щетины под носом – он видимо старался соблюсти гармонию наружности с туалетом. «Чтоб сейчас можно было сказать: это художник!» – такова была задача Сидоренки. Разодранный, покрытый пухом картуз, холстяное пальто, выпачканное красками, встрепанные во-

[1] Длинная палочка, посредством которой художники поддерживают руку во время работы.

лосы, раскрытая напереди рубашка,— все это, по понятиям Сидоренки, достигало, как нельзя лучше, предположенной цели.

Оба они сидели под рябиной, в стороне от других, за круглым столом, сделанным в виде гриба, и курили трубки. Перед ними лежали в беспорядке остатки обеда, между которыми возвышались две бутылки портеру. Когда вошел Андреев, художники обернулись в его сторону и поклонились. Ответив тем же, Андреев спросил себе прибор и сел подле за другим столом.

— Фу, жара какая, смерть! — произнес Сидоренко, обращая красное лицо свое, имевшее в эту минуту большое сходство с крошеной свеклой, сначала ко всей компании, потом к Андрееву, который утирал лоб и щеки.

— Да, градусов двадцать будет,— отвечал кто-то из сидевших поодаль.

— Какое, верных тридцать! — воскликнул Вахрушев, выпустив длинную струю дыма.— Уж на что, кажется, люблю я жаркий климат, а сегодня работать не мог, даже натура не выдержала; у меня стоял Тарас: отпустите, говорит, силушки нет стоять! Впрочем, я ему и позу закатил, нечего сказать! — прибавил он, смеясь и самодовольно покручивая усы.

— Ну что, Вахрушев, что поделывает твой Прометей? — спросил высокий художник, похожий на цаплю и сидевший за другим столом.

— Разумеется, не подвигается,— недовольно отвечал Вахрушев,— да черта ли что-нибудь сделаешь! Зимой писать нельзя — света нет, все выходит серо и тускло, стынет всякое воображение; лето придет — задыхаешься от духоты и пыли... Нет, господа, тысячу раз нет! Достигнув известной степени, наш брат может жить только в Италии. Заготовил здесь эскизы, набросал мысли,— да скорее в Рим, во Флоренцию!.. Я, право, не понимаю, как делает этот Петровский,— черт его знает!

— Что ж тут мудреного? Эк хватил — Петровский! Петровский! — возразил, отдуваясь, Сидоренко.— Дай любому из нас немецкое терпение, которое, между прочим, называют они любовью к искусству,— прибавил он, смеясь,— и мы то же самое сделаем!

— Ну, нет, брат, одного терпения мало,— заметил долговязый художник,— чтобы написать такую про-

грамму, как Петровский, нужен талант, да еще какой!..

— Конечно, Петровский талант, первоклассный талант! — крикнул кто-то.

— Эх, господа! Да кто ж это опровергает? — горячо перебил Сидоренко. — Я говорю только: нужно терпение... Пусть каждый из нас станет сиднем сидеть перед одной и той же холстиной, да «отконопачивать» каждый пальчик, каждый волосок, разумеется, к концу года выйдет оконченная картина, — да что ж из этого? Что в них, в этих картинах, если говорить по совести? Возьмем хоть «Агарь в пустыне» Петровского. Рисунок, композиция, все это прекрасно, то есть то, что именно дается высиживанием, но зато живописи нет, нет размаха, все это не «широко», не «сочно», не «планисто», как должно быть у самобытного таланта, — везде проступает отделочка, да «лесировочка» — словно у последнего немца! Нет, поверьте мне, все эти господа — сидни, а не самобытные, смелые таланты! — размаха нет!

— Помилуй, брат Сидоренко! Оконченности добивается всякий художник, в ней-то вся штука! — воскликнул снова долговязый художник.

— Ну, да кто ж тебе говорит, — отвечал Сидоренко, — я сам это знаю, но оконченность оконченности рознь...

— Конечно, оконченность оконченности рознь, — небрежно заметил Вахрушев.

— Уф, жара какая, — перебил Сидоренко, раздувая пену портера и поднося стакан к губам, — пьешь, пьешь, а все не утолишь жажды... Да скажи на милость, Вахрушев, точно ли придет сюда Чибезов? Кто тебе сказал?..

— Наверное, наверное придет! — воскликнуло несколько голосов, — мы сами пришли, чтоб с ним видеться.

— Когда он приехал?

— Третьего дня, — отвечал Вахрушев. — Чудесно, говорят, рассказывает про Италию.

— Да каким чертом занесло его туда? Господа, на свой счет поехал он, что ли?

— Нет, его брал с собой один из наших баричей, граф какой-то, не помню... а впрочем, сказывают, он привез оттуда отличную копию с Гвидо Рени.

— Не тот человек, — сказал Сидоренко, наливая

стакан,— как же, станет он работать! Я думаю, он ровно ничего не делал,— кутил только!..

В это самое время, в кухне, двери которой были растворены на двор, послышался страшный шум

— Каролина Карловна, голубушка! — кричал кто-то,— здравствуйте!.. ну что, как?.. да поцелуемтесь же!.. Матрена, здорово!.. ну что? Эх ты, полоротая дура,— аль не узнала?.. Каролина Карловна, душенька вы моя!..

— Вот он! Вот он! — закричали в один голос художники, вставая со своих мест.

Но не успели они сделать шагу вперед, как уж Чибезов, приплясывая и прищелкивая в воздухе пальцами, очутился посреди двора. Увидя компанию, он остановился.

— А, черт их возьми! Ишь, черти, по-старому, все здесь! — произнес Чибезов.

Тут он ударил себя ладонями по коленам, подогнул ноги и залился дребезжащим смехом. Чибезов был человек среднего роста, с угловатой головой, острым носом, черными, короткими волосами, из которых торчали во все стороны вихры. На нем была парусинная блуза, с огромными костяными пуговицами, красный оборванный платок на шее и скомканная соломенная шляпа. Сначала он бросился к Вахрушеву, ухватил его за плечи, посмотрел ему в лицо, крикнул: «Вандик!» — и, растопырив руки, снова залился во все горло. Таким же точно порядком поздоровался он с Сидоренко, долговязым художником и всеми присутствующими,— обнимет, даст какую-нибудь особенную кличку, подогнет ноги и зальется смехом. Наконец, подошел он к Андрееву:

— И вы также наш,— произнес он, раскрывая объятия.

— Нет-с, я не художник,— отвечал Андреев, весело глядя ему в глаза.

— Ну, извините, не знал!.. Эй? Каролина, Каролина!..

— Садись, Чибезов, ступай сюда, здесь, здесь рассказывай!..— заговорили в одно время художники, хватая его за руки.

— Да ну, черти, чего обрадовались, стойте! Дайте дух перевести! — кричал Чибезов, опускаясь с явным удовольствием на руки то тому, то другому.— Эй, Каролина, Каролина! голубушка? — прибавил он, обра-

щаясь к хозяйке,— а нет ли, по старой памяти, бутылочки того... хереску... помните? за Чибезовым дело не станет, вы его знаете!

Добрая немка, любившая привычных посетителей, как собственных детей, и обрадованная не на шутку возвращением Чибезова, поспешила исполнить его просьбу.

Тут Чибезов вырвался из рук товарищей, закричал во все горло: «Ур-р-ра!» — и бросился на стул. Вскоре вино было принесено, стаканы налиты, товарищи уселись вокруг Чибезова, и начались расспросы об Италии.

Андреев понял, что присутствие постороннего лица и даже целой аудитории не могло ни в каком случае смутить Чибезова; он поспешил присоединиться к кружку и слегка даже вмешался в разговор, чтобы придать рассказчику еще больше развязности.

— Э, господа, что говорить,— чудно! — восклицал поминутно Чибезов, обращаясь то к тому, то к другому, не выключая даже Андреева, которого уже мимоходом ударил раза два по плечу.— Представьте себе, братцы, небо, то есть чистейший кобальт! хоть бы на столько шифервейсу! (Чибезов положил на ноготь кусочек сургуча с пробки и пустил его по воздуху.) Мы ехали морем. В отдалении Неаполь... Мы все на палубе... Стоим, да просто плачем (он провел всей пятерней от глаз до подбородка) — черт знает, что делается,— не выдержать! А тут вдруг ветер с берега, просто фабрика духов,— весь воздух пахнет померанцами да лимонами; ведь там они круглый год в цвету,— чудо!.. А макароны-то, ребята, макароны! «Date un poco macaroni!» [1] — навалят тебе на грош целую миску... А лазарони-то,— э, э, э, э! Пиферари, черт их подери, да и только! Лежит себе голый, черт его возьми, на песке, поглядит на залив, опустит руку в море, побарахтает в воде, вынет какой-нибудь frutto di mare [2],— устрицу или раковину, съест тут же, да опять поглядит на залив,— знать никого не хочет!.. Везувий, импровизаторы,— все видел! Но поверите ли, все это решительно бесхвостого черта не стоит перед Римом! О, Roma!.. и особенно для нашего брата художника! Ватикан, Петр, фонтаны... Что ни шагнул — наступил на

---

[1] Дайте порцию макарон! *(ит.)*

[2] дары моря *(ит.)*.

Рафаэля да Микеланджело, – ей-богу! А женщины-то, братцы, римлянки-то! Высокая, стройная, – куда ни глянешь – красавица; бери палитру, пиши, – и великий человек, коли напишешь! Я сколько раз смотрел на них у фонтана: рукой подберет до икры красную юбку (у всех красные юбки, – ей-богу!), – одна икра целой Флоры фарнезской стоит; – другой рукой поддерживает на голове длинный медный кувшин... волосы совсем синие, густые, подобранные пучком на затылке. (Чибезов стукнул себя ладонью по затылку.) Нагнется черпать воду – с ума спятишь: вода брызжет ей на обнаженные ноги, голая шея и грудь освещена ярким солнцем... не наши, братцы, цвета: везде лазурь, жженая земля, бакан, – ей-богу! (Чибезов махнул рукой и восторженно хлебнул хересу.) Ну, братцы, – продолжал он, крякнув, – какое я только пил там красненькое винцо, – объеденье! Меня все поил один англичанин, лихой парень! Мы с ним душа в душу жили, а ведь ни слова друг друга не понимали, ей-богу, право! Скажи ему «io!» [1], и он мне «io», – да и все тут. Бывало, все вместе, живмя жили в казино или аустерии, то есть в трактире по-нашему!..

– Эка жизнь!.. а? – воскликнул Сидоренко, с восторгом потрясая головой. – Скажи, братец Чибезов, правда ли, что есть в Риме русский трактир, куда собираются...

– Ах, да, – торопливо перебил Вахрушев, – русский трактир; маленький живописный домик, заглохший, как гнездо, в винограднике, плюще и цветах?.. скажи, пожалуйста, так ли это?

– Ну, в виноградниках-то хоть он и не заглох, потому что, если б и был виноград, так наши ребята его давно бы вытоптали, а есть такой трактир – Лепри: мы туда-то и захаживали с англичанином.

– Вот жизнь, так жизнь, – сказал Вахрушев, вставая с места и принимаясь расхаживать нетерпеливо по двору, вместе с двумя-тремя другими товарищами, восторженно махавшими руками, – едем, брат Сидоренко, в Италию! Там только можно сделаться художником!

– Да, черт возьми! – закричал Сидоренко, – утром будем работать в мастерской... натурщица... римлянка... Заглянет какая-нибудь аристократка-путеше-

---

[1] да! *(ит.)*

ственница, которая здесь и смотреть на тебя не хотела... ведь нашего брата художника любят в Италии,— это все говорят; там пойдем обедать к Лепри, ляжем под какой-нибудь виноградник. Эх, славно тогда помечтать о матушке-России... спросим себе у Лепри щей, каши... эх, эх!

Тут Сидоренко восторженно налил стакан, приставил его к левому глазу, поглядел на свет, поднес его к губам, залпом выпил и, ударив кулаком по столу, закричал во все горло:

— Р-р-р-усский, черт возьми!.. художник, черт его бери!..

— Ну, расходились... эк их! — проговорил Чибезов, надрываясь со смеху.— Да ну... к сатане... полно вам; расскажите-ка, что делается у нас, что нового в наших мастерских? Я еще нигде не был.

— И заходить, братец, не для чего,— презрительно сказал Вахрушев, садясь подле Чибезова,— что в наших мастерских: сушь страшная...

— Что ж они рассказывают? — возразил Чибезов, расправляя вихры на голове.— Говорят, будто программа Петровского, «Агарь в пустыне», за которую он получил первую золотую медаль,— чудо из чудес!.. что ж они толкуют?..

— Превосходная, превосходная картина! — крикнуло несколько голосов.

Вахрушев и Сидоренко подняли головы, как легавые собаки, заслышавшие выстрел.

— Ну вот, поди ж ты! — воскликнул первый.— Представь себе, брат Чибезов! — продолжал Вахрушев скороговоркой,— во-первых, маленькая картина, в полтора аршина всего-навсего (заметь себе, это они называют: историческая картина!); во-вторых, тощая группа из двух фигур посреди гладкой пустыни, и все это «отконопачено», вылизано, вылощено... Ты знаешь манеру Петровского — немец! Ни «планов», ни «лепки»... Наконец сам сюжет говорит за себя: ну, что в нем? никакого интереса; да и расходиться негде, не предстоит даже возможности бросить яркое, сочное пятно света или тени...

— Все это так,— подал голос долговязый художник,— но каковы у него зато ракурсы, каков рисунок, каковы головы!

— Кто ж против этого! — запальчиво возразил Сидоренко.— Ему что говори, что не говори, все равно

что арапа мыть, он все свое поет: рисунок! тебе говорят про живопись, про сюжет!

— Что касается до сюжета, совершенно согласен с Вахрушевым,— сказал какой-то маленький художник в синих очках,— я сам не понимаю, что за охота брать библейские сюжеты; это хорошо было в Италии, в четырнадцатом и тринадцатом веках, когда вся Италия, весь мир воодушевлен был религиозным чувством.

— Браво! Брависсимо! — воскликнул Чибезов.— Вот погодите-ка, дружки, я вам напишу картину, мысль богатая: «Падение Ниневии»; холстина в десять сажен, закачу фигур пятьсот... Что вы на это скажете... а? — произнес он, обращаясь неожиданно к Андрееву, который давно глядел на всех такими глазами, как будто хотел что-то сказать.

— Я с вами не совсем согласен,— решился наконец произнести Андреев, смущаясь и краснея.

— Как! В чем вы не согласны? — спросил удивленный Чибезов.

— Не столько с вами, сколько с этими господами,— продолжал Андреев, смущаясь еще более и указывая на Вахрушева и Сидоренко.

— Это любопытно,— пробормотали в одно время оба художника, придвигаясь и подмигивая остальной компании.

— Мне кажется,— начал Андреев не совсем твердым голосом,— вы несправедливо вооружаетесь против библейских сюжетов.

— А почему ж вы так думаете? — спросил иронически Сидоренко.

— Потому,— отвечал Андреев, тронутый на этот раз за живое,— что нет такого библейского сюжета, в котором бы не было поэтического лица и содержания; Рахиль, Ревекка, Агарь, Сара, патриархи... Где, в какой истории найдете вы образы, исполненные большей грации, любви и поэзии? Возьмите даже место действия, природу, посреди которой жили эти лица, костюм, наконец,— все изящно, живописно, и в высшей степени способствует для картины. Кроме этого, кажется, все эти лица так знакомы всем и каждому, так сильно к ним сочувствие, так сроднились мы с ними, что невольно радуешься, встречая их, изображенных на полотне, как будто встретил старых друзей, которых привык любить с детства...

— Все это прекрасно! — возразил удивленный Чибезов, — но, воля ваша, я все-таки не вижу тут места для картинного эффекта...

— Кроме того, — перебил Вахрушев, — в библейских сюжетах слишком много покоя: движения нет, ни малейшего движения...

— По-моему, в движении нет большой нужды, у всякого искусства есть свои пределы, — бойко возразил Андреев и вдруг остановился.

В самую эту минуту в дверях кухни показались Петровский и Борисов.

— А, Петровский! — произнес Чибезов, вставая и бросаясь к Петровскому, с меньшей, однако ж, восторженностью, чем к Вахрушеву и Сидоренко. — Как поживаете? Как рад вас видеть...

— И я также, — отвечал Петровский, сухо пожимая ему руку. — Когда вы приехали?

— Третьего дня... А, Борисов! Здравствуй! — продолжал Чибезов, обращаясь ко второму художнику, и на этот раз принялся душить его в своих объятиях. — Здорово! Ну, что, как тебя перевертывает?

— Хорошо, хорошо, голубчик! — отвечал Борисов, освобождаясь от тисков Чибезова. — Ну, рад тебя видеть, очень рад.

Он пожал еще раз руку Чибезову, суетливо раскланялся с остальными и присоединился к Петровскому, который уселся за особым столом.

Петровский был высокого роста, чрезвычайно строгой, но величавой и красивой наружности. Продолговатое лицо его было бледно, как мрамор. Черные, как смоль, сухие и кудрявые волосы, оттененные близ корня синей полосой, черные, глубокие глаза, тонувшие в голубоватом белке, и густые брови, слегка нахмуренные, придавали еще более белизны этому лицу, в котором все вообще было как-то смело, бойко, но правильно очерчено. Высокий лоб его был чист и покоен. И тогда как угловатые, резкие черты этого лица обозначали присутствие страшной энергии и душевной силы, крупные губы, приятно загнутые по углам, тотчас же примиряли с его строгой, задумчивой наружностью.

Товарищ его, Борисов; был крошечный, сухощавый человек, с кругленьким лицом и светлыми, смеющимися глазами. Редкие волосы, мягкие, как степной ковыль, просвечивали до темени. Ему было уже за

тридцать лет. Но еще столько нежного, добродушного, детского проглядывало в этих чертах, что нельзя было не полюбить его сразу. Рассеянный до невероятности, он вечно суетился, бегал, искал чего-то; но никогда для себя,— всегда для других.

— Жаль, Петровский, вы немножко опоздали! — сказал Чибезов, когда уселись оба художника.

— А что? — спросил Петровский, как бы нехотя поворачивая голову.

— Да у нас тут был спор; вот они,— присовокупил Чибезов, указывая на Андреева, который побагровел до ушей и приподнялся, как бы желая уйти,— они утверждали...

— Нет, куда ж вы? Полноте,— перебил Сидоренко, удерживая Андреева,— погодите еще; во-первых, спор наш еще не окончен...

— Помилуйте, господа! — возразил Андреев, смеясь, но вместе с тем говоря таким тоном, который ясно показывал, что он не намерен продолжать разговор,— я вовсе не спорил с вами...

— Нет, но вызывали на спор, что почти одно и то же. Вы, кажется, отвергали движение в картине,— прибавил насмешливо Чибезов.

— Если вы непременно этого хотите,— спокойно отвечал Андреев,— я и теперь повторяю, что изображение сильных движений в картине не есть необходимость...

— Ну, ну, извольте, докажите это...— смеясь перебил Сидоренко.

— Да, сильные движения уже потому невыгодны в картине,— продолжал Андреев,— что, как бы ни было живо передано движение, воображение зрителя всегда будет в каком-то недовольном ожидании, всегда опередит и, следовательно, пересоздаст по-своему мысль художника... Мне кажется,— продолжал Андреев, робко взглянув на Петровского, который неожиданно повернулся к нему лицом и стал внимательно вслушиваться,— мне кажется, нельзя не согласиться, что, при виде бегущих, испуганных лиц в картине, воображению остается еще работа: невольно ждешь, когда и чем разрешится это движение. Кроме того, движение отвлекает часто внимание зрителя от истинных, более достойных красот художественного произведения...

— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнул Борисов,

внезапно бросаясь к Андрееву и пожимая ему руку.— Как, господа! Неужели вы спорите против этого? Они... (извините, пожалуйста, я не имею чести с вами быть знакомым, но это все равно) они совершенно справедливо заметили...

Тут Чибезов, Сидоренко и Вархушев лукаво подмигнули Петровскому, но тот вместо ответа сурово нахмурил брови и повернулся с участием к Андрееву.

— Сделайте милость,— подхватил Борисов, подбегая снова к Андрееву,— пожалуйста, продолжайте ваш спор... Отлично, отлично...

Взгляд Чибезова не ускользнул от Андреева; в другом случае, робость и непривычка к спорам заставили бы его снести подмигивание Чибезова и компании, но искреннее, добродушное заступничество Борисова и еще более участие Петровского в его пользу, придали ему духу. Он взрос на своих художественных убеждениях, веровал в них, и как молодой дебютант, сробевший при первом выходе, но поддержанный, смело обратился к Чибезову и сказал ему довольно резко:

—Вот вы, господин Чибезов, говорили, что хотите писать «Падение Ниневии», скажите, пожалуйста, что вам за охота?

— Отчего ж? — возразил Чибезов насмешливо,— что ж, разве это также недостойный сюжет для картины?..

Улыбка, пробежавшая по губам Петровского, и смеющиеся, прыгающие от удовольствия щеки Борисова придали Андрееву еще более бодрости.

— Я не говорю этого,— сказал он,— картина ваша может быть очень хороша в отношении исполнения,— да что ж из этого? Пожалеешь только время, употребленное на нее «даровитым» художником.

— Как! Почему? — спросил Чибезов, разглаживая вихры и хмуря лоб.

— Живопись, по-моему, такое трудное искусство,— усовершенствование в нем достигается только такими усилиями, что нельзя жертвовать им для изображения безусловно всего того, что видишь в природе на каждом шагу или вычитываешь из книг. Нет,— продолжал он, ободряемый более и более взглядами Петровского,— нет, предметом живописи должно служить изображение одной только идеальной, поэтической стороны природы — таких красот, перед которыми бы в восторге останавливался зритель, чувствуя себя по-

бежденным силой высокого, творческого воображения художника. Какое было бы тогда превосходство художника над толпой, что бы он значил, если б мог только передавать в полотне то, что каждый легко в состоянии себе представить.

— Браво! Брависсимо! — кричал Борисов, суетясь вокруг Андреева и пожимая ему восторженно руки.

Петровский перестал есть и весь обратился в слух.

— Я сужу по собственным впечатлениям, — продолжал Андреев воодушевляясь, — я был много раз в Эрмитаже, и, признаюсь, на меня до сих пор ни одни картины не производили такого впечатления, как те, где изображен покой. Возьму, хоть для примера, «Мадонну д'Альба» Рафаэля; тут воображению, побежденному высокими красотами, ровно делать нечего, — стоишь в каком-то упоении, увлеченный весь идеалом форм, грацией... Тут в каждой головке, в каждом следке, в пейзаже даже, с его цветочками и облаками, виден великий поэт-художник, искавший везде и во всем одно идеально прекрасное!..

Борисов неистово хлопал в ладоши.

— Возьмите теперь пейзажную живопись или морскую (я все защищаю свою мысль против движения в живописи). Скажите сами, господа, что сильнее действует на вас: буря ли, бегущие валы и облака, или затишье в минуту чистого светлого утра, когда тихо светит месяц в синем, прозрачном небосклоне?.. Одна картина Айвазовского передаст лучше мою мысль, не знаю только, помните ли вы ее?.. Первый план изображает холодную полосу моря; вода не шелохнется. Солнце еще не показалось. Небо чисто и прозрачно; на нем ни облачка. Посреди моря плывет, едва качаясь, бочка; над бочкой медленно спускается какая-то темная морская птица, с длинными ногами, — и только! Чудо! Кажется, боишься дыханием возмутить спокойствие; стоишь и вполне наслаждаешься именно потому, что воображение совершенно довольно и ничего не ждет... Нет, господин Чибезов! Картины, изображающие груди обнаженных женщин с перламутровой кожей, перепутанные драгоценными тканями и жемчугами, облитые неестественными лучами света, похожими на бенгальский огонь, недостойны кисти, точно так же, как изображение фраков, шлемов, париков, огня и дыма... Что в них? Они не производят благодетельного впечатления, не доставляют того мирного, чисто-

го, эстетического наслаждения, которое и составляет цель изящных искусств. Я, по крайней мере, всегда пройду мимо таких произведений и с любовью остановлюсь перед скромным пейзажем.

Андреев остановился. Все присутствующие встали одним движением и подошли к нему. Борисов бросился обнимать его. Петровский быстро приподнялся с своего места и протянул ему руку.

В эту самую минуту, огромная толпа художников, с криком и говором, ворвалась на дворик Каролины Карловны. На минуту все смешалось в общей суматохе. Когда Петровский и Борисов обернулись к Андрееву, его уже не было. Испугавшись минутного своего увлечения (Андреев, по многим причинам, должен был подавлять в себе такие вспышки), он воспользовался всеобщей сумятицей, кинулся в комнаты, подобрал пальто и рисовальную книжку, сброшенную толпой, расплатился с хозяйкой и, полный еще тревожного волнения, направился быстрыми шагами к Крестовскому острову.

V

ВСТРЕЧА

На Крестовском есть, или, по крайней мере, было в то время, одно чудесное место,— это оконечность острова, обращенная к Финскому заливу. Крестовский, начинающийся великолепным парком, покрытым мохнатыми, раскидистыми и тучными купами зелени, между которыми змеятся тоненькие желтые дорожки, мелькают светлые лужайки и маленькое озеро,— постепенно беднеет и суживается, приближаясь к морю. У моста, ведущего на Крестовский, парк почти прерывается; от него остается всего-навсего одна лишь дорожка, которая продолжает остров. Местами высокие кусты, идущие по обеим сторонам дорожки, составляют над ней темный свод и непроницаемую стену зелени, местами расходятся и позволяют различать — слева Малую Невку и противоположный берег, покрытый коренастыми соснами; справа — другой рукав Невы, за ним огороды и пустынное, кочковатое болото. Наконец, дорожка исчезает, сыреет, сглаживается с почвой и неожиданно кончается пучком вековых, серовато-синих елей. Тут собственно кончается

остров, для обыкновенного гуляльщика; но гуляльщик любопытный, наблюдательный, не пропустит случая заглянуть за эти ели – и, право, хорошо сделает. За ними, непосредственно после маленького песчаного обрыва, исполосованного корнями, обмытыми вокруг водой, остается всего-навсего несколько аршин песка, образующего, в соприкосновении с водой, тысячу крошечных мысов и впадин. Впереди расстилается на неоглядное пространство серебристый залив. Слева берег давно уже кончается, и только справа, сквозь дымчатый, лиловый парк, сереет плоский берег Финляндии. Кругом царствует тишина невозмутимая; сюда уже не доходит шум заселенной части соседних островов.

Андреев давно знал это место. Группа столетних елей, брошенных на произвол судьбы, казалась ему всегда выгодным этюдом. Покинув Юргенс, он отправился прямо туда, согласно с планом, обдуманным еще поутру. Но, несмотря на то, что прошло довольно много времени с тех пор, как он покинул художников, он, по-видимому, не прикоснулся даже к рисовальной книге. Очиненный карандаш показывал острие свое между закрытыми листами книжки, лежавшей подле. Сам он сидел на песке и, прислонясь локтем, рассеянно глядел на море. В задумчивости его не было, однако ж, грусти. Он, казалось, с какой-то гордостью припоминал сцену у Юргенс. Горячая, восторженная голова его создавала самые великолепные планы. Счастливо настроенный встречей с Петровским, он уносился воображением в мир искусства; перед ним раскрывалась дружба Петровского, академия, а там, кто знает! – может быть, Италия!.. известность!.. Но вдруг, как бы испугавшись высоты, на которую занесло его воображение, он останавливался посреди воздушного полета, соображая расстояние от земли или действительности. Лицо его внезапно отуманивалось. Но, вообще, это продолжалось не долго; он подымал глаза и снова светлые мечты несли его в беспредельное пространство... А между тем приближался вечер. Солнце садилось. Залив и небо сливались в одно багровое, пылающее зарево, перерезанное искристой полосой горизонта, в которой висели паруса. В воздухе было так тихо, что можно было различать крики рыбаков с отдаленной тони, подымавшейся, помощью длинных свай своих, как журавль над поверхностью

моря. Пробуждаемый чудной картиной, Андреев примирялся с действительностью. Отбросив мечты, он жадно вслушивался в тихий плеск воды, в едва внятный говор рыбаков, в отдаленные звуки колокола, мерно звучавшие с какой-то фабрики, и мало-помалу весь отдавался стройной гармонии потухающего вечера.

Внезапно ему послышались шаги. Он проворно обернулся назад. Но каково было его удивление, когда он увидел над обрывом фигуры Петровского и Борисова.

— А, вот он, наш беглец! Вот он, — закричал Борисов, прыгнув с обрыва на песок. — Ах, голубчик вы мой, — продолжал он, торопливо подбегая к Андрееву, — куда это вы от нас скрылись? Уж я искал, искал... Ну, рад, рад, что встретил... А мы вот только что о вас говорили с Петровским; да скажите же, какими судьбами вы здесь очутились?..

— Я нарочно пришел сюда; я люблю это место, — отвечал Андреев, радостно пожимая ему руку.

— Как видно, мне с вами и в этом суждено сойтись, — весело сказал Петровский, протягивая ему руку, — три года тому назад я приходил сюда почти каждый день; я даже сделал несколько этюдов этих елей, — присовокупил он, протягивая руку к коренастым пням, охваченным последними лучами солнца и казавшимся в эту минуту как будто вылитыми из золота, — и вот теперь, по старой памяти, завернул сюда, и так кстати... Чудный вечер! — продолжал Петровский, сняв шляпу, проводя ладонью по волосам и обращаясь к морю, — чудный вечер! Нет! — заключил он, бросаясь на песок, — напрасно бранят нашу петербургскую природу... Как будто природа, самая скудная и бедная, не имеет своей прелести и поэзии, — блажен тот, кто умеет отыскать ее...

Слабый крик, раздавшийся в эту минуту подле, заставил его оглянуться в ту сторону.

— Превосходно! Отлично! — кричал Борисов, потрясая рисовальной книжкой Андреева, — я тебе говорил, Петровский, я тебе говорил! Это не могло быть иначе...

Андреев протянул было руку, но Борисов предупредил его, проворно подвернул листы книжки и показал Петровскому рисунок карандашом, изображавший опрокинутое дупло, перепутанное косматыми

травами, несколько кустов позади и клочок бурного неба. У Андреева дрогнуло сердце.

— Очень, очень хорошо,— сказал наконец Петровский, отрывая глаза от рисунка и обращая их к Андрееву, у которого занималось дыхание.

— Я тебе говорил, я тебе говорил! — радостно повторял Борисов.

— Скажите, пожалуйста, где вы учились? — спросил Петровский с заметным любопытством.

— Нигде... то есть почти нигде,— отвечал Андреев полусмущенным, полувеселым голосом.

— Странно! — сказал Петровский,— в таком случае, поздравляю вас: ваш карандаш может смело поспорить с карандашом лучших наших молодых академиков.

— Это мне нравится! — горячо перебил Борисов,— а я скажу вам, что никто у нас из молодых художников не нарисует так с натуры, да-с! Скажу это хоть перед кем угодно, хоть в глаза скажу всем и каждому — да-с!

Тут взял он с недовольным видом альбом из рук Петровского и снова принялся рассматривать рисунки.

— Но вы, по крайней мере, много работали? — продолжал спрашивать Петровский, не отрывая удивленных глаз от Андреева, который чуть не прыгал от радости.

— Да, я довольно много работал,— отвечал он,— особенно прежде... теперь мне почти нет времени...

Борисов поднял голову и нетерпеливо воткнул локти в песок.

— Как, нет времени? Чем вы занимаетесь?..

— Извините, нескромный вопрос, но мне не менее удивительно,— сказал Петровский,— я хотел бы знать, чем можете вы заниматься, кроме рисования, достигнув уже такой степени?..

— Я служу,— отвечал Андреев.

— Как! — вскричал Борисов, вскакивая со своего места,— э, голубчик, э! Бросайте весь мир и ступайте в академию!

— К несчастью, этого нельзя сделать,— возразил Андреев, подавляя вздох.

— Э! Полноте! Какие обстоятельства могут быть в ваши лета, голубчик! — воскликнул Борисов, горячась не на шутку.— Вот смотрите: мне далеко за тридцать, а люблю искусство,— все пошло к сатане, все

бросил,— корка хлеба, оборванное пальто, шляпенка — и больше ничего не надо, лишь бы было на полотно и краски... Полноте, дружок, бросьте все, ну, какие обстоятельства, какие? — продолжал он, наступая с жаром.

— Полно, Борисов,— сказал Петровский, качнув головой и указав украдкой на Андреева, который молчаливо сидел на песке.— Послушайте,— прибавил он, взяв за руку молодого человека,— если обстоятельства заставляют вас идти по другой дороге, если это неизбежно,— по крайней мере, не пренебрегайте искусством, работайте... Кто знает, может быть, со временем обстоятельства переменятся, вы будете свободно располагать собой... Вы еще так молоды... У вас есть талант; грешно им пренебрегать! Пожалуйста, не делайте этого... Приходите ко мне, я всегда буду рад видеться с вами. Борисов, с которым я живу, полюбил вас с первого взгляда; в нем и во мне найдете вы добрых товарищей. Оба мы, если не пригодимся к чему-нибудь другому, так будем стараться подбивать вас к работе.

— Господа! — сказал Андреев, глядя на них сияющими глазами,— я не знаю, как благодарить вас!.. Вы меня воскрешаете... Да, я буду работать, как бы ни были грустны мои обстоятельства, как бы они ни вредили мне, я буду трудиться и не брошу искусства.

— Браво! Браво! — воскликнул Борисов,— ах, милый мой! — продолжал он, бросаясь обнимать Андреева.— Петровский! Дай ему руку! Он наш! Откладывать дело нечего: завтра же вы явитесь к нам в мастерскую, принесете все, все ваши рисунки, все до одного, и мы славно проведем день... так, что ли?

— Я так счастлив, так счастлив, что слов не нахожу, как благодарить вас,— восторженно произнес Андреев.

— Покуда еще не за что,— весело отвечал Петровский.— Не забудьте только уговора: приносите с собой, без выбора, все ваши рисунки; после того, что я видел, мне очень любопытно было бы взглянуть на остальное... Пойдемте вместе отсюда; кроме удовольствия идти вместе, вы узнаете, где мы живем.

Сказав это, Петровский взял под руку Андреева, Борисов подбежал с другой стороны, и вскоре все трое очутились на дорожке, ведущей к Елагинскому парку.

Вечер сменился тихой, светлой ночью. Темные

кусты и деревья, озаренные сверху месяцем, блиставшим между ветвями, начинали бросать сквозные тени на дорожку. Небо было усеяно звездами. Легкий ветерок, пробегая иногда между влажными листьями, производил нежный шелест, дополнявший молчаливую гармонию ночи. Кругом было так тихо, что веселый говор трех молодых людей раздавался звучными перекликами с соседних берегов.

Андрееву было так легко на сердце, как еще никогда не бывало. Подобно одинокому, осиротелому ребенку, обласканному в первый раз, ему стоило много усилий, чтобы не броситься на шею новым своим приятелям. Он глядел на Петровского с каким-то восторженным напряжением, прислушиваясь к звуку его голоса, к шуму его шагов и готовый в эту минуту раскрыть перед ним весь запас своих чувств и верований. Надобно быть молодым, чтобы понять, сколько нежного, глубокого чувства пробуждается иногда в душе молодого человека, встретившего симпатичные порывы в людях, которые казались ему прежде недосягаемыми, холодными и совершенно чуждыми. Сам Петровский, вообще несообщительный, серьезный, чувствовал себя почему-то свободным с Андреевым. В словах его было столько простоты и непринужденности, как будто обращались они к старому приятелю.

— Ну, скажите же мне теперь, Андреев! — произнес Петровский, после того, как покинули они Тучков мост, с которого любовались видом Невы, освещенной месяцем,— скажите мне только откровенно, пожалуйста, как понравилось вам общество наших художников у Юргенс?

— Как вам сказать...— отвечал тот,— право, не знаю... не очень...

— Я то же думаю,— возразил Петровский.

— Пожалуйста, голубчик! Будьте вперед осторожнее,— сказал с заботливым участием Борисов,— они добрые ребята, но могут повредить вам; вы будете, бог даст, в академии (я даже уверен в этом), а там не все разделяют наши мысли.

— Разумеется,— вымолвил Петровский,— да вот чего же лучше: вы не успели уйти, как уже начали они трубить бог весть что, насилу я и Борисов могли их усовестить, особенно Вахрушева и Сидоренко... В чем другом они плохи, но распустить втихомолку нелепость — их дело: общая черта всех пустых голов.

— Да! — с жаром возразил Борисов, — да, общая замашка пошляков без сердца и мозгу, пускающих с самодовольной улыбкой тупую остроту свою навстречу всякому благородному порыву души, как бы в оправдание тому, что сами они или отжили способность думать и чувствовать, или, вернее, никогда не думали и не чувствовали!

— Скажите, господа! Что же это за странный народ? Что ж они делают в академии; ну, например, хоть Вахрушев и Сидоренко?

— Ровно ничего — живут себе сложа руки и ждут в сладостном забвении первой золотой медали, то есть то же, что ждать у моря погоды... Если хотите, я сообщу вам легкий физиологический очерк этих господ, то есть Вахрушевых, потому что не надо смешивать их с другими. В академии, слава богу, не все на них похожи...

— Пожалуйста, пожалуйста!..

— Во-первых, нужно вам сказать, что все эти Вахрушевы — незаконные дети наших муз... Впрочем, не думайте, однако ж, чтоб вследствие этого музы, по примеру иных матерей, любили их больше детей законных. Главное то, что ведь они, большей частью, насильно, своевольно навязываются в дети музам. Похвалы на выставке, обращенные к какой-нибудь картине, знакомство с художником, который расскажет им, как живут русские художники в Риме или как пируют у Юргенс, подает им первую мысль переступить порог академии; но чаще всего соблазняет их наш выпускной экзамен. Торжественность при раздаче медалей, звук цимбал, шум, который раздается, когда произносят имя художника, удостоившегося медали, — все это решает судьбу их. В наше время особенно сильно возбуждает такую решимость успех К. П. Брюллова... не правда ли, Борисов?

— Как же, помилуй, братец! Весь гипсовый класс наполовину набит такими господами; я сам многих знаю: тут есть и чиновники, и матушкины сынки, никогда не думавшие прежде об искусстве...

— Да, успех «Последнего дня Помпеи» многим вскружил голову, — перебил Петровский, — разумеется, восторженная настроенность продолжалась недолго. «Последнего дня Помпеи» не удалось им написать в первые два месяца, — тем дело и кончилось. С академией им незачем было, однако ж, расставаться, — ху-

дожники народ веселый. И в самом деле, не бог знает как трудно, лежа на диване, создавать сотнями колоссальные произведения, особенно когда батюшка или матушка, настроенные сынком,— видя в нем (все-таки, судя по успеху Брюллова) нового Микеланджело, который много-много если не через два года получит заказов на полмиллиона,— снабжают его деньжонками. Итак, наш художник посещает классы, но не ради другого чего, как чтобы находиться среди толпы веселых товарищей, ни дать ни взять с той же целью, как наши барыни ездят в театр. В классе время проходит у него не совсем, однако ж, праздно: он подмечает, какая у профессора палка и шляпа, как он говорит и ходит Через несколько времени, смотришь, и у него появилась такая же шляпа и палка; говорил он прежде чисто,— слушаешь, теперь гнусит или картавит. Они вообще заражены мыслью, что художник должен непременно отличаться чем-нибудь оригинальным. Для достижения этого не щадят они деятельности. Во всех других случаях, они покоятся в сладком far-niente[1], то есть ровно ничего не делают. Этюды их — постоянно самые плохие и бесцветные, точно так же, как рисунки и эскизы, хотя на последних никогда не бывает менее двадцати фигур, и содержание всегда сложно и замысловато.

— А между тем заметьте, господа! — перебил Борисов,— никто из истинных художников не говорит с таким жаром об искусстве.

— Это еще, впрочем, лучшая их сторона,— отвечал Петровский,— это доказывает, что в них есть по крайней мере совесть...

— Как! Каким образом?..

— Очень просто. Толкуя всем и каждому с преувеличенным энтузиазмом об искусстве, они думают оправдать в чужих глазах свою лень и тунеядство. Послушайте любого из них; у каждого тысяча самых похвальных замыслов, планов, проектов, картонов, программ и эскизов (заметьте к тому, что размер предполагаемых совершенств искусства не бывает менее двух, трех сажен)... Для исполнения великих своих замыслов ждут они обыкновенно весны или лета,— это уже всегда так водится; в ожидании этого времени, они проводят месяцы в соображениях о цене кра-

[1] Ничегонеделание *(лат.)*.

сок, полотна, натурщика и особенно натурщицы... Наступило лето, и уже сыплются всевозможные проклятия на петербургскую природу: небо серо – писать нельзя; лето проходит, они ничего не делали, и работа откладывается до счастливой минуты, когда первая золотая медаль откроет им путь в Италию. В последнем они все решительно уверены. Они думают единодушно, что уже довольно родиться от какой-нибудь Анны Семеновны, чтобы получать лишние права против других. В суждениях своих они строже всякого другого маститого, опытного профессора. Не зная труда, с каким дается совершенствование, им все кажется легким. По этому самому художника-труженика называют они бездарным немцем; оконченная картина отзывается для них сухостью или «конопаткой», как они говорят: «лепки» нет, «планов, размаху» и т. д. Такие отзывы не мешают им, однако ж, завидовать всякому произведению (без «планов и лепки»), если только оно имело успех. Успех приписывается тогда случаю... О! Я их хорошо знаю!..

– Ну, я также могу этим похвалиться, хотя они мне никогда и не завидовали, – возразил Борисов.

– Сколько общий труд и общая цель способны соединить людей, – продолжал Петровский, – столько же общее тунеядство, лень и бездарность сближают этих господ друг с другом. Нигде, быть может, дух товарищества не преобладает так сильно. И немудрено: там, где связь ограничивается одними мечтами, сладкими грезами да попойками, зависти и другим разъединяющим чувствам нет места. Но самолюбие, – которого у них, как вообще у всех людей, не имеющих на него ровно никакого права, очень много, – не дает им покоя. Но как и чем взять? Отсюда эта аффектация в одежде, как, например, у Вахрушева, если вы заметили, или у Сидоренко...

– Я сам слышал, как Сидоренко говорил, размазывая пальто кистью: «Чтоб сразу, по крайней мере, был виден художник, черт побери!» – заключил, смеясь, Борисов.

Разговаривая таким образом, все трое незаметно почти очутились у академии. Тут Петровский и Борисов расстались с Андреевым, напомнив ему вторично обещание принести завтра рисунки и провести вместе день.

— Да не забудьте ни одного клочка бумажки, смотрите, и приходите как можно раньше: мы вас ждем, и кофейку сварим! — крикнул Борисов, неожиданно выглядывая из калитки.

Но Андреев был уже далеко. Он бежал, подпрыгивая по мостовой и благословляя счастливый день, давший ему таких приятелей, как Петровский и Борисов.

VI

МАСТЕРСКАЯ

«Идти мне сегодня в должность? Да или нет?» — с таким вопросом проснулся Андреев, полный светлых впечатлений вчерашнего вечера. «Нет, не пойду!» — заключил он, окончательно раскрывая глаза. «Что ни говори крестный отец, а исправнее меня нет у него покуда подчиненного... В полтора года я, кажется, всего два раза не явился на службу, да и то по болезни. Я хочу, чтоб нынешний день ничто не омрачало; чтоб был он так же хорош, как вчерашний». Андреев оделся торопливо, выпил стакан чаю и принялся собирать рисунки. Не утаив ни одного клочка бумаги, он запер за собой дверь, отдал ключ Варваре Гавриловне и выбрался из дома.

Нечего говорить, как длинен показался ему путь от Новых мест до Васильевского острова и до ворот академии. Расспросив у сторожа, как и куда пройти в мастерскую Петровского, Андреев очутился вскоре в длинном внутреннем коридоре, огибающем вокруг все здание академии художеств. Тут, однако ж, сердце как будто несколько изменило ему. Каждый шаг, каждый взгляд давал чувствовать Андрееву неизмеримое расстояние, которое находилось между настоящим его положением и тем, что его окружало. Проходя поминутно мимо дверей, на которых были начертаны имена знаменитых художников и профессоров, Андреев останавливался, пронятый насквозь нерешительностью и страхом. «Сколько таланта, неусыпных трудов, силы воли и, наконец, случая или счастливой обстановки нужно было, чтобы достигнуть известности и славы!» — подумал Андреев. Мысль эта отнимала у робкого его сердца последнюю уверенность и силу.

Как путник, внезапно очутившийся посреди необъятно-громадной картины природы, он чувствовал все свое ничтожество в виду имен, гремевших чуть ли не во всей Европе. Он бросил на длинный сверток своих рисунков грустный, безотрадный взгляд,— взгляд, какой бросает нежная мать на детище, оказавшееся слабым и никуда не способным, тогда как она, бедная, увлеченная к нему всеми своими чувствами, возложила на него все свои мечты и надежды. С такими чувствами постучался он нетвердою рукой в клеенчатую дверь с надписью мелом: «Мастерская художника Петровского».

— А, голубчик! — закричал Борисов, отворяя дверь, обнимая Андреева и вталкивая его в мастерскую, что делалось в одно и то же время,— а мы уж думали, вы заспесивились и не придете, ну, ну... э! какой славный, честный сверток,— присовокупил он, взяв в руки сверток и поднимая его над головой,— я тебе говорил, Петровский, я тебе говорил... ну, ну, посмотрим...

— Полно, Борисов! Дай ему, братец, отдохнуть,— сказал Петровский, укладывая на деревянный табурет палитру и кисти.— Здравствуйте, Андреев! Здравствуйте,— продолжал он приветливо,— очень рад вас видеть.

Тут Петровский подошел к пришедшему и с радостным чувством подал ему обе руки. После первых приветствий с той и другой стороны и пока Борисов хлопотливо приставлял к свету стол и стулья, освобождая их от хлама, неизбежного спутника всех художников, Андреев окинул жадным взглядом мастерскую.

Она состояла из очень высокой, квадратной комнаты темно-кирпичного цвета, выходившей на угол и освещенной с каждой стороны угла одним огромным окном, закругленным сверху. Окно налево было занавешено с середины до низу красноватым коленкором, прибитым гвоздями и падавшим густыми, пыльными складками на пол, заваленный на этом месте разбитыми гипсами, черепками и рамами. Другое окно было целиком закрыто старым клетчатым одеялом и заставлено сверх того папками и этюдами, обращенными лицом к стеклу. Свет из первого окна, оставленный сверху, падал косыми голубыми лучами прямо на картину, поставленную на мольберт и перегораживавшую комнату на две половины. Большей ча-

сти мастерской сообщался поэтому какой-то горячий, желтоватый полусвет, часто встречаемый на фламандских картинах. В этом полусвете, на темных стенах, мелькали гипсовые головы, суровые и улыбающиеся, угловатые и грациозные, маски, члены, гравюры, полотна, палитры; выгнутый шиворот-навыворот манекен выглядывал подле, из черного угла, вместе с оборванными лохмотьями шаманского костюма, висевшими на гвоздике, и посреди всего этого беспорядка спокойно вырезывалась строгая гипсовая фигура Германика, поставленная на деревянные подмостки и причудливо раздрапированная синей шерстяною материей. В углу, против картины, стояла узенькая сосновая постель Петровского; к подушкам примыкал ночной стол; на нем, вместе с подсвечником, чернильницей и бумагами, лежала «Илиада», несколько чертежей Флаксмана и целая кипа старых гравюр с Рафаэля, Пуссена и Лесюера. Часть комнаты позади картины принадлежала Борисову. Тут уже беспорядку конца не было. Одежда, краски, склянки с маслом, кисти, кончики сигар, сапоги – все мешалось вместе, как в винегрете. Луч солнца, скользнувший поверх картины Петровского, проникал в этот хаос и, изломавшись, как молния, по стене, играл и дробился на стакане с прилипшим к боку обрезком лимона, кофейнике, бутылках и горшках, устилавших поверхность небольшой железной печки, служившей Борисову вместо ночного столика. Посреди владений Борисова возвышался долговязый мольберт, уставленный в одно время несколькими пейзажами, один на другой. Угол этот, ни дать ни взять, был вечно похож на прихожую женатого художника в минуту пожара, несмотря на суеты и хлопоты бедного Борисова, проводившего день-деньской в уборках и приведении всего в лучший, строжайший порядок.

Дело в том, что на Борисове лежала хозяйственная часть мастерской, как то: варенье кофе, подогревание воды, починка, штопка и проч. Наделенный природой небольшими способностями, но весь преданный любви к искусству и Петровскому (что для него составляло почти одно и то же), доходившей до фанатизма, добрый, как голубь или ягненок, Борисов ни за что в свете не хотел уступить хлопоты товарищу и постоянно метался, как маятник, от начатой картины к кофейнику, от ящика красок к печке или иголке. По-

следнее время особенно сбивало с толку Борисова. С первого же дня, как Петровский начал новую свою картину, Борисов принял на себя добровольно и с самым добродушным увлечением роль бабушки этой картины. Петровский, страстно полюбивший свое произведение, далеко так не беспокоился о своем детище, как Борисов. Борисов ходил за картиной, как за ребенком. Тысячу раз на день подбегал к ней, разглядывал, щупал, стирал пыль, щурил глаза, натирал ладонью лоб докрасна и с озабоченным видом брался за собственную кисть. Сколько ни старался Петровский успокоить своего товарища, он ровно ничего не мог сделать. Окинув взглядом мастерскую, Андреев внезапно остановил глаза на картине Петровского.

— Ага! Ну что, каково мы пишем-с?.. а? а? Как вам нравится, дружок, эта картиночка? Что вы скажете? — говорил Борисов, обнимая Андреева и как бы благодаря его за восторженное выражение лица.

Картина изображала блудного сына, застигнутого посреди угрюмого стада, во время грозы и раскаяния. Андреев пожирал глазами каждый удар кисти, каждую черту.

— Думаю-с! — сказал Борисов, шутливо трепля его по плечу, — я думаю, любитель скажет нам за нее спасибо?..

— Какой любитель? — воскликнул Андреев.

— Любитель, заказавший эту картину, — продолжал Борисов, махая руками и не обращая внимания на Петровского, который стоял позади и давал ему знаки молчать. — Петровский, нужно вам сказать, — крикнул Борисов, — получил нынешней весной за «Агарь в пустыне» первую золотую медаль и должен был ехать в Италию... да у Петровского, дружок мой, есть мать и сестра, которых он хочет обеспечить на то время, как будет в Италии... вот потому-то он отложил поездку и принял заказ одного любителя... Аллегория недурна по этому поводу... а? Блудный сын! Петровский — блудный сын!.. Ну, а что вы скажете о Вахрушеве и Сидоренко?.. Я думаю, они не напишут лучше?..

Тут Борисов ухватился за бока и залился добродушным своим смехом.

— Ну что, как вам, голубчик, понравилась наша мастерская, наше житье-бытье? — продолжал Борисов, увлекая Андреева в свой угол.

— Чудо! Чудо! — восклицал юноша, не зная, куда обратить глаза, — чудо! Я даже с наслаждением вдыхаю в себя этот воздух.

— Пропитанный терпентином и красками! — смеясь присовокупил Борисов, — еще бы! Запах этот должен быть точно так же мил истинному художнику, как запах пороха настоящему воину, какому-нибудь кавказскому солдату!

Пока Борисов говорил, Петровский откинул коленкор, занавешивавший окно, придвинул к нему стол, приготовленный Борисовым, и разложил на нем сверток Андреева. Андреев и Борисов подбежали к столу.

— А! а! а! ну, ну!.. вот это ладно, посмотрим, посмотрим, — говорил Борисов, прижимаясь к Андрееву и потирая руки, — вот это дело, — что дело, то дело!..

— Можно? — произнес Петровский, обращаясь с доброй улыбкой к Андрееву и восторженно пожимая ему руку. — Но что с вами? — присовокупил он, тревожно глядя ему в лицо.

— Что с вами? — повторил Борисов, испугавшись не на шутку беспокойству, показавшемуся внезапно в чертах Андреева.

— Господа! — отвечал юноша взволнованным голосом, — до сих пор я еще никому в свете не показывал своих рисунков; вы еще не знаете... Скажу вам откровенно: тут все мои мечты, все надежды... Ради бога, не шутите со мной, — прибавил он, подымая на двух художников смущенное лицо, — скажите мне прямо, искренно ваше мнение... Я ценю ваши мнения, и пристрастный отзыв может увлечь меня... Кто знает, ваши слова могут решить судьбу мою, а я должен быть заранее твердо уверен в своих силах, чтобы пожертвовать настоящим положением и посвятить себя живописи... В противном случае, я подвергаю гибели не только себя, целое семейство... Ради бога, не шутите со мной и скажите правду!..

— Послушайте, Андреев, если это так, — сказал Петровский твердым голосом, — даю вам честное слово, что употреблю все свое внимание, всю свою опытность, все знание этого дела и, отбросив в сторону все предрассудки, все мелочи, скажу вам с братской искренностью свое мнение... Впрочем, вы можете быть уверены, что я не поступил бы иначе с вами ни в каком случае: это мой обычай, — прибавил он, расправляя брови и дружески пожимая ему руку.

— Клянусь вам честью! — закричал в свою очередь Борисов, но увидя, что лицо Андреева просветлело, он взял его под руку и повел к столу.

Петровский развернул сверток. Все нагнулись к рисункам, и сердце Андреева снова забилось. Петровский молча и медленно принялся пересматривать каждый рисунок, изредка лишь прерываясь, чтобы взглянуть на Борисова, который поминутно бросал взгляды на Петровского и, уловив на лице его одобрительное выражение, не мог выдержать, чтобы не вскрикивать каждый раз:

— Чудесно! Превосходно! Я тебе говорил, Петровский! Я тебе говорил!..

Но когда рисунки пришли к концу, Петровский поспешно поднялся со своего места и подошел к Андрееву.

— Верите вы мне? — спросил он, глядя ему пристально в лицо своими темными глазами.

— Верю! — твердо отвечал Андреев.

— В таком случае, скажу вам, что у вас такой талант, какого еще мне не приводилось видеть! Да, — прибавил он, — какие бы ни были ваши обстоятельства, — смело жертвуйте всем для искусства, и, верно, ни вы, ни ваше семейство не останетесь в проигрыше... Чтобы рассеять окончательно ваши сомнения, позвольте мне завтра же показать ваши рисунки некоторым из наших профессоров?.. Я заранее уверен в блистательном успехе... Тогда, после этого, мы смело начнем действовать, — не так ли?

Андреев согласился во всем. Он не помнил себя от радости.

— Ну, Борисов, полно тебе обнимать его, — сказал Петровский, — успеешь еще, теперь можно надеяться, что часто приведется видеться, — свари-ка нам на радость кофе, — это будет лучше! Ведь он у нас хозяйка, Андреев, — вы еще этого не знали? — смеясь, присовокупил он, подмигивая на Борисова, который метнулся в свой угол и загремел посудой.

Спустя несколько времени, Петровский раскрыл перед Андреевым все свои папки, показал ему все свои эскизы, этюды и эстампы. Следствием этого было то, что Петровский окончательно растерялся в заключениях своих насчет молодого человека. Сведения последнего в изящных искусствах, очевидно, превосходили его практические познания. Встречая эстампы

с великих мастеров, он толковал о них, как бы век был окружен ими. Различие школ, биографические замечания,— он ни перед чем не останавливался.

— Послушайте, Андреев,— сказал, наконец, Петровский, после минутного молчания, окидывая молодого человека удивленными глазами,— я верю, что с большим природным талантом можно совершенствоваться без стороннего пособия, можно даже сделать значительные успехи,— но скажите, бога ради, каким образом... откуда вы знаете все это?..— присовокупил он, указывая на кипы эстампов, разбросанных по столу.

— Что ж тут удивительного?..— произнес, краснея, Андреев.

— Я тебе говорил, я тебе говорил! — крикнул Борисов, неожиданно высовывая голову из-за картины и размахивая руками, обнаженными до локтей.

— Как, что удивительного! — возразил Петровский.— Вы, вероятно, не знаете еще, какое чудо встретить между нами человека с артистическим образованием,— но это уже другой вопрос — скажите, пожалуйста, где вы воспитывались?

— Нигде.

— Может ли быть?

— Серьезно.

— Тогда вы, вероятно, с тех пор, как ходить начали, до настоящего времени прожили в Эрмитаже или в какой-нибудь значительной галерее, наполненной, кроме картин, эстампами и книгами...

— В Эрмитаже я был всего три раза,— смеясь отвечал Андреев,— времени не было бывать чаще,— наконец, я вовсе и не жил в Петербурге.

— Где же?

— В провинции.

— Вы давно здесь?

— Скоро два года.

— У меня просто руки отнимаются! Помилуйте, я очень хорошо знаю нашу провинцию: там трудно чему-нибудь научиться; если б вы обнаружили богатые познания в собачьих породах, в разыскивании заячьих или волчьих следов, в лошадиных мастях,— я бы легко вам поверил,— но получить в провинции светлые понятия о художествах... согласитесь сами...

— Вас, вероятно, еще больше удивит, если скажу

вам, что всему этому способствовала бедная провинциальная девушка...

– Что вы говорите?

– Я тебе говорил, Петровский, что тут что-нибудь да есть такое... – закричал Борисов, показываясь из-за картины с кофейником в руках.

– Да, сестра моя, – сказал Андреев.

– Вы простите мне мое любопытство?

– Расскажите, голубчик, расскажите, дружок, – заговорил Борисов, подбегая торопливо к гостю.

– История не очень веселая, – начал со вздохом Андреев. – Нужно вам сказать, что отец мой служит в уездном городе. Шестнадцать лет тому назад, кроме службы, он занимался еще делами одной знатной барыни; имение ее находилось в пяти верстах от нашего города. Мы были еще тогда дети, т. е. мне только что минул шестой год, сестре – двенадцатый. У меня есть еще две сестры, – но те были уже тогда взрослые. Отправляясь очень часто летом по делам графини, отец имел обыкновение брать с собой меня или младшую сестру мою. Сестра понравилась графине. Часто она оставляла ее у себя на несколько дней. Мало-помалу старушка привязалась к девочке. Кончилось тем, что она взялась воспитать ее, выпросила ее у отца, и в один прекрасный день узнали мы, что старая графиня уехала в Петербург и взяла с собой сестру. Графиня прожила в Петербурге четыре года сряду. Не думая, хорошо ли, дурно ли будет, она окружила ее учителями, одевала как куклу, – словом, сделала из нее барышню, которая была ничем не хуже ее племянниц и внучек. Необыкновенные успехи сестры подстрекали самолюбие старушки. Сестра была хороша собой, – все были от нее в восторге; графиня выставляла ее всюду, как свою воспитанницу. Расстроенное здоровье старухи заставило ее ехать за границу; она взяла с собой сестру. Таким образом, они объехали почти всю Европу и, наконец, основались года на два в Италии. Графиня была женщина с современными понятиями; она любила изящные искусства, часто приглашала к себе художников и поощряла всеми средствами врожденную склонность сестры к живописи. Кончилось все это, однако ж, очень печально... как, впрочем, и должно было, рано или поздно, кончиться. Графиня приехала в Петербург, прожила еще два года и скончалась, не успев да-

же сделать никаких распоряжений насчет сестры. Наследники отправили сестру домой. Семейство мое... да что вам говорить: вы поймете положение девушки, воспитанной со всей роскошью утонченного аристократизма,— и вдруг брошенной в бедный уездный городишко, посреди круга становых и заседателей... Много нужно было бы силы, воли, терпения, чтобы выдержать такую жизнь безропотно... Оскорбленная (невольно, разумеется) на каждом шагу всем, что ее окружало, отчужденная воспитанием и понятием от всех близких,— она невольно как-то искала тогда сблизиться со мной. Мне было тогда четырнадцать лет, ей — двадцать два. Я был мальчик кроткий и тихий, очень любознательный, очень любопытный. С первых же дней я полюбил ее со всей пылкостью детского сердца. К тому же я был почему-то заброшен в доме,— старшие сестры меня не любили,— это обстоятельство сблизило нас еще более. Вскоре мы стали неразлучны. Не могу передать вам, с каким самоотвержением, с какой материнской нежностью следила она за моим развитием. Заметив во мне склонность к рисованию (я тогда еще чертил мелом и углем по заборам), она тотчас же принялась учить меня. Надо вам сказать, что после графини остался у сестры, кроме тряпья и платьев, целый сундук книг, литографий и эстампов, подаренных ей в разные времена графиней. Книги были большей частью художественные: Лессинг, де-Пиль, Катремер-де-Кенси, Зульцер, Лересс, Ватле, Альгаротти... Она окружила меня ими. Целые дни проводил я у нее в светелке, перерисовывая в сотый раз какой-нибудь эстамп и заслушиваясь рассказов об Италии и художниках. Как одинокий мальчик, я развивался не по летам,— общества у меня не было. Многое начинало уже тогда проясняться в голове моей. Часто, в сумерки, когда я сидел с ней, мне вдруг становилось грустно, грустно за нее, за себя, за всех почему-то, и я бросался, рыдая, к ней на шею. Э! да что говорить, господа,— поверьте, грустная история...

— Где ж теперь ваша сестра? Что с ней?..— спросил с участием Петровский.

— Да, да, где она? — произнес Борисов, щуря серенькие свои глазки.

— Там... дома...— отвечал Андреев, отворачиваясь к окну.

Борисов взглянул украдкой на Андреева, потом на Петровского и вдруг захлопал в ладоши и закричал, бегая и суетясь по мастерской:

— Господа, кофе готов! — садитесь, поскорее, садитесь, не то простынет...

— И в самом деле, мы совсем было забыли; Андреев, давайте завтракать! — сказал Петровский, взглядывая на Андреева и стараясь улыбнуться.

— Господа! Честь имею донести, что кофе будет отличный: полчаса кипел! — произнес Борисов, торопливо ставя на стол поднос, покрытый стаканами и сухарями. — Голубчик, кладите сахар! Положили?.. Петровский, не замечаешь ли ты, как вдруг стало у нас мало сахару?..

— Нет.

— Ну, господа, держите теперь стаканы, — хлопотливо говорил Борисов, подымая кверху кофейник. — Батюшки, а что это такое?.. — произнес он, разглядывая стакан Андреева, в который вместо кофе полилась какая-то беловатая густая жидкость, — ах, батюшки, что я наделал!..

Петровский поставил блюдечко на стол и залился смехом. Андреев обмочил губы в стакан и последовал примеру Петровского.

— Что такое? Что это значит?.. — повторил Борисов, стоя в каком-то недоумении, с кофейником в одной руке, с полотенцем в другой.

— Помилуй, Борисов, знаешь ли, что кипятил ты так усердно вместо кофе, — ну, как ты думаешь?..

— Что такое?.. Что я такое кипятил? — повторил Борисов, недоумение которого возрастало с каждой секундой, — что я кипятил такое?..

— Сахар! — произнес, задыхаясь, Петровский.

— Может ли быть?

— Серьезно — вот отчего тебе вдруг показалось, что его стало меньше, — я думаю, ввалил, вместо кофе, целый фунт сахару.

— Эх, ведь и в самом деле! — воскликнул Борисов, шлепая себя по лбу, — эх, господа, а все вы: та-та-та-та... заслушался я вас, развесил уши, да и наделал дела... Ну, пеняйте на кого хотите, только угольев больше нет!..

Это обстоятельство развеселило всех присутствующих. Часа в три Петровский вызвался вести Борисова и Андреева к Гейде. Те приняли приглашение, и вско-

ре мастерская опустела. Остаток дня проведен был на островах, и веселье, начавшееся так внезапно в мастерской, ни разу не прерывалось до самого вечера.

Часу в десятом Андреев вернулся домой.

— Ключ у вас? — спросил он, постучав к Варваре Гавриловне.

— Катерина Андреевна взяла его, — отвечала та.

Андреев подошел на цыпочках и приложил ухо. За дверью раздавалась качуча, сопровождаемая щелканьем пальцев и шарканьем по полу. Затаив дыхание, Андреев потихонечку вошел в комнату.

На полу горели две свечки и еще какой-то огарок, воткнутый в чернильницу: посреди этой иллюминации стояла Катя. Приподняв слегка платье и юбку обеими руками, она глядела себе на ноги и выделывала самые замысловатые па, подпевая слова известного куплета:

> Тальони, прелесть, восхищенье,
> Так неподдельно хороша-а-а-а! и т. д.

Андреев не дал ей докончить и бросился обнимать ее. Но Катя рванулась вперед, подняла свечки, села в кресло, надула губки и повернулась к нему спиной; все это было делом секунды.

— Катя, душенька, ради бога, не сердись на меня, — говорил Андреев, целуя ей руки, — полно ребячиться, будь весела сегодня, ты не поверишь, как я нынче счастлив, полно тебе...

Катя быстрым движением повернулась к нему лицом, окинула его проницательным взглядом и, хмуря тоненькие свои брови, сказала:

— А, вы сегодня счастливы! Очень рада!.. Ступайте к тем, кто вас делает счастливым...

— Полно, Катя, что за глупости!..

— Не хочу, не хочу, не хочу!.. — закричала она, ежась на своем кресле, как вьюн на свободе, — не хочу! Вот славно, он оставляет меня одну, не видит по целым дням, и потом я еще и весели его... да, да, полноте... О! я вас знаю! — присовокупила она, сердито качая головой, — вы вечно со своими художниками, вы для них готовы тысячу раз променять меня... Ну, так не хочу же и я скучать без вас; и я сегодня весела! — прибавила она, прыгнув внезапно на пол и принимаясь скакать по комнате.

— Давно бы так! — весело сказал Андреев, преследуя Катю, которая каждый раз перевертывалась на

одной ножке и, сделав ему гримасу, бросалась в сторону, – проведем вечер вместе, пойдем гулять; ты расскажешь мне, что ты делала в эти два дня, а я расскажу, что со мной случилось, хочешь?..

– Ну, хорошо, – сказала Катя, неудовольствие которой рассеялось в ту же секунду.

– Во-первых, какой добрый гений принес тебя сюда?

– Я была у Левицких! Ах, если б ты знал, как там было весело... сколько народу... – отвечала она, восторженно размахивая руками.

– Опять, – сказал Андреев недовольным голосом, – ты для меня ничего не хочешь сделать. О! Сколько раз я просил тебя бросить этих Левицких... Скажи на милость, ну, что общего может быть между ними и тобой?.. Поверь мне, это не поведет к добру... ты никогда не хочешь мне верить...

– Бррр... – произнесла Катя, быстро проводя ладонью по губам его, – пожалуйста, не говори пустяков...

– Я правду говорю...

– Опять! – закричала Катя, зажимая ему рот, приподымаясь на носки и грозя ему пальцем. – Ну, миленький, ну, дружок, не сердись, перестань, – прибавила она, передразнивая Андреева.

Оба засмеялись.

– Давно бы так! – сказала в свою очередь Катя, повиснув у него на шее, – ну, пойдем гулять!..

И вскоре оба шли рука об руку, весело огибая пустынные заборы и переулки. Ночь была тихая и ясная. Полный месяц медленно плыл по синему, звездному небу, осеребряя дорогу, кровли и здания.

VII

СВЕТ И ТЕНЬ

Дней пять после знакомства с Петровским и Борисовым Андреев возвращался часу в третьем из должности домой. Проходя по двору, он не взглянул даже на окно Кати. Он казался каким-то озабоченным и рассеянным. Очевидно было, что мысли его находились далеко от всего окружающего. Подымаясь по лестнице, Андреев услышал за поворотом разговор,

посреди которого то и дело повторялось его имя. Он невольно остановился и стал прислушиваться.

— А кто его знает, отец родной, здесь, кажись, нет такого... — повторял сиповатый женский голос.

— Как, быть не может, голубушка! — торопливо перебил мягкий ласковый голос, — быть не может!.. Дворник сказал мне, что на этой лестнице; вспомните: среднего роста, бледный, белокурый, вы его, верно, видели, — помилуйте, как не знать: чиновник Андреев!

— Чиновник! — возразил с уверенностью сиповатый голос, — давно бы так сказали, отец родной, ступайте на самый верх, налево...

Дверь хлопнула и вслед за тем послышалось нетерпеливое шарканье чьих-то подошв по верхним ступеням лестницы. Андреев пустился вдогонку и прямо против дверей своей комнаты столкнулся нос с носом с Борисовым.

— А! голубчик, — вскричал художник так же радостно, как бы встретил родного брата после трехлетней разлуки, — слава богу, наконец-то я вас поймал!.. Хорошо, нечего сказать, пять дней и глаз не кажет!.. Ну, Андреев, что было в это время, если б вы только знали, голубчик, что было!..

И не дожидаясь ответа, он тащил Андреева вниз по лестнице. Напрасно он увещевал Борисова войти в комнату и отдохнуть, представляя ему его усталость и дальность предстоявшей дороги. Борисов ничего не хотел слышать; он ограничивался только тем, что отирал пот, капавший с лица, и тащил своего приятеля вон из дома, приговаривая:

— Э! голубчик, какой тут отдых! Не до того теперь: скорей, скорей к Петровскому!..

— Что же такое случилось? — спросил Андреев, обнаруживая явное нетерпение.

— Случилось то, что... да нет, нет, не подденете... я сдержу обещание: не скажу ни слова... Узнаете... все узнаете в свое время.

Тут Борисов поднялся на носки, глянул украдкой в лицо Андреева, восторженно потрепал его по плечу и, взяв его под руку, снова потащил по улице, крепко сжав, однако ж, на этот раз губы, как бы боясь против воли проронить лишнее слово. Так прошли они несколько времени.

— Ну, Андреев, какие новости! — начал неожиданно Борисов.

Андреев насторожил слух.

— Нет,— вскричал тот,— ни за что на свете! Выдержу до конца.— Петровский останется доволен!

Молчание Андреева видимо подстрекало болтовню Борисова. Пройдя еще несколько шагов, он отошел в сторону, остановился, взглянул на товарища, потер руки и засмеялся.

— Довольно, Борисов,— сказал Андреев,— полно вам меня мучить, объясните мне, что все это значит?

Борисов шагнул вперед, быстро оглянулся на все стороны и махнул отчаянно рукой.

— Эх, черт побери, не выдержал! — воскликнул он.— Ну, уж теперь заодно, все равно...

Он поспешно пригнулся к уху товарища и произнес скороговоркой:

— Все профессора в восторге!.. Петровский показывал им ваши рисунки... Ну, дружок, ага?.. Какова новость? — прибавил он, взглянув в лицо Андреева, покрывшееся внезапным румянцем,— ну, что, весело теперь? А? Еще бы! Еще бы! — продолжал он, не дождавшись ответа.

И желая, вероятно, вконец обрадовать приятеля, он принялся передавать ему, от слова до слова, все, что говорено было профессорами, не выключая ни замечаний, ни похвал, ни даже выражений лица, движений, интонаций, характеристики и физиономии каждого профессора при этом случае. Рассказ Борисова заключал в себе такие подробности, такую точность, что когда Андреев очутился в академии и Петровский передал ему свои четырехдневные похождения, он не услышал уже ничего нового.

— Послушайте, Андреев,— заключил, наконец, Петровский, обнаруживая некоторое удивление,— в продолжение всего времени, как я говорил с вами, я не спускал глаз с вашего лица: скажите, с вами, верно, что-нибудь случилось неприятное... вы совсем не тот, что были пять дней тому назад... Что с вами?

— Да, я сам это заметил,— говорил Борисов, обращаясь мгновенно к Андрееву, который обнаруживал сильное волнение,— я сам это заметил; чего бы, кажись, лучше: все ему улыбается... За четыре дня он с ума сходил при одной мысли об академии, теперь академия ему открыта, то есть сделайте только милость, потрудитесь войти, а он нахмурился, и как бы

глядеть на академию не хочет... Он нас обманул. Петровский, он просто не любит искусства.

— В самом деле, Андреев, глядя на вас в эту минуту, и особенно при настоящих обстоятельствах, невольно согласишься с Борисовым... Ну, полноте, садитесь, расскажите, почему, вместо того, чтобы радоваться вместе с нами, вы смотрите сентябрем?

— Вот видите ли, господа,— сказал Андреев,— в эти четыре дня я много обдумал, много пересудил...

— Что ж из этого следует? — нетерпеливо перебил Борисов.

— Мы затеваем страшное дело,— отвечал Андреев не совсем твердым голосом.

— Отчего, что такое?..— спросил Петровский.

— Оттого, что я не завишу от себя, не могу располагать собой и ни в каком случае не должен бы оставлять службы... в последний раз я непростительно увлекся...

— Как вам не стыдно! — возразил Борисов, потрясая с комическим достоинством свою пушистую голову.— Что за слабость! Неужели какие-нибудь шестьсот или семьсот рублей жалованья заставляют вас колебаться? Нет,— быть не может! Неужели у вас недостанет силы и духу потерпеть какие-нибудь дрянные четыре года, лишить себя на время этих дрянных финтифлюшек, жилетишков и розовых галстучков?.. Посмотрите, я постарее вас, а вот видите...— присовокупил Борисов, трепля с каким-то азартом лацканы своего коричневого, рыженького пальто.

— Нет, Борисов, вы ошибаетесь,— перебил Андреев с грустной улыбкой,— у меня хватило бы силы отказаться не только от розовых галстуков, о которых вы говорите, но даже и от самых необходимых вещей, если б на то пошло; да дело в том, что часть из этих пятисот рублей жалованья (я получаю всего пятьсот), если не обеспечивает мое семейство, так, по крайней мере, служит ему залогом будущего обеспечения... Если я оставлю службу и брошусь в академию, скажите, пожалуйста, откуда буду я брать эти сто рублей, которые посылаю каждый год из своего жалованья домой и без которых решительно не могут обойтись мои родные?.. Кроме этого, отец и мать убеждены, что в жизни положительное одно только — служебное место. Кто уверит их, не разрушив их спокойствия, что, сделавшись художником, я обеспечу их со временем

вдесятеро надежнее? Кому они поверят? Но это куда бы еще ни пошло,— положим, они бы поверили, успокоились и могли бы обойтись без моих ста рублей,— теперь другой вопрос: в эти четыре года, как я буду в академии, откуда я возьму денег, чтобы жить, съесть утром и вечером кусок хлеба, иметь пристанище, покупать полотно, карандаши и краски?.. Нет, господа,— продолжал он голосом, в котором слышны были слезы,— не лучше ли нам оставить все это? Что ж делать!.. Разумеется, что говорить, горько думать, сознавая в себе силы, что судьба твоя зависит от каких-нибудь тысячи рублей в год, что есть на свете Италия, Рим, и что придется умереть в каком-нибудь глухом уездном городке, не видав ни Рима, ни Италии!.. Вы правы, Петровский: в эти четыре дня я много переменился... поверите ли — я почти примирился со своей долей...

— Нет, этому не бывать! — закричал Борисов, отчаянно размахивая руками,— этому не бывать! Андреев! Вы должны с нынешнего же дня бросить все пустые предрассудки; с нами вам нечего церемониться; я делюсь пополам с вами всем, что у меня есть!.. У Петровского семья,— он другое дело. Если вы не согласны,— буду иметь честь объявить вам, что делаю это не для вас, а для искусства, во имя вашего таланта... Я, наконец, делаю это из интереса: талант ваш ручается мне, что через четыре года я возвращу все свои убытки,— если только будут убытки!..— прибавил он торжественно, закинув руки назад и принимаясь расхаживать по мастерской.

— Борисов совершенно прав,— сказал с живым участием Петровский,— падать духом и примиряться, как вы говорите, с вашей долей — решительно незачем. Вы можете оставить свою должность, не нанося вреда ни себе, ни семье своей. Борисов передал вам свой план, я предлагаю со своей стороны также свой: с завтрашнего же дня вы подаете в отставку и переезжаете к нам в мастерскую. Мастерская нам ничего не стоит, и потому вы можете принять наше предложение без возражений. Что ж касается до денег, которые вы должны посылать родным,— можете быть покойны. У меня отбою нет от разных чиновников, которые просят портретов жен и дочек. Сделать портрет карандашом,— для вас сущий вздор. Я вам передаю свою практику. Ни я, ни Борисов не пострадаем от

этого. Я пишу программу,— как видите,— и мне некогда; у Борисова свои заказы. Вы, я уверен, столько любите искусство, что не увлечетесь деньгами и не сделаете из портретов чиновничьих жен и дочерей своей специальности... У вас, следовательно, явится не сто рублей, а гораздо больше...

— Браво, Петровский, браво!..— закричал Борисов, хлопая в ладоши и подпрыгивая в воздухе.— Браво! Ну, что, Андреев, а? — попался, голубчик!..

— Итак,— перебил Петровский,— завтра утром вы переезжаете к нам?

Молния радости блеснула в глазах Андреева; но он вспомнил Катю и замялся.

— Нет, я не могу этого сделать,— произнес он, потупляя голову и краснея до ушей.

— Фу-ты, пропасть! Это из рук вон! — воскликнул Борисов, махнув рукой.

— Что ж вам мешает? — спросил Петровский.

— Я вам после расскажу,— отвечал Андреев,— но только, ради бога, не спрашивайте меня...

— В таком случае, дайте мне честное слово, что исполните в точности то, о чем попрошу вас,— произнес Петровский,— тут нет решительно ничего, чего бы вы не могли исполнить.

Борисов насторожил уши.

— Даю вам честное слово! — сказал Андреев, горячо пожимая руку художника.

— Вы должны ходить в академические классы.

— Петровский, целую тебе руки и ноги! — вскричал Борисов.— Да, вы должны ходить в классы,— заключил он, грозно подбегая к Андрееву.

— Служба ваша от этого нимало не пострадает,— продолжал Петровский,— а между тем вы будете идти вперед и усовершенствуетесь в рисунке; классы, как вам известно, от пяти до семи часов вечера.

— Неужели вы думаете, что я давно бы этого не сделал, если б только удалось мне прежде попасть между вами обоими,— отвечал Андреев.— Меня брало всегда раздумье,— я не доверял себе... До сих пор я жил в Петербурге, как в лесу,— один, и с каждым днем более и более падал духом.

— Итак, дело кончено! — торжественно произнес Борисов, негодование которого обратилось тотчас же в нежность.— Вы наш! Петровский! Обними нового товарища!..

— Ну, Андреев, когда же в классы? — весело спросил Петровский.

— Как, когда?.. Разумеется, завтра же!.. — перебил Борисов. — Утром возьмет билет, запишется в конторе, отобедаем вместе, а вечером все трое отправимся в классы.

— Завтра невозможно... — отвечал с явной неловкостью Андреев.

— Как! Отчего?..

— У меня денег нет... то есть покуда... а впрочем, через восемь дней я получу жалованье... и... тогда...

— Но ведь вы получаете пятьсот рублей всего, — произнес Петровский. — Сто должны посылать домой, останется четыреста... Сколько же вам придется получить в месяц?..

— Тридцать три с полтиной...

— Ну, хорошо; вы возьмете билет, — он стоит тридцать рублей, — на житье останется, следовательно, в будущий месяц, всего три рубля!.. Вот прекрасно! А карандаши, а бумага? — сказал Борисов, горячась и не обращая внимания на Петровского, который делал ему знаки за головой Андреева. — Нет, я этого не допущу! Да, наконец, и невозможно; этак вы, пожалуй, никогда и не дождетесь академии...

— Я возьму переписывать на дом бумаги и сяду на ячменный кофе, — отвечал Андреев, стараясь улыбнуться. — Есть теперь у меня славный случай: приехал один помещик и ищет писца... Через две недели, много-много через три, я буду в классах...

Петровский и Борисов перемигнулись и замолчали. На этом дело покончилось.

Андреев вернулся домой спокойнее и веселее. Мысль о помещике, искавшем писца, так неожиданно и счастливо мелькнувшая в голове его, не давала ему покоя. На другой же день он принялся отыскивать случая, чтобы осуществить по возможности счастливую импровизацию. Чай и сахар были немедленно запрятаны в самую глубину шкапа, к совершенному отчаянию Кати, которая не могла надивиться такому перевороту. Их заменил мед из лавочки и ячменный кофе, — благодетельный ячменный кофе, частый гость чердачков и крошечных конурок под кровлей, верный друг, спасший в свое время многих из нас от голодной смерти! В деле Андреева ячменный кофе оказался, как и всегда, надежнее всяких обещаний, уверений и готов-

ностей достать работу. Прошла неделя,— и все-таки не представлялось никакого случая для переписывания; приезжий помещик решительно не хотел осуществиться на деле и с каждым днем затеривался более и более в каком-то тумане. Андреев не на шутку начинал беспокоиться. Отказаться от академических классов и ждать, пока экономия, с содействием ячменного кофе, даст ему сорок или пятьдесят рублей,— казалось уже теперь Андрееву жестокой мерой.

Но беспокойство Андреева ровно еще ничего не значило перед беспокойством и суетами Борисова. Нужен был весь спокойный, здравый смысл Петровского, чтобы охлаждать Борисова, который подбегал к нему каждые пять минут с новым планом или проектом для освобождения Андреева от переписывания и ячменного кофе. «Ну, что помещик? Как идет переписывание?..» — нетерпеливо спрашивал Борисов каждый раз, как встречался с Андреевым. «Пишу, пишу,— отвечал тот,— да как-то медленно... Дело помещика тянется: на мою долю достается всего по три листа в день...» — «Эх, плохо, черт возьми, плохо... И что, право, за охота этим чиновникам так долго тянуть производство дела...» — отвечал обыкновенно Борисов, потрясая своей головой, причем реденькие и мягкие его волосы становились торчмя и волновались, как сухая трава от ветра. «Нельзя ли как-нибудь этак... эх...» — заключал художник.

Тут он щурился, искоса поглядывал на Андреева, потом на Петровского и отходил в сторону, свирепо потирая руки.

В одно прекрасное утро Борисов, долго рывшись в своем углу, вынырнул наконец из-за картины Петровского, таща под мышкой огромный сверток. Праздничный вид сиял по всей его наружности. На нем было его рыженькое неизменное пальто; фуражка с ободранным козырьком покрывала голову. На шее красовался, к совершенному изумлению Петровского, красный фуляр.

— Куда ты? — спросил Петровский, оглядывая его с головы до ног.

— В этюдный класс...— пробормотал несвязно Борисов, стараясь отвернуться как можно скорее к двери.

Спустя два часа, Борисов вернулся в мастерскую. Свертка уже не было в руках его. Он снял пальто

и начал вертеться вокруг Петровского, переминаясь с ноги на ногу.

— Ты, Борисов, верно, что-нибудь да напроказил? — спросил Петровский, ставя на табурет палитру и кисти и устремляя на приятеля черные глаза свои.

Вместо ответа, Борисов вынул из кармана сорок рублей и рассказал ему какую-то плачевную, но, вместе с тем, очень фантастическую и запутанную историю о настойчивом покупателе, от которого нельзя будто бы было отделаться, прибавив в скобках, что деньги могут пригодиться на билет Андрееву. На поверку, к вечеру, оказалось, что он продал в Перинной линии Гостиного двора, в картинной лавке, два залежавшиеся пейзажа собственного изделия.

Дня два после этого в мастерскую явился Андреев, решившийся наконец возложить окончательно все свои надежды на ячменный кофе и потому не очень веселый. Борисов и Петровский, как каждый легко себе представит, не долго оставили его в таком расположении духа.

— Вот, — сказал Петровский, подавая ему академический билет, — возьмите, Андреев; случай доставил мне его от профессора... Он ничего не стоит... — прибавил Петровский, взглянув на Борисова, который рылся суетливо в каких-то бумагах. — Карандашей и бумаги покупать незачем, — берите покуда у меня; вам, следовательно, остается только сходить в контору, объявить ваш адрес, — и делу конец. Обедайте сегодня с нами, чем бог послал, — а вечером отправимся в классы. Сегодня, к счастью, дежурит в классах профессор, который более других восхищался вашими рисунками, и вы смело можете надеяться сесть прямо в гипсовые фигуры...

Предсказания Петровского сбылись даже сверх ожидания. Вечером, когда Андреев вошел в классы, сопровождаемый двумя приятелями, их тотчас же окружила толпа любопытных. Слух об эскизах и рисунках Андреева успел уже распространиться по академии: рисовальные книги его, переходя от одного профессора к другому, перебывали в руках учеников, которые, в свою очередь, обегали с ними все мастерские. Каждый наперерыв старался протиснуться вперед, чтобы познакомиться с Андреевым. Вахрушев, Сидоренко и Чибезов кричали громче всех; они первые подбежали к Андрееву, засыпали его востор-

женными похвалами и уже трепали его по плечу, как старые друзья и приятели. Появление его производило решительный эффект. Вскоре оно распространилось по классам. Каждый хотел видеть новое лицо; даже те, которые не слыхали об Андрееве, бросали карандаши и спешили, подстрекаемые всеобщим любопытством, навстречу новому товарищу,— так что, когда Петровский представил Андреева профессору и тот повел его в гипсовый класс,— огромная толпа, прибывшая со всех концов, повалила за ними шумной вереницей. Борисов ликовал, торжествовал, как будто его самого венчали в это время лаврами в Капитолии.

Успех Андреева, казалось, выразил будущее его академическое поприще. Не прошло и трех месяцев, как уже все, начиная с профессоров и кончая учениками, признали в нем единодушно талант, выходивший из ряду обыкновенных. В продолжение этого времени, Андреев подавал каждый месячный экзамен, кроме рисунка, несколько эскизов, которые сряду удостоились первых нумеров. Это обстоятельство охладило несколько к Андрееву приязненные отношения Вахрушева и Сидоренки. Хотя по-прежнему они и продолжали трепать его дружески по плечу, обнаруживая перед ним самое закадычное запанибратство, но тем не менее, оставаясь промеж своих, значительно пожимали плечами и делали разные заключения о дружбе Петровского с Андреевым, относя успехи Андреева к сотрудничеству Петровского. Но слухи эти не могли найти отголоска — как недоносок или урод, они умирали тотчас же после своего рождения. Андреев, предупрежденный Петровским и Борисовым, блистательно опровергал каждый вечер, в виду всех, маленькие сплетни, пущенные с утра Сидоренком и всеми вообще Вахрушевыми.

Но сколько был счастлив и доволен Андреев своим положением в академии, столько же, казалось, неприятного готовилось ему каждый раз, когда он возвращался домой. Катя как будто заключила тайное условие мучить его и не давать ему покоя. С той минуты, как Андреев рассказал ей свои успехи, думая, наконец, возбудить в ней если не сочувствие, то, по крайней мере, терпимость к его занятиям,— академия, искусство и все художники безусловно сделались окончательно смертельными ее врагами.

Первый пыл любви давно уже угас в ее сердце;

оставалась одна лишь привычка. Чувство это, заключающее в себе столько прелести и поэзии между людьми с развитым сердцем, редко бывает понятно таким женщинам, какова была Катя. Им доступна одна только страсть и вообще крайние чувства. Страсть, если только западает в сердце такой женщины, охватывает ее всю, развивает в ней мгновенно тысячу тончайших чувств и инстинктов; она отдается вся с полным доверием и любит, может быть, сильнее всякой другой. Но стоит только пройти порыву, и вся мелочность души и сердца, подавленная на время, выплывает снова наружу. Жизнь вдвоем, обратившаяся уже в привычку, дает ей на каждом шагу повод к бесчисленному множеству маленьких ядовитых сцен; отсутствие деликатности и тонкого чувства заставляет ее пользоваться всяким случаем, чтобы присвоивать себе разные материальные права домашнего управления, человек в ее сердце становится уже какой-то положительной собственностью, и жизнь обращается в беспрерывную тиранию. Вообще можно сказать, что взаимные отношения между мужчиной и женщиной делаются ясными тогда только, когда страсть сменилась привычкой; привычка в этом случае – пробный камень истинных привязанностей, душевного сродства и симпатии.

Итак, Катя не переставала надоедать Андрееву. Ей досадно было видеть, что между ней и им поместилось какое-то третье существо, – академия, – которое привязывало его столько же, сколько она сама. Она принялась ревновать его к Петровскому, карандашам и рисункам. Ненависть к Борисову, с которым случайно встретилась она как-то раз у Андреева, давала повод к бесчисленным ссорам. Она осыпала Андреева упреками. Каждый раз, как он, засидевшись в классах или у товарищей, приходил поздно домой, Катя находила особенное удовольствие дразнить его, рассказывая, как провела она день у знакомых Левицкой. Светлые минуты в комнате под кровлей становились реже и реже.

Мало-помалу Андреев стал замечать перемену в Кате. Она вдруг сделалась задумчивее и покойнее. Спокойствие это, при ее характере, не предвещало ему ничего доброго. В последнее время, Андреев также далеко не был влюблен в Катю, но при мысли об измене или о потере Кати сердце его невольно обливалось

кровью и чувства его как бы с новой силой пробуждались к девушке. Обращение Кати, переставшей надоедать ему, сделавшейся равнодушной к его занятиям, даже оставившей в покое Борисова,— все давало ему чувствовать, сколько она к нему охладела. Вскоре ко всем этим неприятностям присоединились еще и другие.

Крестный отец пронюхал каким-то образом связь «облагодетельствованного» им крестника с академией. Этого уже было довольно, чтобы вооружить его против молодого человека. Люди, сосредоточившие в продолжение многих лет всю свою умственную и жизненную деятельность на столе, покрытом бумагами и чернильными пятнами, вообще смотрят всегда как-то недоброжелательно на художников. Артист в их понятиях осуществляет тип праздности и тунеядства. В продолжение этих трех месяцев, Андреев, спешивший окончить к экзамену свои эскизы, не явился несколько дней сряду в должность. По этому случаю крестный отец, старавшийся прежде отдалять по возможности родственные отношения между собой и крестником, вдруг, ни с того ни с сего, как будто муха какая его ужалила, вооружился всеми правами старого друга отца Андреева и благодетеля его семейства.

Попав раз на этого конька, он не нашел ничего лучшего, как осыпать его упреками в неблагодарности, представляя ему бедственное состояние обманутых родителей, возложивших на единственного сына все свои надежды. Иногда нравоучения крестного отца, доходившие до трогательного пафоса, когда он был не в духе, переменяли тон и обращались в язвительные шуточки, когда ему было весело. И он трунил, трунил до пота лица над крестником перед подчиненными, которые, в свою очередь, обрадовавшись случаю сделать угодное своему начальнику, трунили над товарищем вперегонку,— кто лучше.

У всех женатых людей, не имеющих детей и доживших уже до известного возраста, те же почти наклонности, что у старых дев. Как ни черствеет сердце тех и других от недостатка живительного чувства, однако ж, в их груди все-таки остается что-то похожее на высохший стручок. В этом стручке шевелятся обыкновенно два чувства: любовь к болонкам и моськам и тайная, досадливая ненависть ко всему, что молодо

и порывается к жизни. Моська крестного отца Андреева была его собственная жена, к кому же было обратить другое чувство, как не к родному, облагодетельствованному крестнику, в глазах которого светилось столько огня и одушевления?..

Все это способствовало, однако ж, тому, что Андреев, раздосадованный в домашней своей жизни, с большей еще страстью привязался к академии и искусству. Он решился сбросить с себя, раз навсегда, все ребяческие, юношеские побуждения и укрепиться волей и рассудком возмужалого человека, понимающего здраво, ясно свое положение. Приняв такое намерение, он решился молча сносить капризы и выходки Кати, точно так же, как поучительные наставления крестного отца; дал себе клятву являться в должность исправнее всякого другого, остальное время посвящать любимому искусству, работать и трудиться, а будущее – предоставить воле провидения... Так прошло несколько времени, единственного, может быть, счастливого времени в жизни Андреева, пока, наконец, один случай не поколебал в основании благородную его решимость.

Он сидел однажды вечером в классе. Месячный экзамен только что кончился; работающих было очень мало. На темных ступенях, расположенных амфитеатром с середины залы почти до потолка, мелькало вразброс каких-нибудь двадцать голов, наклоненных на папки, куда устремлялся яркий свет ламп, прикрытых жестяными колпаками. В классе царствовала тишина не совсем обыденная. Изредка лишь скрип карандаша или шелест бумаги прерывался тихим говором или отрывчатым восклицанием.

Андреев сидел на самой верхней ступени, прямо против группы двух натурщиков, освещенной сверху и ярко блистающей на темно-красной стене, составлявшей фасад амфитеатра. Он усердно чертил на бумаге и, казалось, весь предан был своей работе. Внезапно рука его остановилась; он отодвинул нетерпеливо папку и нагнулся через перила. Окинув быстрым взглядом амфитеатр, глаза его остановились на Вахрушеве и еще каком-то художнике с длинными волосами, лежавшими как щепки на воротнике и плечах блузы. Оба они сидели от него наискось и говорили вполголоса. Андреев затаил дыхание и стал вслушиваться.

— Может ли быть? — говорил длинноволосый художник.

— Ей-богу!.. — отвечал Вахрушев.

— Когда же это было?

— Две недели тому назад.

— Как же ты с ней познакомился?

— Видишь ли ты: у меня есть один приятель, — золотопромышленник, недавно приехавший из Сибири, — бочка золота! — отвечал «Вандик», самодовольно покручивая усы, — он рекомендовал меня одной даме, то есть даме, гм! понимаешь... m-me Левицкой, и просил написать с нее портрет (сущая, брат, Клеопатра); я там познакомился с ней... Я тебе говорю, прелесть что за девочка! Глаза черные-черные... как владимирская вишня, так вот и прыщут страстью! Кипяток! Сухенькая, нервная (ты знаешь, я люблю таких), зовут ее Катя... Екатерина Андреевна; то есть, я тебе говорю, — восхитительная девочка... Какие формы, какие ножки, — объедение! Я с нее непременно напишу вакханку!..

— Ну, брат, погоди еще, — перебил волосатый художник, — скоро больно хочешь...

— Вот славно! — произнес Вахрушев, — давай пари!.. Чего тут скоро, — не далее, как вчера вечером, я проводил ее до дому...

— Где же она живет?

— Чертовски, брат, далеко, — на Новых местах!..

Андреев не дослушал Вахрушева и выбежал из академии. Какое действие произвел на него разговор двух художников, — предоставляю судить тем, кто когда-нибудь любил с истинной страстью. Чья взаимная любовь проходила ровно и постепенно, тот не может себе представить, как страшно потрясает внезапный, неожиданный удар. Часто до такой минуты живешь в неведении счастливом и сам не знаешь, да и не заботишься знать, любишь ли еще или нет. Кажется даже иной раз, как будто перестал вовсе любить. А между тем, когда настигнет один из тех неожиданных случаев, о которых здесь идет речь, и ясно, в первый раз, может статься, заглянешь к себе в сердце, — поймешь, подобно Андрееву, как много еще было в нем любви и привязанности к любимой женщине.

По мере того, однако ж, как Андреев приближался к дому, злоба и ревность, раздиравшие на части его сердце, постепенно сменялись немым отчаянием. Он

чувствовал, как силы покидали его; несмотря на все усилия сохранить хоть по крайней мере наружное спокойствие, — он изменял себе на каждом шагу; часто, не успев обойти прохожего, он должен был повернуться к нему спиной, чтобы утереть украдкой слезу. Поднявшись к себе на лестницу, Андреев остановился в нерешительности против двери. Катя могла быть в его комнате... При этой мысли сердце его застучало сильнее прежнего.

Наконец он отворил дверь и прямо очутился против Кати, которая расхаживала взад и вперед по комнате, напевая какую-то веселую песню. Андреев остановился и не мог произнести ни слова; ноги его тряслись как в лихорадке; он чувствовал, что побледнел как полотно. Катя едва взглянула на него, подошла к окну и притворно засмеялась. Андреев не в силах был долее владеть собой; он бросился к ней, судорожно схватил ее за руку и произнес дрожащим от бешенства голосом:

— Где ты была вчера?..

— Вы с ума сошли! — вскричала Катя, вырвав руки. — Что вам от меня надо? Чего вы хотите?.. Я пришла сюда за работой, которую оставила вчера, а вовсе не к вам...

Задыхаясь от бешенства, Андреев снова подбежал к ней, но в эту самую минуту кто-то сильно застучал в дверь.

— Опять ваши проклятые художники!.. — с досадой прошептала Катя, видимо очень довольная, потому что не на шутку начинала пугаться Андреева. — Вы меня нисколько ни жалеете, — заключила она притворно обиженным тоном, — хотите, чтоб все срамили меня...

Стук в дверях прервал ее, она бросилась за ширмы. Андреев не успел подойти к двери, как она отворилась настежь и в комнату вошел его крестный отец.

Это был человек апоплексического свойства, наглого вида, грязный, толстый, с лысиной и серьгами в ушах. Он медленно снял шляпу, оглянул комнату, отдулся и, обратив к Андрееву багровое лицо свое, покрытое красными и синими жилками, произнес хрипливо:

— А я, батюшка, пришел, уф! уф! — пришел объясниться с тобой.

Тут только Андреев пристально посмотрел на толстяка и заметил, что он был краснее обыкновенного.

— Что вам угодно?..— спросил смущенным голосом Андреев, бросая робкий взгляд на ширмы.

— Как что угодно! Я думаю, сам знаешь, спрашивать, кажется, нечего...

Андреев хотел подать ему кресло, стоявшее спиной к ширмам, но глаза его упали прямо на шляпу Кати, забытую на дне кресел, и он поспешил подать стул.

— Не в этом дело, любезный,— сказал крестный отец, отталкивая стул,— я получил письмо от твоего отца... Скажи, пожалуйста, батюшка, ты не на шутку вбил себе в голову, что ты художник и можешь шаламберничать?..— продолжал крестный отец, закидывая толстые руки за жирную спину.— Да покажи мне, наконец,— прибавил он с возрастающим азартом,— покажи мне этих мерзавцев, которые подбивают тебя заниматься всяким вздором и бросать дело... покажи мне их!..

— Прошу вас никого не упрекать,— отвечал отрывисто Андреев,— меня никто ни к чему не подбивает... Если я делаю что-нибудь, так сам от себя, по собственному произволу...

— Что? — вскричал апоплексический господин, багровея как клюква,— что-о-о?.. ах, ты, мальчишка! Вздумал еще учить меня!.. Я тебе благодетельствовал, дал тебе кусок хлеба, а ты еще грубиянить вздумал... Да знаешь ли, что твой отец Христом-богом просил меня о твоем определении; а ты, вместо того, чтобы благодарить да чувствовать, что для тебя сделали, связался с какими-то мерзавцами, да только баклуши бьешь!.. Тебе, верно, нипочем, что у семьи вряд ли есть кусок хлеба... Ты шаламберничать хочешь... То-то, я расспрашивал у дворника: и красотки разные повадились ходить к тебе,— денег, знать, у тебя много... э! э! да вона, вона...— произнес он с каким-то радостным азартом, указывая на шляпу,— одна мерзавка и то здесь... Что притаилась, голубушка,— выходи! — прибавил он, делая шаг к ширмам.

— Не подходите!..— закричал Андреев, отуманенный бешенством.

— Как! Ах, ты, негодяй! — крикнул было толстяк, но взглянул на бледное, дрожащее лицо Андреева и невольно отступил к двери.

— Ах, ты, разбойник! разбойник! — продолжал толстяк, взявшись за ручку замка и отступая в сени.— Погоди ж, голубчик, я тебе это припомню!..

Андреев захлопнул дверь и как сумасшедший бросился за ширмы. Но Катя уже предупредила его. Она стояла посреди комнаты и торопливо надевала платок. Щеки ее горели, глаза сверкали неподдельной злобой. Движение руки ее, завязывавшей бант шляпки, казалось, довершило отчаяние Андреева. Рыдание вырвалось из груди его; он бросился к девушке, но та как кошка вывернулась из рук его и подбежала к двери.

— Катя! — крикнул Андреев, — выслушай меня, ради бога... хоть одно слово...

— Что мне ваши слова! — произнесла она, делая нетерпеливое движение головой. — Пожалуйста, не притворяйтесь таким отчаянным, — я знаю, вам все равно... Надеюсь, однако ж, все теперь между нами кончено. Здесь всякий будет приходить оскорблять меня... а я должна молчать... Слышите ли, — все кончено между нами... ноги моей не будет у вас после этого!..

— Катя! Катя! — закричал Андреев, протягивая к ней руки.

— Ничего не хочу, ничего! ничего!.. — отвечала она, отворачиваясь. — Мне уже давно надоела такая жизнь, — продолжала она, взявшись за ручку двери, — ступайте к художникам, — я сама теперь, слава богу, кое-что понимаю, вижу, как вы мной пренебрегаете... ну, да что об этом, — прощайте!.. прощайте, — будьте счастливы!.. — заключила она, выходя на лестницу и хлопнув дверью.

Андреев опустил голову, закрыл лицо руками и, рыдая, бросился на диван.

VIII

СЕСТРА

На другой день Андреев не пошел в должность. Утро целое просидел он за письмом Кате. Вечером того же дня Варвара Гавриловна возвратила ему письмо: оно было не распечатано. Так повторилось несколько дней сряду, пока, наконец, Варвара Гавриловна не объявила Андрееву, что Катя уехала гостить к Левицкой. Через неделю, Андрееву незачем уже было ходить в должность. Ему отказали от места. Раздумывать было нечего. Андреев отправился следом в академию и рассказал Петровскому обо всем слу-

чившемся. Рассказ произвел два последствия: Петровский настоятельно потребовал, чтобы Андреев переехал немедленно к нему; Борисов бросился к Андрееву на шею и чуть не задушил его от радости.

Тяжелая тоска невольно овладела сердцем Андреева, когда вынесли постепенно, одну за одной, мебель, и он остался один посреди опустелой комнаты, в которой провел три года своей юности. Человеку, глубоко чувствующему, никогда не бывает легко расстаться с привычным жилищем; кажется, как будто покидаешь что-то родное и близкое сердцу. Легче сродниться с закоптелыми четырьмя стенами, чем с великолепными чертогами или природой. Тут рассеивается всякое чувство, – там все сосредоточивается между этими четырьмя стенами, свидетельницами самых сокровенных тайн нашей частной, задушевной жизни и часто единственными друзьями нашими...

Еще грустней стало Андрееву, еще неотвязчивей заныло его сердце, когда, очутившись на дворе, он взглянул в последний раз на окно Кати. Угол занавески уже не приподнялся, как прежде. Занавеску даже вовсе сняли. На подоконнике, вместо двух горшков бальзамина и герани, подымалась целая груда тряпья и домашней рухляди. Подавленный тоской, он покинул двор и, взвалив на плечи свой узелок, медленным шагом направился на Васильевский остров.

Несмотря на все старания Петровского и Борисова, впечатления, испытанные Андреевым, так глубоко потрясли его душу, что он не мог скоро забыть их. Мало-помалу, однако ж, усиленная работа и успехи, которые день ото дня обращали на себя всеобщее внимание, рассеяли Андреева. Этому также способствовал блистательный переход его из гипсового класса в «натурный». Переход этот составляет чуть ли не главную эпоху в жизни художника. Тут уже карандаш сменяется кистью, бумага – полотном, раскрывается обольстительный мир цветов и красок, – и природа – гордая, недоступная красавица для робкого и незрелого художника, – тронутая наконец настойчивым, упорным преследованием, протягивает ему в первый раз свою руку.

Андреев принялся за работу со всей страстью и увлечением, понятным только истинному художнику, – художнику по призванию. Петровский, получивший первую золотую медаль, поставивший на выстав-

ку программу, возбудившую всеобщее восхищение, не пропускал ни одного натурного класса; признанный всеми за даровитейшего художника академии между молодежью, удостоившийся быть отправленным на казенный счет в Италию,– Петровский не отрывался ни на минуту от работы, спал пять часов в сутки, просиживал целые дни в академической библиотеке, перелистывая художественные книги и эстампы... Пример такой любви к искусству увлекал еще сильнее Андреева. Портреты с чиновничьих жен и дочек отрывали его иногда от занятий, но он не пенял на это. Согласно желаниям папенек и маменек, он сглаживал ловкой рукой грубые черты нежно любимых чад, обращал тупые или немилосердно заостренные носы в римские и греческие, не щадил румян на зелено-желтоватые щеки и был счастлив бог знает как, когда отправил домой первые сто рублей, заработанные карандашом и кистью.

Кроме этих денег, Андрееву покуда не нужно было других. Петровский открыл ему безграничный кредит в красочной лавке: краски, кисти, полотно доставлялись ему в изобилии,– работай только! И Андреев работал и работал, во сколько хватало сил. К концу года он стал на первом плане. Годичный экзамен приближался, и вся академия, упираясь на слова профессоров, единодушно утверждала, что первая серебряная медаль за рисунок достанется Андрееву. Борисов, прибежавший впопыхах как-то утром, первый сообщил ему эти слухи.

– Да это еще не все! – заключил художник, подпрыгивая перед Андреевым,– есть у меня еще одна штука, которая тоже не будет тебе менее приятна; ну, как ты думаешь, что бы это такое было?.. угадай!..

И, спрятав руки за спину, Борисов принялся отступать от Андреева, не отрывая от него узеньких, смеющихся глаз своих.

– Ей-богу не знаю! – отвечал Андреев.

Но в эту минуту Петровский, подкравшись к Борисову, дернул его за руку. На пол упало письмо.

– Письмо от сестры? – закричал Борисов, подавая его Андрееву,– я узнал его по почерку.

Андреев схватил письмо, прочел надпись на конверте, радостно сломал печать и принялся читать.

Оба товарища подсели к нему и, устремив на него

нетерпеливые взгляды, казалось, хотели узнать заранее, что говорило письмо. После рассказов Андреева о своем детстве, дополненных Петровскому и Борисову во время житья вместе,– оба художника принимали каждую весть о сестре его с живейшим участием. Но радостно-нетерпеливое выражение на их лицах понемногу сменилось тревожным и беспокойным. Лицо Андреева внезапно омрачилось. Он повернул дрожащей рукой страницу и опустил голову.

– Что она пишет? – спросили в одно время художники.

– Прочтите! – отвечал Андреев, подавая письмо Петровскому и обращая на двух товарищей бледное лицо свое, исполосанное слезами.

Петровский прочел следующее:

«Добрый брат и друг! Ты не перестаешь уверять меня, что переменился! В каждом письме твоем я встречаю следующую фразу: «С каждым днем чувствую, как отрезвляюсь от всех ребяческих помыслов и мечтаний; ты не узнаешь меня, сестра,– я уже смотрю на жизнь положительно, как подобает человеку в мои лета и особенно в моем положении...» Никогда, быть может, не представится тебе случая доказать свое благоразумие, как теперь. Докажи же мне на деле, что ты не ребенок, и, мне кажется, я буду тогда любить тебя еще сильнее,– если это только возможно. Слушай: нас всех постигло... большое несчастие... Страшно сказать, что случилось: отец наш по какому-то важному делу лишился своего места!.. Никто еще не знает, чем дело это может для него кончиться. Все мы в горе. Отец не вынес удара: он слег в постель, и, если верить нашему лекарю,– очень опасен. Не стану утешать тебя,– это ни к чему не ведет. Прочитав письмо до конца, ты увидишь, что много отчаиваться еще незачем. Впереди не так туманно, как можно ожидать. Собери все твое внимание и слушай. Ты понимаешь, что мы не можем оставаться в настоящем положении. У отца, как тебе известно, нет никакого состояния, кроме нашего полуобвалившегося домика. Мы жили одним его жалованием. Много, много, если месяц еще можем прожить без посторонней помощи. Твои сто рублей то же теперь, что капля в море, и значат разве что-нибудь для одной меня, да и то в другом смысле: каждый рубль твой – целое сокровище для меня; мне жаль тратить эти деньги, как буд-

то они присылаются на память; но мать, отец и сестры иначе смотрят. Им нужны средства, положительные средства... Теперь скажу тебе, что я придумала. Наперед прошу: не создавай себе, по обыкновению, тысячу воображаемых страстей и несчастий; не приписывай этому делу самопожертвование с моей стороны, не возмущай себя, бога ради, тем, что все это вынужденно, что я решаюсь на это с отчаянием в сердце и т. д., – будь рассудителен, обдумай хорошенько, – словом, докажи, что ты не ребенок, пора бы, кажется!.. Вот в чем дело: ты знаешь, что еще четыре года тому назад Иван Петрович Куницын (помнишь, тот самый, у которого три дома, – один еще такой хорошенький, на самом берегу реки) просил руки моей. Тогда я ребячилась и не хотела идти за него, несмотря, что тяжело было мне жить в собственном доме. Не думай, однако ж, чтоб и тогда был он мне очень не по сердцу, но в то время я была еще слишком молода и довольно было пятидесяти лет Куницына, чтобы я от него отказалась. Теперь я сужу иначе. К тому же я разузнала кое-что о нем: он человек добрый. Говорят, будто он скуп, – но что мне до этого, я не мотовка, не прихотлива, – ты это знаешь. Главное в том, что Иван Петрович обещает пристроить все наше семейство в случае, если я буду его женой. Я с радостью отдаю ему свою руку. Надо же когда-нибудь этим кончить. Можешь судить по сестрам, что значит остаться в девушках. Обстоятельства наши, как видишь, не так еще плохи. Я даже надеюсь избавить тебя от этих несчастных ста рублей, которые тебе так нужны в Петербурге. Да, я счастлива, дружок, когда думаю, что рассеяла страшную тучу, которая чуть было не разразилась грозой над бедной твоей головкой. В первую минуту нашего несчастья думали вытребовать тебя сюда и даже начали было довольно успешно хлопотать о твоем определении на какое-то вакантное место, – чуть ли даже не в здешнем почтамте, – как тебе это нравится! Но одного моего слова довольно было, чтобы разрушить такой блистательный план. Нужно тебе сказать, что с той минуты, как я дала обещание Ивану Петровичу, вся семья смотрит на меня другими глазами... Крестный отец не писал еще ни слова о твоей отставке; ты представить себе не можешь, с каким страхом смотрела я на каждое письмо, получаемое отцом. Вот, вот, думаю, пришло роковое изве-

стие... Но теперь, говорю тебе, я уже ничего не боюсь! Пусть пишет крестный отец свои жалобы, я защищу тебя, и мне поверят. Если б не грех было оторвать тебя, на время, от мольберта, я непременно потребовала бы, чтоб ты явился на мою свадьбу. Но, Христос с тобой, работай! Я так рада, что теперь, авось, ничто уже не помешает тебе. Ты представить себе не можешь, как восторженно бьется мое сердце, я представляю тебя сидящим в мастерской за картиной. Мне кажется, я тогда вполне счастлива. (Пожми крепко-крепко от меня руку Петровскому и Борисову; если б у меня было после тебя еще два брата, я не любила бы их более.) Итак, видишь, дружок, что обстоятельства не так дурны, как можно было ожидать. Не будь Ивана Петровича, и бог весть, чем бы все это кончилось, особенно для тебя. Ты был бы истинно несчастлив, тогда как я... э! да что говорить обо мне!.. Подумай только, какая разница между тем, что сделал бы ты, приехав сюда, и тем, что я теперь делаю. С твоей стороны было бы самопожертвование с горьким сознанием верной погибели; перед тобой блестящая будущность, слава, деньги, а я-то? суди сам: бедная девушка, вся будущность которой должна заключаться в жалком, тесном кругу, посреди таких же, как я, бедных родителей, слышать охи и жалобы матери, вечное ворчание не очень любезных сестриц... Скажи сам, не завиднее ли будет предстоящая доля и не должна ли я ей радоваться! Не жалей же меня по-пустому, не приходи в отчаяние. Работай, работай! Не падай духом, не унывай! Вот о чем просит тебя твоя сестра. Во всем этом одно только горе: когда-то приведется нам свидеться?.. Прощай, брат и друг, прощай! Пиши мне скорее; ты стал что-то лениться. Не трать целого часа на письмо, я не требую такой жертвы. Возьми просто лист бумаги (только побольше) и каждый день приписывай мне по нескольку строчек, да пиши подробнее о самом себе, что делаешь, как живешь; о Петербурге и петербургских новостях я знать не хочу. Советую тебе также написать отцу, это порадует больного. Не говори ему только ни слова об академии; предоставь это мне,– я обделаю лучше дело. Объяснения живым голосом, с глазу на глаз, убеждают лучше всякого письма. Прощай еще раз! Дай тебя обнять крепко, крепко... ну, теперь хорошо, поцелуй меня еще раз. Твоя сестра и друг.

«PS. У меня еще просьба: пришли мне свой портрет. Не прошу теперь,— теперь, я знаю, ты занят,— но когда кончится экзамен. Попроси об этом кого-нибудь из товарищей. Портрет, который ты нарисовал с себя когда-то с зеркала, вовсе меня не удовлетворяет, хотя гляжу на него по сто раз в день. Прошу тем настойчивее, что в эти четыре года, сам ты говоришь, много переменился, особенно нравственно...»

Чтение письма произвело три различные действия на трех художников. Андреев, бледный, расстроенный, ходил взад и вперед по мастерской, обнаруживая все признаки глубокого отчаяния. Борисов сидел на прежнем своем месте и не переставал как-то неловко щуриться, как будто смотрел на солнце. Петровский стоял с письмом в руках, подняв кверху кудрявую свою голову; восторг сиял в его черных глазах, и резкие черты бледного лица его отражали воодушевление.

— Ну, что вы на это скажете? — воскликнул Андреев, отчаянно всплеснув руками.

— Скажу, что таких женщин, таких благородных созданий, как сестра твоя, не много на свете! — восторженно отвечал Петровский.

— Какая женщина, это... это ангел, ангел, а не женщина! — закричал Борисов, вскакивая с места и потрясая в воздухе руками.— Послушай, Андреев... на будущий год тебе верно зададут программу, ты ее кончишь, поедешь домой и возьмешь меня с собой... я хочу видеть твою сестру!..

— Скажу, кроме того,— продолжал Петровский,— что она в тысячу раз умнее и благоразумнее тебя! Полно ломать руки и приходить в отчаяние, ты должен во всем ее слушаться...

— Как! И ты можешь думать, что я приму такую жертву с ее стороны?..

— Ты можешь судить по тону ее письма, что она совсем не так несчастлива... Наконец она довольно ясно, кажется, говорит тебе, что жертвы нет ровно никакой...

— И ты веришь этому! — вскричал Андреев.— Да знаешь ли, что этот господин Куницын негодяй, мерзавец первой руки, накравший себе состояние самыми подлыми поступками. И она... она, сестра моя, умная, воспитанная, с возвышенной душой, будет его женой... и все это ради меня и спасения моего семейства,— воз-

можно ли это дело!.. Меня в отчаяние приводит только то, что я могу опоздать...

— Что ж ты хочешь делать? — спросили оба художника. — Разумеется, еду туда... Кто знает еще, что ожидает меня здесь...

— Как, что ты? — вскричали в один голос Петровский и Борисов, — образумься, тебе ли не надеяться на себя, слава богу!.. Укажи нам человека во всей академии, который бы так блистательно подвигался вперед? Не забудь, Андреев, что много-много, если осталось еще потерпеть три года, и тогда твое семейство не будет знать, как благодарить тебя... — Да и в эти три года сестра моя, вышед замуж за мерзавца и негодяя, успеет, может статься, зачахнуть с горя!

Петровский и Борисов принялись снова увещевать Андреева, призывая на помощь всю свою дружбу; — все было напрасно. Андреев ничего не слушал; он бросил кисти и стал готовиться в дорогу. Но, к счастью, за несколько дней до отъезда он получил от сестры вторичное письмо, в котором объявляла она ему, что уже вышла замуж.

Известие это страшно подействовало на Андреева. Сначала Петровский и Борисов не отходили от него ни на шаг, думая, что все это разрешится какой-нибудь опасной болезнью; все прошло, однако ж, благополучно. Через несколько дней Андреев принялся даже ходить в классы. Мало-помалу оба приятели стали замечать в нем большую перемену; карандаш его ходил как-то вяло и безжизненно по бумаге; сам он видимо худел; глаза его окружились темной, прозрачной каймой. В наружности его начало выказываться невнимание к самому себе, во всем, — в одежде, прическе, приемах. Он сделался молчалив, несообщителен, и редко удавалось приятелям вырвать у него слово. Часто заставали его сидящего неподвижно и погруженного в мрачную меланхолию. За несколько дней до экзамена Петровскому и Борисову показалось, как будто Андреев несколько оживился: он принялся деятельнее за работу. Искра вдохновения и прежней горячности снова как будто промелькнула на бледном лице его. День этот был для них истинным праздником. Оба решили в сердце, что успех, который ожидал Андреева, медаль и поощрения возвратят им прежнего товарища, и каждый, оставя его на время в покое, потирал себе руки, ожидая экзамена.

IX

САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

Вскоре, однако ж, Петровский и Борисов увидели, что сильно ошиблись в своих предположениях. Экзамен кончился, слухи, носившиеся в академии об Андрееве, оправдались даже сверх ожидания: он получил первый нумер и серебряную медаль; кроме этого, ему назначили программу и выдали вспомогательную сумму денег – и все это нимало не произвело на Андреева благодетельного действия, которого так нетерпеливо ожидали его приятели. Он, правда, принялся за работу; каждый вечер от пяти до семи часов являлся в классы,– но уже трудно было не заметить в нем какого-то охлаждения,– как будто работал он против собственной воли. Иногда по целому часу не сводил он глаз с одной точки, и вдруг потом, как бы спохватившись, быстро нагибался к папке; но минуту спустя рука его снова чертила рассеянно, и мысли видимо отвлекали его от занятий. Борисов приходил в совершенное отчаяние. Он не спускал глаз с Андреева и ухаживал за ним, как нянька. Раз как-то (это случилось месяца два после экзамена) Борисов невольно удвоил свое внимание.

Оба они сидели в натурном классе; резкий свет лампы, прикрытый белым колпаком, падал прямо на голову Андреева, так что Борисов, сидевший ступенью ниже, мог легко различать малейшее движение на лице товарища. Андреев показался ему еще бледнее обыкновенного; несмотря на это, во всех чертах его заметно было какое-то спокойствие, что-то строгое, схожее с выражением твердой, непоколебимой решимости. С самого начала класса он не дотронулся до карандаша и, скрестив на груди руки, медленно переносил задумчивые взгляды из одного конца залы в другой. Наконец, он неожиданно закрыл папку и принялся затягивать завязки с тем старанием, какое прикладывает гробовщик, завинчивая крышку гроба.

Движение это, сопровождаемое подавленным вздохом и слезой, внезапно блеснувшей на ресницах, не ускользнуло от Борисова. Мягкое сердце бедного художника сжалось от предчувствия чего-то недоброго. Он поспешно спрятал свои рисунки и вышел из класса, дав себе слово дождаться Андреева в коридоре и заго-

ворить с ним. У ворот академии он остановил его.

— Ну, что, голубчик, какую группу поставил профессор?.. Много ты сделал сегодня?.. — спросил Борисов, взяв Андреева под руку и стараясь принять свою обыденную, суетливо-смеющуюся физиономию.

— Нет, я сегодня ничего не делал, — отвечал тот, проводя ладонью по лицу, — ты знаешь, я смерть не люблю неоконченных работ, а так как эту вряд ли придется мне кончить, — я и не начинал.

— Вот славно!.. Такая чудная группа!.. Я тебя не понимаю... — перебил Борисов, изменяя своему голосу.

— Я ходил прощаться с академией, — присовокупил Андреев, судорожно пожимая ему руку.

Голос Андреева обдал холодом всю внутренность Борисова.

— Что ты говоришь?.. — спросил он, останавливаясь, как пригвожденный на одном месте. — Помилуй, Андреев, что это ты с нами делаешь?..

— Пойдем домой... все узнаешь...

Борисов окончательно растерялся. Тысяча мыслей осадили слабую его голову. Он не знал, что сказать, что думать, и как шальной бежал впритруску за Андреевым.

Вскоре достигли они мастерской. Борисов бросился к Петровскому, который сидел против оконченной картины своей и радостно ее осматривал.

— Не верь ему, Петровский, не верь, — он с ума сошел!.. — крикнул Борисов, задыхаясь на каждом слове и указывая на Андреева, который готовился что-то сказать. — Такой вздор несет, что просто уши вянут; говорит, что ходил нынче в классы, чтобы проститься с академией, что не думает, удастся ли ему окончить рисунок...

— Что ты говоришь? — весело спросил Петровский, приподымаясь с места и слегка удерживая Борисова рукой.

— Нет, Петровский, он говорит правду, — сказал Андреев. — Борисов ошибся в том только, что счел меня за сумасшедшего. Повторяю, я ходил нынче в классы, чтобы проститься с академией, и нынешний вечер будет последний, который я проведу с вами, — прибавил он, устремляя мокрые глаза свои на Петровского, потом на Борисова.

Слова эти и движение, которое их сопровождало, обледенили сердце обоих художников. Они были ска-

заны тем спокойным голосом, в котором явственно звучала решимость непреклонная и обдуманная.

– Что же все это значит?.. Что такое?..– вымолвил Петровский, хмуря брови и подходя к Андрееву.– Помилуй, братец, опомнись, что ты говоришь,– подумай...

– Полно, Петровский,– спокойно отвечал Андреев,– не трать по-пустому увещаний,– продолжал он, протягивая ему руку,– теперь они решительно ни к чему не послужат,– поздно!..– заключил Андреев, вынимая из кармана скомканное письмо.– Сядьте-ка лучше, прочтите, и потом оба скажите: прав я или нет...

Петровский развернул письмо, Борисов придвинулся ближе, и оба прочли следующее:

«Любезный сын! Не знаю, чем прогневили мы творца небесного, что он так горько наказывает нас: мало того несчастья, которое случилось с отцом твоим, и в тебе не видим утешения на старости лет наших. Твое беспутное поведение дошло до нашего слуха; стыдно тебе против нас, родных твоих, и грешно перед господом богом не помнить благодеяний добрых людей. Мы все узнали от твоего крестного отца, и известие это так опечалило отца (который и без этого уже еле жив), что мы думали, оно сведет его в могилу. К тому же несчастие еще другое постигло нас в муже сестры твоей Софьи. Горько обманулись мы в нем! Он вышел подлый человек и что ни на есть обманщик и наглец. Он формально отказался теперь давать нам пособие, как по уговору до Сонюшкиной свадьбы, а мы, как ты знаешь, с тем только и отдавали ее. Теперь, как сам видишь, мы лишены всякой надежды на пропитание, и если ты не отступишься от развратных друзей своих, не бросишь беспутной жизни,– мы принуждены будем идти по миру. После несчастия с отцом все от нас отступились и знать не хотят. Один только Никанор Акимыч, наш заседатель,– добрый человек,– не оставляет нас своими советами и утешениями. Если ты не захочешь заслужить проклятия нашего родительского, исполни волю матери и отца. По получении этого письма, отец со смертного одра приказывает тебе немедля ехать сюда, и все мы убедительно и слезно о том тебя просим. Тебе приискал здесь отец хлебное место на почте, благодаря заботам Никанора Акимыча. Ты теперь вся наша на-

дежда и спасение, и, верно, не захочешь своей волей уморить родных с голоду и печали. Сестры твои, Лизавета и Дарья, и все мы просим тебя со слезами исполнить нашу общую волю. Получишь это письмо, продай, что есть у тебя, да подумай об нас и не допусти беспутных твоих товарищей отнять у тебя эти деньги, — а привези сюда. Проклятый лекарь (оказался злодеем) сказал, что ходить не станет к отцу, если денег давать не будут, а отец при смерти. Скоро и в аптеке лекарств отпускать не будут. Злодей и то пригрозился нам этим. Прощай, любезный сын наш, молим все творца милосердного, чтобы навел тебя на путь спасения и не попустил оставить без крова и призрения бедных родителей твоих. Белье только не продавай, смотри, а то дома надо будет покупать, да шить, — а чай у вас в Петербурге и дадут-то дешево. Сестры все тебе кланяются, кроме Софьюшки, которую мы, по причине ссоры нашей с ее наглецом-мужем, уже месяц как не видали. Тает она, бедная, как свечка. Прощай, молю бога о спасении души твоей. Многолюбящая твоя мать, Анна Андреева».

Окончив чтение, оба художника молча опустили головы. Возражать было нечего; утешать также. В некоторых случаях, когда несчастье слишком явно, неотклонимо, — утешения раздражают еще сильнее раны и без того уже истерзанного сердца . . . .

Дня три после прочтения письма, около полудня, Андреев, одетый по-дорожному, ехал на дрожках, сопровождаемый Петровским и Борисовым, сидевшими на другом извозчике. Оба художника, казалось, избегали разговора. Петровский, повернувшись несколько боком к колесам, не отрывал грустного, задумчивого взгляда от мостовой; Борисов смотрел в противоположную сторону, и изредка лишь жмурившиеся глазки его, не сходившие с Андреева, устремлялись искоса на Петровского. Молчаливое раздумье товарища видимо начинало беспокоить Борисова. В эту минуту, более чем когда-нибудь, мягкая душа его, подавленная грустью, искала сообщительности. Он пытался уже несколько раз завести разговор, но глаза его встречали каждый раз стиснутые брови Петровского, и Борисов, подавив глубокий вздох, поневоле продолжал молчать. К концу дороги он, однако ж, не выдержал, подвинулся ближе к Петровскому и сказал, переминаясь

на своем месте, как курица, которая боится раздавить яйца: «Кажется, будто дождичек собирается...» Петровский окинул холодным взглядом мутно-свинцовое небо и молча повернулся в сторону. Немного погодя Борисов снова начал: «Скажи, пожалуйста, куда это валит отовсюду народ?.. Должно быть, сегодня какой-нибудь праздник...» На этот раз Петровский не поднял даже головы, и Борисов после этого не решился пускаться в объяснения.

А между тем дорога от Васильевского острова до Ямской, куда направлялись художники, проходя по самым шумным улицам Петербурга, делалась с часу на час многолюднее. Пестрые толпы народу, коляски, омнибусы, дрожки, наполненные разряженными обывателями, катили им прямо навстречу и поминутно заграждали путь. Все это скакало и толкалось, несмотря на пасмурное ненадежное небо, по направлению к островам, где должно было произойти в этот день гулянье и фейерверк. Весь город как будто заодно пробудился в это утро. Во всех концах его раздавался грохот экипажей, слышались восклицания, хохот и гул толпы, напиравшей изо всех улиц длинными, волнующимися полосами. Медленно тащились дрожки наших художников, пробираясь между народом и рядами экипажей: веселые лица мещан, принужденных давать им иногда дорогу, останавливались с любопытством на печальных лицах трех художников, как бы не понимая, на какого черта могли тащиться люди куда-нибудь, кроме Крестовского или Елагина. Наконец кой-как приятели наши достигли Ямской. Извозчик, нанятый накануне Андреевым, уже давно дожидался. Андреев уложил чемодан, сел в тележку и протянул в последний раз руки двум товарищам. Прощание совершилось так же молчаливо, как и проводы. Каждый сознавал в глубине души свою потерю, и немые признаки скорби на лицах говорили красноречивее всяких слов и нежных излияний. Один Борисов рыдал как ребенок.

. . . .

Вечером того же дня, после того, как прошло первое тяжелое впечатление, Петровский и Борисов оставили мастерскую и пошли бродить по острову. Преданные оба грустным своим мыслям, они не заметили, как очутились в первой линии. Летом, под вечер, и особенно в праздничные дни, первая линия Василь-

евского острова представляет самую оживленную панораму. Она служит самым близким сообщением между Петербургом и островами, заселенными в летнее время почти половиной городского люда. В такие дни мостовая ее не перестает греметь под тысячами колес и сотнями тысяч ног. Тут встретите вы денежную и родовую аристократию, летящую в каретах, кабриолетах, ландо и шарабанах на Каменный остров, застроенный великолепными дачами и виллами; встретите купцов в вычурных расписных тележках или на беговых дрожках; колоссальным извозчичьим каретам, не мытым со времени наводнения 1824 года,— нет числа; начиненные розовыми бантами, чепцами, платочками и коленкоровыми шляпками, покрывающими плечи и головки жен и дочек среднего купеческого и чиновничьего сословия,— они медленно ползут, как неуклюжие морские раки, между тесными рядами жиденьких извозчичьих дрожек, которые, в свою очередь, кажутся подле них какими-то муравьями. Между омнибусами, напоминающими Ноев ковчег, часто попадаются фаэтоны и экипажишки особенного устройства, дешевенькие, но комфортабельные, принадлежащие петербургским немцам и французам: хозяевам магазинов, зажиточным мастерам, ремесленникам,— счастливым обывателям дач, величиной с карточный дом, в Чухонской или Новой деревне. Тротуары запружены народом. Мелочные чиновники — женатые с зонтиками, холостые с тросточками,— щеголи писаря, размалеванные красавицы, гостинодворцы с супругами, мещане, подмастерья в затрапезных халатах, с «гармониею» под мышкой,— все это тискается, давится и суетится, спеша на Крестовский, осуществляющий для них Эльдорадо.

Петровский и Борисов, затертые толпой, как два крупитчатые зерна жерновом мельницы,— последовали общему направлению и, почти против воли, очутились на шумных островах. Свежий водяной воздух, шум пестрой толпы, волнующейся по живописным берегам, покрытым зеленью, отдаленные звуки музыки, открытые балконы и террасы, наполненные женщинами, стук экипажей, движение,— все это произвело свое обаяющее действие на двух художников и мало-помалу взяло верх над упорною тоской. Согласившись провести здесь остаток вечера, они пробирались уже на Елагин, центр увеселений,— как вдруг на самой сере-

дине Крестовского моста столкнулись совершенно неожиданно с толпой художников, предводительствуемых Чибезовым, Вахрушевым и Сидоренко. Все они были несколько навеселе.

— А! Петровский, Борисов! Куда? Какими судьбами?..— закричали они в один голос, окружая товарищей, которые употребляли все усилия, чтобы скорее пробраться вперед.— Куда же вы, господа?.. Пойдемте с нами, я вам покажу дочь канатного плясуна Вейнарда,— сейчас должно кончиться представление,— чудо девчонка! Ноги, руки, торс,— хоть сейчас пиши вакханку...— произнес Вахрушев, бойко чиркнув указательным пальцем по воздуху.

— Эх, господа... эх, Петровский... лихо! Веселись, душа!.. просто римский карнавал, черт побери... Roma! Napoli!..— кричал Чибезов, махая картузом во все стороны.— Ну, а где же Андреев, что ж я не вижу Андреева?

— Андреев уехал нынче утром,— сухо отвечал Петровский.

— И в самом деле... ведь я совсем забыл... эк я!..— воскликнул Чибезов, шлепнув себя по лбу.

— А жаль, право, жаль,— перебил Вахрушев, делая строгую, задумчивую физиономию,— он был с талантом; я недавно еще смотрел его последний этюд с натуры,— сочно, чертовски сочно и планисто стал было писать...

— Да, и лепка и планы дались ему как-то в последнее время,— мрачно сказал Сидоренко, в котором вино производило всегда нечто вроде меланхолии.— Но какой же леший велел ему бросить академию и ехать в печальную нашу провинцию?..

Петровский и Борисов вместо ответа раскланялись с приятелями и готовились уже пробраться на другую сторону моста, но в эту самую минуту извозчичья коляска пересекла им дорогу и снова заставила их втереться в толпу художников. Борисов поднял глаза кверху и остолбенел; удивление бедного художника увеличилось втрое более, когда Вахрушев рванулся сломя голову и принялся раскланиваться с хорошенькой женщиной, сидевшей в коляске, которая, в свою очередь, послала ему с веселой улыбкой несколько поклонов.

— Кто это? Кто такая?..— спросили в один голос художники, окружая Вахрушева, который не переста-

вал кланяться вслед давно исчезнувшему экипажу.

— Какова! — произнес «Вандик», надевая набок белую свою шляпу и самодовольно забрасывая за левое плечо бархатные отвороты плаща.

— Чудо! Прелесть! Но кто же она?.. Ох, злодей, султан! Кого он только не знает, черт его возьми... Ну, да говори же, кто она?.. — зашумели вокруг Вахрушева.

Борисов затаил дыхание.

— Это одна из добрых моих знакомых, — отвечал «Вандик», трепля себя за усы. — Она живет у одного моего знакомого — золотопромышленника; я, впрочем, давно ее знаю; она ходила прежде к одной, Левицкой, которая тоже несколько мне знакома... — прибавил он, выразив на лице беспечную, но вместе с тем демонски плутовскую улыбку. — Ее зовут Катерина Андреевна, — да что говорить, вот на днях или когда-нибудь, если хотите, можете увидать ее у меня в мастерской, — я обещал написать ее портрет в виде вакханки...

Петровский и Борисов обменялись взглядами и молча расстались с художниками. Обстоятельство это мигом возвратило им все грустные мысли. Они вспомнили Андреева, который тащился теперь по пустынной дороге, и, полные тяжелой тоски, достигли мастерской, не дождавшись окончания праздника.

X

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пять лет спустя после описанных выше происшествий имя Петровского было уже известно во всех почти академиях Европы. Новая картина, написанная им в Италии, была привезена, после парижской выставки, в Петербург. С ней вместе приехал и Петровский. Окруженный славой, осажденный со всех сторон блистательными заказами, Петровский не забыл, однако ж, старого своего товарища Борисова. Он отыскал его где-то в восемнадцатой линии Васильевского острова, на чердаке, и, тронутый бедностью приятеля, предложил ему работу. Работа заключалась в том, что надо было исполнить по эскизам Петровского иконостас и купол собора в одной из южных наших губерний.

Каждый легко себе представит, с какой радостью принял Борисов такое предложение. Он получил задаточную сумму денег, накупил кистей и красок, взял место, простился с Петровским и уехал.

Вот отрывок из письма Борисова, полученного Петровским по прошествии нескольких дней.

«Итак, голубчик, согласно уговору нашему перед моим отъездом, я завернул в городок, где живет наш бедный Андреев. Передать тебе не могу чувство, которое овладело мной, когда я увидел этот городок. Мысли ли мои были так настроены, но он показался мне в высшей степени печальным и унылым. Было около полудня, когда я въехал в полуобвалившуюся заставу. Тишина мертвая царствовала на улицах, как будто жители, запугавшись наконец ветхости своих лачужек, перебрались заблаговременно в другое место. Хозяин постоялого двора,— что-то среднее между мещанином и мужиком,— на вопрос мой: «Здесь ли почтмейстер Андреев?» — отвечал утвердительно; он объяснил мне, как пройти к нему. Результатом этого объяснения было, однако ж, то, что, сделав два или три поворота, я очутился между двумя заборами, которые примыкали к огромному оврагу; на дне бежал поток и высился колодезь, прикрытый часовней. Я стал решительно в тупик. Если приводилось тебе испытывать минуты, предшествующие свиданию, даже самому радостному, ты должен понимать, какой невыносимо тяжелой доской давят они сердце; кажется даже, что в поспешности человека, который бежит на свидание, заключается столько же желания скорее освободиться от этого тягостного чувства, сколько нетерпения обнять друга или приятеля. Не знаю, долго ли простоял бы я таким образом между заборами, если б не выручила меня баба, явившаяся у колодца на дне оврага. Я спустился к ней, и она указала мне дом Андреева, выступивший одним боком над пропастью. С этой стороны нельзя было подойти к нему; требовалось сначала обогнуть весь овраг и выбраться на улицу. Когда я поравнялся с домом, сердце мое почему-то сильно забилось. Я заглядывал в каждое окно, но окна были занавешены полинявшим ситцем; в доме, казалось, было так же тихо, как и на улице. Я вошел в растворенные настежь ворота, на небольшой дворик, окруженный сараями, заросший полынью и крапивой, покрытый обручами и сушившимися кадочками. Кое-где бегали куры. На

кривом крылечке сидел седой старик в солдатской шинели и чинил на солнце какие-то лохмотья.

– Здесь живет Андреев? – спросил я.

– Григорий Петрович?

– Да.

– Здесь, да его теперь дома нет, с должности не пришел, ныне почта...

Минут десять спустя, я входил в низенькие сени почтовой конторы; отворив дверь, я очутился в тесной толпе мужиков и кучеров. На дне комнаты, за небольшим столом, установленным конвертами и пятаками, сидел Андреев. Согнувшись в три погибели, он записывал одной рукой в книгу, другой считал деньги... Трудно тебе рассказать, как он изменился. Сердце замерло во мне. Я подошел к нему и тронул его по плечу.

– Сейчас, подождите, – проговорил он, продолжая писать, но вдруг поднял глаза, смутился, встал со своего места, схватил меня за руки и с радостным криком бросился обнимать меня.

– Григорий Петрович, – произнес грубый голос из-за другого стола, – почта ждет...

– Сейчас, сейчас... подождите немножко...

И он снова кинулся мне на шею. Через пять минут почта была отправлена, и мы очутились оба на улице.

– Что, как? Откуда? Какими судьбами!.. – вскричал Андреев, не помня себя от радости.

Я рассказал ему цель своего путешествия; мы разговорились о тебе. Он слушал меня с восторгом и боялся, кажется, пропустить слово; но только что подошли мы к его дому, – восторженность и внимание как рукой сняло. Он растерялся. Сделав движение, как будто внезапно пробуждался от сна, он боязливо оглянул окна, остановил меня под калиткой и попросил Христа ради не обнаруживать перед домашними настоящего моего звания.

– Слова: художник и живописец производят на них по сию еще пору самое неблагоприятное действие... Скажи им, что ты чиновное лицо, и все будет прекрасно...

Говоря это, Андреев не переставал оглядываться во все стороны.

С стесненным сердцем поднялся я за ним на крылечко. В сенях меня обдало запахом утюга, мыла, жареной рыбы. В перекосившихся дверях мелькнула жен-

ская фигура, с засученными по локоть рукавами, и почти в то же время чьи-то два глаза сверкнули в скважине. Мы вошли в крошечную, душную комнатку, с кривым потолком, усеянным дочерна мухами. Ободранный диван, два стула и над ними пыльная ландкарта лепились криво и косо вдоль стен грязно-молочного цвета. От всего этого за версту пахло нищетой. Между простенками болтались на гвоздиках холстяные мешочки, вероятно с сушившимися семенами. На подоконнике лежала крошечная подушка, с пришпиленной к ней ситцевой наволочкой. Медный наперсток, игольник и ножницы показывали, что комната не совсем принадлежала Андрееву. Пустившись в расспросы, я узнал, что он женат, отец его и сестра Софья умерли. Разговор происходил шепотом. Андреев не переставал коситься на дверь.

— Ну, да что тебе говорить,— произнес он, наклонившись к моему уху,— пробудь здесь несколько часов и лучше узнаешь мою настоящую жизнь, чем если б я стал тебе ее описывать.

— Григорий Петрович! — произнес чей-то кисленький голос за дверью.

Андреев пожал мне руку и поспешно скрылся. Мне послышался тогда шелест платья и вслед за тем шепот нескольких голосов. Минуту спустя Андреев ввел в комнату высокую, сухощавую, несколько сгорбленную старуху, в очках и в затасканном траурном чепце на голове.

— Вот, матушка, рекомендую вам моего старого петербургского приятеля,— сказал Андреев, стараясь придать своему голосу самую мягкую и нежную интонацию.

Старуха опустила сухощавые руки свои кофейного цвета и, прищурившись на меня сквозь мутное стекло очков, сказала нерешительным, черствым голосом:

— Очень рада, батюшка,— прошу покорно садиться,— просим милости... вы давно из Петербурга-то?

— С неделю.

— Ась?..— не слышу я, батюшка.

Я повторил ответ.

— А чем изволите заниматься, батюшка?..

Не трудно было заметить, что одна мысль о том, что я был, может статься, один из тех приятелей, которые сбили с толку ее сына, предубеждала против

меня старуху; я смело назвался чиновником, не помню уже какого ведомства.

– Ох, батюшка,– произнесла старуха плаксиво несчастным тоном,– как же вы это запамятовали Гришу?.. Стоит ли он, чтобы вы, должностной и важный человек, о нем думали?.. Вы, я чай, знали же его в Петербурге.

Тут старуха, к величайшему моему удивлению, начала бранить сына, укорять его в лености, в беспутном поведении, присовокупив, что если б он только захотел, то верно достиг бы, подобно мне, почетного доходного места; что своим прежним беспутством заставил их всех глаза выплакать, и проч., и проч. Бедный наш Андреев стоял во все это время потупя голову, краснел и мялся. Я поспешил переменить разговор.

– Надолго ли вы, батюшка, остановились в нашем городе?

– Нет, всего на один день,– отвечал Андреев, ласково обращаясь к матери.

– Не тебя спрашивают,– сурово произнесла старуха,– разве не видишь, я говорю с ними...

Я удовлетворил ее ответом.

– Я пригласил «их» обедать у нас,– робко сказал Андреев.

Старуха быстро подняла голову и, бросив на сына нетерпеливый взгляд, сказала довольно грубо, но стараясь, однако ж, придать черствому лицу своему жалостливое выражение:

– Не взыщите, батюшка, вы, я чай, в Петербурге-то привыкли к хорошему столу... у нас не то... не взыщите, чем богаты, тем и рады...

Старуха встала и вышла в дверь, которая с трудом уступила ей, потому что на нее, вероятно, напирали изнутри любопытные. Не успел я подойти к Андрееву, как тот же кисленький голос снова позвал его. Я услышал тогда в соседней комнате стук тарелок, который не помешал мне расслышать отрывчатый, недовольный шепот. Андреев вернулся ко мне окончательно растерянный. Мы пошли обедать. Комната, в которую мы вступили, была несколько просторнее первой, но до того завалена всякой рухлядью, что оставалось только посредине место для стола. Кроме матери, тут находились еще три женщины. Одна из них толстая, расплывшаяся, с лицом, похожим на плохо выпечен-

ное яблоко, с взглядом дерзким; другая помоложе, лет тридцати пяти, длинная, рябая,— весь портрет матери, с пучком рыжих волос на затылке, в виде редьки; третьей было всего лет двадцать с небольшим. Лицо ее, белое и пухлое, отражало все признаки глупости и тупости непроходимой.

— Рекомендую тебе: жена моя...— сказал Андреев, протягивая к ней руку,— а это сестры,— продолжал он, указывая на первых двух.

Все три жеманно поклонились, и мы сели за стол. Разговор, как можешь себе представить, не был очень приятен; сказано было, между прочим, с явной иронией, что столичному жителю скучно должно быть в ничтожном уездном городке, что все столичные люди стараются всегда подмечать, что и как говорят провинциалы; потом постепенно речь зашла о погоде, и жена Андреева, молчавшая все время, сказала, покраснев до ушей, точно так же, как и муж ее, что погода стоит нынче «прикрасная», и т. д. Словом, грустно, голубчик Петровский. В продолжение этого злосчастного обеда, я успел заметить, что все члены семейства, кроме самого Андреева, разумеется, ненавидели друг друга, или, по крайней мере, каждый из них имел против другого хоть временную «контру». Нелегко было также видеть, что с Андреевым обращались с какой-то невнимательностью и пренебрежением. В эти полчаса настоящая жизнь его раскрылась передо мной во всем своем безобразии. Он видимо находился под влиянием всей этой сволочи. Что ж мудреного? Мне, по крайней мере, это понятно: страх, который овладевает всяким порядочным человеком при одной мысли о ссоре, скандале или сцене,— особенно в семействе,— заставляет его иногда невольно терпеть и смалчивать; люди грубых свойств, невоспитанные, никогда не в состоянии оценить такого чувства, оно, напротив того, служит как бы потачкой их дерзости. Объясняя терпение робостью или трусостью, они всегда воспользуются ими, чтобы сесть человеку на шею.

Наконец обед, или вернее сказать: мука моя — кончилась. Я и Андреев снова очутились в первой комнате. Передать тебе не могу, голубчик, тяжелое, стесненное чувство, в каком я находился: грусть, тоска, досада кипели в одно и то же время в моем сердце. Я слышал за дверью ворчливый шепот, видел взгляды сквозь щели и трещины и думал только, несмотря на

удовольствие встретиться с Андреевым,— как бы поскорее вырваться на волю. Мне душно становилось в этом доме. Андреев понял, вероятно, что во мне происходило. Он подошел ко мне: «Пойдем отсюда»,— шепнул он, наклоняясь, как бы нечаянно, к моему уху. Как воры, вышли мы украдкой из дому. Миновав дома и заборы, мы обогнули город и очутились на самой возвышенной точке крутого берега, омываемого широкой рекой. Под ногами у нас, в страшной глубине, лепились вдоль берега лачужки рыбаков, окруженные ветлами и сушившимися бреднями. За рекой стлались бог весть куда необозримые луга, пересеченные кое-где темными клиньями соснового леса. Вправо, к оврагу, за небольшим пустынным валом, виднелось городское кладбище. Андреев повел меня прямо туда.

— Вот,— сказал он, указывая на глинистый бугорок, прикрытый плитняком и осененный тщедушной ветелкой,— и ты любил ее когда-то... О! если б ты знал только, Борисов, до какой степени потеря сестры осиротила меня!..— прибавил он, проводя пальцами по глазам.— Смерти отца я почти не заметил,— мне стало только грустно;— нас связывали один долг и привычка,— но тут я стал как один на свете.

Мы сели на траве подле могилки и долго говорили. Я заметил, что Андреев переменился, когда мы вышли из его дома; но теперь, мало-помалу, перемена эта сделалась еще заметнее; он стал совсем как бы другим человеком.

— Да, Борисов, для меня все уже кончено!..— говорил он.— Я уже далеко не тот, каким знал ты меня пять лет тому назад; давно угасла во мне внутренняя борьба, когда вопросы: быть или не быть? — попеременно сменяются один другим. Перелом в судьбе моей уже совершился,— я умер, умер для жизни. И что всего хуже, чувствую, что выбиваюсь из последних сил. Не обвиняй меня! Возьми какого хочешь человека, перенеси его в уездный город, окружи его моими обстоятельствами,— поверь, не выдержит и кончит тем же, чем и я; ни убеждения, ни воля не помогут. Бой будет неравен, и рано или поздно обстоятельства возьмут свое... А ведь было же время, когда и мне улыбалась так приветливо жизнь! Часто думаю я: за что было судьбе так жестоко подшутить надо мной?.. Как часто, сидя вот на этом самом месте, обернув-

шись лицом за реку, к северу, к Петербургу,— как теперь, припоминаю я свои восторги, свои надежды, нашу мастерскую, бедную мою комнату на Новых местах, где был я так счастлив... Катю... Посреди жизни, какую я веду, даже воспоминания страданий доставляют душе неизъяснимые наслаждения... Скажи, не слыхал ли ты чего-нибудь об Кате? Где-то она теперь? Что с ней?..

Я уверил его, что ничего не знаю о ней; что с той поры, как мы расстались, мне не удалось уже ни разу встретить ее.

— И, право, бог знает как горько делается на душе, Борисо́в, когда подумаешь, что могло бы ожидать меня при других обстоятельствах,— прибавил он со вздохом.— Как ни говори, судьба моя, судьба всей моей жизни разрешилась оттого, что не было каких-нибудь пятисот рублей или тысячи, одной тысячи. Но кто поверит, да и кому какая нужда до несчастий, в какие ввергает нашего брата недостаток. Несчастье, совершающееся в тиши, между четырьмя стенами, несчастье, прикрытое жиденьким, но чистым пальто, в шляпе без видимого разрушения,— никого не трогает; оно не возбуждает даже доверия: «Как можно, чтобы молодой человек, во всем порядочный, образованный и воспитанный, не нашел себе места или куска хлеба!.. Вздор! — значит не хочет, когда нет!» Вот что говорят обыкновенно люди, которые могли бы подать руку помощи. Они не трудятся вникнуть поглубже в дело и разобрать, что часто есть другие потребности, кроме куска хлеба. Есть, конечно, добрые люди, для которых помощь ближнему обратилась в долг и убеждение,— но, со всем тем, они смотрят почти так же близоруко, как и первые. Горе в одном. Подобно первым, они доверяют только несчастью живописному, эффектному, покрытому безобразными лохмотьями, с исковерканными членами, ползущему по грязной мостовой и просящему подаяния хриплым голосом... Попробуй рассказать им, пожалуй, хоть мою собственную историю; особенно не забудь, в виде предисловия, сообщить, что дело идет о служащих в провинциальном городе,— и всякое участие как рукой сняло! Им покажется до невероятности забавен провинциальный писец,— «писец Вертер и Руссо!..». Да на что же это в самом деле похоже? А намеки, что у этого писца мать, сестры, семейство, да еще вдобавок

«дом», собственный дом, оставшийся в наследство после отца, так они тебе в глаза засмеются и скажут: «Чего ж ему еще надо?..» Тебя, вероятно, удивляет, как мог я, сознавая ясно свое положение, примириться со всем тем, что меня окружает? Тебя, кажется, удивляет моя женитьба? – продолжал Андреев. – Но вникни поглубже, и ты увидишь, что каждый на моем месте сделал бы то же самое. Сестра умерла. Тоска овладела мной страшная. Не с кем было даже поделиться горем. В таком состоянии глубокого одиночества сочувствие друга или брата недостаточно. В эти минуты сердце инстинктивно просит излиться в женское сердце; кажется тогда, – и часто ошибаешься, – что будто в нем только источник истинного, нежного сочувствия. Я встретил теперешнюю жену мою, она показалась мне девушкой доброй, простой... и я женился, чтобы скорее вырваться из глухого одиночества; я не очень несчастлив... – прибавил Андреев, краснея до ушей. – С живописью я расстался почти так же, как с покойной сестрой, – невозвратно! Сохраняю старые рисунки свои, как незабвенную память всего минувшего, как залог, что и у меня был когда-то талант. Я часто смотрю на них... Меня утешает мысль, что не добровольно заглушил я в себе дарование, что не растратил его на ветер и, если б не обстоятельства, я был бы художник!..

Он еще ничего не знает о существовании «Общества поощрения художников» – я не решился (ты понимаешь отчего?) заговорить о нем с Андреевым, но втайне благословил благородное учреждение, осенившее благодетельным крылом своим наших молодых художников! Да, Петровский, теперь уже, вероятно, никого из нас не постигнет жалкая участь нашего бедного Андреева!..

И долго еще говорил так-то Андреев. Грустны были речи его; еще грустней и безотрадней раскрылась предо мною жизнь этого бедного товарища, страдающего в тиши, без ропота и ненависти, с полным сознанием своего горя, – жизнь, полная высокого самопожертвования, – и для кого все это?.. Для семьи, которая не только не понимала высокой жертвы, но старалась еще отравлять каждую секунду такой жизни... И сколько раз самопожертвование Андреева казалось мне выше всякого другого, сделанного в минуту увлечения, перед восторженно-плещущей толпой. Тот,

кто способен на великое в минуту воспаленных чувств и мозга, не всегда, в минуту холодного рассудка, найдет в себе энергию и на половину такого дела! Уж вечерело, когда мы кончили нашу беседу.

Кругом, в городе и за рекой, уже стихло. Чуть внятные звуки колокола с отдаленного монастыря, приносимые легким ветром, пробегали над необозримым пространством. Мы молча прошли кладбище... Уныло глядели глинистые бугорки, покрытые тенью, и только жиденькая ветелка над могилой сестры Андреева да кругом ее несколько желтых цветков подымали свои головки, освещенные багровым блеском тихо заходящего солнца... Через час я простился с Андреевым и пожал ему, может статься, в последний раз руку...»

1849



ПРОХОЖИЙ

(Святочный рассказ)

I

...Да, поистине, это была страшная ночь! Старики говорили правду: такая ночь могла только выпасть на долю *Васильеву вечеру*. И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из пустого не стали бы выводить страхов (этак, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели, а между тем и всей-то зимы никто не боится)! Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и углам и будит баб топить ночью печи: идет ли она по полю – за ней вереницами ходят метели и просят у нее дела; идет ли по лесу – сыплет из рукава иней; идет ли по реке – кует воду под следом на три аршина, – и что ж? – всякий встретившийся с нею прикутается только в овчину, повернется спиною да идет на полати! На этот раз, однако ж, иное было дело.

Посреди свиста и завывания ветра, внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие и как будто терявшиеся в отдалении за гумнами, то отрывчатые, пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон и забравшиеся даже в трубы и запечья. Выходит ли кто на улицу – перед ним носились незнакомые, чуждые образы; из мрака и вихрей возникали то и дело страшные, никому неведомые лики... Да, старики говорили правду, когда, прислушиваясь чутким ухом к реву метели, утверждали они, что буря буре рознь, и что шишига, или ведьма, или нечистая сила (что все одно) играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок. Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков

ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу! (В Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится.) Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом, снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы... как это действительно было с одним бедняком, прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого.

Много грозных ночей застигало прохожего, много вьюг и непогод вынесла седая голова его,– но такой ночи он никогда еще не видывал. Затерянный посреди сугробов, по колена в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу: метель и сумрак сливали небо с землею, снежные горы, взрываемые могучим ветром, двигались как волны морские и то рассыпались в обледенелом воздухе, то застилали дорогу; гул, рев и смятение наполняли окрестность. Напрасно также силился он подать голос: крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха: грозный рев бури один подавал о себе весть в мрачной пустыне. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника, страшные думы бродили в голове его и воплощались в видения: на днях знакомый мужичок, застигнутый такою же точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем, и на другой день, об утро нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода; третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы; вечор еще посреди самой улицы нашли мертвую калеку-перехожую, которая за метелью не различила избушек.

Так думал прохожий; а вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее. Вот повернула она, поднялась хребтом на пригорке, закрутилась вихрем, пронеслась над головой путника, загудела в полях и ударила на деревню. Вздрогнули бедные лачужки, внезапно пробужденные от сна посреди темной холодной ночи; замирая от страха, они тесно прижались друг к дружке, закутались доверху своим снежным покровом, прилегли на бок и трепетно ждут лютого вихря. Но вихрь, привыкший к простору, рвется и мечется пуще прежнего в тесных закоулках и улицах. Разбитый на части, он, разом со всех сторон, нападает на лачужки, всползает на шаткие стены, гудит в стропилах, ло-

мает там сучья, срывает воробьиные гнезда, сверлит кровлю и, выхватив клок соломы, бросается на кровлю, силясь сбросить петушка или конька на макушке; и тогда как одна часть бури ревет вокруг дома, другая уже давно проползла шипящею змеёю под ворота, ринулась в клети и сараи, обежала навесы и, не найдя там, вероятно, ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей... Но вот вихрь прилег наземь, загудел вдоль плетня, украдкою подобрался к калитке, поднялся на дыбы, сорвал ее с петель, бросился на улицу, присоединился к другому, третьему, и снова грозный рев наполняет окрестность...

Но что до этого! По всему крещеному миру не было все-таки бедной избенки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни, где бы не было тепло и приятно! Там – шумная толпа ребятишек резво прыгает по лавкам и нарам, выбрасывая из рукава нарочно припасенные про случай хлебные зерна и звонко распевая: «Уроди, боже, всякого хлебца, по закорму, что по закорму, до по великому, а и стало бы того хлебушка на весь мир крещеный!..» Между тем старшая хозяйка дома, – мать или тетка, – отбиваясь одной рукою от колючих игл овса и гречи, пущенных в нее как бы нечаянно шаловливым парнем, другою приподняв над головою зажженную лучину, суетливо ходит взад и вперед и набожно подбирает зерна в лукошко для будущего посева. Остальные члены семьи, кто усевшись под иконы, кто стоя в углу, молча, но весело глядят на совершение обряда; даже старая подслеповатая бабушка, много лет не сходившая с печки, свесилась на перекладину поглядеть на внучек, – на семейную радость!

В другой избе крики и хохот раздаются еще громче. Рой молодых девок натискался в избу. Двери плотно заперты; окно на улицу завешено прорванной понявой. Одна из девок – самая вострая – стоит на слуху в сенечках: не идет ли кто. Остальные заняты делом: кто повязывает на голову войлок, обвитый вокруг палки, кто натягивает армяк или покрывает маленькую головку неуклюжей шапкой, обтыканной по краям, ради смеха, льняными прядями, обсыпанными мукою; кто прикутывается в овчину, вывороченную наизнанку, – это ряженые! Хохот, визг, шушуканье,

писк не прерываются ни на минуту. Надо же весело справить последний день Васильева вечера! В третьей избе громкий говор и восклицания сменились на минуту молчанкою. Ребята, бабы, большие и малые, все пришипились. Там, под сладкий шумок веретена и прялки, тянутся мерные россказни старика-деда. Семейка села в кружок и, пригнувшись к одной лучине, не пропускает ни одного звука, ни одного движения рассказчика. Рассказ, прерываемый треском мороза, который стучит в углы и заборы, благополучно дотянулся, однако ж, за полночь. Лучина скоро угаснет. И тогда вся семья, женатые и холостые, большие и малые, заползут на печку и предадутся мирному отдыху, нимало не заботясь, что вьюга ревет и завывает в поле и вокруг дома...

О! счастлив, сто раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка!.. Так, по крайней мере, думал... но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать! Отчаяние уже давно завладело его душою. И если какие-нибудь мысли и приходили ему в голову,— им все-таки не время теперь было определяться в ясную думу; они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютою метелью, посреди которой стоял он с обнаженною седою головою и замирающим сердцем,— и так же быстро уносились и сменялись другими мыслями, как один вихрь сменялся другими вихрями...

Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшею ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.

Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетною рукою сотворил крестное знамение. Буря между тем пронеслась мимо: все как будто на минуту стихло... и вдруг нежданно, в стороне, послышался лай собаки... Нет, это не обман — лай повторился в другой и третий раз... Застывшее сердце старика встрепенулось; он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух... Немного погодя, ощупал он сараи, и вскоре изза угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избушек.

II

Хозяин в дому — как Адам в раю,
Виноградье красно-зеленое.
Хозяйка в дому — как оладья в меду,
Виноградье красно-зеленое.
Малые детушки — как олябышки,
Виноградье красно-зеленое!

Народная песня

— Ах вы, пострелы вы этакие!.. Вишь заладили. пусти да пусти на улицу! Уйметесь вы али нет?..— закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу.— Молчать! вот я вам погуляю!.. Молчать, говорят!..— прибавила она, внезапно останавливаясь над маленькою толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.

Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет пяти, с огромным куском ржаной лепешки во рту, выставили его вперед и, прежде чем руки матери опустились книзу, отступили в угол.

— Это Филька кричал, а не мы...— проговорили они в один голос, тискаясь друг на дружку.

— То-то — Филька, я вам дам Фильку, смотрите вы у меня! — произнесла старуха, отступая в свою очередь и грозя в угол.

Она повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь — девушку лет семнадцати, сидевшую на лавочке, подле окна.

— Ну, чего ты сидишь,— ноги-то развесила,— начала старуха, принимаясь снова размахивать руками,— что сидишь?.. Неушто не видишь — лучину надо поправить, словно махонькая какая: все ей скажи, да скажи, сама разума не приложит!..

Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем книзу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место. Дурное расположение старухи нимало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали по-прежнему в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, которая сердито завывала на улице,— потом вернулась на середину из-

бы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье, раздававшееся с печки.

– Левоныч, а Левоныч, – заговорила она наконец, топнув ногою и устремляя глаза на рыжую бороду, которая выглядывала вострым клином из-за края печки. – Левоныч, слышь, говорят, вставай! Ну чего ты, в самом-то деле, разлегся, словно с устали; полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорят!

– О-о-о! Господи!.. Господи!.. Чего тебе, ну? – отозвался староста, зевая и потягиваясь.

– Тьфу, увалень! прости господи! Тебе что? тебе что?.. – подхватила она с сердцем и стараясь передразнить его, – тебе что?.. Сам наказывал будить; память заспал, что ли? Я чай, у Савелия давно завечеряли; ты думаешь – староста, так и ждать тебя станут, – нешто возьмешь; вставай, говорят!

– Ммм... – простонал староста, переваливаясь на другой бок; при этом борода его исчезла и на месте ее показалась багровая, глянцевитая лысина, на которой свет лучины отразился как в стекле.

– Слышь, говорят, понаведались за тобою от Савелья, сказывают, и мельник там, и пономарь, – крикнула она, обнаруживая крайнее нетерпение.

Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок, и уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопенья.

Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности. Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко, с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась стукотня в окне, и, вслед за тем, кто-то запел тоненьким голосом:

Коляда, коляда!
Пришла коляда!
Мы ходили, мы искали
По всем дворам, по проулочкам...

– Мамка, пусти к ребятам на улицу! – заголосили в то же время ребятишки, выступая из угла, – пусти хоша поглядеть...

– Цыц, окаянные! цыц! – крикнула старостиха, ухватившись второпях за ногу мужа и поворачивая назад голову.

— Мамка, мамка!..— заголосили громче парнишки, подстрекаемые пением за окном, которое не умолкало,— пусти поглядеть на ребят...

Но старостиха недослышала далее; она соскочила наземь, схватила веник и со всех ног метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.

— Вот тебе, вот тебе!..— проговорила мать, скрепляя каждое слово новым ударом,— ну, перестань же, перестань,— присовокупила она, смягчая неожиданно голос и увлекая его к столу,— перестань, говорят; на пирожка, на пирожка,— продолжала старуха, суя ему под нос кусок,— на пирожка... А, так ты не хочешь, пострел, не хочешь... на же тебе, на тебе! — и веник снова зашипел в воздухе.— Ну, на пирожка... возьми... о! о! уймешься ты али нет?! опять!.. постой же, постой...

И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего, и тот же голос запел, но только настойчивее:

Чанны ворота!
Посконна борода.
Кричать ли Авсень?..

— Матушка, подай им хоть лепешку,— сказала старшая дочь, робко взглядывая на мать и потом обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно,— они, матушка, так-то хуже не отстанут...

— Не отстанут! ах, ты дура, дура! — крикнула старостиха, бросая Фильку и останавливаясь впопыхах посередь избы,— а вот погоди, я им дам лепешку...

Но шум под окном обратился уже в неистовые крики, сопровождаемые присвистыванием, прищелкиванием, и голос распевал во все горло:

Чанны ворота,
Посконна борода,
Честь была тебе пропета,
Подавай лепешку
В заднее окошко!

Присоединенный к этому вой Фильки и рев остальных детей остервенили вконец старуху; и бог весть, чем бы все это кончилось, если б не голос ста-

росты, который раздался почти в то же время с печки:

— Старуха... о! что у вас там такое? соснуть не дадут... никак колядки задумали петь... гони их...

— А сам-то ты что лежишь на печке, увалень ты этакой. Бьюсь не добьюсь поднять его на ноги; тьфу!..

Старый черт, подай пирога,
Не дашь пирога — изрубим ворота.
Авсень!.. —

раздалось под окном.

— Вишь, черти! — вымолвил староста, подпираясь локтем и лениво потирая лысину, — поди, уйми их, старуха, чего стоишь?

Старостиха подняла окно и высунулась на улицу; но почти в ту же минуту отскочила на середину избы. Несколько комков снега влетели вслед за нею.

— Ух! окаянные! ух, дьяволы! — завопила старуха, протирая глаза и метаясь, как угорелая, из угла в другой, — где кочерга?.. где? а все ты, увалень! лежит себе, словно с ног смотался, — не шелохнется, хоть дом гори.

На будущий год
Осиновый тебе гроб... —

крикнул кто-то звучным голосом, ударив кулаком в оконную раму.

— А вот погоди, погоди, — проговорил староста, спускаясь, наконец, с печки, — дам тебе осиновый гроб; это, я знаю, все Гришка Силаев озорничает; погоди, я тебе шею накостыляю, — заключил он, став на пол и протирая глаза. — Вы чего?.. Ну, чего воете?

— Тятька, пусти нас на улицу! — жалобно отозвались ребята.

— На улицу! — прытки добре; слышите, погода какая, замерзнуть небось хочется... Парашка, давай кушак да шапку — они, кажись, на лавке под образами — давай, пора идти, я, чай, и взаправду у Савелия завечеряли... — промолвил он, обращая сонные глаза на старшую дочь, которая во все это время так же неподвижно сидела на лавочке, изредка лишь завистливо поглядывая на уличное окно.

— Ну, вот, давно бы так, ступай-ка, ступай!.. и то два раза спрашивали, — сказала старуха, торопливо подавая варежки.

— Вот что, хозяйка,— вымолвил муж, останавливаясь у двери,— смотри без меня никого не пущай в избу; не равно ряженые придут,— гони их в три шеи... Повадились нынче таскаться... А пуще всего не пущай Домну. Чтоб и духу ее здесь не было..

— Чего ей ходить-то,— недовольным голосом возразила жена,— небось, не придет... Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку...

Сказав это, она набросила полушубок на плеча и, ворча что-то под нос, поплелась за мужем. Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужею и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов

— Ух! морозно добре стало, старуха... ух... ишь как ее, погодка-то, разгулялась... у!..

Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.

— Ну вот еще что выдумал! первинка тебе, небось, ступай, ступай; тебе так спросонья почудилось; вестимо ветер гудет,— зимнее дело; ступай, у Савелия давно уже, я чай, завечеряли,— ступай, говорю, не срамись...

И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.

Пробравшись к воротам, она отворила калитку, оглянулась во все стороны и, наконец, вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело; вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.

— Ну, что ж ты, Параша, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу,— сказала она, неожиданно обращая речь к старшей дочери.

— Я думала, матушка, ты не велишь...— отвечала девушка, радостно вставая с места.

— Мамка, пусти и нас!— произнес сквозь слезы голос из угла.

— Што-о-о!..— воскликнула старуха, быстро поворачиваясь к углу.

Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с тою, однако ж, разницею, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.

— Чего вы, пострелы, все его вперед суете? я нешто не вижу?.. подь сюда, касатик,— заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок.— Ну,— крикнула она, взглядывая нерешительно на угол,— ступайте на улицу!..

Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.

— Цыц, пострелы! — задребезжала старуха, затыкая сначала уши и пускаясь потом вдогонку то за одним, то за другим,— цыц! никого не пущу... тьфу, окаянные, прости господи! — пошли вон!.. А ты, моя касатушка, не смей у меня шляться по улице! — прибавила она, повертываясь к Параше, которая взялась уже за скобку двери,— будь довольна, что из избы-то тебя выпустили... не стать же тебе шаламберничать с ребятами; сиди у ворот, шагу не смей ступить без спросу!..

Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за воротами.

III

Ах ты, Домна Домна...
...— баба ты уда́лая!
Народная песня

Секунду спустя старостиха осталась одна-одинешенька посреди избы. Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какою-то довольною заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы; после этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени. Тут пригнула она набок голову и стала внимательно вслушиваться; убедившись, что слышанный ею шум происходил единственно от бури,— старуха захлопнула дверь на крылечко и вошла в каморку или чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней. Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не

только проходил свободно ветер, но даже сеялся в изобилии снег, и многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины; приткнув ее, наконец, кой-как за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро: поочередно выступили, одна за другою, старые понявы, куски холста, мотки, коты, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца; добравшись до последних, старуха бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество. Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног; старостиха насторожила слух и затаила дыхание. Раздавшийся немного погодя кашель возвратил, однако ж, спокойствие на лицо ее; откашлянувшись в свой черед, она сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головою лучину, вернулась в сени; задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась, и в сени вошла, покрякивая и оттаптывая ноги, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жиру. В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицею; другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.

— Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать! — произнесла та, кланяясь в свою очередь.

Вслед за тем она прикрыла полою зипуна лучину и отошла немного в сторону.

— А что, касатушка, никого у вас нет? — прохрипела Домна, осматриваясь нерешительно на стороны.

— Никого, родная, все, и малы, и велики, со двора ушли,— отвечала старостиха, утвердительно моргая глазами.

Услыша это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиною к хозяйке и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыски-

вать какою-то жидкостью притолку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос. Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами: сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостьи. Наконец, она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда Домна окончила причитание, подала его с поклоном.

Ощупав полотенце, Домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые дверь и пол, спрятала его за пазуху. После того она закрыла горшок, поставила его на пол и подошла к старостихе как ни в чем не бывало[1].

– Спасибо тебе, Домна Емельяновна, что понаведалась,– сказала старостиха, отвешивая маховой поклон,– а я уже чаяла, касатка, ты за метелю-то не зайдешь ко мне; выходила за ворота, смотрю: гудет погода; нет, думаю, не бывать тебе...

– И-и-и... Христос с тобою, с чего ж не бывать? уж коли посулила, стало, приду,– отвечала скороговоркою Домна,– да и пригоже ли дело, родная, солгать в такую пору...

– То-то, болезная... зайди в избу, Емельяновна,– отогрейся.

– Спасибо тебе на ласковом слове,– отвечала Домна.

Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу.

Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке как волчок. Гостья не долго отнекивалась, выпила вино бычком, т. е. одним духом до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.

Вообще, должно сказать, Домна не была бабою ломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая! Да и можно ли, по-настоящему, быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским состраданием, пробавляешься чужи-

[1] Обряд этот совершается на Васильев вечер и известен в Великороссии под названием: *смывание лихоманок*. Смывание производится (как уверяют, по крайней мере, плутовки, пользующиеся доверием поселян) снадобьем из четверговой соли, золы из семи печей и угля, выкопанного в Иванов день из-под чернобыльника.

ми крохами, тут всякий, того и смотри, сядет тебе на плечи, да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотят. Домна знала это как нельзя лучше, а потому, желая избегнуть, по возможности, сиротской невзгоды, и норовила всегда сама сесть на чужие плечи. «И будь без хвоста, да не кажися кургуз», — говорит пословица. И так ловко повела она свое дельце, что никто не пенял на нее; каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку, — везде и всегда она одна. Незадого еще до настоящего времени слыла она первою запевалкою и хороводницею во всем околотке, никто не подлаживал так складно под песню в обломок косы, никто не выплясывал и не разводил так ловко руками, ничей голос не раздавался звучнее; но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел как у опоенной клячи, — слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, — но теперь в соседних деревнях без Домны — что без правого глаза. Без нее не обходится ни одна свадьба, потому что, не будь Домны, и свадьбе бы не состояться; она поклонилась отцу, поклонилась матери и уладила дельце; на пирах является она бабкою-позываткой: первая затевает пляску, первая пьет сусло и бражку. В зимние, долгие вечера Домна — не баба, а просто золото. Она все знает: кто хочет или задумал только жениться, кого замуж выдают, где и за что поссорились люди; там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, здесь спрыснет студенцем, — словом, на все про все. И крова, кажись, нету, мужа нету — сирота как есть круглая, а живет себе припеваючи. Да и о чем тужить? Сама не раз говорила Домна: «И то правда, касатушки, под окошечком выпрошу, под третьим высплюсь, — поддевочка-то сера, да волюшка-то своя!..»

Так вот какова была гостья старостихи.

— Ну, что, касатка, я чай, у соседей была? — спросила старостиха, придвигая к ней пирог.

— Как же, родная, — скороговоркою отвечала Домна, косясь одним глазом на скляницу, другим на чашку с гороховым киселем, — когда ж и быть-то, как не нынче? кому охота напустить к себе в дом злую ли-

хость? Та — Домна Емельяновна, пособи, другая также! Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела; вестимо, долго ли накликать беду; о-ох! знамо, не простой день, касатка,— Васильев вечер... Ноне, болезная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом... Вот она и снует, окаянная, по свету,— ищет виноватых; где теплая изба, туда и она... притаится, это, за простенок али притолку, и ждет, нечисть, не подвернется ли кто... Я сама их видала, всех сестер видала... уж в чем, кажись, только душа есть: тощие, слепые, безрукие такие... а не смой из дому — затрясут, поди, до смерти,— завиралась Домна, надламывая пирожка и взглядывая на старостиху, которая сидела против ее на лавочке и, прищурившись, как кошка на печке, мотала в тягостном раздумье головою.

— Вот скажу тебе,— продолжала Домна,— видела я мужика в Груздочках, так уж подлинно жалости подобно... И здоров был, и росл, что хмелина в весну, а как напала, это, она на него,— похирел, словно трава подкошоная... А все оттого, что жена его поартачилась да не пустила смыть лихоманку в Васильев вечер...

— Ахти, касатка, эки дела какие; что ж она,— недобрая мать,— злобу какую на мужа-то имела?..— спросила старостиха.

— А кто ее знает, я немало ее тогда уговаривала...

— Да что ж ты, родная, не пьешь, не ешь ничего...— произнесла хозяйка, принимаясь суетиться,— не позорь нашего хлеба-соли... выпей еще стаканчик...

— Спасибо тебе на ласковом слове,— отвечала Домна, радостно принимая приглашение,— ну, так вот, родная, как почала она трясти его, трясла уж она, это, трясла, чуть не до смерти; насилу отшептали, совсем было сгиб человек... Да постой, не нынче, так завтра у нас в деревне прилучится такое дело,— коли еще не хуже...

— О-ох! — произнесла старостиха, со страхом озираясь на сторону,— что ж такое, родная?..

— А вот что,— отвечала Домна, отдувая багровые свои щеки,— захожу это я нынче, об утро, к Василисе, соседке твоей,— вестимо, касатка, не из корысти какой, чтоб мне сошлось что за хлопоты, захожу к ней,— а так, по простоте моей сиротской, известно, люди бедные, нешто с них возьмешь... Маешься ты,

говорю, Василиса, со своим сыном; дай, говорю, отведу я от него нечистую силу, нынче только, говорю, и можно образумить ка́женника[1] — сама, чай, ведаешь, день какой, — куда те! и слышать не хочет; да это бы еще нешто, бог с ней, а то, туда же окрысилась на меня: вы, говорит, по деревне про сына пустили толки, го да се... Ну, думаю себе, делай как знаешь, сама напоследях спокаешься, несдобровать тебе с твоим ка́женником!..

Тут Домна покосилась украдкой на старостиху и сказала, понизив голос:

— Ты, касатка, не подпущай его, смотри, близко к дому, я давно хотела с тобой на досуге глаз на глаз поговорить...

Старостиха насторожила уши.

— Он, слышала я от добрых людей, — продолжала таинственно Домна, — за твоей дочкой увивается... избави господи!.. У каженников дурной глаз! того и смотри, испортит девку...

— Что ты, касатка, — ох!.. Да подступись он только... Да я и ему-то, и его матери-то все глаза выплюю!.. — возразила с негодованием старостиха. — Я, родная, как только проведала про эвто дело, и дочь-то не пускаю со двора, зароком наказала не ходить за ворота...

— То-то, болезная, я не в пронос говорю тебе такое слово; ты девку-то свою не пущай, а он, окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум — напустит на нее лихость, — а ты, поди, плачь, тоскуй опосля... По-моему, до греха надо отвадить его как ни на есть от нее, чтобы девка-то опостыла ему, — без этого не миновать вам беды... Уж лучше, коли на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню, я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надыть! Да ему и в рот не вкинется, и во сне не приснится такое счастье... Она у тебя пригожее всех молодиц села... Вот доведалась я (люди добрые сказывали), и она, Василиса-то, на то же норовит; стану, говорит, просить барина!.. Пригодное ли дело, касатка, вам с ними родниться? шиш-голь, да и полно! Вам просвету не дадут: вишь, скажут, породнились с кем!.. Вестимо, кто

---

[1] Ка́женником называют в деревнях человека, одержимого душевною тоскою иногда просто без причины. Не ходит парень в хороводы, ну и ка́женник!

про что: другому и крохи пропустить нечем, – да добрый человек, а этот, болезная ты моя, каженник! Уж что это за человек: чурается добрых людей, словно собак паршивых, ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песни... я тебе говорю: отлучи ты его, до беды, от девки-то!..

– О-ох! я и сама о том думаю, касатушка... помоги, Домна Емельяновна, – произнесла с явным беспокойством старостиха, – рада служить тебе всем добром, – отведи ты его, бог с ним, от моей дочери.

Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце.

– Спасибо тебе на ласковом слове, – отвечала Домна, спрятав полотенце, как бы невзначай, за пазуху; – рада и я служить тебе, – изволь, помогу; слушай...

И Домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху; но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке.

– Ох, родная! – воскликнула Домна, бросаясь впопыхах из одного угла в другой, – никак, муж твой идет, вот накликали беду!..

Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу.

– Нет, касатка, не он, – крикнула она, просовываясь в избу и обращаясь к Домне, которая стояла уже в дверях, – не он: ветер сорвал доску с надворотни, – не бойся, – он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется, – сиди без опаски...

– Ох, касатка, всполохнулась я добре, – вымолвила гостья, отдуваясь и прикладывая ладонь к левому боку, – ну, кабы он, беда, думаю; – серчает он на меня... а сама не знаю за что... провалиться мне, стамши, коли знаю...

Но речь Домны снова была прервана таким страшным грохотом под воротами, у плетней и под навесами, как будто буря, собрав все силы свои, разом ударила на избу старосты.

– С нами крестная сила! – пробормотала хозяйка дома, творя крестное знамение.

– Ох, не к добру, родная, – проговорила Домна, крестясь в свою очередь, – слышь, как вдруг все загудело... Ох, вот так-то, как шла я к тебе... иду, вдруг,

отколе ни возьмись, замело меня совсем и зги не видно; куда идти, думаю, и сама не знаю; стою это я, касатка, слышу, кто-то словно подле меня всплакался... да жалостливо так... Ох, не к добру...

Мало-помалу, однако же, и хозяйка, и гостья успокоились. Буря пронеслась мимо. Старостиха бережно заперла двери и снова села на лавочку; Домна откашлянулась, нагнулась к ее уху и стала что-то нашептывать.

IV

Чижик-пыжик у ворот,
Воробышек махонькой...
Эх, братцы, мало нас!
Голубчики, немножко...
Иван-сударь, поди к нам,
Андреевич, приступись...

Народная песня

Параше страх, однако ж, прискучило сидеть под окнами своей избушки. В первое время после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мере, раз посидеть свободно на улице, что, может статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг; полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока, наконец, не увидела ясно, что ожидания обманули ее. Сколько ни напрягала она внимания, всюду слышался рев бури, которая, врываясь поминутно в деревню, грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы; глухая ночь царствовала повсюду; изредка лишь, проникая мрак, сквозь снежную сеть, мелькали кое-где, как искры, огоньки дальних избушек. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.

«Неужто запугали их метель и холод? — подумала она, стараясь проникнуть в сотый раз темноту, ее окружавшую; — чего ж тут бояться?.. О! если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы всех их пристыдила. А может быть, они забились в избы, не страха ради, а ради забавы... Я чай, гадают они или наряжаются... куда как весело!..» Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильнее прежнего. Не смея ослушаться матери, но со всем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к за-

валинке, оттоптала снег в углу, между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать. Она мысленно переносилась в каждую избу; там невидимкою присутствует она посреди веселого сборища; тут прислушивается к говору парней, здесь подруги наряжают ее: она смотрится в крошечное оправленное зеркальце, глядит и глазам не верит, как пристала к ней высокая шапка с золотом, синий кафтан и красная рубаха с пестрыми ластовицами; в другом месте... но не перечесть всего, о чем думает молоденькая девушка. Кончилось тем, что Параша не утерпела, сбросила с головы овчину, заглянула в окно к матери и, убедившись, вероятно, что с этой стороны не предстояло опасности, соскочила с завалинки и украдкою подобралась к соседней избе.

Изба эта, – хилая лачужка, занесенная почти доверху снегом, отделялась всего-навсе от избы старосты длинным навесом, а Параше стоило сделать несколько прыжков, чтобы очутиться под единственным ее окошком.

Девушка прильнула свеженьким своим личиком к стеклу, сквозь которое проникал огонек, и, затаив дыхание, долго смотрела на внутренность избушки. Но и тут, казалось, ожидания обманули ее. Параша нахмурила тоненькие свои брови и думала уже вернуться назад, когда совершенно неожиданно до слуха ее коснулся чей-то тоненький голосок. Голос выходил из-за ближайшего овина; Параша притаилась в угол и стала вслушиваться; голос, очевидно принадлежавший женщине, напевал, между тем, протяжно:

Ай, звезды, звезды,
Звездочки!
Все вы, звездочки,
Одной матушки,
Бело-румяны вы
И дородливы!..
Гляньте, выгляньте
В эту ноченьку!..

«Это, должно быть, кузнецова Дунька загадывает себе счастье... – подумала Параша, – но где же видит она звезды? – продолжала она, закутываясь в тулупчик и поднимая кверху голову, – ух! как темно

и страшно... ну, долго же придется ей ждать звездочку... А что, все ведь нынче гадают... дай-ка и я себе загадаю... что-то мне выпадет?» Последнее заключила она, стоя уже подле своей избы; она оглянулась сначала на все стороны, потом обратилась снова почему-то к соседней лачужке и произнесла нараспев:

Взалай, взалай, собачонка,
Взалай, серенький Волчок!
Где собачка залает,
Там и мой суженой...

Но каково же было удивление девушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки. Лай замолк, а Параша все еще стояла, как прикованная на месте; сердце ее билось сильнее; не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню; но голоса и хохот, раздавшиеся внезапно с другого конца улицы, привлекли ее внимание.

— Тащи каженника, тащи его! что он взаправду артачится... Тащи его, ребятушки, пущай наряжается с нами... тащи его, не слушай! — кричал кто-то, надрываясь со смеху.

Параша бросилась сломя голову на завалинку, вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить одно слово. Голоса и хохот приближались с каждою минутой; вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.

— Ребята, никак, у старосты огонь! катай туда! — закричал тот же голос, по которому Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева. — Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься, сказано, что не выпустим, так стало, так и будет; полно тебе слыть каженником, пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем... Тсс! тише, ребята, ни гугу; девки, полно вам шушукаться, никак, кто-то сидит у старосты на завалинке...

— Девушки, касатушки... ох!.. — заговорило в одно время несколько тоненьких голосков.

— Ну, чего вы жметесь друг к дружке, чего? небось, не съедят, — шепнул Гришка Силаев, — ступайте за мной...

И толпа наряженных, стиснувшись в одну плотную кучку, пододвинулась ближе. Гришка сделал шаг вперед и вдруг залился звонким, дребезжащим хохотом.

— Э! так это вот кто! здравствуй, старостина

дочка,— произнес он, снимая обеими руками шапку и кланяясь Параше чуть не в ноги.

— Девушки, касатушки, и вправду она! — воскликнули девушки, окружая подругу.— Что ты здесь делаешь? пойдем с нами, полно тебе сидеть; смотри, как мы нарядились! пойдем...

— Нет, мне нельзя... я и рада бы, да, право, нельзя, касатушки... того и смотри, матушка позовет...— отвечала Параша, заглядывая вправо и влево и как бы желая различить кого-то в толпе.

— А разве матушка твоя дома? — спросил Гришка.

— Дома.

— И отец дома?

— Нет, отец у Савелия на вечеринке.

Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос с носом со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу. Гришка свистнул и бросился в самую середину толпы, которая откинулась в сторону.

— Ах вы, проклятые!.. Кто там?.. Чего вам надыть?.. Пошли прочь, окаянные!.. Парашка! Парашка! что те не докличешься... ступай в избу, где ты? о! постой, я тебя проучу.

Парашка откликнулась, набросила на голову полушубок и, вздохнув, отправилась к воротам.

— Параша! — крикнул ей вслед Гришка,— кланяйся маменьке, целуй у ней ручки; скажи, что все, мол, мы, слава богу, здоровы и ей того мы желаем...

— Ах ты охлестыш поганый! — взвизгнула старостиха, высовываясь по грудь из окна,— погоди, постой, я тебе дам знать!

— Что ты, маменька, глотку-то дерешь?.. не обижайся, за добрым делом к тебе, родная...— отозвался Гришка, пробираясь украдкой с огромным комком снега под полою,— приходили звать тебя в гости; не равно обознаешься; ищи ты нас вот как: ворота дощатые, собака новая, в избе два окна, как найдешь, прямо придешь! — заключил он, пуская комок в старостиху, которая успела, однако ж, вовремя захлопнуть окно.

Толпа захохотала.

— Эх, промахнулся! — произнес Гришка, отряхая руки,— а жаль, кабы не обмишурился, было бы чем закусить... ишь ее, баба-яга какая... Ребята, назло же ей, слушай: старосты нет, пойдемте к ней в избу... вы-

воротим каженнику овчину, он будет медведем, а я вожаком; ладно, что ли? Ну, Михайло Иваныч, поворачивайся, да не пяль глаза в стороны, сказано не выпустим, пойдешь с нами! – прибавил он, стаскивая полушубок с плеч молодого парня, который, впрочем, довольно охотно поддавался.

– А ну, быть стало по-вашему! – неожиданно воскликнул молодой парень, отрывая глаза от старостина окна и принимая как будто решительное намерение, – давайте овчину, я сам выворочу... Ну, так, ладно, что ли! – заключил он, просовывая руки в рукава вывороченной овчины и тяжело поворачиваясь перед толпою, которая разразилась звонким смехом.

– Ай да молодец! – заревел Гришка, топая в восторге ногами. – Я вам говорил: на него только наговорили, какой он каженник! Давай другую овчину, закутаем ему голову! Так. Ну-кась, Михайло Иваныч: а как ребята за горохом хаживали... ну-у-у!.. ай да Алеха! Я говорил вам, не сплохует! Он только прикидывался тихоней, а они ему верили... Ребята, стойте! – крикнул Гришка, останавливая толпу, которая уже двинулась к воротам старостиной избы, – стойте; по-моему, вот что: дайте ей, старой ведьме, опомниться; она теперь взбеленилась, так уж заодно придется ей серчать... дадим-ка ей лучше простыть, да тогда, на спокой-то, и потревожим ее, пущай де знает! Пойдемте, как есть, следом к Савелью, теперь пир горой; народу там гибель, потешимся на славу, а там сюда добро пожаловать... так, что ли?..

– Пойдемте, пойдемте! – отозвались все разом. И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря, смолкнувшая на время, снова ударила всей своей силой; все помутилось вокруг, и ряженые наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.

– Держись, не вались! – крикнул Гришка, сгибаясь в три погибели и становясь спиною к метели, – наша возьмет, стой крепче, не робей! Эй вы, любушки-голубушки, – присовокупил он, пробираясь к девушкам, – что пришипились? играйте песни!..

– Полно тебе, Гришка... Ох, девушки, страшно! ох, касатушки, страшно! – раздавалось то с одной стороны, то с другой.

— Страшно... у! у! у!..— произнес Гришка, становясь на четвереньки и принимаясь то хрюкать свиньею, то выть волком.— Ой! девушки, смотрите-ка, смотрите... вон ведьма на помеле едет, ей-ей, ведьма, у! смотри, сторонись,— хвостом зацепит.

Девушки, прятавшиеся друг за дружкою, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. В стороне, за метелью, послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон... В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных волнах снега, между сугробами, показался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.

Но толпа успела уже разбежаться во все стороны.

V

За дубовы столы,
За набранные,
На сосновых скамьях,
Сели званые.
На столах — кур, гусей
Много жареных,
Пирогов, ветчины
Блюда полные!

А. В. Кольцов

Между тем пирушка у Савелия шла на славу; народу всякого, званого и незваного, набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места бы ему недостало. Даже под самым потолком торчали головы; последние, впрочем, принадлежали большею частью малолетним парнишкам и девчонкам, которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже куда приткнуться. И как, в самом деле, сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время — в святки? Того и смотри, нагрянут ряженые, пойдут пляски, песни... деревенским ребятам все в диковинку! И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков и подзатыльников, карабкаются на лавки, вползают на печку и полати, мостятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. Между ними попадаются такие бойкие, которые, не зная, куда девать маленького братишку, заснувшего у них на руках, за-

брались вместе с ним на зыбкую перекладину и висят себе как ни в чем не бывало!

В избе жарко как на полке; никто, однако ж, не думает отступать к двери; каждый, напротив того, норовит изо всей мочи как бы протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение. Там, за столом, покрытым рядном, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидели гости званые и почетные. На самом первом месте, под образами, в которых дробился свет восковой свечки вместе со светом сального огарка, воздвигнутого на столе, бросался прежде всего в глаза мельник и жена его, оба толстые, оба красные, как очищенная свекла. Подле них, по правую руку, сидел пономарь из чужой вотчины, долговязый, рябой как кукушка, косой как заяц, с вострым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке; жар действовал на него совсем иначе, чем на мельника: он, казалось, сушил и коробил его как щепку. Подле пономаря сидел сотский, – крошечный, мозглявый старикашка лет семидесяти пяти, но живой и вертлявый, щупавший поминутно то медаль на груди форменной инвалидной шинели, то дергавший себя за кончики седых волос, изредка торчавших по обеим сторонам лысины; слезливые глаза его щурились постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, был постоянно открыт и сохранял такое выражение, как будто сотского парил кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником. По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста и рядом с ним хозяин дома – рыжий, плечистый мужик, такой же толстый почти, как мельничиха. С обоих пот катил градом, но оба не замечали этого и, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались. По обеим сторонам описанных лиц, на лавочках, подле стола и немного поодаль, сидели еще гости, тоже званые, но менее почетные. Тут были старики, и молодые, и бабы с их ребятами; все они расположились семьями: где муж с женой, где старуха со снохой. Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой; радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного, и так как хозяйка приготовила кисленького и солененького вволю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Немолчный говор, восклицания, хохот, раздававшиеся

вокруг стола, свидетельствовали о довольстве присутствующих. Но всех довольнее был, по-видимому, все-таки сам хозяин.

— Александр Елисеич, сват! кумушка Матрена Алексеевна! Кондратий Захарыч! еще стаканчик, милости просим, понатужьтесь маленько...— кричал Савелий, приподнимаясь поминутно со штофом в одной руке, со стаканом в другой и кланяясь поочередно каждому из гостей своих.— Александр Елисеич, что ж ты, откушай,— полно тебе отнекиваться, ну, хошь пригубь,— прибавил он, обращаясь настойчивее к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.

— О-ох! не много ли, примерно, будет, Савелий Трофимыч,— отвечал гость, но взял, однако ж, стакан, тягостно возвел к потолку тусклые, водянистые глаза свои, испустил страдальческий вздох и, проговорив: «Господи, прости нам прегрешения наши!» — выпил все до капельки.

— Гости дорогие, милости просим! Данила Левоныч, ты что? Аль боишься уста опорочить? Пей, да подноси соседу,— продолжал Савелий, передавая штоф старосте и подмигивая на пономаря, который сидел, раскрыв рот, как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи.— Дядя, а дядя, дядя Щеголев! полно тебе раздобарывать, успеешь еще наговориться... Эх, а еще куражился: всех, говорил, положу лоском! что ж ты?.. Храбр, видно, на словах! — заключил Савелий, протягивая руку к сотскому, который рассказывал что-то мельнику.

— Подноси, подноси знай, да не обноси,— захрипел старикашка, заливаясь удушливым, разбитым смехом; он взял стакан, бодро привстал с места, произнес: «Всем гостям на беседу и во здравие!» — выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову.

— Вишь, балагур, занятный какой; ай да Щеголев! — раздалось со всех концов посреди хохота.

— Так как же тяжко, примерно, вам было в ту пору? — спросил мельник, когда уселся Щеголев.

— А ты думаешь как? — возразил Щеголев, бодрившийся и делавшийся словоохотливее по мере того, как штофы пустели; куда жутко пришлось: народ весь разбежался; избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка; сами прохарчи-

лись... захочешь пирожка, ладно, мол, — льду пососешь; захочешь щец, — водицы похлебай, а другого и не спрашивай!..

— А что, примерно, бывал сам в сражении? — перебил мельник, выставляя вперед подбородок и осеняя рот крестным знамением.

— И-и... Александр Елисеич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза, подлинно любопытствия всякого достойно! — произнес пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня.

— Так ты Кутузова-то видал? сказывают, сильный, примерно, был человек... — спросил мельник, глубокомысленно насупивая брови.

— Кутузова-то! — воскликнул Щеголев, заливаясь снова разбитым своим смехом и хорохорясь несравненно более прежнего. — А ты думаешь как! Как сядет, бывало, на коня... ух! ничего, говорит, не боюсь! Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был, настоящий русак! Кутузов, говорит ему, возьми себе за услуги твои Смоленское... возьми уж, говорит, и Голенищева в придачу! Вот так настоящий был воин! Ничего, говорит, не боюсь! Куда ни покажется, — так лоском и кладет супостата! Как ты думаешь: сам на коне сидит, а над ним, слышь ты, орел летит... ничего, говорит, не боюсь!..

— Ну, а сам-то ты, сам бывал в сражениях? Страшно, чай? — продолжал расспрашивать Александр Елисеич.

— Чего страшно! ничего не страшно: француз ли, супостат ли... пали, да и только! Бей его, врага-супостата! — крикнул Щеголев, ударив кулаком по столу.

— Я чай, в пушку ударили? — вымолвил пономарь, взглядывая из-за мельничихи.

— В пушки ударили, в барабаны забили, — пули и картечи летели нам навстречу! — подхватил Щеголев, отчаянно потряхивая головою, в которой начинала уже бродить нескладица.

— Лександр Елисеич, еще стаканчик, полно тебе спесивиться, — откушай! — перебил Савелий.

— Нет, Савелий Трофимыч, надо настоящим делом рассуждать, ей-ей, примерно не по моготе...

— Кондратий Захарыч, милости просим!

— Много довольны, кушайте сами; много довольны вашим угощением,— отвечал пономарь, принимая стакан и раскланиваясь на стороны.

— Кума Матрена Алексеевна, не обессудь, просим покорно,— продолжал хозяин, осклабляя зубы на мельничиху, которая сидела, понурив голову, с видом крайнего изнеможения,— понатужьтесь еще; дай тебе господи долго жить да с нами хлеб-соль водить...

Мельничиха допила вино, потупила глаза и прокатила стакан по столу, что значило, что она напрямик отказывалась.

— Сват Данила, угощайтесь,— ну, первинка тебе, что ли!..

— Так и быть, согрешу,— обижу свою душу,— выпью во здравие и многолетие!..

— Вот так-то... Эй, Авдотья, давай перемену! — крикнул хозяин, упираясь спиною и локтями в толпу, которая чуть не сидела на его шее, и оборачиваясь назад к печке, где слышался пискливый говор баб и звяканье горшков.

— Сейчас! — отозвался пронзительный голос, покрывший на минуту шум гостей.

Вслед за тем послышались звуки, похожие на то, когда ломают щепки, но означавшие в сущности, что хозяйка отвесила несколько подзатыльников ребятам, осаждавшим блюда. Минуту спустя из середины толпы выступила жена Савелия, сопровождаемая двумя снохами, державшими в каждой руке по огромной чашке.

— Куманек, сватушка, кушайте, угощайтесь, милости просим; кумушка, Матрена Алексеевна, прикушай, касатка, ты у нас дорогая гостьюшка,— сказала хозяйка, сухая, высокая баба с сморщенным лицом и провалившимися губами, которые корчились и ежились, чтобы произвести приветливую улыбку.— Кушайте, родные вы мои,— не судите хлеб-соль, укланялись, угощаючи вас,— продолжала она, отвешивая маховой поклон мельничихе, тогда как обе снохи подставляли чашки гостям, сидевшим со своими ложками на лавках.

— Много довольны вашим хлебом и солью! спасибо за ласки и угощенье, дай тебе и деткам твоим всяческого благополучия от царя небесного! — раздалось отовсюду.

— Авдотья, давай перемену! — крикнул снова Савелий, начинавший покачиваться во все стороны, несмотря на то, что сильно упирался на старосту.

— Кумушка, Матрена Алексеевна, не побрезгай, возьми хоть орешков, хоть орешков возьми... — говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку с орехами мельничихе. — Возьми, не прогневайся, возьми, ужотко деткам твоим зубки позабавить, себе на потеху...

— Пули и картечи... летели... к нам навстречу! — пробормотал неожиданно Щеголев, поднимая голову.

— Ну, господь с тобой, касатик, — отвечала хозяйка, — кушай во здравие!..

— Авдотья, давай перемену! — крикнул снова Савелий. — Эге... ге... брат Щеголев, — присовокупил он, размахивая руками пред сотским, который клевал носом корку пирога, — что ж ты хотел-то всех лоском положить?..

— Давай!.. — прохрипел Щеголев, болтнув головою, как будто кто дал ему подзатыльника. — Ничего не боюсь!.. пули... картечи... летели...

— Эй, Кондратий Захарыч, о чем вы тут толмачите? — заключил Савелий, махнув рукою и поворачиваясь к пономарю, который разговаривал с мельником.

— А вот, Александр Елисеич рассказывал, какой случай вышел с шушеловским мужиком, Кириллой Власовым; небось ты его знаешь?

— Трафилось видеть. А что за случай такой?

— Да не сегодня, так завтра помрет, за попом посылали...

— Ой ли? да с чего так?.. — спросило несколько голосов.

— Расскажи, Александр Елисеич, — шепнул пономарь, любознательно вглядываясь одним глазом в мельника, тогда как другой глаз не менее любознательно вновь устремился на мельничиху.

— А вот что, — начал мельник, останавливаясь на каждом слове, чтобы перевести одышку, — недели три тому будет, пошел как-то Кирилла на Каменскую мельницу; дело было к вечеру, гораздо уж смеркалось; взял, примерно, шапку, пошел. Пришел, примерно, на мельницу, помолился, взял мешок с мукой и идет домой. Время стояло, как нынче, метель, при-

мерно, такая буря, – зги не видать, – продолжал Александр Елисеич, посматривая поочередно то на того, то на другого, тогда как присутствующие, подстрекаемые любопытством, двигались к нему и вытягивали шеи; – вот стал он подходить к лесу, миновал было половину, вдруг слышит, кто-то кликнул его по имени. «Кирилла Власов!» – зовет, примерно, как словно какой знакомый человек либо сродственник... Он глядь – никого. В другой раз, он опять остановился, – опять никого... «Кто там?» – крикнул. Никто, примерно, не откликается... Чтой-то за диво!.. Вот он опять пошел; что ни шаг ступит, зовет его кто-то по имени, да и полно!.. Вот приходит он домой; сел, поел, лег на печку – не спится... словно, говорит, мутить меня стало... Ну, нечего делать, встал это он, сел на лавку и стал, примерно, сумлеваться. Кто, говорит, звал меня в лесу?.. Стал это он так-то сумлеваться, вдруг слышит – стучат в окно... «Кто? – говорит, – кого надыть?..» – «Пусти, Власыч, пусти, примерно, переночевать!» – отозвалось за окном. Как услыхал, говорит, так индо по закожью меня и дернуло, вся кровь, говорит, запечаталась во мне... слышу, говорит, тот же голос, что звал меня в лесу...

– Подлинно диковинное дело и всякого любопытствия достойно! – произнес со вздохом пономарь, обращая на этот раз оба глаза на соседку. Но только что успел он это сделать, как оба глаза его вместе с глазами мельника и всех присутствующих устремились в одно мгновение на уличное окно.

В окне послышался стук. Все оглянулись и невольно попятились назад. Стук в окне повторился.

– Ну, чего вы?.. – крикнул Савелий, обращаясь к бабам, которые с визгом побросались в сторону. – Кума! Матрена Алексеевна! полно тебе! – присовокупил он, встав с места и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью на сотского и притиснула долговязые ноги пономаря, успевшего уже прыгнуть на лавку. – Ну, чего вы! эк! ишь их! (Тут Савелий повернулся назад к двери, где происходила какая-то каша, в которой все двигалось, кричало и тискалось.) Куда вы? – стойте, я погляжу пойду!..

Савелий сделал шаг к окну, но стук раздался снова.

сопровождаемый на этот раз голосом, от которого вздрогнули в самых дальних углах избы.

— О-ох! касатик, Савелий Трофимыч, не ходи! с нами крестная сила! — проговорила хозяйка, вцепившись в мужнину рубаху.

— Кто там? — крикнул, что есть мочи, Савелий.

— Про-хо-жий... — отвечал дрожащий, прерывающийся голос.

— Чего надыть? — гаркнул Савелий.

— Пусти... перено... чевать... озяб... — отвечал голос, заглушаемый ревом метели.

— Ступай, ступай! коли ты добрый человек, — сердито отозвался Савелий, делая шаг к окну. — Ступай подобру-поздорову, много вас шляется; проваливай, проваливай... здесь не место, ступай!.. Эй, Александр Елисеев, Данило! кума! гости дорогие! что ж вы, аль не слышите? чего всполохнулись! это, должно быть, какой-нибудь христарадник, а вы и взаправду подумали... садитесь, милости просим... ишь нашел время таскаться да грызть окна...

— Да ты, касатик, посмотри в окно! — сказала хозяйка, робко выглядывая из толпы.

— Чего смотреть! говорят тебе толком — нищенка!

— Ох, нет, родной, нет, Савелий Трофимыч, обойди-ка вокруг двора, оно вернее, обойди, касатик! — раздалось в толпе баб.

— Ну, пошли... с вами не столкуешь!.. Эй, Александр Елисеич, сват Данило, Кондратий Захарыч, полно вам; кума, Матрена Алексеевна, просим покорно, просим не сумлеваться, чего вы взаправду переполошились, садитесь! — говорил Савелий, усаживая гостей, которые, не слыша более шума за окном, начинали мало-помалу ободряться. — Авдотья, давай перемену!..

Гости, ободренные окончательно тишиною, водворившеюся за окном, уселись по-прежнему на свои места; мельничиха освободила задыхающегося Щеголева, пономарь завертел снова левым глазом вокруг соседки, на столе появились два новые штофа, снохи переменили чашки на ковши с суслом и брагою, и веселая вечеринка, прерванная на время, продолжалась на славу радушным хозяевам.

VI

> Ах, ты сей, мати, мучину, пеки пироги,
> Слава!
> Как к тебе будут гости нечаянные,
> Слава!
> Как нечаянные и незваные,
> Слава!
> К тебе будут гости, ко мне женихи!..
> Слава!
>
> *Народная песня*

— Ребята!.. эй!.. где вы? — крикнул Гришка Силаев, останавливаясь на другом конце улицы и оглядываясь во все стороны.

Он приложил указательные пальцы обеих рук к губам, испустил дребезжащий, пронзительный свист и стал прислушиваться.

— Кто тут? — робко отозвалось несколько тоненьких голосков подле соседних ворот.

Гришка повернулся к воротам и свистнул во второй раз.

— Гришка, ты? — повторили те же голоса, и вслед за тем из-за саней выглянула сначала одна голова, потом другая и, наконец, показался парень и несколько девушек.

— Я, я... ступайте сюда, не бойтесь... кто это? — воскликнул Гришка, достигая их одним прыжком и принимаясь ощупывать круглое лицо парня. — Э-э! Петрушка Глазун! смотри ты, куда затесался, — с девками!..

— Я нарочно побежал с ними... они, вишь, задумали по домам разойтись...

— Ну, ладно, ладно, пойдемте!..

— Ох, касатушки, страшно, ох, девушки, страшно! Гришка, куда ты нас тащишь! а ну как опять встренется... — проговорили девушки, прижимаясь друг к дружке и боязливо выглядывая из-за полушубков.

— Ну, вот, полно вам ломаться, пойдемте; лих его, пущай встренется; вы и взаправду думаете леший какой али ведьма...

— Вестимо, чего бояться, — произнес в стороне мягкий голос, по которому все присутствующие узнали тотчас же Алексея-каженника, — должно быть, нам так почудилось, а не то верно какой-нибудь побирушка, — прибавил он, присоединяясь к толпе.

— Ай да Алеха! молодца, право слово — молодца!

Девки! скажите: с чего он так расходился? отколе прыть взялась?.. Ну, идемте, что ли?..

И Гришка, сопровождаемый девками, Петрушкой и Алексеем, который еле-еле передвигал ноги, запрятанные в рукава вывороченного полушубка, стал пробираться подле изб.

— Эй, ребята, девки! выходите, полно вам! — кричал он, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.

— Кто там!..

— Выходи, — чего спрашиваешь, — ступай, так увидишь!

— Да как же звать?..

— Зовут зовуткой, а величают уткой!

Раздался хохот, и толпа увеличивалась новым озорником. Таким образом, разбежавшиеся парни и девки примыкали один за другим к ряженым, и толпа не успела дойти до конца деревни, как уже почти все оказались налицо.

— Чего оглядываетесь на стороны! небось, леший-то давно лыжи навострил, — так испужали его наши девки, — куда прытки голосить! — сказал Гришка, останавливая толпу, — ну, все ли здесь?.. Бука, ступай сюда; ты, коза, пойдешь следом за букой; каженник, становись здесь, я тебя поведу; а за ним баба-яга; баба-яга... ну поворачивайся, да смотри не плошай... — прибавил он, повертывая за плечи долговязого парня в поняве, с платком на голове и сидящего верхом на помеле.

— А куда нам идти-то? — спросил кто-то.

— Сказано, к Савелию.

— Нет, ребята, — слушай, Гришка! пойдемте лучше в другую избу, — туда не проберешься; я было сунулся — куда те: в сенях народ стоит...

— И то, пойдемте-ка лучше, коли уж идти, пойдемте к старосте, как прежде хотели, — вымолвил Алексей.

— Слышь, ребята, слышь, что говорит каженник; ай да Алеха! — закричал Гришка, — что-то, братцы, я заприметил, больно он расходился нынче; никогда такого не бывало!.. должно быть, неспроста... Слышь, как его раззадоривает идти к старосте; уж не Парашка ли тому виною... пойдем да пойдем!.. А ну, быть, как сказал каженник, — качай!.. — И Гришка, подпершись в бока, выступил вперед и запел, приплясывая:

Чижик, пыжик у ворот,
Воробышек махонький...
Эх, братцы, мало нас,
Голубчики, немножко!..

— Тише, Гришка, что ты орешь! — услышит старостиха, не пустит нас...

— Небось! метель гудит — не услышит! Смотри только, ребятушки, не обознаться бы нам...

— Ну вот! тише, говорят! разве не видишь, — вот и изба...

— Ребята, стой! — шепнул Гришка, снова останавливая толпу; — у старосты огонь, поглядите, кто у них в избе; не вернулся ли хозяин!..

— Нет, вижу! — отвечал так же тихо Петрушка, взобравшийся на завалинку, — никого нет; сидят старуха да дочь...

— Ладно, подбирайся к воротам; тихонько, смотри... так, ладно... Братцы, никак, калитка-то заперта... стой! Кто из вас цепкий, — полезай через ворота да сними запор.

— Давай я полезу, — сказал Алексей, двигаясь к воротам.

— Нет, ты и коза не трогайтесь с места; Петрушка, ступай сюда! — шепнул Гришка, подставляя спину.

Петрушке чехарда была в привычку; он прыгнул на плечи товарища, уцепился руками за перекладину ворот и, минуту спустя, бухнулся в сугроб, по ту сторону ворот. Шест, припиравший калитку, был снят, и толпа, затаив дыхание, начала пробираться по двору старосты к крылечку.

— Тсссс... — произнес Гришка, останавливаясь на крылечке и подымая руку кверху, — дверь заперта изнутри!.. ничего, молчи, я дело справлю: смотри только, как свистну, все за мной в одну плетеницу, да не робей, дружно!

Сказав это, он ударил кулаком в дверь. Минуту спустя, в сенях послышались шаги.

— Кто там? — спросила хозяйка.

— Отворяй! — отвечал Григорий, подделываясь под голос старосты.

— Ты, Левоныч?

— Отворяй, говорят .. аль не признала? — продолжал Гришка, стараясь прикинуться пьяным.

Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремела запором; вслед за тем она выглянула на крылечко, но в ту же секунду над самым ее ухом раздался пронзительный свист, и не успела она крикнуть, как уже толпа ринулась в сени, сшибла ее с ног и ударилась с визгом и хохотом в избу.

— Ай, батюшки, режут! ай, касатики, режут! — завопила старуха, бросаясь как угорелая в угол сеничек и забиваясь между корытами и досками...

Страх ее не был, однако ж, продолжителен; заслышав песни, пляски и хохот, раздавшиеся в избе, она высвободилась из засады и кинулась к растворенной настежь двери. Увидя толпу ряженых и дочь, стоявшую посреди их с веселым, смеющимся лицом, старостиха окинула глазами сени, — но, не найдя, вероятно, ни кочерги, ни полена, метнулась в избу и прямо повалилась на медведя который переминался с ноги на ногу, стоя перед Парашею.

— Ах, ты, разбойник! ах, ты, окаянный! — взвизгнула она, принимаясь тормошить медведя, который не двигался с места, не сводил глаз с девушки и, казалось, не замечал, что происходило вокруг.

— У... у... у! — захрипел бука, вынырнул неожиданно из-за медведя и, став между ним и старостихою, простер к ней руки, обернутые соломой.

— Бя... бя... бя! — затрещала коза, дергая ее сзади.

— Бу... у... у... — ревел бык, пыряя ее рогами.

— Кудах! кудах, ирр... ирр... — зашипел, откуда ни возьмись, журавль, то есть долговязый, плечистый парень, у которого рука была притянута к голове и все это окутано было рогожей, — ирр... — присовокупил журавль, тыкая ее в бок веретеном, изображавшим клюв.

— Пострелы! черти! собаки! — вопила старостиха, отбиваясь руками и ногами.

— Полно, тетенька, не серчай, — запищала скороговоркою баба-яга, заметая след помелом и смело наступая на старуху, которая задыхалась от злобы, — слушай: загадаю тебе загадку: двое идут, двое несут, сам-треть поет... Не любо?.. изволь другую; под лесом-лесом пестрые колеса висят, девиц украшают, молодцов дразнят... Не угадала?.. Серьги, тетенька, серьги.

— Поди прочь, леший! — крикнула старостиха, замахиваясь обеими руками на бабу-ягу, но, оглушенная

визгом и хохотом, в ту же минуту обратилась к толпе девушек. – А вы, бесстыжие! погоди, постой! о! Грушка Дорофеева, я тебя признала, – ах ты, срамница! – прибавила она, бросаясь на толстенькую девушку, прятавшуюся за подруг; но Груша нырнула в толпу, толпа раздвинулась и старостиха прямехонько наткнулась на Гришку, козу и медведя, которые вертелись вокруг ее дочери.

– Ну-кось, Михайло Иваныч, – заговорил Гришка, размахивая палкою так ловко, что старостиха никак не могла приступиться, – потешь, покажи господам честным и хозяйке дорогой, как малые ребята горох воровали... А ну, поворачивайся! – крикнул он, дернув за веревку, привязанную к поясу медведя, который все-таки не двигался с места и не отрывал глаз от Параши. – А ну, ну, полно, аль приворожила тебя красная девушка... ну, коза, валяй, начинай!.. Михайло Иваныч, что ж ты взаправду уставился, не кобенься, кланяйся хозяюшке молодой, да в самые ножки! – присовокупил Гришка, опуская палку на плечо медведя, который на этот раз повалился охотно в ноги Параше. – Так: ну, коза, живо!..

Тут Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился вприсядку вместе с козою, припевая скороговоркою:

Антон козу ведет,
Антонова коза нейдет;
А он ее подгоняет,
А она хвостик поднимает...
Он ее вожжами,
Она его рогами...

Старостиха кричала, бранилась, но уже никто ее не слушал; все вокруг нее заплясало, завертелось, и трудно определить, чем бы кончилась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из сеней:

– Староста идет!..

Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих. Раздался оглушительный визг; баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой, откуда ни возьмись, явилась в руках кочерга.

— А! разбойники! что взяли! что взяли!..— кричала она, нападая с яростью на беглецов и не замечая впопыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.

— Что взяли! — продолжала старостиха, врываясь в сени,— Левоныч! Левоныч! Держи их, не пущай, смотри держи разбойников!..

Медведь быстро оглянулся на дверь и сбросил овчину, покрывавшую голову.

— Параша, это я! не бойся...— произнес он, обращаясь к девушке, которая боязливо пятилась к печке,— спрячь меня! видит бог, для одной тебя пришел к вам. Слышь, отец идет! — прибавил он, высвобождая одну ногу из рукава овчины.

Страх Параши прошел, по-видимому, тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было; голос старосты и жены его приближался и слышался уже на крылечке. Надо было на что-нибудь решиться... Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку. Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу. Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.

— Ну, чего ты уставился? что глаза-то выпучил?.. Тьфу! прости господи! — произнесла старуха, бросая с сердцем кочергу,— кричу ему: держи их, не пущай!..

— Ох... дай дух перевести... мне почудилось...— перебил староста, протирая глаза.

— То-то, спьяна-то черти, знать, тебе показались!.. Толком говорят – ребята были, чтоб их собаки поели! Пришли, давай, разбойники, все вверх дном вертеть; содом такой подняли, проклятые...

— Погоди... стой! я с ними справлюсь; ты скажи только, кто да кто был,— произнес не совсем твердо староста, у которого хмель отшибал несколько язык и память.

— Известно, кому больше, как не Гришке Силаеву; проклятый такой, чтоб ему...

— Ладно, ладно... а ведь мне почудилось... У Савелия, слышь ты, такую диковину рассказывали... иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову... а тут они, проклятые, понагрянули... не думал, не гадал...

Да постой, я им задам завтра таску, особливо Гришке... я давно заприметил.

Староста не докончил речи; голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились как горошки и остановились на одной точке. Увидя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа. Одна Параша не тронулась с места; она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.

Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги. Данило повалился на лавку; старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.

— Данило Левоныч, тетушка Анна, не пужайтесь! это я... — произнес Алексей, делая шаг вперед.

Заслыша знакомый голос, муж и жена подняли голову.

— Как!.. ах ты, окаянный! — воскликнула старостиха, мгновенно приходя в себя. — Левоныч, хватай его!..

— Каженник!.. — проговорил староста, протирая глаза и тяжело подымаясь с места.

— Хватай его, держи! — голосила старуха, принимаясь толкать мужа.

— Полноте вам сомневаться... — сказал не совсем твердым голосом Алексей, — я не вор какой, не убегу от вас, сам дамся в руки...

— Чего тебе надыть? — заревел Данило, грозно подходя к парню.

— А! так вот как! — крикнула старостиха, кидаясь на дочь, — так вот ты какими делами... погоди, я с тобой справлюсь!

— Тетушка Анна, не тронь ее... — сказал Алексей, становясь между дочерью и матерью, — видит бог, она не причастна... я во всем причиной и винюсь перед вами.

— А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку, — вымолвил староста, хватая парня.

— Погоди, дядя Данило, постой, не замай, — я винюсь и без того... — пришел с ребятами к тебе; думали позабавиться, песни поиграть... кричат: ты идешь... все вон кинулись, я один не поспел, — вот и вся вина моя... а она, дочь твоя, Данило Левоныч, видит бог, ни в чем не причастна!..

— Да ты, дурень ты этакой, что его слушаешь! та-

щи его в сени... дай ему таску, чтоб помнил вперед... тащи его... ах ты охаверник, каженник проклятый!.. постой, я тебе дам знать... — голосила старостиха, подталкивая Алексея в спину, тогда как муж тащил его в сени, — так, так, так, хорошенько ему, разбойнику!..

Увещевание и разговоры были напрасны; староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки.

— Ну, теперь я с тобой поговорю, — начала старостиха, торопливо вбегая в избу, — ах ты, срамница ты этакая!.. Да где она?.. Парашка! — крикнула она, оглядываясь во все стороны. Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неописанную ярость.

— Что ты тут делаешь? — взвизгнула она, втаскивая ее в избу и замахиваясь обеими руками.

— Без тебя, матушка, постучали в окно... я отворила... какой-то человек...

— Какой человек?..

— Должно быть, нищенка...

— Какой там еще леший?.. — произнес староста, входя в это время в избу.

— Нищенка, батюшка, — отвечала Параша, — просится переночевать...

— А! это, должно быть, тот самый, что стучался к Савелью да всех нас переполошил, — проговорил Данило, нетерпеливо подходя к окну, в котором мелькнула бледная тень человека. — Погоди же; я тебя выучу таскаться по ночам... Чего тебе надо? — крикнул он, просовывая голову на улицу. — Отваливай, отваливай отселева, коли не хочешь, чтобы я проводил! Вишь, нашел постоялый двор, в какую пору таскаться выдумал... Погоди, я еще узнаю завтра, что ты за человек такой!.. Ступай, ступай!.. Вишь, взаправду, повадились таскаться, — промолвил староста, захлопывая окно, — прогнали с одного двора чуть не взашей, нет — в другой лезет... И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужа... Тут и собака, кажись, лежит — не шелохнется, а он слоняется да окна грызет... О-ох! — заключил Данило, зевая и разваливаясь на печке.

VII

Мы ходили, мы искали
Коляду, коляду,
По всем дворам, по проулочкам,
Нашли коляду
У Василисина двора.
Здравствуй, хозяин со хозяюшкой,
На долги века, на многи лета!

Народная песня

«Вот не было тоски и печали! – подумал Алексей, выходя из старостиных ворот на улицу,– все как есть, все теперь пропало! – продолжал он, равнодушно шагая по сугробам и не обращая внимания на студеный ветер, который гнал ему в лицо целое море снегу! – И зачем было идти к ним в избу?.. Как словно не знал я, не видал,– не вернуть этим пропавшего дела. Коли прежде зароком не велели ей молвить слова,– бегала она от меня, как от волка; теперь, стало, и подавно ждать нечего... Эх, загубил я вконец свою голову!..»

Раздумывая таким образом, он не заметил, как очутился перед воротами своей избенки. Из слухового окна все еще мелькал огонек, и Алексей, не ожидавший застать старуху-мать на ногах, поспешил в избу. Но старушка предупредила его; она давно сидела настороже, прислушиваясь к малейшему шуму и шороху. Чуткий слух не обманул ее. Заслышав знакомые шаги, она суетливо поправила платок на голове, взяла лучину и, прежде чем сын успел пройти двор, стояла уж в сеничках.

– Ох, родной мой, куда это ты запропастился? – произнесла она, выбегая на крылечко и заслоняя дрожащею ладонью лучинку.– Уж я ждала-ждала; время, думаю, не доброе, не прилучилось ли чего, помилуй бог...

– Нет, матушка, ничего,– весело отвечал Алексей, взбираясь по ступенькам.

– То-то, родной... а я сижу так-то да думаю...

И старушка, улучив минуту, когда парень прошел мимо, взяла лучину в левую руку, взглянула на сына и, отвернувшись несколько в сторону, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.

Избенка была крошечная: стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка; все показывало, что старушка была добрая, радетельная хозяйка. Ничто не валялось зря, где ни попало, все было прибрано к месту, земляной пол был чисто-начисто выметен; и хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачужка Василисы глядела как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседних изб. Наружность самой хозяйки соответствовала как нельзя лучше ее жилищу: это была крошечная, тщедушная старушонка, с вдавленною грудью, прикрытою толстой, заплатанной, но чистой рубахой. Голова ее, повязанная ветхим платком с длинными концами назади, склонялась постоянно набок,– ни дать ни взять, как кровля ее избенки. Лицо Василисы было желто и покрыто, как паутина, морщинами, но столько еще веселости отражалось в ее светлых глазах, столько добродушия проглядывало в потускневших чертах ее лица, что нельзя было не полюбить ее сразу.

Заложив в светец лучинку, она тотчас же подошла к сыну.

– Алеша, погляди-кась на меня... ты словно, касатик, не весел?..

– Нет, матушка, право, ничего,– отвечал парень, отходя к печке и принимаясь развешивать на шестке вымокшую овчину.

– Полно, родной, я вижу... не тот ты был, как вышел из дому; уж не прилучилось ли чего? – вымолвила старушка, преследуя сына и устремляя на него пытливый взгляд.

– Взаправду ничего,– сказал Алексей, стараясь засмеяться,– ходил с ребятами по соседям, везде пир такой, веселье... с чего, кажись, быть не веселу!..

– То-то, то-то, касатик, с чего тебе кручиниться... а я так-то сижу, да думаю: куда, мол, думаю, запропастился...

– Я, признаться, матушка, не чаял, что ты станешь меня дожидаться...

– Ах ты, голова, голова!.. а то как же?.. Так-таки лечь мне да махнуть рукой?.. Вспомни-ка, какой нынче

вечер!.. Разве ты запамятовал, что было у нас прошлого года?.. Нут-кась, ну, раскинь-ка умом,— весело прибавила она, качая головою и не отрывая глаз от парня.

— Не помню, матушка,— отвечал Алексей, разглаживая волосы.

— Не помнишь?.. Ах ты, голова, голова, а я-то жду да жду его...

— Что же такое, матушка?.. Видит бог, не запомню...

— Ну, молчи только, молчи, коли так,— сказала она, лукаво подмигивая одним глазом.— Ставь скорее светец к столу да засвети новую лучину.

Старушка поправила платок на голове, повернулась к сыну спиною и торопливо подошла к печке.

— А! знаю, знаю!..— воскликнул Алексей, следивший с любопытством за всеми движениями матери.— Знаю, ты, как в прошлом году, хочешь кашу вынимать! — промолвил он, делая шаг к старушке, которая неожиданно показалась из-за печки с полновесным горшком в руках.

— Молчи, только молчи,— вымолвила она, отклоняя сына локтями и заботливо ставя горшок на стол.— Ну, теперь садись, да смотри, что-то пошлет нам господь... Ах, родной!.. погляди-ка, погляди, как полный!.. постой... нет, и не треснул нигде, как есть нигде! — радостно говорила она, ощупывая горшок, между тем как сын рассеянно и как-то принужденно глядел на все происходящее.— А ну-кась, ну, посмотрим, что-то скажется...

Тут Василиса бережно сняла пенку.

— Вот не чаяла, не гадала! Ахти, касатик, родной ты мой! — воскликнула она, всплеснув руками и взглянув на сына, который обнаружил тотчас же веселость.— Погляди-ка, красная какая! да рассыпчатая какая!.. Ахти, родные вы мои, да и полная-полная,— словно и не кипела... А ну, дай-то господи, кабы сбылось!..

— Что ж, по-твоему, матушка, чему же быть? — спросил сын.

— А быть, родной ты мой, делу хорошему... Ах, кабы господь подсобил нам! — отвечала старушка, творя крест.— Слышь, коли так-то,— прибавила она, указывая на горшок,— люди добрые,

деды наши сказывали,— быть благополучию всему дому, будущий урожай и... и... и талантливую дочку!..

Алексей недоверчиво улыбнулся. В самую эту минуту кто-то постучался в окно.

— Слышал, Алеша?..— спросила старушка, оглядываясь в ту сторону.

— Никак, стукнули в окно,— отвечал парень, приподымаясь с лавки.

— Погоди, Алеша... Ох, с нами святая сила!..— сказала старушка, удерживая сына.

— Ничего, матушка, должно быть, из соседей кто; может статься, нужда какая; постой-ка, погляжу... Кто там? — крикнул он, прикладывая лицо свое к окну и стараясь разглядеть сквозь снеговое узорочье стекла.

С минуту продолжалось молчание, прерываемое визгом метели, которая люто завывала вокруг избушки.

— Кто там? — повторил Алексей.

— Прохожий...— отвечал трепещущий, вздрагивающий голос,— пустите... во имя Христово...— прибавил голос, делавший явные усилия, чтобы внятно произносить слова.

— Слышь? — сказал Алексей, поворачиваясь к матери.— Верно, с пути сбился за метелью; пущай его обогреется.

— Ох, касатик,— вымолвила старушка, нерешительно взглядывая на окно.

— А что ж, ведь не убудет у нас... к тому же не помирать ему взаправду на улице.

— Вестимо, родной, не убудет... Ну, господь с тобою, как знаешь, так и делай... покличь его.

— Дядя! а дядя, ступай на двор! — крикнул Алексей, стукнув в окно.— Погоди, матушка, я выйду на двор, провожу его, а то и не найдет, пожалуй...

Алексей набросил на плечи овчину и вышел на крылечко.

— Дядя! где ты? сюда ступай! — крикнул он, поворачиваясь к воротам.

Метель ревела по-прежнему, снежные хлопья, валившие со всех сторон, усиливали темноту и без того уже мрачной ночи; на дворе нельзя было различить собственной руки.

— Сюда, дедушка!.. ступай на голос! — продолжал кричать парень.

Глухой стон отозвался где-то в стороне, и минуту спустя неровные шаги зазвучали на шатких ступенях крылечка.

— Сюда, дедушка, сюда... — сказал Алексей, входя в сени и отворяя дверь избы, чтобы виднее было куда идти, — войди, отогрейся...

Прохожий вошел в избу. Алексей взглянул на него при свете лучины и невольно отступил к матери, которая попятилась к образам и перекрестилась. Перед ними стоял, едва держась на ногах, седой старик, лет семидесяти, бледный и растрепанный, похожий скорее на пришельца с того света, чем на живого человека. Страшная худоба изнеможенного лица его и бледные, совсем почти белые зрачки, глядевшие мутно и безжизненно, довершали это сходство. Он дрожал всеми своими членами; зубы его щелкали; холщовая сума, висевшая за его спиною, и мерзлые лохмотья рубища, прикрывавшие тощую его грудь, плечи и ноги, тряслись в свою очередь, следуя движениям закутанного в них тела. Он медленно поднял окоченевшие свои руки, провел ими по голове, сделав шаг вперед, хотел что-то сказать, но речь его вышла нескладна. Он глубоко вздохнул, ощупал неверными руками стену и опустился в изнеможении на лавочку.

— Что ты, дедушка, аль прозяб добре? посиди, отогрейся; изба у нас теплая, — сказал Алексей, в котором страх сменился жалостливым участием. Он подошел к старику.

— Вестимо, касатик; да ты бы к печке-то сел... — проговорила Василиса, следуя за сыном.

Белые зрачки старика устремились как-то неопределенно на хозяев лачужки; он снова хотел что-то сказать, и снова дрожащие губы не повиновались ему; он опустил голову и принялся ощупывать края лавки и рубище.

— Погоди, дедушка, я подсоблю, руки-то у тебя окоченели, ничего с ними не сделаешь... — произнес Алексей, видя, что старик хотел освободиться от сумы, которая перетягивала ему грудь и плечи, — положи ее на лавочку... ладно: тебе бы лучше разуться, право ну, скорей бы отогрел ноги.

— Вестимо, касатик, разуться, ишь застыл как, —

перебила Василиса, качая головою,— разунься, да подь к столу, я чай, с пути-то поснедать хочешь...

И, не дожидаясь ответа, она придвинула к столу лучину и начала хлопотать подле горшков.

— Ну, дядя, вставай, повечеряй поди,— сказал Алексей.

— Ась?..

— Повечеряй поди! — крикнул парень, наклоняясь к его уху,— с дороги-то, я чай, проголодался.

— Нет... ох... спасибо, касатик... спасибо,— простонал старик, останавливаясь на каждом слове.

Он замотал как-то бессильно головою, ухватился руками за края лавки, закрыл глаза и вздрогнул всем телом.

— Что ж ты, родной, аль недужится?..— спросила Василиса, подходя к прохожему и стараясь вглядеться ему в лицо,— знамо, в такую-то пору, без одежи... тебе, родной, попариться бы надыть, да время-то, вишь, позднее...

Старик приложил изрытую ладонь к тощей груди своей и закашлялся; кашлю этому, казалось, конца не было.

— Спасибо...— проговорил он, переводя одышку и подымая глаза на хозяйку,— спасибо вам... что пустили...

— И-и-и... касатик, господь с тобою! сиди, обогрейся... да ты бы, право, поснедал чего: кашки, а не то и киселек есть у нас...

— Нет... спасибо... ох!.. вот кабы парень-то твой... пособил... сил моих нет...

Он хотел еще что-то прибавить, но слова замерли в его горле; он ощупал вокруг себя место, придвинул суму и медленно стал опускаться на лавку.

— Не нудь себя, дедушка, не нудь,— вымолвил Алексей, подсобляя старику растянуться на лавке и подкладывая ему под голову сумку.— Ну, дедушка, ладно, что ли?

— Ладно, ладно, спасибо... родной... ох! — проговорил старик, сжимая губы, чтобы удержать стоны и щелканье зубов.

— Ладно, так и Христос с тобой; спи, авось ночью переможешься, об утро легче станет... Я чай, и нам пора, матушка,— промолвил парень, обратясь к матери; но увидя, что она молилась перед образами, он взобрался на печку и начал раздеваться.

Немного погодя, старушка затушила лучину и присоединилась к сыну.

В избушке стало тихо... Рев ветра, то глухой, как похоронное причитанье, то свирепый и пронзительный, как дикая разгульная песня, загудел снова на дворах и в навесах. Иной раз весь этот грохот метели падал, как бы сломанный внезапно на пути своем вражескою силой, – воцарялось мертвое молчание... И вдруг, откуда ни возьмись, летели новые вихри, росли, подымались хребтами, вторгались со всех сторон в проулки, потрясали ворота, навесы и дико рвались вокруг лачужек, как бы желая срыть их с основания.

Но сколько ни надрывалась буря, сколько ни рассылала она вихрей, – все было напрасно; грозный рев не доходил, по крайней мере, до слуха Василисы; утомленная дневными хлопотами и заботами, старушка не успела перекрестить изголовье, как уже голова ее склонилась и сладкий сон оковал ее усталые члены. Что ж касается до Алексея, ему также нипочем был голос вьюги: думая о происшествии в доме старосты, которое разрушало вконец его надежду, он лежал, не смыкая глаз, и ничего не слышал... Глухой стон, раздавшийся на лавке под образами, вывел его, однако ж, из забывчивости: он вспомнил присутствие прохожего и насторожил слух.

Стон повторился еще протяжнее.

– Дедушка, что ты? – спросил парень, приподымаясь на локте.

– Подь сюда...

Голос, с каким были произнесены эти слова, отозвался почему-то в самом сердце молодого парня; он проворно соскочил с печки, нащупал впотьмах серенку, зажег лучину и подошел к лавке.

Старик лежал по-прежнему врастяжку; члены его, однако ж, перестали трястись и только белые зрачки его блуждали с беспокойством вокруг.

– Что с тобой, дедушка? прихватило, что ли? – вымолвил Алексей, нагибаясь к бледному, заостренному лицу старика.

– Где старуха-то... я ее не вижу... она тебе мать? – произнес больной.

– Мать; а что?.. – спросил Алексей, которого невольно начинал пронимать страх.

– Позови ее сюда... – отвечал старик едва внятно.

Алексей заложил в светец лучину, разбудил мать, и минуту спустя оба очутились подле лавки.

— Тетушка,— сказал старик, обращая тусклый взор на Василису,— пришел, видно, мой час помирать... ты и парень твой... не отогнали меня... пустили как родного... Бог вас не оставит...

— И-и-и, касатик, что ты, опомнись... старее да хворее тебя живут... полно, бог милостив!..

— Нет, тетка, чую — смерть пришла... спасибо вам... ох... не дали помереть на улице... будьте же до конца родными мне... никого у меня нет... все мое... добро...

Он отвел глаза от старухи и остановился.

— И-и-и, касатик, на что нам добро твое, мы не из корысти какой пустили тебя; мы, касатик, и своим довольны, благодарим царя небесного!..

Больной снова устремил потухающий взор на старуху, хотел что-то сказать, но снова остановился. Прошло несколько минут тягостного ожидания для Василисы и ее сына, которые стояли, прикованные страхом, и не сводили глаз со старика. Едва слышный стон вырвался наконец из груди его; он приподнял длинные, сухие руки, вперил полуоткрытые глаза на старуху и произнес отрывисто:

— Пошли... сына в село Аблезино... там за рощей... подле громового колодца... дупло... зарыта ку... кубышка,— двадцать лет копил!.. никому только... не сказывай...— продолжал он ослабевающим голосом.— Вы меня... призрели... возьмите... за добро ваше... Господи! прости прегрешения... ох!..

— Касатик, дедушка! что ты, очнись! Христос с тобой, кормилец! слышь, не сбегать ли парню за попом?.. — крикнули в одно время Василиса и сын ее.

Старик скрестил руки на груди, потянулся и закрыл глаза.

Василиса и сын ее бросились к лучине.

Когда они вернулись к лавке и взглянули при трепетном свете угасающей лучины в лицо прохожему,— он был уже мертв.

VIII

Катилося зерно по бархату,
Слава!
Еще ли то зерно бурмицкое,
Слава!
Прикатилось зерно по яхонту,
Слава!
Крупен жемчуг с яхонтом,
Слава!
Хорош молодяк с молодкою!
Слава!

Народная песня

Зима прошла давным-давно; о вьюгах и метелях и помину не было в нашей деревушке. Мужички только что поубрались с хлебцем и откосились. Улица, заметенная когда-то сугробами снега, представляла теперь самое оживленное и веселое зрелище. Повсюду толпился народ; в околотке деревень было немало, и, по принятому обыкновению взаимного угощения на храмовых праздниках, все окрестные обыватели сошлись и съехались к соседям.

Время выдалось к тому самое пригодное: день был прекрасный; на небе ни облачка, в воздухе стояла такая затишь, что осиновый лист не шелыхался. Все располагало к веселью. И нельзя, впрочем, было жаловаться, – веселились изрядно! Песни, крики, шум, несвязный говор – раздавались со всех сторон, лучше чем на ином базаре. Красные рубашки, шапки с золотом, повитые цветами, желтые и алые платки, понявы сияли таким ослепительным блеском, что даже и у трезвых рябило в глазах. Шум, носившийся над деревней, переходил постепенно из одного конца в другой: то подымался он вокруг рогожного навеса купца с красным товаром, расположившегося подле часовни у колодца, то вдруг неожиданно сосредоточивался на середине улицы, где водили хороводы... Звонкая, оглушительная, дребезжащая песня охватывала на минуту всю деревню, и снова все это заглушалось ревом, визгом и хохотом, раздавшимся внезапно из толпы фабричных, глазевших, как боролись два дюжие батрака с ближайших мельниц.

Время подходило уже к вечеру, когда знакомый наш Савелий Трофимыч вышел на крылечко своей избы, сопровождаемый пономарем и сотским.

– Ну, Кондратий Захарыч, не взыщи за угощение, чем богаты, тем и рады, год выдался плохой, наказал

нас господь... не взыщи,— укла̀нялись, видит бог, укланялись,— сказал Савелий, принимаясь обнимать пономаря.

— Много довольны... много... дай бог век с тобой хлеб-соль водить!..— отвечал гость, утирая обшлагом рукава следы поцелуев радушного хозяина.

— Не взыщи и ты,— ничего не жалели для дорогого гостя,— продолжал Савелий, обращаясь к сотскому, который следовал сзади и, зажмурив глаза, придерживался к стенке.

Но Щеголев, вместо ответа, покачнулся в сторону, приложил ладонь к правой щеке, осклабил беззубые свои десны и запел хриплым голосом:

Ох, плыла-а — утка!
Плы-ла ут-ка...
Вдоль по морю...

— Полно, Щеголев... полно же,— заметил с укором пономарь, удерживая сотского, который, очутившись на дворе, чуть было не клюнулся на порожнюю телегу.

— Не замай его, Кондратий Захарыч, ноне все у нас в росхмель... слышь, как потешаются?.. Ты куда, Кондратий Захарыч? — спросил Савелий, останавливаясь под воротами.

— На новоселье...

— Ой ли, к кому?..

— К Алексею; как шел к тебе, встретился я с ним,— звал под вечер.

— Пойдем вместе; он и меня звал... а разве ты не был у него?

— Нет, не привелось.

— Стало, и избы его не видал... Ну уж, вот так изба, Кондратий Захарыч!.. такой, кажись, во всем околотке нету.

— Слыхал, слыхал; да где ж видеть? я с самой зимы,— помнишь, у тебя угощались? — с той поры не наведывался к вам в деревню.

— Двести рублев за избу-то дал...

— Сказывали мне,— отвечал пономарь, придерживая Щеголева, который совершенно неожиданно приткнулся к нему спиною,— правда ли, Савелий Трофимыч, говорят, нищенка-то отговорил ему тысячу рублей?

— Нет, тысячу не тысячу, а верных четыреста...

— Скажи на милость, какое дело! Сказывали, слу-

чилось то в ту самую пору, как мы у тебя пировали, — в Васильев вечер, — помнишь, кто-то еще стукнул в окно?

— Ну, вот поди ж ты! Эка дурость напала тогда на нас!.. Ведь стучал да просился тот же нищенка; а нам спьяну-то показалось и невесть что... Стучал это он по всем дворам, ходил, ходил да и набрел на Василисину избу, — те его и пустили... Пришла ночь; полеглись, — вот и стал он отходить. «Так и так, говорит: вы, говорит, меня не отогнали, — вам и добро мое...» Поведал им, где и как найти... аблезинский барин все как есть велел передать Алексею, и нашу деревню повестил, — все им досталось.

— Подлинно диковинное дело и всяческого любопытствия достойно, — перебил пономарь, пожимая плечами и подымая брови. — Скажи на милость, Савелий Трофимыч, как же это староста-то наш подался?.. сказывали, был он в ссоре с их домом, — знать этого, говорит, не хочу!..

— Да, мало ли что говорит он... корячился, пока у Алексея гроша не было, а как понюхал, как доведался, так и перечить не стал; каженник, да каженник, — только бывало и слышно... а тут обрадовались, пошли вертеть хвостом... оглянуться не успели, как они свадьбу сыграли...

— Где свадьба?.. какая свадьба?.. пойдем!.. — прохрипел неожиданно Щеголев, насовываясь на Савелия, — дядя Савелий... а дядя Сав... ты мне тезка... Много довольны, вот как перед богом... много довольны... — продолжал он, протягивая руки, чтоб обнять тезку, но потерял равновесие и рухнулся на пономаря.

— Эк его охоч до винца! — произнес, смеясь, Кондратий Захарыч, прислоняя сотского к воротам.

— Куды те, — заметил Савелий, — другой выпьет, — как платком утрет, а это словно огнем выжигает; ну, да господь с ним! Мы, Кондратий Захарыч, на улице-то затеряем его в народе; я его не звал, сам назвался ко мне, — с ним только провозишься... Щеголев, пойдем с нами! — крикнул Савелий, взяв сотского под руку.

Пономарь подхватил его под другую руку, все трое выбрались за ворота и вскоре замешались в толпе.

— А! Данило Левоныч, ты ли это? — воскликнул пономарь, отступая перед высоким мужиком с желтою бородою, желтым лицом и желтыми волосами.

— Здорово, Кондратий Захарыч,— отвечал староста, слегка приподымая шапку,— чему ты дивуешься? не признал?

— Да кто тебя признает? вишь как переменился, что с тобой, хвораешь, что ли?

— Что станешь делать! — отвечал староста, махнув рукою,— такая-то беда стряслась на меня,— бьет лихоманка окаянная, да и полно,— вот, почитай, четыре месяца али пять,— с самых святок... весь дом с ног сбила, всех даже ребят перебрала... а старуху мою так перевернула, что о сю пору ног не переведет!

— Поди ж ты! с чего бы быть такому?

— Тебе бы, Данило Левоныч,— я говорил тогда,— надыть поворожить на Васильев вечер,— не упустить этого дела... вот хозяйка моя позвала Домну, велела ей смыть лихоманку,— так ничего... помиловала.

— Была она и у нас, Домна-то,— чтоб ее черти ели! да ничего не пособило; знать, уж так господь бог наслал за грехи наши,— отвечал староста, зевнув и перекрестив рот.

— Ну, прощай, Данило Левоныч!

— Вы куда?..

— К твоему зятю,— звал на новоселье.

— Ступайте,— отвечал староста, поворачиваясь к ним спиною.

Немного погодя, Савелий и пономарь пробились сквозь толпу, вышли на другой конец улицы и завернули в узенький переулок, залитый светом заходящего солнца. Посреди переулка, между широким сараем и плетнем, из-за которого сквозь густые ветви рябины выглядывала верхушка скирды,— подымалась высокая сосновая изба с крытым крылечком и белою трубою. Окна, ворота, убитые гвоздями с жестяными головками, окраины крыши, вплоть до деревянного конька на макушке, были обшиты, словно полотенце, вычурными, резными поднизями, горевшими на солнце как вылитые из золота. Две-три тучные, темно-зеленые ветки рябины, усеянные красными гроздями дозревшего плода, высунулись несколько вперед и набрасывали косвенно густую, зубчатую тень на левый угол избы, заслоняя одно окно, но это служило только к выгоде другого окна, хвастливо выказывавшего свой ставень с ярко намалеванными цветами и все четыре стекла, в которых играли и дробились последние вспышки потухающего дня.

На ступенях крылечка сидела Василиса в синей поддевке из домотканой крашенины, в новом платке, повязанном врозь-концы; подле нее стоял Алексей в темном кафтане, небрежно висевшем на плечах, и в красной александрийской рубахе. Но непокорные глаза пономаря окончательно разбежались, когда он взглянул на Парашу, которая стояла, подпершись круглыми локтями на перила и опустив немного голову. И в самом деле, – способствовала ли тому белая коленкоровая рубашка, обшитая на плечах красными городочками и ловко обхватывающая полную грудь, или алый платок, повитый вокруг смуглого ее личика, – но только трудно было узнать в ней прежнюю девушку. Кондратий Захарыч не успел навести оба глаза на Савелия и сообщить ему свои замечания, – как уже с крылечка заметили приближающихся гостей и спешили к ним навстречу.

– Кондратий Захарыч, Савелий Трофимыч, куда это вы запропастились?.. уж мы ждали вас, поджидали!.. – сказал Алексей, раскланиваясь перед каждым гостем.

– А вот... Савелий Трофимыч задержал; я бы к вам давно понаведался... – отвечал пономарь, приподымая шляпу и делая тщетные усилия, чтобы оторвать левый глаз с запонки на груди Параши.

– Ну, кум, свалил на меня вину... – произнес, самодовольно смеясь, Савелий, – так и быть, беру грех на свою душу!.. авось не посерчают.

– Что ж вы стоите, гости дорогие?.. – сказала Василиса, низко кланяясь, – войдите, милости просим, касатики...

– И то, и то... – вымолвил Савелий, разглаживая бороду, – ведь мы к вам на новоселье пришли...

– Милости просим, милости просим, рады вам!.. – заключили Алексей и Параша, сторонясь, чтобы дать им дорогу.

Кондратий Захарыч сделал неимоверное усилие – оторвал оба глаза от запонки, устремил их на крылечко и, сопровождаемый Савелием и хозяевами, вошел в избу.

1851



СМЕДОВСКАЯ ДОЛИНА

(Рассказ)

Под именем «Сме́довской лощинки» поселяне западной и гористой части К*** уезда разумеют небольшую долину, соединяющую две старые водяные мельницы, построенные на самом берегу речки Смедвы. От одной мельницы до другой считается верст пять. Но если оставить проселок, который проходит где-то ве́рхом, спуститься в долину и идти берегом, следуя течению речки,– пройдешь, без сомнения, верст восемь или девять, прежде чем достигнешь до второй мельницы. Смедва, по мере приближения своего к Оке, в которую впадает она за второй мельницей, становится у́же и врезывается постепенно глубже и глубже в свои берега. Как бы сознавая скорую кончину свою и сожалея о ней, она изгибается на всевозможные лады, изламывается под самыми острыми углами, стараясь пробежать по возможности большее пространство и налюбоваться вдосталь на живописные холмы, которые смотрятся в ее светлые воды. И в самом деле, побывав раз между этими веселыми, улыбающимися холмами, чувствуешь к ним непреодолимое влечение. Скаты долины, то крутые и покрытые яркою листвой орешника, из которой выбегают кое-где кудрявые, темно-зеленые дубки, то выступающие длинными глинистыми языками, усыпанными каменьями и перерезанными овражками; то появляющиеся выемками, вроде амфитеатра, и плотно затканные мелким голубоватым кустарником,– следуют на всем протяжении своем прихотливой линии, которую описывает речка. В ином месте долина расширяется, открывая луг, исполосованный серебряной лентой; мягкая, сочная и лоснящаяся зелень этих лугов поддерживается круглый год весенним разлитием Смедвы и стоком дождевой воды с соседних холмов; кое-где

высятся серые, остроконечные наметы сена, сберегаемые для зимы; тут же, невдалеке, пасутся спутанные лошади; нередко увидите вы белую, костлявую клячу, которая спит, положив кудлатую голову на красноватые жерди, окружающие сено, между тем как жеребенок, повернувшись к ней спиной и вытянув узенькую шейку, заливается звонким ржаньем, в полном убеждении, что потерял мать. В ином месте бока долины сходятся так близко, так тесно сжимают речку, что длинные ветви перекосившихся ветел и орешников, покрывающих берег, переплетаются между собой, образуя над водою решетчатые, фантастические своды.

Природа средней полосы России редко представляет совокупление местности, которая бы в общей сложности могла назваться великолепной панорамой; все ограничивается обыкновенно несколькими лощинами, обросшими лесом и оживленными ручьем, или бесконечной гладью полей и лугов с разбросанными кое-где деревушками. Вся прелесть этих видов заключается не столько в общем их очертании, сколько в деталях и тех мелких эпизодах, которые попадаются на каждом шагу, но со всем тем редко группируются в одну гармоническую картину.

Смедовская долина усеяна такими эпизодами. Особенно живописной казалась мне всегда левая сторона ее: она подымается крутым, полукруглым хребтом, покрытым кудрявой, роскошной зеленью, и высоко планирует над левой стороною. Тут открываются поминутно светлые расщелины, старые овраги, обросшие нежной травкой и цветами, исполосованные длинными тенями осин и берез, между стволами которых сверкают на солнце угловатые камни и белый плитняк, служившие когда-то дном потока; попадаются обвалы, обнажающие пестрые пласты песка, глины и охры; крупные и мелкие корни полуоторванных, висящих в воздухе кустов сползают на эти обрывы косматой бахромой, набрасывая кое-где зубчатую, черную тень. Пространство между краем берега и подошвою ската пересекается беспрестанно ключами; то тихо и почти незаметно пробираются они в длинной, густой траве или лозняке, из которого наши рыбаки плетут верши; то звонко журчат между камнями, скатывая их в виде маленьких плотин, снова разрушая свою работу, и вдруг исчезают под кустом

или провалившимся, полусгнившим мостиком, то разливаются они на довольно большое пространство, делятся на бесчисленное множество тоненьких рукавов, образуя бесчисленное множество островков, покрытых изумрудной тиной, золотыми макушками куриной слепоты или сплошной голубой скатертью мелких незабудок... Одним словом, я не знаю ничего живописнее этого места.

Узенькая тропинка, изгибающаяся по левой стороне Смедовской долины, составляет любимую мою прогулку; часто без всякой видимой цели я отправляюсь из Хлыщовки (так величают первую мельницу) и направляюсь к Емельяновке, второй мельнице, где Смедва впадает уже в Оку. В Емельяновке славное молоко и превосходный черный хлеб, который кажется еще превосходнее после восьми верст прогулки; истребив того и другого в достаточном количестве, я располагаюсь обыкновенно на скамье подле плотины, болтаю с дюжими батраками и не менее дюжим хозяином мельницы и смотрю, как опускается солнце за темные сосновые леса по той стороне Оки; смотрю, как на реку выбегают тоненькие лодочки рыбаков, как зажигаются огоньки в чуть видных деревушках... Затем я прикутываюсь теплее в шинель и возвращаюсь в Хлыщовку противоположной стороною долины. Кругом все уже стихло и смолкло, кроме ручьев, которые катятся в Смедву; изредка крикнет коростель или дикая утка, притаившаяся в береговой осоке; сладко прислушиваюсь я к чуть внятному лаю собаки, к мерному звяканью в караульную доску, к отдаленному шуму запоздалой крестьянской тележки, скачущей где-то по пыльному проселку; гляжу не нагляжусь на темные берега реки, обрамленные крутыми скатами долины, посеребренными полным месяцем, который медленно плывет по темно-синему звездному небу.

Раз как-то, в конце июля, часов около шести пополудни, я шел по той самой тропинке, о которой сказал выше. Солнце заметно уже склонилось к западу, так что тропинка, ручьи и весь левый скат окутывались тенью; со всем тем было, однако ж, очень жарко; правая сторона долины, облитая косыми лучами солнца, сообщала, казалось, теплоту самым тенистым частям противоположного берега; тонкий запах шиповника, кашки, медуницы и других полевых цветов, смешиваясь с запахом сырой почвы и тонких лужаек, окай-

мляющих ручьи, разливался в воздухе с приближением вечера. Круглые, величественные облака, сверкающие как перламутр или кованое серебро, медленно бродили по небу, открывая бесконечные перспективы с синим, прозрачным дном; с каждой секундой долина принимала новые оттенки; густой, местами темно-зеленый, местами темно-синий колорит тенистой стороны отделял ее резче и резче от пылающего неба и белых облаков; левая сторона окрашивалась между тем пурпуром, и не было, казалось, точки, которая не находилась бы в движении; желтая тень оврагов быстро бежала по откосу, превращаясь в розовую и фиолетовую; смолистые стволы дерев превращались в золото и ярко сверкали между листьями, бросавшими коричневые, сквозные тени. Ветер не трогал ни одним листком, или, лучше сказать, его вовсе не было. Картина оживлялась бесчисленным множеством стрижей — маленьких птичек вроде ласточек; вырываясь из своих кругленьких норок, которыми пробуравлены крутые берега Смедвы, они зигзагами резали воздух; изредка, в вышине показывался коршун; вытянув неподвижно зубчатые крылья свои и управляясь одним хвостом, он водил плавные круги над долиной.

Я был уже на половине пути, когда слуха моего неожиданно коснулось протяжное мычание и хляск копыт по влажной почве, возвещавшие, что неподалеку, за каким-нибудь откосом, находилось стадо. И в самом деле, сделав двадцать или сорок шагов, я увидел стадо, расположившееся по обеим сторонам широкого ручья, шумно вырывавшегося из кремнистого углубления, обросшего высоким орешником, дикой малиной, душистым зорником; хмель и ежевичник переплетали их тонкие прутья; ветка хмеля, упавшая одним концом в воду, трепетно вздрагивала, сбрасывая свои желтые цветочки в струйки ручья, быстро изгибавшиеся между плитняком. Крутой скат долины углублялся в этом месте на довольно значительный полукруг и был как будто приплюснут сверху; последнее обстоятельство позволяло двум-трем лучам солнца проникать в углубление, пронизывать сочную листву, превращая иной лист в сплошное золото, тогда как другой сквозил и принимал яркий цвет изумруда; стадо лежало в тени, и только в одном месте луч солнца сквозил по ребрам пестрой коровы и случайно захватывал белую голову ее соседки, которая, подо-

гнув под себя ноги и вперив изумленный взор в какой-то неизвестный предмет, молчаливо жевала жвачку.

Пастух сидел неподалеку на камнях, прикрытых коричневыми лохмотьями сермяжного полукафтанья; он представлял тип тех сухопарых, костлявых старичков, которым нет никакой возможности определить с точностью лета. Черты его исчезали в бесчисленном множестве тонких морщинок, усыпавших его лицо и даже шею,— смуглую, шероховатую, как древесная кора; волосы старика, коротко обстриженные на макушке в виде шапочки, спускавшиеся длинными неправильными космами на лоб и затылок, были между тем черны, как у молодого парня. В редкой, чахлой бородке пастуха сильно пробивалась седина. По одной стороне его лежала плетеная берестовая котомка, и рядом с ней порыжевшая шляпа с темно-бурым платком и продолговатой тавлинкой из березовой коры. По другой стороне виднелось несколько связок лык, колодка с начатым лаптем и воткнутым в него кочадыком. Старик прервал свою работу, чтобы приняться за полдник, состоявший из огромного сукроя черного хлеба, который он пережевывал с большим трудом, перенося поминутно откушенный кусок с одной щеки в другую; он ел, однако ж, с большим аппетитом; против него, у самых ног, сидела маленькая шершавая собачонка, с исполинскими бровями; она не спускала глаз с хозяина и каждый раз, как тот подносил кусок ко рту, свешивала голову то в одну сторону, то в другую, немилосердно болтая в то же время хвостом.

Я подошел ближе. Заслышав шаги, собака быстро приподнялась с места и с видом крайней озабоченности побежала вперед; не подозревая встретить меня за соседним кустом, она вихрем откинулась назад и, метаясь как полоумная вокруг пастуха, залилась неистовым лаем, причем шерсть ее стала дыбом и заходила во все стороны.

— Сизой! Сизой! — закричал старик, потрясая в воздухе рукой, вооруженной хлебом.— Сизой!.. экой шальной какой, право, шальной! Цыц! Говорят! Вот я те, погоди!.. Ничего, батюшка, ничего,— подхватил он, обращая ко мне доброе лицо свое,— ступай, не бойся: не тронет; она не злющая, не кусается...

Сизой заливался с возрастающей энергией. Я подошел к пастуху и попросил кусок хлеба для собаки.

— Э-э-э, батюшка, нет, от чужого не возьмет, ни за

что не возьмет! Хоть ты голодом мори ее, не возьмет! Уж такая-то нравная собачонка, такой-то жиденок, что и-и-и... Сизой! Сизой! Вишь шавель какая! Цыц, котенок! О-о-о, погоди, погоди, постой, вот я те порасхожу! – заключил старик, нагибаясь к земле и делая вид, как будто схватывает палку.

Сизой остановился, поглядел недоверчиво на хозяина, медленно перешел ручей, принял наблюдательную позу и, убедившись наконец, что рука пастуха ощупывала только землю, разразился новым лаем.

– Вот поди ж ты, даром что пес, а все смыслит! – сказал старик, осклабляя беззубые десны свои и лукаво прищуриваясь, – ведь вот знает же, что не трону... Такой вороватой собачонки, кажись, я и не видывал... Привычлива больно; в стаде с ней и товарища не надыть: другой раз в лугах либо на пару коровы разбегутся, особливо из молодых, небывалых в стаде; укажи только: Сизой! Глянуть не успеешь – всех в кучу согнал. Такая-то, право, смышленая, даром что от земли не видишь!..

Сказав это, старик, приложив ладонь ко лбу в виде зонтика, оглянул стадо, погрозил еще раз Сизому, сел на камень и снова принялся за полдник. Я расположился подле него на траве, и мы разговорились. Из слов старика оказалось, что он нанимался пастухом в деревушке, находившейся верстах в трех от Емельяновской мельницы.

– Сам-то я не оттолева, – промолвил он, – я из Крапиловки: вот как в город-то едешь, вправо видна белая церковь... большое село такое на самом берегу Оки... Да ты, я чай, Крапиловку-то знаешь?

Я отвечал утвердительно.

– Приволье у нас большое – не то, что здесь, – продолжал словоохотливый старик, – лесу ли, пашни ли, всего много; да и землица-то не здешней чета... вишь, одни крутояры да глина, – примолвил он, указывая на противоположный скат долины, позолоченный солнцем. – А луга-то какие? У нас лугом-то идешь, идешь... версты четыре пройдешь, а все конца ему нет! Супротив нашей Крапиловки и места такого не найдешь – всем взяла. Вот разве что насчет народа... ну, наш поплоше будет здешнего...

– Чем же?..

– Бедовый! Такой-то народ, и-и-и, боже упаси! Вестимо, коли наш брат отошел от пашни да пристал

к этим фабрикам, добра ждать нечего. Без малого в двадцать лет так перебаловались все, что житья не стало. Да вот, примерно, хошь бы мой парнюха, — один только и есть, — звали его Мишаха — Михайло — не было бы фабрик, не было бы и горя! Баловал, баловал да и добаловался; сам, почитай, пропал да и бабенку свою погубил; а все народ сбил с толку...

— Что ж с ним такое случилось?

— Что случилось: сам в бурлаки пошел, вот уж второй год скоро будет, а меня на старости лет пустил чуть не по миру... Кабы не он, так я рази стал бы так-то наниматься в чужих людях? У меня в Крапиловке-то свой дом есть... Да, — прибавил он после молчка, — было времечко, не чаял, не гадал, что будет он у меня так-то стоять пустехонек; на все, знать, воля божья: сколько ни живи, не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

Старик покачал головой и остановился. Он бросил остаток хлеба Сизому, который лежал, вытянув голову на передние лапы, уложил колодку и лапоть в котомку, засунул лыки за пояс, понюхал табаку и стал приготовляться в дорогу. Натянув на плечи полукафтанье, он опустился на колени у берега ручья, распахнул ладонью руки воду и припал к ней губами; утолив жажду, он перекрестился, надел шляпу и кликнул собаку:

— Сизой, время домой идти... ась? Ну, что, глупый, хвостом-то размахался? Вестимо пора; вишь, солнышко-то где, и не видать отселева... ступай, сделай-ка вот там распорядок!.. — заключил пастух, указывая рукою на двух-трех коров, гулявших в отдалении у реки.

Сизой полетел стрелой. Немного погодя стадо поднялось с места и, рассеявшись по кустам, начало взбираться по крутому скату долины. Пастух перебросил за спину котомку, взял палку, и мы пошли следом по узенькой тропинке, местами заслоненной орешником. С этой минуты Сизой уже исчез из виду; до нас долетал лишь голос его, раздававшийся то тут, то там, смотря по тому, в какую сторону направлялось стадо.

Вскоре мы достигли вершины ската; тропинка сливалась незаметно с широким проселком, изрытым глубокими колеями, который тянулся по одному направлению с долиной; очутившись на нем, с трудом верилось, однако ж, чтобы поблизости могли нахо-

диться какие-нибудь признаки живописного местопребывания; справа, с той стороны, откуда мы поднялись, горизонт замыкался кустами; слева расстилались неоглядные глинистые и худо обработанные поля; перед нами клубилось облако пыли, поднятое стадом и зарумяненное косыми лучами солнца.

Некоторое время мы шли молча. Я думал о том, как бы завести разговор о сыне и снохе старика. Иногда бывает так, что ничтожнейший намек на какое-нибудь событие возбуждает самый сильный интерес; в другое время слушаешь с невозмутимым равнодушием происшествие, действительно заслуживающее внимания; не знаю, происходит ли это вследствие более или менее хорошего расположения духа или по другим причинам,— знаю только, что два-три слова, сказанные стариком по поводу его сына, возбудили сильнейшим образом мое любопытство. Я хотел уже приступить к расспросам, как вдруг, совершенно неожиданно, старик предупредил меня; болтливый, как все старики, долго жившие в одиночестве, он видимо радовался встрече с собеседником; быть может, бедняк по целым дням никого не видал, кроме Сизого.

— Так ты, говоришь, знаешь Крапиловку-то? — сказал он, вероятно, с целью возобновить беседу.

— Как же! Не раз даже приводилось бывать.

— Когда ж ты там был? — спросил он, устремив на меня нетерпеливые глаза.

— Нынешней весною...

— Да, в эту пору у нас привольное житье! — с живостью перебил старик,— особливо, коли ты застал водополье — и, чай, видел, как наши-то по реке погуливают; ведь вот круглый год сидят за станом да челноком постукивают, а как разольется морем-океаном наша Ока, верст на семь от берега до берега, так, небось, работу-то пустую побросают: кто за бредень, кто за вершу, кто за что горазд... Как фабрик этих у нас не было, все мы, от мала до велика, этим рукомеслом промышляли; у каждого, бывало, своя лодка; а кто позажиточнее, так по две, либо по три... И то сказать надо, в те поры и рыбы-то было как-то побольше: бывало, день-деньской все на воде да на воде; ину пору ночь-то в лодке проспишь; житье было знатное, не то что здесь; ну, что тут: буераки, кру-

тояры, глина,— промолвил он таким тоном, как будто Смедовская долина была степь и отстояла от Оки на целую тысячу верст.

Старик прошел молча несколько шагов, потом обратился ко мне совершенно неожиданно и сказал:

— А я так вот уж давно в Крапиловке-то не бывал... зимой, от масляной будет два года.

— Что ж так?

— Да так, охоты нет! — отвечал он, тряхнув головой с каким-то особенным выражением.— Иной раз, как словно и потянет тебя: «сходи да сходи», а придешь — вот хошь бы в прошлую святую — придешь, такая-то тоска припадет к тебе,— лучше бы и не ходил! Промеж чужих людей живешь, глаз-то тебе никто не колет, а как придешь к своим, так словно каждый тебя позорит... Вестимо, после того, что в нашей семье прилучилось, не только на людей, да и на дом-то на свой зазорно смотреть... А все наш народ виною, особливо вот эти фабричные ребята... у-у-у, боже упаси! Кабы не они, мой бы Мишаха-то жил бы о сю пору в дому, жил бы ладно и безобидно с женой... да и я бы на старости лет, наместо того, чтобы стадо гонять, нянчился бы с ихними ребятенками, в свободное время ловил бы рыбу в Оке,— и жили бы мы, лиха не чая.

— Что ж такое сделал твой Михайло, что тебе совестно из-за него показаться в Крапиловке? — спросил я.

— А что сделал?.. Вестимо, недоброе дело; да он что: только в бурлаки пошел да годик потосковал; а вот жальчее всего его бабенку: та совсем пропала, загубил ее, лучше бы ей не рождаться...

Я стал упрашивать пастуха рассказать мне во всех мелочах и подробностях историю его сына. Старик недолго отнекивался; он, может статься, сам был очень рад высказать то, что в продолжение многих лет не находило случая высвободиться из груди его.

— Этому теперь лет пяток будет,— начал он,— жил я тогда своим домком; хозяйки у меня не было: померла еще смолоду. Оставила она меня одного с Мишуткой. В ту пору наш народ стал впервые заводиться станами да брать работу на фабриках. Вот и говорят мне: «Дядя Савелий,— говорят,— что ты своего Мишутку держишь в доме? Отпусти его пряжу или шпули мотать: ведь он мал, мал, а в год-то все добудет

тебе рублишков десять... отпусти его!» Хоть и нужда, признаться, была, а такие слова куда пришлись мне не по сердцу. Ка̀к, думаю себе, – примерно вот так-то сам с собой раздобариваю, – ка̀к, и деды наши, и отцы наши, и прадеды наши были рыбаками, фабричным делом не промышляли, и дело-то, думаю, самое пустое, да и сам-то я весь свой век с бреднем либо с вершей возился, а парнюху моего так бы и отпустить на фабрику! Нет, думаю, погодите, мол: супротив нашего рыбацкого рукомесла не найдешь другого; привык я к нему сызмаленьку; да и рука у меня счастливая; нет, думаю, не пущу Мишутку, ни за что не пущу на фабрику, пропадай они совсем с их деньгами. Стал я так-то думать, а они опять приступали: «Отпусти да отпусти, лов, – говорят, – год от году плоше да плоше, да и то сказать надо, помощь в нем невесть какая...» Время было в те поры больно тугое, вижу, все у нас, не токмо взрослые – и малые сидят за работой, что, думаю, должно быть уж такие времена пришли; думал, думал да и свернул на ихнее: отдал Мишутку на фабрику богатому соседу – Карпом звали. Стал он у меня шпули мотать. Что говорить напраслину? На первых порах я в нем худого ничего не видал: парнишка был со смыслом, толковый такой; стал он у меня подрастать, живет год на фабрике, живет другой, посадили его за стан; еще годика два прошли... Ну, тут уж пошло совсем не то. Глядишь, мой парнюха-то с девками забавляется, то в трубочку покуривает, то подерется с кем... Знамо, человек молодой, что увидал, то и самому надо делать! Недаром говорят: за добром идти, что за кладом: три версты пройдешь да умаешься, а худое-то под рукой лежит; вокруг него народ все избалованный – и табашники, и пьяницы, и сволочь всякая фабричная... чем бы к добру настаивать, сами потачку дают! Мне опосля говорили: «Чего ж ты сам-то смотрел!» Чего смотрел, чего смотрел... Чего мне смотреть! Я нешто мало говорил? Иной раз и за вихор возьмешь, – да впрок не пошло; вестимо, детище-то свое – не чужое: одна рука бьет, а другая гладит; о-ох, спохватился я, да уж поздно: вижу, совсем избаловался мой Мишак. Вот то-то, глупая-то дурость моя... Что ты станешь делать!.. Вот, батюшка, как я тогда сказал тебе, этому будет назад лет пять. Мишке моему было годков осемнадцать. Сижу я раз под вечер, приходит ко мне

Карп Иванов, а Мишка жил уж не у него, у другого хозяина,— приходит, и давай выговаривать: «Уйми,— говорит,— дядя Савелий, парня, ой, уйми,— говорит,— проведал я, бегает он за моей девкой; мотри, не было бы худо!» — «Вестимо,— мол,— Карп Иванович, хорошее ли это дело... я,— говорю,— потачки ему не дам!» Потолковали да и разошлись. В тот же вечер рассказал я все Мишке: куда тебе! и руками и ногами! отпирается; знать, говорит, не знаю, ведать, говорит, не ведаю, бабы, говорит, натолковали, да и все тут! И так, бесстыжий, так вот в глаза прямо и смотрит. Я ему веру и дал, и жил я, ничего не чаял, пока не прилучился грех... Что ты станешь делать!.. Прибежал Карп, прибежала жена его, подняли крик, содом такой. «Что, братцы,— говорю я им,— криком дела не поправишь; мы,— говорю,— с вас ничего не просим; отдайте нам девку, отдайте,— говорю,— по крайности хоть сраму на себя не примете...» Покричали, покричали да потом и положили. Сыграли свадьбу и перевезли молодую в мой домишко. Мишутка мой как словно притих; день-деньской работает, из дому не вызовешь; в одну зиму три основы справил. Я, признаться, не ждал большого добра от нашей молодой, а вышло другое: баба вышла такая, что лучше, кажись, и не надыть: смирная, покорная, и уж так-то полюбился ей мой парень, так полюбился, что только и норовит, как бы ему угодить в чем. Ей полюбился мой Мишутка, а она мне добре по нраву пришлась: такая-то была добрая да ласковая бабенка. Прожил я с ней зиму и так привык, что коли, бывало, уйдет куда, ждешь не дождешься: «Куда ушла,— мол,— наша Параша»,— только и на уме. К исходу весны родила она дочку. Хозяйство наше было не велико, а как хозяйка-то слегла на время,— и совсем некому стало заправлять домом. Зазвали мы на ту пору батрачку править домом: была она старая девка и проживала на фабрике у Карпа... О-ох, такая была, такая, что и-и... да кто ее знал прежде!.. опосля только сведали... Вот, батюшка, с того самого времени, как поступила она, все пошло у нас не так, как было прежде... И что за человек такой была эта Лукерья, так боже упаси! Мутит, дурит и не уймешь ничем; скажешь слово — беда, разлютуется, и пошла, пошла, хошь из дому вон беги. Завладела всем домом, а пуще того завладела Мишкой... И диковинное это дело! Старая, кривая, а ведь

вот влезла же ему в душу: обошла она его, либо другое что, а только души в ней не чаял. Что ни день, ссоры да крик. Чем бы за жену вступиться, Мишка во всем потакает Лукерье... Я и давай выживать ее из дому. Как выжил, пошло еще хуже: встренется с ней на улице либо в другом месте, натребесит, наплетет она ему невесть что на жену; придет он домой – и давай, и давай... Уж я и говорил-то ему, и стращал-то всячески – нет! ничего не берет. Вижу, Параша моя стала сохнуть; ночи не спит, невесть что бормочет, днем ни с кем ни слова не молвит... И дожили мы до горя, до такого горя, что и вспомянуть так тяжело!.. Взяла это она раз ночью (дело было летнее), взяла своего ребенка и сбежала с ним невесть куда... На другое утро, хвать-похвать, нет Параши, да и полно! Искали, искали, думали: утопилась либо другое что; в городе объявили, – нигде не нашли; так и пропала. Прошел год – ни слуху, ни духу. Много принял я горя в этот год. Кажинный день вспоминал я нашу бабенку и больно жалел о ней; жалел также и о внучке; тошней того было смотреть на Мишку. Привязался он к этой Лукерье, – словно околдовала она его, словно зельем каким к себе приворожила; хошь бы раз вспомянул о жене! Точно ее и не бывало! Ходил он попрежнему на фабрику да только жил-то не по-прежнему: стал зачастую хмельным зашибаться; вестимо, вино – враг человеку; что ни выработает, все пропьет либо прокантует. Всему научила фабричная жизнь, а пуще того – Лукерья. Совсем сгиб мой Мишаха; я уж и рукой махнул: вестимо, думается, где мне, старику, совладать с ним! Так было до того времени, как случай привел нам проведать про жену его и ребенка. Вот как это было. Приезжает к нам, в Крапиловку, под осень купец с красным товаром. Карп Иванов, отец Параши, приводился ему как-то с родни. Заночевал у него купец – человек был старый и кредитный – заночевал да и рассказывает: «Грех, – говорит, – на душу не приму, заподлинно не знаю, а сдается мне, видал я вашу Парашу», – говорит, где встретил и где примерно видел, – и место рассказал, где примерно найти ее. Дошла эта весть и до Мишки. Вначале ему как словно и нуждушки нет, задурил еще пуще; потом как словно притих на время. Вот я и говорю ему: «Миша, – говорю, – дурью позасорил ты голову, худым товаром ты торг повел... рано ли, поздно ли, –

говорю,— господь тебя покарает»,— говорю да смотрю на него. Молчит. Опять на день либо на два пропадет: пьянствует без просыпу, словно горе какое у него на душе. Другой раз неделю целую из дому не выходит. Пить не пьет, хлеба в рот не берет; упрется локтями в стол, сидит — с места не тронется. Сидит он так-то раз да и говорит мне: «Батюшка,— говорит,— за что я погубил ее!» — «Кого,— говорю,— погубил?» — «Парашу погубил,— говорит,— каюсь,— говорит,— пред людьми и перед господом!..» И стал он тут припоминать свое прежнее житье-бытье: как полюбилась ему Параша и что она ему в ту пору говорила,— слова, кажись, единого не пропустил... Да вдруг, батюшка, как ударится оземь и давай плакать. «Нет,— говорит,— силушки моей нет, совесть замучила... пойду,— говорит,— я к ней, пойду да приведу домой. Жизнь опостылела мне, покаюсь,— говорит,— пред людьми и перед господом!!» Я до смерти обрадовался; слава те, господи, думаю; помолились мы богу, а на другой день Михайло мой пошел в дорогу. Шел он без малого неделю,— шел словно в потемках: вестимо, дороги-то хорошо не знал, да и в мошне-то всего один полтинник. Ну, и нашел он ее... О-ох! и вымолвить страшно. Сам опосля мне все поведал. Вот, батюшка, как дело было: убежала она от нас в другую губернию и нанялась батрачкой в доме у одного богатого мужичка. Страха, что ли, боялась она, а только и выдай себя за вдову! Жила так-то у них полгода и всем полюбилась, а пуще того хозяйскому сыну. Что ты станешь делать? Как сделали это дело — не ведаю; а только взяли да и поженились! Ведь вот какой великий грех вышел! Как проведал Мишаха мой обо всем этом, «так,— говорит,— и грохнулся оземь. Сколько пролежал, не помню». Встал и давай караулить. Выждал; видит, идет она на речку; он к ней. «И злобы,— говорит,— в ту пору не было у меня никакой; как увидел, словно,— говорит,— отлегло от сердца; и она,— говорит,— словно вздрогнула; стоит, а сама так вот вся и трясется...» Стал он ей выговаривать: «Знаю,— говорит,— все про тебя, все,— говорит,— знаю; я твой погубитель, я стану ответ держать за тебя пред людьми и перед господом, не поминай,— говорит,— что прошло, пойдем со мной!..» Она не пошла. И говорит это она ему: «Губи меня,— говорит,— губи, коли хочешь, а я с тобой не пойду!» При-

шел мой Михайло назад в Крапиловку,— пришел весь ободранный, и лица на нем нету. Весь этот день ходил как шальной, слова не молвил. Так пробыл он целую неделю; потом опять запил, загулял, и, кажись, конца этому не было. Пьянствовал, пьянствовал, да и расскажи своим товарищам фабричным про жену свою. А те его надоумили: «Подай,— говорят,— на нее бумагу...» Он и подал; а как проведал, что жену привезли да посадили в наш острог, чуть с ума не свихнулся; напала на него хвороба-горячка. В это время я не раз в острог наведывался к Параше. Как ни придешь, бывало, плачет либо молится... И велика грешница; великий грех приняла на душу, а все жаль. Судили ее, судили и повезли в Москву для пересылки. Михайло лежал в больнице; я остался дома один как перст. Тоска такая на меня напала. Ноет мое сердце да и полно: словно змея какая повилась вокруг и сосет его... Дай, думаю, пойду-ка я в Москву; погляжу-ка еще раз на Парашу да прощусь с ней. Сборы не бог весть какие были: взял хлебца, перекрестился да и пошел. Москва, сам ведаешь, не больно от нас далече. Пришел туда я в самые святки. Спрашиваю, как мне повидаться с ней, с Парашей-то! «Такое-то,— мол,— и такое дело прилучилось». — «Понаведайся,— говорят,— в тюрьму, туда,— говорят,— сродственников-то пущают». Сказали, как и куда пройти. Дорогой купил ей на последние крест; оставалось всего три гроша; что их жалеть, думаю,— купил ей сайку. Прихожу, спрашиваю, а ее уж сдали на Воробьевы горы, в пересыльный замок. «Воскресенье утром,— говорят,— отправлять будут». Дождался воскресенья — и туда; как теперь помнится... сам иду, а сердце-то у меня так вот и ломит, так и ломит... Прихожу. Большущие дома такие настроены, кругом заборы да загородь, стоят везде часовые. Я к ним. «Маленько,— говорят,— запоздал, теперь нельзя, молебствие идет, а вот обойди,— говорят,— кругом, увидишь ворота, там и жди... скоро поведут, и поведут в те ворота...» Такие добрые, приветливые... «Спасибо,— мол,— братцы, что не отогнали, добром промолвили...» Как сказали они, так и сделал. Ощупал пазуху: крестик тут и сайка тут; стою и жду. Влево от меня березовая роща, так вот вся и шумит... Ветер был добре велик. По правую руку вся Москва видна; место высокое,— куды против здешнего! В те поры плохо было только видно: снег

валом валил да и время было пасмурное. Вот, слышу, загремели ворота! вывели ссыльных; смотрю, и Параша моя тут: белехонька как известь, лица нету, стоит, сердечная, словно убитая. Я пододвинулся ближе, а тут священник стоит; я к нему: «Батюшка,– говорю,– вот,– говорю,– пришел проститься... крестик,– говорю,– принес... вон та,– говорю,– бабенка-то, что подле подводы-то... заставь за себя богу молиться...» Взял он у меня крестик... а саячки не посмел отдать: так и осталась за пазухой. Подняла Параша голову, увидала меня да так вот, батюшка... так... так вот... так и залилась, и залилась. «Батюшка,– говорит,– батюшка... о-ох, помолись за меня, грешную...»– да дальше-то уж и не выговорит ничего. Надел священник на нее мой крест, перекрестил ее и стал уговаривать; потом отошел, обратился ко всем да и говорит им; а они стоят все в ряд, по обеим сторонам солдаты; отошел да и говорит: «Дети,– говорит,– помолитесь богу и проститесь с родной землей... проститесь в последний раз с Москвою...» И чего уж, кажись, батюшка, ведь вот тут невесть какого народу не было; другой и душегубец либо разбойник какой, а как сказал он им это слово, так вот все навзрыд и залились; и меня самого слеза пробила. Тут забили в барабаны, и пошли они в дальнюю дорогу... В тот же день пошел я домой. Михайло мой в это время как словно маленько поправился; мало-помалу совсем стал на ноги. Да не впрок пошло ему здоровье. Весну целую ходил без дела и лето также. «Охоты,– говорит,– ни к чему нет»,– да и все тут; что ты станешь с ним делать! Ходил он так-то, почитай, все лето, по осень опять загулял; курил, курил да и закабалился в бурлаки; будет этому скоро два года. А все ведь, батюшка, коли поглубже плыть в этом деле,– все ведь фабричная жизнь виновата... Эх, кабы не послушался я тогда нашего народа, повел бы парня по отцовскому рукомеслу, так вестимо не то бы и было: наша рыбацкая жизнь простая,– не то, что ихняя – фабричная!.. Остался я так-то один-одинешенек. Добре тоска одолела меня. К тому и зазорно было как-то глядеть на своих-то: опостыла мне Крапиловка, да и дом-то опостыл совсем; землю свою сдал я соседу, а сам пошел внаймы к чужим людям... В Крапиловку, почитай что, теперь и не заглядываю; как заглянешь туда, сам спокаешься; ходишь, ходишь потом,– словно камень

на сердце лежит у тебя... Лучше и не ходить... Бог с ними!..

– А что ж сталось с Лукерьей? – спросил я после минуты молчания, – неужто она о сю пору живет в Крапиловке?

– Нет, батюшка, давно пропала... померла прошлую весну; послали ее, слышь, в погреб: оступилась да и повихни себе ногу... нога болела, болела, пухла да и сгубила ее... Во всем, сказывали мне, спокаялась, во всех лихих делах своих!..

Старик снова замолк и потупил голову.

Мы прошли с четверть версты, не сказав друг другу ни слова. Во все это время Сизой шел подле. Изредка махал он хвостом и забегал вперед, чтобы устремить на хозяина желтые зрачки свои, заслоненные вкривь и вкось шершавыми бровями. Он видимо был почему-то не в духе; но мрачное расположение Сизого не было, однако ж, продолжительно. Как только стадо свернуло с дороги влево по направлению к деревне, где нанимался пастух, Сизой залился звонким лаем и, распушив хвост, полетел делать распорядок, как говорил дядя Савелий. Густое облако пыли, не сквозившее уже от солнечных лучей, которые только что потухли на горизонте, скрыло от меня и стадо, и Сизого. Вскоре я потерял из виду и самого дядю Савелия.

Я удвоил шаг, чтобы скорее дойти до мельницы. В воздухе чувствовалась уже свежесть, которая свидетельствовала, что Ока не очень далеко; дорога начинала опускаться; бока долины понижались, расходились амфитеатром и сглаживались с дальней местностью. Немного погодя на огненном, постепенно бледнеющем небе обозначилась фиолетовая, слегка зарумяненная линия горизонта; еще несколько шагов вперед – и я увидел Оку; там выступили луга с последним заворотом Смедвы; ближе всего, почти под ногами, возносились темные, неправильные группы ветел; кое-где сквозь сучья проглядывало багровое небо; тут же, между стволами ветел, чернела плотина, и на одном конце ее рисовался причудливый профиль мельницы с прилепленным к боку амбаром, спуском для воды и колесами; на боку лежала опрокинутая лодка. Ветлы со своими огненными просветами, плотина с своими шестами, тварнями, растянутым бреднем и самая мельница целиком перекидывались в ши-

роком, сверкающем пруде; на поверхности его, гладкой как розовое зеркало, играла рыба и появлялись затем кружки, которые расширялись и зазубривали дрожащими серебряными нитками то место, где отражалась мельница. Окрестность между тем темнела, и в ясном, постепенно синеющем небе начинали зажигаться звезды. До слуха доносились какие-то неясные, замирающие звуки... Наконец все смолкло и окуталось тенью... В окне мельницы мелькнул огонек и заиграл в воде вместе со звездами...

Минуту спустя я стоял уже на плотине и бросал прощальный взгляд на Смедовскую долину.

1852





КОММЕНТАРИИ



Тексты данного тома печатаются по изданию: Григорович Д. В. Полное собрание сочинений в 12-ти томах. Изд. 3-е. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1896. Для настоящего издания тексты были сверены с первыми публикациями и другими прижизненными изданиями.

ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРЕТА

Впервые – «Литературная газета», 1844, № 45, 16 ноября, с. 752–757.

«Театральная карета» – первый рассказ Д. В. Григоровича, написанный им в период его работы в канцелярии директора императорских театров А. М. Гедеонова в Петербурге. До этого рассказа им были сделаны переводы двух пьес: драмы М. Ф. Сулье «Eulalie Pontois» («Евлалия Понтуа») – в переводе «Наследство» и водевиля «Шампанское и опиум», затем перевод с французского повестей «Плавучий маяк» А. Пишо и «Эрленсбунский священник». Как утверждал Григорович, французский язык он знал тогда лучше, чем русский: «Русская грамота давалась мне все еще с большим трудом; но его мало-помалу побеждала практика и, главным образом, мое юношеское неутомимое усердие. Работа была мне по душе и увлекала меня» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1961, с. 75). Знакомство с Н. А. Некрасовым побудило Григоровича серьезнее взглянуть на труд литератора: «Жить также своим трудом, сделаться также литератором казалось мне чем-то поэтическим, возвышенным, – целью, о которой только и стоило мечтать. Я не давал себе покоя, придумывая сюжеты для оригинальной повести. Сотни раз, набросав сгоряча начало, прежде чем успел обдумать конец, я сокрушался, обескураженный, и бросал

работу. Леонов, ленивейший из смертных, изумлялся моему терпению и трудолюбию; Плюшар покачивал головой и постоянно повторял: «Vous ne ferez absolument rien» («Вы ровно ничего не добьетесь»). Страстное желание написать что-нибудь свое, усилия, которые я употреблял для этого, не оправдали предсказаний Плюшара. В этот период времени я написал один за другим два рассказа: «Театральная карета» и «Собачка», оба крайне детского содержания, вымученные, лишенные всякой наблюдательности, почерпнутой из жизни» (с. 79). Суждению о своих первых рассказах Григорович оставался верен до конца жизни и никогда не переиздавал их. А между тем уже первый рассказ о жизни чиновников, причем из беднейшего слоя, точнее: сам предмет изображения – герой, вызывающий сочувствие своим социальным положением и антигуманным отношением к нему окружающих, – сам предмет говорит о зрелом эстетическом выборе главного направления творчества – реалистического и гуманного, сочувствующего униженным и оскорбленным. Но, по-видимому, Григорович не считал «Театральную карету» реалистическим рассказом, поскольку в основе его лежал вымышленный сюжет, а уже в это время он почувствовал «влечение к реализму», т. е. побуждение изображать действительность, «как она в самом деле представляется».

Стр. 38. *Капельдинер* – служащий театра или концертного зала, проверяющий билеты и наблюдающий за порядком.

...покинутая Ариадна... – Дочь критского царя Миноса Ариадна помогла афинскому герою Тесею, убившему чудовище Минотавра, выбраться из лабиринта при помощи клубка ниток. Бежавшая от гнева отца вместе с Тесеем, она была оставлена им на о. Накос. В произведениях искусства довольно часто изображался момент отчаяния Ариадны, покинутой Тесеем.

Стр. 39. *...Реомюр показывал 22 градуса...* – Рене Антуан Реомюр (1683–1757) изобрел спиртовой термометр, шкала которого была разделена на 80 градусов, между точками замерзания (0 °R) и кипения (80 °R) воды. Один градус по Реомюру соответствовал 1,25° Цельсия, то есть температура воздуха была примерно равна 27–28 градусам по Цельсию.

Ловелас – герой романа английского писателя Самуэла Ричардсона (1689–1761) «Кларисса», вольнодумный, но циничный и развратный. Имя героя употребляется в на-

рицательном значении – как легкомысленного в отношениях с женщинами человека.

Стр. 44. *...подобно фигуре Диогена в «Афинской школе» Рафаэля.* – Древнегреческий философ-киник, исповедовавший крайний аскетизм, Диоген Синопский (ок. 400 – ок. 325 до н. э.) изображен на фреске итальянского художника Рафаэля Санти (1483 – 1520) в храме Станцы делла Сеньятура. В книге Ласло Пашута «Рафаэль» (М., Искусство, 1981) так описывается знаменитая фреска: «Занятно, что Рафаэль изобразил в образе Диогена самого себя (в примечаниях указано, что автор ошибся. – *Ред.*) ⟨...⟩ Был ли Рафаэль похож на Диогена? Едва ли художник досконально изучил творения ученых мужей. Рафаэль-Диоген стоял на заднем плане: был виден только его профиль и край его темного берета. И все-таки, если смотреть с определенной точки, его лицо господствовало над всей композицией» (с. 253).

Стр. 45. *Сильфиды* – в средневековой мифологии один из видов духов природы: духи огня – саламандры; духи воды – ундины; духи воздуха – сильфы (или женск. – сильфиды), духи земли – гномы.

Стр. 47. *Антрша* (или антраша) – легкий прыжок (в балете).

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАРМАНЩИКИ

Впервые – сб. «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов под редакцией Н. Некрасова», ч. 1. СПб., 1844.

Об истории создания очерка Григорович рассказал в своих «Литературных воспоминаниях»: «В иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки под общим заглавием «Физиологии»; каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описаний служило известное парижское издание «Французы, описанные сами собою». У нас тотчас же явились подражатели. Булгарин начал издавать точно такие же книжечки, дав им название «Комары»; в каждой из них помещался очерк типа петербургской жизни; один из них – «Салопница» – был удачнее других. ⟨...⟩ Некрасову, практический ум которого был всегда настороже, пришла мысль начать также издавать что-нибудь в этом роде; он придумал издание в нескольких книжках: «Физиология Петербурга». Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской

уличной и домашней жизни. Некрасов обратился ко мне, прося написать для первого тома один из таких очерков. Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться. Проходя раз в дождливый осенний день по Обуховскому проспекту, я увидел старого шарманщика, с трудом тащившего на спине свой инструмент. До этого еще мое внимание не раз приковывали эти люди, – итальянцы по большей части, – добывающие таким ремеслом насущный хлеб. Их можно было встретить каждый день на любом из больших дворов Петербурга; они являлись с шарманками, с кукольною комедией, собиравшею вокруг себя детское население дома, с певцами, с плясунами и акробатами, ходившими на руках и делавшими salto-mortale на голой мостовой; сколько помнится, они тогда никому не мешали – ни жителям, ни общественному порядку, – напротив, много прибавляли к одушевлению серого, унылого города. Следя за ними глазами, я часто спрашивал себя, какими путями они могли добраться до нас из Италии ⟨...⟩ Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение. ⟨...⟩ у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в «Шинели», – повести, которую я с жадностью перечитывал ⟨...⟩ Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к написанию» (с. 83–84).

«Стремление к реализму», которое Григорович представлял как верное изображение действительности (что ж, разве Шекспир не верно изображает действительность?), на самом деле оказалось гораздо глубже, органичнее, т. е. выступило как стремление к познанию жизни, как главная идея творчества, формирующая реализм как направление в русском искусстве.

В. Г. Белинский, характеризуя «Физиологию Петербурга» как книгу, которая «и приятно занимает читателя, и заставляет его мыслить», отметил в рецензии и очерк Григоровича: «Петербургские шарманщики» г. Григоровича – прелестная и грациозная картинка, нарисованная карандашом талантливого художника. В ней видна наблюдательность, умение подмечать и схватывать характеристические черты явлений и передавать их с поэтической верностью. Г-н Григорович – молодой человек и только что начинает писать. Такое начало подает хорошие надежды в будущем» («Отечественные записки», 1845, т. 40, № 5, отд. VI, с. 23).

И Белинский, и сам Григорович указывают на одну из замечательных черт «Петербургских шарманщиков» – очерк вырос из попытки понять существенные черты социального типа бродячего актера. Познавательность очерка, как примета реалистического направления в литературе, была отмечена и другими критиками в обзорах русской словесности.

Стр. 52. *Гарусный шарф* – из грубой шерстяной пряжи или хлопчатобумажной ткани, похожей по фактуре на пряжу.

Стр. 53. *Регистратор – коллежский регистратор* – чин последнего, 14-го класса в таблице рангов российского чиновничества.

Салоп – свободная верхняя утепленная женская одежда (накидка, плащ) с прорезями для рук или небольшими рукавами.

Сенная площадь – расположенная на берегу Невы торговая площадь. Здесь производился торг не только сеном или овсом, но и провизиями, посудою и другими мелкими ремесленными изделиями.

Стр. 54. *Корнеслов* – лицо, занимающееся исследованием происхождения слов.

...первоначальное слово было: ширманка... – Шарманка – род небольшого переносного органа без клавиатуры; название произошло от начальной строки немецкой песенки «Scharmante Katherine» («Прелестная Катерина»), исполнявшейся на первых шарманках, появившихся в России в начале XIX в.

Пучинелла (или Пульчинелла) – персонаж итальянской комедии масок, появившийся в конце XVI в. В нем сочеталось деревенское простодушие с городской сметливостью. Высокая остроконечная шляпа, грубая одежда, горб и большой крючковатый (петушиный) нос составляли традиционный костюм и облик Пульчинеллы.

Стр. 55. *Виола* – старинный смычковый инструмент, похожий на скрипку, с широким грифом и 5–7 струнами.

...вальс Ланнера... – Ланнер Йозеф Франц Карл (1801–1843) – австрийский скрипач, дирижер и композитор, создатель нового типа танцевальной музыки – венского вальса.

Стр. 56. *...выбранить ... Наполеона и ... австрийских дам.* – Второй женой Наполеона I была Мария Луиза, дочь австрийского императора Франца I.

Буколика – произведение античной поэзии, изображающее пастушескую жизнь; буколические удовольствия – развлечения на лоне природы.

...«мещане» этого класса. – Манифест Екатерины II от 17 марта 1775 г. отнес к мещанам тех городских жителей, которые, не обладая капиталом в 500 руб., не могли быть записаны в купечество и занимались промыслом, рукоделием и другими работами, но не принадлежали к цеховым организациям мастеров.

Стр. 57. *...переименованных в monte Perpi.* – По-видимому, от perpendicko (и т.) – отвес, т. е. крутые, отвесные горы.

Стр. 58. *... нет ни одного ... бурга...* – то есть замка (от нем. Burge – замок, твердыня).

Гаер – первоначальное от нем. Geiger – скрипач; затем так назывались шуты, паяцы.

...избирают жилище в Подьяческих и Мещанской. – В Петербурге были три Подьяческих и три Мещанских улицы, называвшиеся – Большая, Средняя и Малая. Подьяческие были расположены в Адмиралтейской части Петербурга, Мещанские – на Васильевском острове.

Стр. 59. *...название, одинаковое с известным европейским народом.* – Прусак (таракан).

...«обойтись посредством платка»... – Выражение из VIII главы «Мертвых душ» Н. В. Гоголя: «Еще нужно сказать, что дамы города N. отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «я высморкалась, я вспотела, я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 6. Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 159).

Стр. 60. *Пестрядинные халаты* – из грубой хлопчатобумажной цветной ткани – пестряди, крашенной в разные цвета или изготовленной из разноцветных ниток.

...на фуфу зарабатывающий копейку. – Обманным, плутовским образом.

Стр. 61. *...обладателем восьмого чуда в мире.* – К семи чудесам света в античном мире причислялись древнеегипетские пирамиды, храм богини охоты Артемиды-Дианы в Эфесе, Мавзолей в Галикарнасе, – гигантский надгробный памятник карийского царя Мавзола, террасные «висячие сады» ассирийской царицы Семирамиды в Вавилоне, статуя бога-громовержца Зевса в Олимпии, статуя бога солнца Гелиоса в Родосе (родосский Колосс) и маяк в Александрии.

Стр. 62. ...*китайские тени...* – Так назывался театр теней. Действие разыгрывалось за ширмой, источник света проецировал на ширму-экран тени плоских кукол. В России это зрелище появилось на рубеже XVIII–XIX вв.

...*пискливые звуки – «По всей деревне Катенька...»* – Популярная народная песня, исполнялась под аккомпанемент разных музыкальных инструментов (Музыкальный альбом на 1831 год. Содержит в себе 24 № избранных русских песен и романсов, аранжированных для фортепиано К. Гертумом. СПб., 1831).

Стр. *63. ...под музыку знаменитой поездки Мальбруга в поход...* – Французская сатирическая песня о походе английского полководца герцога Д.-Ч. Мальборо, возглавившего военную экспедицию Англии, в то время боровшейся за испанское наследство. В 1709 г. разнесся ложный слух о его смерти, что и послужило поводом к созданию песни. Во время Отечественной войны 1812 г. песня о Мальбруке, переведенная на русский язык и значительно измененная, приобрела комические подробности: в ней говорилось о похоронах полководца, умершего «смертию поносной», со страху. В песне под неудачливым полководцем подразумевался Наполеон I.

...*курительные свечи...* – с добавлением в стеарин или воск ароматических веществ.

Орлянка – игра монетою в «орла» и «решку».

Свайка – игра, в которой большим гвоздем с толстой шляпкой нужно попасть в середину кольца, лежащего на земле; то, что сейчас называется игрой в ножички.

Стр. 64. ... *любопытными картинками...* – Перечисленные лубочные картинки были весьма популярны в России.

Первые две из упомянутых Григоровичем картин являются иллюстрациями к широко распространенной в XVII–XVIII вв. средневековой русской драме «Артаксерксово действо» на библейский сюжет. Драма эта заканчивается торжеством Мардохея – тестя персидского царя: он разоблачает полководца Амана, составившего заговор против царя.

Третья картинка состоит из двух сцен: на верхней ее части изображен ратник Иван Гвоздило, закалывающий французского солдата косой, привязанной к древку. Надпись разъясняет: «Русский ратник Иван Гвоздило. У басурмана ношки тоненко, душа коротенка. Што, мусьё, промахнулся ан вот тебе раз, другой бабушка даст». Вторая сцена изображает мужика, замахнувшегося прикладом ружья на повергнутого наземь француза. Надпись сообщает:

«Руской милицейской мужик Долбила. Вить очнется басурман, не давайся, брат, в обман. Што, мусьё, кувырнулся рас два три ась, не прибавит ли, мусьё».

Среди лубочных картинок были распространены виды русских городов и монастырей, а также картинки ко всевозможным басням, притчам и нравоучениям.

...банки с надписью: «а ла виолет»... – От violette (ф р.) – фиалка.

Кизляр-ага – надзиратель за женами султанского гарема; эта должность считалась одной из самых высоких при султанском дворе.

...неаполитанский лазарони... – Лацарони (от ит.) – нищий, беспечный бедняк.

... восхищают книги... – Григорович называет ряд распространенных лубочных изданий: «Жизнь некоторого Аввакумовского Скитника, в брынских лесах жительствовавшего, и куриезный разговор души его при переезде через реку Стикс» (под этим названием переиздавалась в 1802 и 1835 гг. выпускавшаяся неоднократно еще в XVIII в. книга «Житие господина Анекдоты Балакирева (то есть книга «Анекдоты о Балакиреве, бывшем при дворе Петра Великого шутом». М., 1833); «Похождения Ваньки Каина...» (книга Матвея Комарова «Обстоятельные и верные истории двух мошенников: первого – российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками, сумасбродною свадьбою, забавными разными его песнями и портретом его. Второго – французского мошенника Картуша и его сотоварищей». М., 1779); *«История о храбром рыцаре Францыле Венцыане и о прекрасной королеве Ренцывене»* (книга более известна под названием «Францыль Венециан, – лубочная переделка западноевропейской рыцарской повести», сочинение Андрея Филипова (дворового человека). М., 1787); роман Н. Базилевича «Козел бунтовщик, или Машина свадьба. Новейшая повесть». М., 1841 г.; книга «Кондрашка Булавин, бунтовщик, бывший в царствование императора Петра I» издавалась в 1841 и 1843 гг.; книга «Вред от пьянства» печаталась в 1843 и 1844 гг. в Москве.

Стр. 66. *...отправляются они на Крестовский...* – Крестовский остров находился между Средней и Большой Невками. «На южном берегу острова находится барская дача, старейшая часть которой, каменный павильон, построенный крестообразно, послужил поводом к его названию. Остров этот составляет любимое место прогулки жителей Петербургской стороны» (Путеводитель по С.-Петербургу. С при-

ложением программ всех учебных заведений и 6 планов Петербурга. Составил и издал А. П. Червяков. СПб., 1865, с. 3–4).

Стр. 67. *...является ... Кассандром...* – Кассандр (македонский царь, IV в. до н. э.) – комический персонаж пьес итальянского театра в Париже, впоследствии постоянный персонаж уличных представлений и кукольных комедий в Западной Европе и России.

... масленая, а затем и святая недели... – Имеются в виду праздничные недели до Великого поста и после него.

Стр. 68. *Тамбурин* – ударный музыкальный инструмент в виде обруча с натянутой кожей и вставленными в прорези обруча парными металлическими тарелочками.

Интродукция (от лат. introductio – введение) – краткое музыкальное вступление, предшествующее основной части музыкального произведения.

Стр. 69. *... понюхал березинского...* – Сорт нюхательного табака.

Стр. 70. *Сафьян* – выдубленная козлиная кожа; низшие сорта сафьяна могут выделываться из овечьих и телячьих кож.

Стр. 71. *Вакштаф* (вакштаб) – сорт крепкого табака.

... два моншера... (от фр. mon cher – мой дорогой). Так назывались щеголи и вертопрахи.

Стр. 72. *Капитан-исправник* – уездный начальник полиции.

...живет «в Семеновском полку, на уголку, в пятой роте, на Козьем Болоте». – То есть не разберешь, где живет. Названные места находились в самых разных частях Петербурга: Семеновским полком называлась часть города, расположенная от Введенского канала до Царскосельского проспекта и от Загородного проспекта до Обводного канала (сами казармы лейб-гвардии Семеновского полка были расположены на противоположном берегу Введенского канала); Козьим Болотом называлась до переименования в Воскресенскую площадь (по имени строившейся церкви Воскресения) площадка на Выборгской стороне (по правому берегу Большой Невы и Большой Невки) в конце Торговой улицы; площадь эта «в старину служила местом выгона скота и состояла в самом деле из болота» (Путеводитель по С.-Петербургу. С приложением программ всех учебных заведений и 6 планов Петербурга. Составил и издал А. П. Червяков. СПб., 1865, с. 295).

Стр. 74. *...упал, звеня и прыгая, на мостовую...* – Григорович учел в этой фразе поправку Достоевского. Интересно

впечатление, произведенное «Шарманщиками» в авторском чтении на Ф. М. Достоевского, тогда еще в литературе не известного. «Он, — рассказывал Григорович, — по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то, — раздраженно заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, *звеня и подпрыгивая...*» Замечание это — помню очень хорошо — было для меня целым откровением» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 1. М., Худож. лит., 1964, с. 130).

ДЕРЕВНЯ

Впервые — «Отечественные записки», 1846, т. 49, кн. 12.

На первых порах своей литературной деятельности Григорович с трудом отыскивал оригинальные сюжеты, не отдающие той или иной литературной традицией, не напоминающие уже разработанные ходы и характеры. Случайно, как утверждает он в «Литературных воспоминаниях», был найден сюжет «Деревни»: «К матушке привезли больную молодую бабу. За обедом матушка рассказала ее историю. Ее против воли выдали замуж за грубого молодого парня, которого также приневолили взять ее в жены; он возненавидел ее, чему немало способствовали его сестры, начал ее бить в трезвом и пьяном виде и заколотил почти до смерти; баба была в злейшей чахотке и вряд ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чем жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлетней девочки; он и ее заколотит насмерть, говорила она. Сюжет повести был найден. Я тотчас же принялся его обдумывать и приводить в повествовательную форму

Знакомый с простонародным русским языком только по редким книгам, которые удавалось читать, я стал усердно изучать его практически, проводил часы на мельнице, беседуя с помольцами, разговаривал с нашими крестьянами, стараясь прислушаться к складу их речи, записывал выражения, казавшиеся мне особенно характерными и живописными. Первые главы повести «Деревня» стоили мне неимоверного труда. Французский язык, которым меня пи-

тали до тринадцатилетнего возраста, все еще по временам давал себя чувствовать; я долго иногда путался, приискивая ту фразу, которая должна была выпукло и пластично выразить то, что хотелось сказать ⟨...⟩ Я чувствовал, что чем дальше подвигается повесть, тем свободнее освоиваюсь я с языком. Каждую главу переделывал я, переписывал по нескольку раз, вымарывал, переправляя в ней все, что чуть-чуть казалось нескладным» (с. 97–98).

Закончив повесть, Григорович отдал ее Некрасову в журнал «Современник», но по каким-то, видимо, внешним причинам Некрасов не смог напечатать повесть в своем журнале, и тогда повесть была передана в «Отечественные записки», издателем которых стал А. А. Краевский. «Наконец настал желанный день, – вспоминает Григорович. – Открыв декабрьскую книжку, я нашел в ней мою повесть, напечатанную целиком, без всяких изменений. Успех ее, благодаря, вероятно, новизне предмета (до того времени не появлялось повестей из простонародного быта) превзошел мои ожидания; ее хвалили не только знакомые, но похвалил даже критик «Северной пчелы», Бранд, вообще неблагосклонный к литераторам молодого поколения» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 100).

Не разглядев вначале силу и значение «Деревни» и не уловив сразу общественный резонанс, вызванный повестью, критик Ф. Бранд (псевдоним «Я. Я. Я.») в дальнейшем попытался скомпрометировать избранное Григоровичем направление, совершенно неприемлемое для тех общественных сил, которые представляла реакционная газета «Северная пчела». В обзоре журнальной литературы он писал: «В прошлом году г. Григорович напечатал в «Отечественных записках» повесть под заглавием «Деревня». Она прошла незамеченною и в целом далеко не выдерживает критики: но в ней был трогательный конец, вообще местами проглядывало чувство, и «Северная пчела» для обозрения первых опытов молодого автора похвалила его, радуясь, что по примеру других он не слишком увлекся тогда мнимым юмором, тупою насмешкою и грязною натурою. В Messager de Saint-Péterbourg также весьма снисходительно отозвались об этой «Деревне». С тех пор автору «Деревни» вообразилось, что он Гомер деревенского быта и сельской жизни крестьян русских: он крепко призадумался над своим предназначением; если верить слуху, нарочно предпринимал поездку в какую-то отдаленную губернию и там в глубине глуши «досконально» изучил предмет свой» («Северная пчела», 1847, № 289, 22 декабря, с. 1155).

Григорович рассказал, как приняли повесть его друзья: «Печатание повести «Деревня» дало повод объяснению, которое мне во всех подробностях рассказывал В. П. Боткин вскоре после нашего знакомства. Несколько дней спустя после выхода декабрьской книжки «Отечественных записок» собрались пить чай к Тургеневу; тут были Анненков, Панаев, Некрасов, Боткин и другие. Вошел Белинский и с тою горячностью, которая всегда его отличала, начал преувеличенно хвалить мою повесть, говоря, что собирается написать о ней статью в «Современнике». Ему стал также горячо возражать Некрасов. Началось живое объяснение и кончилось тем, что Белинскому явственно было высказано, что прежде всего журнал «Современник» не ему принадлежит и похвалы о том, что печатается в «Отечественных записках», не могут быть допущены в «Современнике». Белинский все-таки похвалил повесть, но это была уже не статья, а скорее заметка; в ней сказано было, что я не имею никакой способности к повестям, но обладаю дарованием для физиологических очерков» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 100–101).

Действительно, в своем обзоре «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский довольно сдержанно отметил повесть: «К замечательным произведениям легкой литературы прошлого года принадлежат помещенные в «Отечественных записках» повести: «Небывалое в былом, или Былое в небывалом» Луганского и «Деревня» г. Григоровича. Оба эти произведения имеют между собою то общее свойство, что они интересны не как повести, а как мастерские физиологические очерки бытовой стороны жизни, ⟨...⟩ О г. Григоровиче мы теперь же скажем, что у него нет ни малейшего таланта к повести, но есть замечательный талант для тех очерков общественного быта, которые теперь получили в литературе название *физиологических*. Но он хотел сделать из своей «Деревни» повесть, и отсюда вышли все недостатки его произведения, которых он легко бы мог миновать, если бы ограничился бессвязными внешним образом, но дышащими одною мыслию, картинами деревенского быта крестьян. Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренний мир героини его повести, и вообще из его Акулины вышло лицо довольно бесцветное и неопределенное, именно потому, что он старался сделать из нее особенно интересное лицо. К недостаткам повести принадлежат также и натянутые, изысканные и вычурные местами описания природы. Но что касается собственно до очерков крестьянского быта, — это блестящая сторона про-

изведений г. Григоровича. Он обнаружил тут много наблюдательности и знания дела и умел выказать то и другое в образах простых, истинных, верных, с замечательным талантом. Его «Деревня» – одно из лучших беллетристических произведений прошлого года» («Современник», 1847, т. 1, № 1, отд. III, с. 1–56).

Как видим, критические замечания, касающиеся попыток писателя заглянуть в психологию героев своей повести, что действительно еще с трудом давалось Григоровичу, не помешали Белинскому назвать «Деревню» лучшим беллетристическим произведением 1846 года. Это противоречие разъяснил П. В. Анненков. Говоря о литературных привязанностях Белинского, в частности к роману А. И. Герцена «Кто виноват?», он писал: «Желать возникновения беллетристики, не придавая ей значения последнего судьи всех современных задач, – значило для него только желать обмена идей и сбора необходимого материала для разрешения этих задач уже путем науки и творчества, когда наступит их время. Зачатки такой беллетристики Белинский усмотрел именно в вышеупомянутом романе Г⟨ерцена⟩, что однажды и высказал публично в разборе его, не придавая ему художнического значения, но ставя его высоко как произведение умного, наблюдательного и развитого человека. По тем же поводам и первые произведения другого писателя, Д. В. Григоровича, выступившего в 1846 с повестью «Деревня», за которой последовала другая, «Антон Горемыка», – обе возбудившие множество толков, – встречены были чрезвычайно сочувственно нашим критиком. Он увидел в них начало эры талантливых разоблачений и ловкой проверки жизненных явлений из сельского нашего быта, важность которых была теперь несомненна для него» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., Худож. лит., 1983, с. 271).

Через тринадцать лет, рецензируя издание «Повестей и рассказов» (1859) Григоровича, куда входила и «Деревня», критик «Русского слова», накануне реформы 1861 г., не увидел в повести ничего, кроме голой социальной идеи, да и то выступившей только как намерение: «1) представить жалкое положение бедной сироты в кругу грубых людей; 2) изобразить ужасное положение молодой, наделенной сильным чувством и поэтической душою женщины (такова была Акулина), страдающей от деспотизма мужа и его семейства. Положение, как видите, богатое драматизмом; но автор им не воспользовался. Все вышло бледно – и драма, и героиня: драма потому, что страшно растянута,

героиня потому, что решительно подавляется множеством лиц. Это множество – гурт безразличных негодяев; гурт этот давит Акулину, которая с самого детства до такой степени уже была замучена (конечно, читатель может иначе смотреть, чем автор, на эту гуртовую муку, которой подвергали все Акулину), что решительно не годится для драмы. Безличное же нравственное существо можно подвергать трагическим ударам только незначительным и притом на самое короткое время: того, по крайней мере, требует искусство, которому нет дела до анекдотов и до всей прозы жизни». Это признание, что законы искусства, а не проза жизни диктует художнику метод создания художественного образа, звучит в наше время как саморазоблачение, однако критик ловко прикрылся в рецензии мнимой «народной» точкой зрения на изображение характера и обстоятельств народной жизни. «Но не ошибаемся ли мы в идее? – продолжал он. – Не хотел ли автор своею повестию сказать нам что-нибудь другое, вроде этого: посмотрите, дескать, каков наш народец! К чести автора, нам не хотелось бы так думать; но очень сожалеем, что г. Григорович дает своим читателям некоторый повод так думать. Признаемся, нас удивили отношения автора к изображаемой им жизни и своим героям ⟨...⟩ Что же, могут возразить нам: если такова правда действительности! не подкрашивать же ее художнику! Если такова, действительно, жизнь, нечего художнику браться за ее изображение; но как подобные, мрачные стороны жизни нисколько не исключают светлых ее сторон, то художник обязан смягчать первые теплотою своего участия, благодатью любви, все исполняющей. Осмеивается, презирается, топчется в грязь только такой нравственный порок, который нельзя назвать общенародным, который принадлежит лицам, возбуждающим не сожаление, а ужас и негодование в чуткой душе художника» («Русское слово», 1860, № 3, март, отд.: Критика, с. 9–10).

Стр. 86. *Понева* (понява) – длинная верхняя юбка, состоящая иногда из нескольких разноцветных полотнищ.

Стр. 88. *Коклюшки* – палочки для намотки ниток и плетения кружев.

Стр. 92. *Стихера* (стихира) – похвальное церковное песнопение на библейские мотивы.

Стр. 97. *...на Фоминой неделе...* – первая неделя после Пасхи, «красная горка».

Стр. 98. *Ахаверница* – мошенница, пройдоха, бесстыжая.

Стр. 108. *Кичка* (кика) – женский головной убор с рогами; может быть – кокошник (полукруглый убор) с высоким передом.

Коты – теплые кожаные полусапожки или башмаки с высоким передом.

Стр. 109. *Тавлинка* – берестяная табакерка.

Гибанец – крендель (от «гибать, загибать, гнуть»).

Соломата (саламата) – кисель из муки, мучная кашица.

Стр. 110. *Ономнясь* (ономедни) – оными днями, недавно.

Стр. 113. *Обедня* – церковная служба, следующая без перерыва за утренней, литургия.

Стр. 114. *...сколько раз в жизни прилучится...* – т. е. сколько раз случится, сбудется.

Штоф – как мера жидкости имел разную величину (до литра); штофом называли четырехугольную бутылку с коротким горлышком.

Сусло – сладковатый навар на муке и солоде, без дрожжей и без хмеля.

Стр. 115. *Деньга* – полкопейки.

Жемки – пряники, расплюснутые между ладонями, сжатые руками.

Стр. 121. *Ластовицы* – цветные вставки на рубашках.

Плисовый – сделанный из хлопчатобумажного бархата; плисом иногда называют ворсистое льняное полотно.

Стр. 122. *Косушка* – четверть штофа, шкалик или полбутылки.

Целовальник – продавец вина в казенных винных лавках.

Алтын – старинная (XV в.) русская монета (от татарск. – золото), равная трем копейкам (шести московским деньгам).

Стр. 123. *Гнедой* – красновато-рыжей масти.

Саврасый – светло-гнедой (с желтизной), черными гривой и хвостом.

Красная (красненькая) – десятирублевая ассигнация.

Стр. 128. *Забубенный* – разгульный, беззаботный, распутный (от «бубенить» – распускать вести, трезвонить).

Стр. 129. *Становой* – полицейский чин; под его наблюдением находился стан – административно-полицейское подразделение уезда.

Стр. 130. *Заседатель* – до 1864 г. был должностным лицом, исполнявшим некоторые обязанности в государственных и судебных учреждениях.

Ерофеич – настоянная на травах водка; название дано по имени изобретателя.

Стр. 135. *Требесить* – беситься.

Стр. 136. *Бельведер* – беседка или павильон на возвышении, построенные для обозрения окрестностей.

АНТОН-ГОРЕМЫКА

Впервые – «Современник», 1847, т. VI, кн. 11.

Новая повесть Григоровича, по его признанию, казалась ему самому удачнее «Деревни». «Успех ее, – писал он, – объяснялся тем, что в ней глубже затрогивалось горькое положение крестьянина под гнетом крепостного права, которое было тогда еще в полной силе. У меня к тому же было больше опытности, план был основательнее обдуман, с простонародным языком и бытом я успел ближе познакомиться» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 106).

Вопросы, поставленные Григоровичем, были настолько неприглядны, что цензура не решалась пропускать повесть в печать. «Она нашла, – вспоминал писатель, – что бедственное состояние крестьянина представлено в слишком мрачных красках. К счастью моему, близким лицом к «Современнику» был А. В. Никитенко, имевший сильный голос в цензурном комитете. Он горячо взялся за спасение погибающего. Удивляюсь, как в своих воспоминаниях забыл он упомянуть об этом эпизоде, свидетельствующем о его готовности выручать из беды литераторов. Хлопоты его привели к тому, что повесть решились пропустить, но под непременным условием выбросить из нее последнюю главу. Она кончалась у меня тем, что крестьяне, доведенные до крайности злоупотреблениями управляющего, зажигают его дом и бросают его в огонь. А. В. Никитенко, не сказав никому ни слова, сочинил конец, в котором управляющий остается неприкосновенным, а возмутившиеся крестьяне, перед тем, чтобы быть отправленными на поселение, каются в своих действиях и просят у мира прощения. Благодаря этому повесть, за мелкими цензурными вымарками, благополучно вышла в печати» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 109–110). В дальнейшем Григорович переработал не только конец повести, но и некоторые другие эпизоды.

Сильное впечатление произвела повесть на Белинского. В письме к В. П. Боткину (декабрь 1847 г.) он изложил свою точку зрения на самобытную русскую прозу: «С твоим мнением о повести Григоровича я не совсем согласен.

Длинноты из нее были выкинуты — это вялые описания природы,— я сам зачеркнул одно такое место. Остались длинноты существенные, которым повесть обязана своими достоинствами. Наша разница в воззрении происходит от разницы наших отношений к русской повести. Для меня иностранная повесть должна быть слишком хороша, чтобы я мог читать ее без некоторого усилия, особенно вначале. ⟨...⟩ Тебе, вишь, давай поэзии да художества ⟨...⟩ А мне поэзии и художественности нужно не больше, как настолько, чтобы повесть была истинна, т. е. не впадала в аллегорию или не отзывалась диссертациею. Для меня дело — в деле. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление. Если она достигает этой цели и вовсе без поэзии и творчества,— она для меня *тем не менее* интересна, и я ее не читаю, а пожираю ⟨...⟩ Я знаю, что сижу в односторонности, но не хочу выходить из нее и жалею и болею о тех, кто не сидит в ней. Вот почему в «Антоне» я не заметил длиннот, или, лучше сказать, упивался длиннотами, как амброзиею богов, т. е. шампанским ⟨...⟩ Боже мой! какое изучение русского простонародья в подробных до мелочности описаниях ярмарки! ⟨...⟩ Но перечитывать «Антона» я не буду, хотя всегда перечитываю по нескольку раз всякую русскую повесть, которая мне понравится. Ни одна русская повесть не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушающего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину — законное наследие его благородных предков» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. 12. М., 1956, с. 444—445.) И в своем обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» поддержал направление, избранное Григоровичем: «Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа вся вертится на пропаже мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антон — мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он лицо трагическое, в полном значении этого слова. Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные. Желаем от всей души, чтобы г. Григорович продолжал идти по этой дороге, на которой от его таланта можно ожидать так многого... И пусть он не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для верного определения объема таланта; чем бо́льшая их стая бежит вслед успеха, тем значит успех огромнее...» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. 10. М., 1956, с. 347).

Действительно, неприкрытое раздражение сквозит в отзыве критика «Северной пчелы» о новой повести Григоровича: «В первой его повести явилась на сцену в туманной оболочке поэзии горемычная русская баба, слегшая в могилу по милости забулдыги мужа; новый роман его воспевает доброго парня «Антона-горемыку» ⟨...⟩ Роман начинается в «глухой чаще троскинского *осинника*, где работающий мужичок *обеими* руками держит топор и рубит *сплеча* (точно так, как пишут в *натуральной школе*) высокие кусты хвороста, *глушившие* в этом месте лес». Поодаль телега, «припряженная к сытенькой пегой клячонке»... не удивляйтесь, что не лошадь запряжена в телегу, а телега в лошадь: так уж угодно новой школе, да оно и выходит, может быть, натуральнее».

Далее критик, делая обширные выписки неудачных выражений Григоровича, упрекает автора за употребление не простонародных, а якобы поддельно изобретенных им слов. «Не понимаем, – продолжает критик, – ясно цели повести, хотя автор усиленно старается возбудить в читателе участие к своему герою, представляя его *невинным* «горемыкою», и вообще изображая быт крестьянский крайне усиленными мрачными красками. Одностороннее воззрение везде вводит в ошибку. Ложная мысль не выкупается даже и порядочным исполнением, а читатели видели, как изящны и живописны *средства* предположенной автором *цели*. Увы! Читатель остается совершенно равнодушным к заслуженному жребию Антона-горемыки, но искренно и глубоко сожалеет о заблуждении молодого автора, так превратно истолковавшего искусство, так легко поверившего рефлекции главных натуралистов...» («Северная пчела», 1847, № 289, 22 декабря, с. 1155). Нетрудно заметить, что повесть критикуется с точки зрения эстетических задач, стоящих перед искусством, – так критик прикрывает свое раздражение социальными идеями автора. «Натуральная школа», с точки зрения этих задач, направлению которой следует автор, губительна для выражения истинных, а не ложных идей о положении народа, т. е. все поставлено с ног на голову. Реакционная «Северная пчела» как бы подделывается под эстетическую критику, как бы ее методами отрицает социально-художественное содержание повести. Но вот П. В. Анненков, один из сторонников эстетической критики, присоединился к оценке Белинского. Рассматривая «Антона-Горемыку» и «Деревню» как произведения «мелодраматические», тем не менее Анненков причислял их к «Запискам охотника» Тургенева, «Запискам доктора Крупова» Герцена,

«Бедным людям» Достоевского, считая, что они «уже показали, как произведения чистой фантазии становятся трактатами по психологии, этнографии и законодательству. Белинский думал, что пришло время для литературы взять на себя всю ту работу, которую другие деятели откладывали именно под предлогом безвременья, и произвести за них тот следственный процесс над старыми условиями русского существования, какой должен предшествовать окончательному их устранению и осуждению» (Анненков П. В. Литературные воспоминания, с. 345).

«Антон-Горемыка» ощущался как живое, новаторское явление литераторами разных направлений. М. Е. Салтыков-Щедрин в цикле очерков «Круглый год», уже довольно с большой дистанции – в 1879 г., борясь против реакционно настроенных публицистов охранительного лагеря, писал, разыгрывая диалог племянника и дяди:

«– Так что нашей литературе суждено навеки пропахнуть мужиком?

– Вот-вот-вот, оно самое и есть. Обвинение третье, но, в сущности, главное и единственное. Ибо все эти подрывания основ и авторитетов, эти направления и подборы – все это мы охотно перенесли бы, если б не замешался тут, в виде занозы, мужик. Мужик – это главное: как он смеет! Скажу тебе по секрету, мне и самому по временам литература наша кажется в этом отношении несколько однообразною и через край переполненною мужиком. Ведь и я... да, брат, я тоже не чужд соловьев и роз... que diable! (какого черта! – *Ред.*) Но, присмотревшись к делу пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не может быть. Мужик – герой современности, это верно. И не со вчерашнего дня так повелось, а давненько-таки, с конца сороковых годов. Ты, разумеется, не был очевидцем «начал», но я не только помню, но даже лично присутствовал при них. Я помню «Деревню», помню «Антона-Горемыку», помню так живо, как будто все это совершилось вчера. Это был первый благотворный весенний дождь, первые хорошие, человеческие слезы, и с легкой руки Григоровича мысль о том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе, и в русском обществе. А с половины пятидесятых годов эта мысль сделалась уже господствующею в русской жизни. Все, что ни есть в России мыслящего и интеллигентного, отлично поняло, что куда бы ни обратились взоры, везде они встретятся с проблемой о мужике» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 13. М., Худож. лит., 1972, с. 467–468).

Стр. 147. *Красный угол* – правый дальний угол избы напротив двери; его украшали иконы, вышитые рушники и др.

Стр. 152. *Псалтырь* (псалтирь) – книга псалмов (религиозных лирических произведений), приписываемая царю Давиду; в России зачастую служила главной учебной книгой по овладению грамотой.

Стр. 153. *...подушные платить...* – Подушная подать являлась налогом, которым облагались все мужчины.

Стр. 155. *Нанковый архалук* – короткий стеганый кафтан, сделанный из грубой хлопчатобумажной ткани, обычно желтого цвета («нанковый» – от «Нанкина» в Китае).

Стр. 165. *...ко второму Спасу...* – Первый Спас – медовый, второй – яблочный, третий – полотняный; соответственно – 1, 6 и 16 августа по ст. стилю.

Стр. 171. *Поярковая шляпа* – из шерсти ягненка или молодой овцы.

Повойник – головной убор замужних женщин: платок, повитый вокруг головы.

Стр. 172. *Ятка* – палатка с холщовым навесом.

...бураки берестовые... – круглые коробки.

...лагунчики березовые... – маленькие бочонки.

...горшки муравленные коломенские! – глазурованные горшки, изготавливавшиеся в с. Лысцове Коломенского уезда на заводе Н. Кудинова.

Александровка – красная бумажная ткань, с белой, синей или желтой проникткой.

Мухояровая (муаровая) *ткань* – плотный рубчатый шелк с отливом.

Канифас – плотная полосатая хлопчатобумажная или льняная ткань, в том числе – парусина.

Выбойки – ситец с нанесенным (набитым) узором в одну краску.

Стр. 174. *Хлыновец* – мошенник, барышник, выходец из г. Вятки, первоначально называвшейся г. Хлыновом.

Стр. 175. *Офеня* – коробейник, торговец мелочным товаром.

Поднiз (поднизь) – бахрома или сетка на женском головном уборе.

Стр. 177. *Мигач* – игриво подмигивающий щеголь.

Стр. 213. *Чичер* – слякоть.

Сиверца – северный ветер.

Стр. 216. *Колотырный* – сварливый, бранчливый.

БОБЫЛЬ

Впервые – «Современник», 1848, т. VIII, № 3.

Рассказ был написан в Петербурге и предназначался для «Современника». «Трудность, – писал Григорович, – с какою достался мне этот небольшой рассказ, убедила меня, насколько уже деревенская тишина и спокойствие домашней жизни успели избаловать меня; баловство это сделалось со временем такою необходимостью, что, несмотря на все мои старания и опыт, я никогда уже не мог потом страницы написать в Петербурге» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 118).

Трудность создания рассказа состояла, быть может, не в том, что писался он не в деревне, а в городе, скорее всего, все же в том, что нелегко было Григоровичу добиться поистине мастерского создания характера главной героини рассказа.

П. В. Анненков в «Заметках о русской литературе прошлого года», пытаясь представить литературную физиономию журнала «Современник», говорит, что представляют ее такие литераторы, как Гончаров, Дружинин, Тургенев, Григорович и автор романа «Кто виноват?», то есть Герцен. Обращаясь к рассказу «Бобыль», он пишет: «Г. Григорович и автор романа «Кто виноват?» напечатали в прошлом году по одному легкому очерку, в которых особенно проявились качества и род мастерства, свойственные этим писателям, столь противоположным друг другу по таланту. При небольшом наблюдении, легко определить процесс, которому следует г. Григорович в создании. Ни на минуту не выпускает он из виду главное лицо и постепенно собирает около него определяющие его подробности. Твердым шагом, медленно и верно идет он в этой работе и чем далее подвигается, тем резче выставляется характер, образ, и наконец с последней чертой достигает такой художественной полноты, которая делает его неизгладимым в памяти и воображении читателя. Таков был его «Антон-Горемыка», и в недавней его повести «Бобыль» тем же способом воспроизвел он физиономию доброй помещицы...» («Современник», 1849, № 1, т. XIII, с. 20–21).

«Добрая физиономия помещицы» получила социальную характеристику в работах других критиков. Так, В. И. Семевский писал: «В напечатанном в 1848 году рассказе «Бобыль» Григорович рисует ужасную судьбу дряхлого старика, крепостного крестьянина, которому негде головы прикло-

нить ⟨...⟩ Горемычная его жизнь кончается тем, что он умирает в поле, в ужасную осеннюю ночь, так как даже одна более сердобольная помещица, занимающаяся лечением крестьян, выгоняет его на вьюгу и непогоду из опасения, что, в случае его смерти, ей не разделаться с судом. Этот рассказ был хорошим ответом на слова крепостников и тех жертв, которые приносят де помещики для обеспечения пропитания своих крестьян» (цит. по кн. Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. Составил В. Покровский. Изд. 2-е, доп. М., 1910, с. 70).

Разумеется, либеральная критика попыталась снять обвинения с помещицы и переложить вину ее на не зависящие от конкретного лица социальные институты крепостнической России. Следует только критику отказаться от социально-художественного анализа произведения и опуститься до этико-эстетического разбора, так сразу же произведение низводится до решения какой-либо частной проблемы. Таков анализ рассказа, сделанный М. Ф. Де-Пуле: «Идея его не новая: это идея баллады Пушкина «Утопленник», слова которой

Суд наедет, отвечай-ка,
С ним я век не разберусь!

автор взял эпиграфом для своей повести. Эта боязнь суда, боязнь, развитая у нас до ужасных размеров в простонародьи, вследствие которой человек решается на самые черствые, варварские поступки, есть факт глубоко-печальный. Но при разработке этой идеи надобно избирать факт, наиболее возмущающий душу (таков, действительно, у Григоровича старый умирающий бобыль, не имеющий нигде пристанища и зашедший в ненастную осеннюю погоду в село Кошково); надобно изображать людей, совершивших или, лучше сказать, принужденных совершить варварский поступок, не какими-то бесчувственными, загрубелыми чудовищами, а людьми, сознающими свое беззаконие: иначе не будет поэзии, не будет нравственного спасения человеческой природы, чем так дорожит искусство» (цит. по кн.. Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения, с. 71–72).

Стр. 247. Стихи эпиграфа, взятые из баллады А. С. Пушкина «Утопленник», цитируются неточно, надо: «С ним я ввек не разберусь...»

Приходский праздник – т. е. праздник того святого, в честь которого в приходе (общине прихожан) поставлена церковь.

Стр. 255. *Долонь* – ток для молотьбы.

Стр. 258. *...затяглым считаюсь...* – т. е. освобожденным от тягла – крепостной повинности: барщины, оброка или прямого государственного обложения.

Стр. 265. *Каурый* – светло-каштановый, желто-рыжий.

КАПЕЛЬМЕЙСТЕР СУСЛИКОВ

Впервые – «Современник», 1848, № 12.

Повесть при выходе своем не получила должной оценки. Так, критик «Современника», писавший, что Григоровича, как и И. А. Гончарова, можно назвать по справедливости «представителем художественности в настоящем смысле слова» и что «у него, точно так же, как и у г. Гончарова, превозмогает чувство формы», заметил тем не менее, что повести «Капельмейстер Сусликов» и «Неудача» принадлежат к самым неудачным его произведениям» («Современник», 1851, № 2, отд. III, с. 55–56). Критикой как-то не было замечено, что в «Сороке-воровке» А. И. Герцена, напечатанной «Современником» в том же 1848 году, поднята та же тема, что и в «Капельмейстере Сусликове». Разработка характера объединяет главного героя этого произведения с рассказом «Петушков» И. С. Тургенева и с «Записками замоскворецкого жителя» А. Н. Островского. Как предположила Л. Лотман: «Живо интересовавшийся театром и знакомый с актерской средой, А. Н. Островский, очевидно, обратил внимание на повесть «Капельмейстер Сусликов» Григоровича, в некоторых своих частях столь близкую к его «Запискам замоскворецкого жителя». Можно предположить, что появившийся через много лет после опубликования повести «Капельмейстер Сусликов» в пьесе Островского «Таланты и поклонники» образ провинциального трагика Ераста Громилова был отчасти навеян Островскому воспоминанием о герое повести Григоровича – Анике Громилове» (цит. по кн.: Григорович Д. В. Антон-Горемыка. Повести. М., Правда, 1985, с. 383).

Стр. 267. *Капельмейстер* – руководитель оркестра и хора, дирижер.

Рыдван – большая дорожная карета, неуклюжий старомодный экипаж.

Дрожки – легкий четырехколесный экипаж.

Тарантас – дорожная крытая повозка на длинных продольных брусьях, уменьшающих тряску.

Разлюли – здесь употреблено в переносном смысле (от «разлюли-малина» – привольное житье) – как свободный, привольный экипаж.

Госпожа «Трутру» из Парижа – от фр. «trou» – дыра, захолустье.

Нувоте – новинка, модный товар (от фр. nouveauté).

Стр. 268. *Антрепренер* – частный содержатель театра.

Стр. 269. *Меломан* – страстный любитель музыки.

Стр. 270. *Дивертисмент* – отдельный театральный номер, даваемый в дополнение к основному представлению.

Стр. 271. *Батман, плие* – балетные фигуры.

Бакан – красная краска.

Бурнус – женский плащ.

Стр. 274. *Аттитюд* – балетная поза.

Стр. 275. *Твин* – полушерстяная или хлопчатобумажная ткань.

Стр. 281. *Бобелина* (Бубулина) – героиня греческого восстания против турок (1820 г.), отличавшаяся храбростью и большой физической силой.

Стр. 286. *Галль* – Франц Иосиф Галь (1758–1828), известный австрийский анатом, основатель френологии (от греч. phrēnos – ум, разум) – учения о связи между формой черепа и умственными и моральными качествами человека.

Стр. 290. *Ремонтеры* – офицеры, закупающие лошадей для армии.

НЕУДАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

Впервые – «Отечественные записки», 1850, т. 72, кн. 9, под заглавием «Неудача».

Проблеме угнетающего воздействия на человека искусства затхлой и косной провинциальной жизни посвящено немало страниц в русской литературе. Может быть поэтому, как уже отмечалось, критика, не найдя ни новых идей, ни нового характера в повести, отнеслась к ней как к произведению слабохудожественному.

В обзоре «Отечественные записки» в 1850 году» критик «Москвитянина» писал: «Для полноты обзора изящнолитературных произведений остается сказать о повести г. Гри-

горовича «Неудача». Вообще мы признаем в авторе довольно большой талант, и потому были не совсем приятно поражены появлением этой повести, бесспорно уступающей всем предшествовавшим произведениям г. Григоровича. Вся повесть держится на драматическом положении человека, преданного живописи и в высокой степени способного к ней, но которого семейные обстоятельства принуждают бросить любимое занятие, расстаться со всеми мечтами о будущей славе и сделаться чиновником в каком-то уездном городке. Конечно, все подобные случаи печальны и производят на душу сильное впечатление, которое многими принимается за эстетическое наслаждение и ставится в заслугу автору. Но мало ли есть в самой жизни внешних обстоятельств, которые бывают причиною несчастий людей на целую жизнь. Рассказ о всех подобных бедствиях, конечно, произвел бы такое же сильное впечатление; но ведь это уже переходит в анекдоты печального содержания, которые годятся только для того, чтобы доставить случай поплакать охотникам до слез, и позадуматься над тем, какие горестные бывают в жизни случаи. Пишет же г. Григорович такие прекрасные вещи, как «Четыре времени года», и мы бы посоветовали ему преимущественно остановиться на этом роде, к которому он имеет очевидное призвание; притом идиллическая форма так идет к воспроизведению нашего простонародного быта» («Москвитянин», 1851, № 1, январь, с. 139). Этот отзыв явно несправедлив, потому что «не случай жизни, а страдающий человек» поставлен Григоровичем в центр повествования. Тем самым в повести его, как и вообще в русской повести конца 40-х годов, «личность бедного, угнетенного человека 〈...〉 стала предметом наблюдения; интерес от общего (физиологического очерка.— *А. М.*) значительно сместился в сторону частного» (История русской литературы. Л., Наука. 1981, т. 2, с. 613).

Обращение к теме искусства в творчестве Григоровича было прямо связано с личным опытом писателя, который хорошо знал проблемы начинающих художников, сочувствовал им и с удовольствием принял пост секретаря «Общества поощрения художников». Как пишет исследователь, «в «Неудавшейся жизни» писатель опирался на знание художественной среды, полученное во время учебы в Академии художеств, и одновременно подражает Гоголю-романтику. Сходство повести Григоровича с гоголевским «Портретом» в начале первой главы иногда граничит с текстуальным совпадением» (Мещеряков В. П.

Д. В. Григорович — писатель и искусствовед. Л., Наука, 1985, с. 51). Эту невольную связь Григорович объяснил тем, что «следовало бы тогда винить все теперешнее литературное молодое поколение; все в одинаковой степени были увлечены Гоголем; почти все, что писалось в повествовательном роде, было отражением повестей Гоголя» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания, с. 92).

Стр. 305. *Эстамп* — отпечаток с гравюры.

Стр. 306. *...одну из последних мадонн Рафаэля.* — «Сикстинская мадонна», созданная в 1515—1519 гг. Рафаэль умер в 1520 г.

Стр. 312. *Итальянский карандаш* — изготовляется из порошка жженой кости, скрепленного растительным клеем.

Стр. 313. *«Агарь в пустыне»* — библейский сюжет на тему изгнания Агари с сыном Измаилом в пустыню.

Стр. 335. *...напоминали ... портрет Вандика.* — Автопортрет фламандского живописца А. Ван Дейка (1599—1641).

Стр. 337. *Гвидо Рени* (1575—1642) — итальянский живописец.

Стр. 339. *Пифферари* — бродячие музыканты, играющие на духовых инструментах, в роде волынки.

Ватикан, Петр ... Микельанджело. — Имеются в виду собор св. Петра (Сан-Пьетро) в Ватикане и фрески Микеланджело Буонарроти (1475—1564) в Сикстинской капелле.

Стр. 340. *Флора фарнезская* — богиня цветов и весны на одной из фресок Рафаэля Санти в вилле «Фарнезина» в Риме, изображающих историю Амура и Психеи.

...жили в казино или аустерии... — т. е. в игорном доме или гостинице-ресторане.

Стр. 342. *«Падение Ниневии»* — сюжет о разрушении столицы Ассирии в 612 г. до н. э. войсками вавилонян и мидян.

Стр. 346. *Айвазовский И. К.* (1817—1900) — русский художник-маринист.

Стр. 353. *...успех К. П. Брюллова...* — Имеется в виду всеобщее признание картины «Последний день Помпеи» (1830—1833).

Стр. 358. *Германик* — римский полководец, консул; не раз участвовал в подавлении восстаний германских племен в 1—2-м десятилетиях н. э.

...«Илиада» ... несколько чертежей Флаксмана... — Речь идет о серии контурных рисунков к «Илиаде» и «Одиссее»

Гомера, сделанных английским скульптором и рисовальщиком Джоном Флаксменом (1755–1826).

...старых гравюр с ... Пуссена и Лесюера... – Пуссен Николя (1594–1665) – французский исторический живописец и пейзажист классицистического направления; Лесюёр Эсташ (1617–1655) – французский живописец, испытавший влияние Рафаэля и Пуссена; в основном разрабатывал сюжеты на исторические и религиозные темы.

Стр. 364. *Зульцер* Иоанн-Георг (1720–1779) – немецкий критик, создатель «Всеобщей теории искусства» (1771–1774).

Альгаротти Франческо (1712–1764) – итальянский публицист и писатель, просветитель-энциклопедист.

Стр. 366. *Тальони* Мария (1804–1884) – итальянская балерина; в 1837–1842 гг. выступала в Петербурге. С ее именем связана реформа балетного танца.

Стр. 376. *Капитолий.* – Капитолийский храм в Древнем Риме, где происходили заседания сената.

Чухонцы – так называлось карело-финское население, проживавшее в окрестностях Петербурга.

Стр. 396. *Эльдорадо* – мифическая страна, богатая золотом и драгоценными камнями, которую искали испанские завоеватели в Латинской Америке.

Стр. 401. *Ландкарта* – ландшафтная карта.

Стр. 405. *...«писец Вертер и Руссо!»* – Роман И.-В. Гете (1749–1832) «Страдания молодого Вертера» проникнут духом Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), французского писателя и философа.

Стр. 406. *«Общество поощрения художников»* – возникло в 1821 г. в Петербурге. С 1857 г. содержало рисовальную школу. Общество организовывало выставки, конкурсы, помогающие художникам освободиться от необходимости зарабатывать на жизнь иным трудом. Секретарем общества в начале 60-х гг. стал Григорович.

ПРОХОЖИЙ

Впервые – «Москвитянин», 1851, № 1.

Критики не учитывали, что рассказ, имея подзаголовок «святочный», строится почти по законам лубочной картины. Подзаголовок настраивает читателя на восприятие повествования в ключе народного «святочного» творчества: ряжения, колядок и т. д. Не приняв этого условия, невозможно

в полной мере оценить рассказ. Такова несправедливая критика Де-Пуле: «Повесть «Прохожий» кишит эффектами и этнографическими картинами. В ночь под Новый год (повесть носит заглавие святочного рассказа), во время страшного холода, ветра и метели, идет какой-то прохожий. Вот он приходит в село, где, по случаю святок, происходили почти во всяком доме игры и празднества, просится переночевать Христовым именем, но никто его не только не пускает, но даже гонят от ворот. Бедному старику пришлось бы замерзнуть, если бы не сжалилась над ним одна бедная вдова Василиса и сын ее Алексей: они приютили нищего; но старик умер в ту же ночь, оставив своим благодетелям кубышку, зарытую где-то в земле. Не понимаем, что хотел сказать автор этим анекдотом, занимающим такое крошечное место в повести? Впрочем, главное в «Прохожем» не сам прохожий, выставленный для эффекта, а святочные картины,— забавы молодежи, пирушки взрослых,— картины, бойко написанные. Но мастерство представления этих картин отличается не творчеством, а близким знакомством с жизнию простого народа: отсюда в сцене пирушки у Савелия много сочиненного, фальшивого; грязь картины нисколько не очищена поэтической дистилляцией» (цит. по кн.: Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения, с. 71).

По-иному смотрит на рассказ В. Острогорский: «К числу бытовых народных картин, с тем же идиллическим семейным характером, относятся два небольших рассказа: «Прохожий» и «Светлое Христово воскресение». Первый — анекдот о том, как бедняк-крестьянин, Алексей, пустил к себе ночевать какого-то больного старика, который, в награду за радушное гостеприимство, перед смертью завещал ему клад; второй — народное поверье о каких-то таинственных чумаках, обогативших мужика посредством чудесных угольев. В том и другом рассказе изображается, собственно, не что иное, как избитое в детских повестях вознаграждение добродетели и честной бедности; но не на эту случайную, даже чудесную награду должно быть обращено внимание читателя. Оба рассказа представляют деревенские проводы главнейших годовых праздников: святок и ночи на Светлое воскресенье, и кроме того, несколько симпатичных образов крестьян. Первый рассказ начинается ярким контрастом. В страшную метель, в Васильев вечер, бредет, приближаясь к деревне, одинокий прохожий, а между тем крестьяне весело готовятся к проводам праздника. Целый ряд народных обычаев: выбрасыванье хлебных зерен из рукава ребятишками, подбор

этих зерен хозяйкой для будущего урожая, ряженье девок и парней, колядские песни под окном, обряд «смывания лихоманки», дающий повод представить тип знахарки, гаданье девицы под окном, шутки и проказы ряженой молодежи на улице и вечеринка у старосты. Все это дает много материала этнографического, за коим выступают резко очерченные народные характеры, особенно староста, старостиха, парни и бедняк Алексей, прогнанный из-за суеверного страха с вечеринки и возвращающийся домой к одинокой старушке-матери. Эти последние сцены, вместе с приходом и смертью прохожего, написаны искусно и тепло» (цит. по кн.: Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения, с. 75).

Но и в наше время исследователи видят в «святочных» рассказах Григоровича только эскизы для будущих больших полотен:

«Описания колядок, заговоров, гаданий, хороводов и пирушек занимают большую часть текста и по сравнению с сюжетным повествованием являются пышной рамой, в которую вставлен маленький этюд.

〈...〉 Этнографические зарисовки, воспроизведение деталей быта, насыщенность фольклором сближают «Прохожего» с рассказами Даля, в которых автор, придерживаясь жизненной правды в частностях, отказывается от обобщений, выводов. Тем не менее богатство фактических наблюдений в повести давало новый материал для познания народной жизни, служа своего рода эскизами перед написанием больших полотен – романов «Рыбаки» и «Переселенцы» (Мещеряков В. П. Д. В. Григорович – писатель и искусствовед. Л., Наука, 1985, с. 68).

«Святочные» рассказы в русской литературе – особый жанр, и вовсе не случайный, не «подготовительный» этап к большим художественным полотнам, а проявление народных идиллических представлений как социальных утопий, в основе которых лежит народно-религиозная этика.

Стр. 408. *Васильев вечер* – канун Нового года; щедрый вечер: посыпают хозяина житом, желая обилия.

Шишига – бес, кикимора.

Стр. 409. *Калека-перехожая* (калика) – увечный человек, кормящийся подаянием.

Стр. 410. *Пришипиться* – притаиться или присмиреть.

Стр. 412. *Олябышки* – круглые, вздутые пирожки из кислого (дрожжевого) теста.

Стр. 413. *Коляда* (коледа) – так называют святки: от Рождества до Крещения, т. е. от 25 декабря до 7 января по ст. стилю; коледой зовут и песню, исполняемую во время обряда; коледованье – обряд хождения по домам в Рождество и Новый год с поздравлением, песнями, со звездою или с житом для сбора денег и пищи.

Стр. 414. *Чанны ворота* – т. е. ворота с калиткою, со столбами и крышей, украшенные резьбой.

Посконна борода – похожая на паклю, из конопли (поскони).

Авсень. – В. И. Даль объясняет возможное происхождение «авсень» от слова «о́весень», – так назывался первый весенний день (1 марта) нового года, когда с этого дня начинался у славян Новый год; затем название было перенесено на Васильев вечер и на Васильев день – 1 января, когда на это время было перенесено начало Нового года.

Стр. 415. *...Осиновый тебе гроб.* – Осина – проклятое дерево, как считали в народе.

Стр. 417. *Шаламберничать* (шалберничать) – бить баклуши, шататься без дела.

Стр. 419. *Четверговая соль.* – «Чистый четверг» на Страстной неделе перед Пасхой, по преданию, очищает и освящает продукты.

Иванов день (Ивана-Купала) – 24 июня по ст. стилю; в этот день собирают лечебные и знахарские коренья и травы.

Чернобыльник – крупный вид полыни.

Стр. 427. *Охлестыш* – старый, обитый кнут или хлыст.

Стр. 432. *...Кутузов ... за услуги твои Смоленское...* – М. И. Кутузову в декабре 1812 г. был пожалован титул князя Смоленского.

... и Голенищева в придачу! – Голенищев-Кутузов – родовая фамилия М. И. Кутузова.

Стр. 434. *Трафиться* – случаться, попадаться.

Стр. 439. *Плетеница* – вереница, ватага.

Стр. 447. *... и талантливую дочку!..* – т. е. богатую и приносящую прибыток и счастие в дом.

Стр. 451. *Серенка* (серянка) – лучина, обмокнутая кончиком в растопленную серу.

Стр. 453. *Зерно бурмицкое* (бурмитское) – крупная жемчужина.

Стр. 457. *Александрийская рубаха* – из александрейки, красной бумажной ткани с прониткою другого цвета.

Коленкоровый – из тонкой хлопчатой ткани.

СМЕДОВСКАЯ ДОЛИНА

Впервые – «Современник», 1852, кн. 2.

В начале 50-х годов критика все реже рассматривала творчество Григоровича в контексте общественной жизни России, смещая акценты на частные вопросы мастерства Григоровича, на художественное впечатление, которое могут произвести рассказы и повести Григоровича на читателя. Один из критиков журнала «Москвитянин», вольно или невольно, в своем отзыве о «Смедовской долине» открыл причину такого отношения к творчеству Григоровича со стороны либеральной критики. Рассказ дал повод охарактеризовать творчество Григоровича в целом, в его существенных, с точки зрения критика, проявлениях, определяющих лицо Григоровича как писателя. Отзыв этот настолько цельный, что мы приводим его почти полностью: «Григорович, – писал критик, – давно уже приобрел в нашей литературе значительную известность изображением крестьянского быта. Никак не думая унижать его достоинства как писателя, мы все-таки скажем, что известностью своей он обязан первоначально занимательности изображаемой им жизни. В наше время, когда исключительное влияние западной цивилизации на нашу жизнь прошло, а вместе с тем миновало и слепое поклонение ей, когда, с другой стороны, главной задачей русской мысли сделался вопрос о существе нашей народности, всеобщее напряженное внимание обратилось на те сословия нашего народа, которые не испытали на себе чуждого влияния и сохранили, насколько было можно, первоначальные народные черты 〈...〉 «Смедовская долина» г. Григоровича дает нам случай сказать о недостатках этого писателя, в исполнение данного выше обещания, а еще более для пользы того дела, которому г. Григорович служит, а общество вполне сочувствует. Главный недостаток г. Григоровича состоит в том, что он не успел еще настоящим образом усвоить себе характер простонародного быта; в его приемах много еще искусственного и ложного, он смотрит на простолюдина несвободными глазами, т. е. берет от него не то, что тот может дать, а ищет часто то, чего бы мы и не пожелали в нем найти. Из этих непрямых отношений к быту выходит дело такого рода: встречается г. Григоровичу в крестьянской жизни событие не только полное, но, можно сказать, обремененное драматизмом; художнику оставалось бы только уловить пружины этой лишенной эффектов драмы и выразить их с приличной делу выпуклостью. Тут нет

нужды прибегать к помощи посторонних обстоятельств и драматизировать событие извне, французскими средствами. А г. Григорович не удовлетворяется действительной драмой события, он как будто опасается за его важность и часто насильственно вводит в него неприличные ему стихии, принадлежащие совершенно другой области. Можно подумать иногда, что г. Григорович изыскивает в крестьянской жизни такие черты, которые напоминали бы собою жизнь цивилизованную и, так сказать, возвышали бы простолюдина до образованного человека; тогда как занимательность дела не в том, чтобы наши черты ловить в быту крестьянском, а наоборот: чтобы правильным изображением черт, свойственных исключительно простолюдину, будить в нас представление о нашем первообразе и способствовать окончательному освобождению от вредных крайностей чуждого влияния, осмеянных Кантемиром, Фонвизиным, Грибоедовым, Гоголем. Так, например, событие, рассказанное в «Смедовской долине», само по себе есть событие чисто драматическое... неужели, оставаясь в своей первоначальной простоте при собственных своих средствах, оно показалось бы кому-нибудь недостаточно драматичным? И неужели была автору нужда, при таком обильном содержании события, сообщать ему излишнюю трогательность изображением пересыльной сцены? Если судебное наказание и должно было войти в рассказ, по смыслу происшествия, то о нем следовало упомянуть глухо, а на главный план выдвинуть игру страстей и отношений, которая составляет истинную принадлежность художественных произведений. – А эта сторона дела у г. Григоровича осталась в тени; например, отношения Михаила к Лукерье только что выведены, а нисколько не объяснены; то же должно сказать и о досвадебных отношениях Михайла к Параше, которые представлены только в намеках; одним словом, вся внутренняя сторона этого события не обратила на себя должного внимания автора; это обстоятельство нам неприятно особенно в том отношении, что в некоторой части общества до сих пор еще существует ложное мнение, неосторожно высказанное в одном из петербургских журналов, будто бы наша народная жизнь не представляет художнику никаких материалов для драмы. Обращаемся к г. Григоровичу еще с вопросом. Для чего, например, он стремится опоэтизировать дядю Савелья и его положение? К чему, например, он говорит про него в следующих выражениях: «он, видимо, радовался встрече с собеседником: быть может, бедняк по целым дням ничего не видал, кроме

Сизого (собаки)»? или: «он сам был очень рад высказать то, что в продолжение многих лет не находило случая высвободиться из его груди»? Слово «бедняк» решительно переведено с французского. И как бы могло это случиться, чтобы в продолжение многих лет дядя Савелий не нашел, кому передать свое горе? Помилуйте, возможно ли это, при такой разговорчивости нашего народа, при такой любви передавать свое и выслушивать с участием чужое горе? И зачем в такой сладкой форме представлять любовь Савелья к рыбацкому рукомеслу? Это все замашки французского творчества, которое так любит изображать трогательное и ужасное в преувеличенном виде; во Франции это недостаток народный; там неизбежен он для самых лучших художников страны. Не можем также не поставить на вид г. Григоровичу недостатки в языке его произведений ⟨...⟩ Г. Григорович не успел еще надлежащим образом усвоить себе народную речь, он, так сказать, до сих пор остается ее учеником, никак не мастером; до сих пор как будто заметно, что он имеет нужду вслушиваться постоянно в разговор народа и даже запоминать целиком его выражения; не видать, чтобы он свободно распоряжался речью, был бы сам ее неиссякаемым источником. Это выражается, например, в том, что, когда он заставляет говорить простолюдина, то влагает ему в уста без расчета характерные эпические фразы, отчего речь делается громоздкой, натянутой, ложной ⟨...⟩ Например, г. Григорович не скажет: «Я бывал там-то», а непременно скажет: «Мне приводилось бывать». Не то, чтобы это последнее выражение было не в духе народного языка, но дело в том, что оно владеет г. Григоровичем. Напрасно также г. Григорович вносит в свой язык местные особенности; например, частица «то» при словах такой и так, составляя особенность тульского и рязанского говоров, неприятно действует на не привыкшее к ним ухо. Этими замечаниями мы ограничимся на этот раз» («Москвитянин», 1852, № 3, февраль, кн. 1, с. 81–86).

Надо признать, что некоторые частные замечания высказаны критиком правильно. Но все же общее впечатление от рассказа не тонет под грузом критики, напротив. Кажутся очень верными заметки Де-Пуле, выразившего как бы читательское восприятие рассказа. «Смедовская долина», – писал он, – по нашему мнению, есть самое лучшее, самое оконченное произведение Григоровича. Это прелестный, поэтический очерк хорош не потому, что он рисует картины любимой автором приокской местности, но потому,

что кипит жизнию, драматизмом, страстями самыми могучими. И все это схвачено вовремя, представлено сжато и сильно и не разбавлено этнографической прозой; идея ровно ничем не подавляется и не тонет, а, напротив, больше уясняется в сценах той жизни, которыми обставлены герои драмы и без которых не может обойтись ни один писатель» (цит. по кн.: Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения, с. 70).

Стр. 462. *Сермяжное полукафтанье* – короткая верхняя одежда из серого грубого сукна.

Тавлинка – табакерка.

Кочадык (кочедык) – лапотное шило, т. е. кривой железный шип, употребляемый также для плетения изделий из веревки.

Сукрой – круглый ломоть во всю ковригу хлеба.

Стр. 463. *Шавель* – дрянь.

Стр. 465. *Водополье* – половодье; день Антипы-водополья – 11 апреля по ст. стилю.

Стр. 466. *...в прошлую святую...* – т. е. в пасхальную неделю.

Прилучиться – случиться.

Стр. 467. *Раздобаривать* (растобаривать) – разговаривать, болтать.

Стр. 469. *Натребесить* (требешить) – намолоть, наболтать вздору.

Красный товар – ткани и изделия из них.

Стр. 473. *Тварни* – затворы (подъемные щиты) на запруде.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорович Д. В.

Г83 Сочинения. В 3-х т. Т. 1. Повести и рассказы (1844–1852)/Вступ. статья А. Журавлевой, В. Некрасова; Сост., подгот. текста и коммент. А. Макарова.– М.: Худож. лит., 1988.– 511 с.

ISBN 5-280-00062-0 (Т. 1)
ISBN 5-280-00061-2

В первый том Сочинений известного русского писателя Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900) вошли повести и рассказы 1844–1852 гг.: «Петербургские шарманщики», «Деревня», «Антон-Горемыка» и др.

Г $\frac{4702010100\text{-}171}{028(01)\text{-}88}$ 3-88 **ББК 84Р1**

Дмитрий Васильевич
ГРИГОРОВИЧ

Сочинения в трех томах

Том первый

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
(1844–1852)

Редактор *Н. Гришкина*
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
Л. Изгаршева
Корректор
Г. Ганапольская

ИБ № 5223

Сдано в набор 25.06.87. Подписано к печати 22.12.87. Формат 84 × $108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88 + 1 вкл. = 26,93. Усл. кр.-отт. 27,4. Уч.-изд. л. 27,92 + 1 вкл. = 27,97. Тираж 200 000 экз. Изд. № II-2800. Заказ № 1049. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



2р. 50к.